

М  
О  
С  
К  
В  
А

# Москва

2

1966

1966 2

# Москва

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПРОЗА

- **Николай Камбулов.** ТРИНАДЦАТЬ ОСКОЛКОВ. Повесть . . . . . 6  
**Владимир Попов.** РАЗОРВАННЫЙ КРУГ. Роман. (Окончание) . . . . . 84

### СТИХИ

- **Владимир Захаров.** ОТЕЦ.— КВАШНЯ.— МАТРОС.— ЛЕБЕДЕНОК.— УЛИЦА РУССКАЯ.— ДОИЛА ЖЕНЩИНА КОРОВУ... 3  
**Евг. Евтушенко.** ПУШКИНСКИЙ ПЕРЕВАЛ. Поэма . . . . . 81  
**Григорий Глазов.** В ОБОРОНЕ.— ПЕРЕД БОЕМ.— СОН.— МЕЛОДИЯ . . . . . 153  
**Леонид Терехин.** ЛИЦО ВОЙНЫ Я НА ВСЮ ЖИЗНЬ ЗАПОМНИЛ... 164  
**Иван Смирнов.** ВСТРЕЧА.— МОРЕ ГОСТЕ-ПРИИМНОЕ . . . . . 179

### ТВОРЧЕСКИЕ СПОРЫ

- КАК СТРОИТЬ? Говорят архитекторы . . . . . 155

### НАВСТРЕЧУ 50-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

- **Мих. Сонкин.** ПОЕЗД С ЦВЕТОЧНОЙ. (Окончание) . . . . . 165

### ЖИВОЕ ПРОШЛОЕ

- **Лев Никулин.** НЕЗАБЫВАЕМОЕ — НЕДОСКАЗАННОЕ. (Из воспоминаний о А. М. Горьком) . . . . . 180

### ИСКУССТВО

- **Э. Файнштейн.** МАСТЕР ЖИВОЙ ПЛАСТИКИ . . . . . 191  
**Борис Неменский.** МОЙ ФРОНТОВОЙ УНИВЕРСИТЕТ. (К Галерее «Москвы») . . . . . 194

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

- **Валерий Дементьев.** ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ. (Письма из Молдавии) . . . . . 195  
**Гази Кашшаф.** ПОИСК. (К 60-летию со дня рождения Мусы Джалиля) . . . . . 209

●  
**НАД СТРАНИЦАМИ КНИГИ.** А. л. Михайлов. СТРОКИ ЛЮБВИ И СЧАСТЬЯ (212).— Сергей Баруздин. КНИГА — ПОДВИГ (213).— Радий Фиш. БЛИЗКИЙ САХАЛИН (214).— Лариса Крячко. ПОНЯТЬ — НЕ ВСЕГДА ПРОСТИТЬ (216).

●  
**ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ.** Вадим Назаренко. УСТНОЕ И КНИЖНОЕ.— ИЗ ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИХ КУРЬЕЗОВ.— ЧЕПЕЦ И АНТИЧЕПЕЦ . . . . . 218

●  
**ЮМОР-66**

Владимир и Михаил Кашаевы. РЕКОРД С ПРОДОЛЖЕНИЕМ.— Вик. Марьяновский. ВОКРУГ МЕДИЦИНЫ.— Владимир Фатеев. ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ.— М. Азов, В. Тихвинский. БАСНИ С ПРОПИСНЫМИ МОРАЛЯМИ.— МЕЖДУ ПРОЧИМ.— Вита Жилинскойте. ПРЕВЫШЕ ФАНТАЗИИ.— К. Невлер и М. Ушац. СЛАДКАЯ СТРАНИЧКА. (К 8 Марта) . . . . . 221

●  
**ГАЛЕРЕЯ „МОСКВЫ“**

ФРОНТОВЫЕ ЗАРИСОВКИ БОРИСА НЕМЕНСКОГО  
С ВЫСТАВКИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ МОСКОВСКИХ ХУДОЖНИКОВ (1965 г.)

Адрес редакции:  
Москва, Г-2, Арбат, 20  
Телефоны: Г 1-78-01,  
Г 1-06-86

Рукописи объемом меньше печатного листа не возвращаются.

Подписка на журнал принимается во всех учреждениях Министерства связи. Редакция вопросами подписки не занимается.

## РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Е. Е. ПОПОВКИН (*главный редактор*),  
В. М. АНДРЕЕВ, А. Н. ВАСИЛЬЕВ, Б. С. ЕВГЕНЬЕВ,  
Л. В. ИВАНОВА, Е. В. ЛЕВАКОВСКАЯ,  
Л. В. НИКУЛИН,  
С. А. САВЕЛЬЕВ (*ответственный секретарь*),  
Ю. С. СЕМЕНОВ, С. В. СМИРНОВ,  
А. А. ЦЫГУЛЕВ (*заместитель главного редактора*),  
В. Д. ШАПОШНИКОВА, М. А. ШОЛОХОВ

*Художественный редактор* Н. И. БОБКОВА





## МАТРОС

Жалея, в бескозырку  
Бросали пятаки  
На горькую горилку  
Матросу без руки.

И он ходил по барам,  
Буфетам и пивным,  
Гнусавя под гитару  
Фальцетом напуксным:

«Ах, время, время, времечко,—  
Дырявые меха.  
Что жизнь людская? Семечек  
Каленых шелуха!..»

От жалости жестокой,  
От доброты крутой  
Сгорел бы он до срока  
В очередной пивной,

Да увидала Настя —  
Открытая душа.

Когда бы не несчастье —  
И счастье б не нашла.

Он сонно щурил веки,  
Никак не мог понять:  
«Неужто ты с калекой  
Решила вековать?!»

Она корить не стала,  
Ввела матроса в дом,  
Тельняшку постирала  
В корыте жестяном.

И рукавом неловко  
Стирая пот со лба,  
Приладила бечевку  
От дома до столба.

И будто после бражки,  
Проказник и буян,  
Норд-ост швырял тельняшку  
И рядом — сарафан.

## ЛЕБЕДЕНОК

Выплывали утром рано  
На простор лесных полян,  
Словно струги атамана,  
Избы тейковских крестьян.

Гулко хлопали оконца,  
И орали вразнобой  
Петухи, завидев солнце  
В ясном небе над собой.

Там, где синие туманы,  
Пережат шумит речной,  
У Захаровой Татьяны  
Лебеденок жил ручной.

Сколько жил? Когда? Не знаю.  
Но его издалека  
Позвала однажды стая,  
Поднимаясь в облака.

Был ледок на Пеже тонок,  
Звезды падали в траву.  
И рванулся лебеденок  
Вслед за стайей в синеву.

И бежала утром рано  
По серебряным снегам  
Русокосая Татьяна,  
Вскинув руки к небесам.

Не траву в лугах косили,  
Не треножили коней,  
В грозных битвах за Россию  
Убивали сыновей.

Но навстречу майской сини  
Стая белая плыла,  
Чтобы ты жила, Россия,—  
Лебединых два крыла.

## УЛИЦА РУССКАЯ

Иду — смотрю в десятки окон,  
Иду — стучу — не счесть дверей.  
Живу я у друзей под боком,  
На Русской улице моей.

Меня здесь знают как поэта,  
Как друга в горенку ведут.  
И жарят лучшую котлету,  
И песню лучшую поют.

И мне признание такое  
Не для тщеславия души.  
Напротив, вечно беспокоя,  
На совесть, требуют, пиши.

Ведь наша родина — Россия,  
Верша великие дела,  
Без песни хлеба не косила,  
Без песни в бой с врагом не шла.

Гостей встречала не по мерке:  
Каков твой чин — велик иль мал?

• • •

Доила женщина корову  
Среди притихшего двора,  
И струйки молока парного  
Стреляли в донышко ведра.

И был душистым запах сена,  
И солнце раннее в сенях,  
И молока густая пена  
Росла в ведре, как на дрожжах.

Потом по мягким белым стружкам  
Шла молча женщина домой,  
С эмалированной кружкой  
Ждал на приступке сын меньшей.

А я лежал на сеновале.  
В избе крестьянской на ночлег

Здесь Пушкин занял этажерки,  
Здесь совесть — лучший капитал.

И если настезь в доме двери  
Для вас с утра и до утра,  
То, значит, любят, значит, верят,  
И эта искренность — щедра.

Вот почему, вплетая фразу  
В разноголосый хор, скажу:  
Я Русской улице обязан,  
Ее Поэзии служу.

Остановился... Не пытали,  
Откуда, что за человек?

А указали просто место,  
Сказали: «Спи, не пролежишь».  
И вот я сплю в селе безвестном,  
Где по тропинкам бродит тишь.

И пахнет мятой и половой,  
Парным и пряным молоком,  
И лижет сонная корова  
Телка шершавым языком.

Но знаю я: не в этом счастье  
Людей, живущих не спеша,—  
Здесь окна настезь, двери —  
Здесь — настезь русская душа.

●

# ТРИНАДЦАТЬ ОСКОЛКОВ

ПОВЕСТЬ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

После многодневного наступления полк, которым командовал подполковник Андрей Кравцов, был наконец отведен во второй эшелон, получил передышку. Его подразделения расположились на окраине небольшого, типичного для Крыма поселка, прилепившегося к рыжему крутогорью, вдоль разрушенной бомбами железнодорожной линии, в редколесье. Кравцов облюбил себе чудом уцелевший каменный домишко с огороженным двориком и фруктовым садом. Едва разместились — связисты установили телефон, саперы отрыли во



дворе щель на случай налета вражеской авиации,— Кравцов сразу решил отоспаться за все бессонные ночи стремительного наступления: шутка ли — в сутки с боями проходили по пятьдесят — шестьдесят километров, и, конечно, было не до сна, не до отдыха.

Кравцов лег в темном, прохладном чуланчике, лег, как всегда, на спину, заложив руки за голову... Но, увы,— сон не приходил! Кравцов лежал с открытыми глазами и смотрел на маленькую щель в стене, сквозь которую струился лучик апрельского солнца. Слышались тяжелые вздохи боя, дрожа покачивался глинобитный пол. К этому покачиванию земли Кравцов уже привык, привык, как привыкают моряки к морской качке, и даже не обращал внимания на частые толчки... Старая ржавая кровать слегка поскрипывала, и этот скрип раздражал Кравцова. Он перевернулся на бок, подложив под левое ухо шершавую ладонь в надежде, что противный скрип железа теперь не будет слышен. И действительно, дребезжание оборвалось, умолкло.

Минуты две-три Кравцов слышал только говор боя, то нарастающий, то слабеющий. Но странное дело! — сквозь разноголосую толщу звуков он вскоре опять уловил тонкое металлическое дребезжание кровати, тревожное и тоскливое...

По телу пробежал ледяной душ холодок. Кравцов поднялся. Некоторое время он сидел в одной сорочке, сгугая на старую ржавую кровать. Потом сгрел постель и лег на пол. Лучик солнца освещал сетку, и Кравцов заметил, как дрожит проволока. Теперь он скорее угадывал тоскливое позвякивание кровати, чем слышал его, но спать не мог. Хотел позвать ординарца, чтобы тот выбросил этот хлам из чуланчика, но тут же спохватился: ординарец, двадцатилетний паренек из каких-то неизвестных Кравцову Кром, был убит вчера при взятии старого Турецкого вала... И вообще в этом бою полк понес большие потери. Погиб командир взвода полковых разведчиков лейтенант Сурин... Кравцов успел запомнить лишь одну фамилию; бывает так: придет человек в полк перед самым наступлением и едва получит назначение — тут же в жаркой топке боев обрывается его жизненный путь,— где уж тут запомнить, как звали и величали по отчеству... Так случилось и с Суриным. Теперь вот надо подбирать нового командира для разведчиков. А как, кого поставишь сразу на эту должность?

Вчера стало поступать новое пополнение. Кравцов пытался вспомнить,— которое по счету с того дня, как он принял под Керчью полк, после



Рисунок О. Вунолова



своего возвращенья из госпиталя... Он точно вспомнил, сколько раз пополнялся полк, и невольно прикоснулся рукой к кровати. Она вздрагивала, покачиваясь. Он опустил голову на холодный, пахнущий сыростью пол и тотчас же уловил гулкие толчки — это вздрагивала земля от тяжелых ударов артиллерии.

— Начальник штаба! — крикнул Кравцов.

За перегородкой отозвались:

— Андрей, ты чего не спишь?

— Ты мне ординарца подбери, сегодня же...

Открылась дверь. В чуланчике сразу стало светло.

— Товарищ подполковник, — официально доложил начальник штаба полка Александр Федорович Бугров, — ординарец через час поступит в ваше распоряжение.

— Подобрал? — Кравцов поднялся, положил матрац на кровать, закурил. — Кто такой?

— Ефрейтор Дробязко Василий Иванович. Дня три назад прибыл в полк из госпиталя. Попросился в разведку. Да я думаю, пусть немного окрепнет возле начальства, — полушутя-полусерьезно заключил Бугров и провел ладонью по рыжеватым усам, которые он недавно отрастил для солидности.

— Вот как! — улыбнулся Кравцов. — И эта птичка вчерашняя тоже заявила: «Окончила школу войсковых разведчиков, прошу учесть мою специальность»... Какой только дурень дает девчонкам командирские звания, да еще на передовую посылает!

Бугров прищурился.

— Это вы про лейтенанта Сукуренько?

— Да, про новенькую... А может, рискнем, начальник штаба, доверим ей взвод?

— Опасно, командир... Дивчина остается дивчиной...

— Значит, не подойдет?

— Да вы что — серьезно? — удивился Бугров.

— Ну ладно, ладно, посмотрим... Глаза у нее большие... — Кравцов рассмеялся как-то искусственно. — А этого Дробязко пришлите ко мне немедленно...

— Послал за ним... — задумчиво ответил Бугров, — сейчас придет. А вам, Андрей Петрович, все же надо поспать, через два дня полк снова пошлют в бой.

Кравцов порылся в карманах, достал папиросы.

— Кровать мешает, не могу уснуть... Вы попробуйте, Александр Федорович, прилягте, ну на минутку только.

Бугров, смущенно поглядывая на командира и не понимая, шутит ли он или всерьез говорит, прилег на кровать.

— Слышите? — таинственно спросил Кравцов.

Бугров насторожился.

— Ну и что? Стреляют. Привычное дело. Мне хоть под ухом пали из пушки, я усну.

— А стон слышите?

— Какой стон?

— Значит, не слышите, — разочарованно произнес Кравцов и добавил: — Раньше я тоже не слышал, а сейчас улавливаю: стонет, плачет.

Бугров чуть не рассмеялся — ему показалось, что Кравцов затеял с ним какую-то шутку, но лицо командира полка было совершенно серьезно.

— В госпитале я слышал, — продолжал Кравцов, — как бредят тяжелораненые. Это невыносимо... В Заволжье лежал со мной капитан. Ему выше колен ампутировали ноги, гангрена была... Слышу, стонет, потом заговорил... «Мама, — зовет мать, — ты, — говорит, — посиди тут, а я себе»

гаю в аптеку... Ты не волнуйся,— говорит,— я мигом — одна нога тут, другая там». Всю ночь он бегал то в аптеку за лекарством, то наперегонки с каким-то Рыжиком, то прыгал в высоту, смеялся, плакал. А утром пришел в сознание, хватился — ног нет и захохотал, как безумный... Потом три дня молчал, а на четвертый, утром, посмотрел как-то странно на меня и говорит: «Ты слышишь, как стонет кровать? Это земля от бомбежки качается. Чего же лежишь, у тебя есть ноги, беги скорее на передовую, иначе они всю землю обезножат». И начал кричать на меня...— Кравцов ткнул окурком в стоявшую на столе снарядную гильзу-обрезок, помолчал немного и перевел разговор на другое: — Так, говоришь, не соглашается этот Дробязко в ординарцы?

— Ну мало ли что,— махнул рукой Бугров.— Если каждый будет...— Он прошелся по комнате, соображая, что будет делать каждый, если ему дать волю. Но сказать об этом не успел. На пороге появился ефрейтор Дробязко.

— Вот он,— сказал начальник штаба.— Заходите, подполковник ждет вас.— Бугров подмигнул Кравцову и вышел из комнаты.

На Дробязко были большие кирзовые сапоги, широченные штаны; из-под шапки, которая тоже была великовата, торчали завитушки волос, и весь он показался Кравцову каким-то лохматым, будто пень, обросший мхом. Стоял спокойно и смотрел на подполковника черными глазами.

— Что за обмундирование? — сказал Кравцов, окидывая строгим взглядом с ног до головы солдата.

— Другого не нашлось, товарищ подполковник,— ответил спокойно Дробязко.— Размер мой, сами видите... мал. Советовали умники надеть трофейные сапоги... Послал я этих умников подальше... В своей одежде, товарищ подполковник, чувствуешь себя прочнее.

— Это верно,— проговорил Кравцов, пряча улыбку.— Только пока ты больше похож на пугало, чем на солдата. Ну ладно, это мы устроим. Расскажи-ка о себе. В боях участвовал?

— Бывал...

— Где, когда?

— Морем шел на Керченский полуостров третьего октября прошлого года.

— Десантник?

— Разведчик. Был ранен, лежал в госпитале, в свою часть не мог попасть...

— В ординарцы ко мне пойдешь?

— Нет.

— Это почему? — Кравцов пристально посмотрел на солдата.— А если прикажу?

— Ваше дело, товарищ подполковник. Прикажете — выполню. Только лучше не приказывайте...

— Интересно! — Кравцов помолчал.— Но почему все-таки ты не хочешь? Что за причина?



Николай Иванович Камбулов родился в 1917 году в городе Каменске. В годы Великой Отечественной войны дважды с десантом высаживался в Крыму, сражался в Аджимушкских катакомбах, участвовал в штурме Сапун-горы, боях за освобождение Севастополя, штурме Кенигсберга.

В 1954 году в Военном издательстве вышла его первая книга рассказов «О самом главном», затем повести «Объект особой важности», «Свет в катакомбах», «Подземный гарнизон», роман «Разводящий еще не пришел».

— Нельзя мне служить в ординарцах, — в глазах Дробязко мелькнуло что-то неладное. — Не бойцовское это дело в блиндаже отсиживаться...

«Ах вот оно что... В блиндаже отсиживаться...» — подумал Кравцов, принимая слова солдата в свой адрес и чувствуя, как закипает в душе злость. Захотелось тут же отчитать этого лохматого парня, отругать его последними словами. «В блиндаже отсиживаться...» Мигом в воображении пронеслись приволжские степи. Пламя, треск автоматов, сугробы... Он ведет батальон в атаку, пошел впереди, потому что не мог поступить иначе: до вражеской взлетной площадки несколько десятков метров, надо приободрить бойцов, и он выскочил вперед... Снег рыхлый, чуть не по пояс, бежать трудно, а остановиться уже не мог, — не мог потому, что он командир, тот самый человек, на которого смотрят бойцы, от которого ждут чего-то необычного... И это «необычное» он совершил, они поднялись молча, и уже потом, когда он упал, поле огласилось простуженными голосами: «Впер-е-е-д... А-а-а... Комбат та-ам. А-а-а!» Потом все стихло, будто вместе с ним провалилось в какую-то страшную пропасть. Острая боль в плече, он увидел копошащегося рядом человека, черные петлицы, перекрещенные кости под черепом на мышинном поле шинели... Снова резкая боль в плече, и опять стало темно и глухо... Открыл глаза: немец уходил, уходил во весь рост, будто заговоренный от смерти. Нечеловеческими усилиями отстегнул гранату и бросил ее вслед врагу...

Кравцов потрянул головой, освобождаясь от воспоминаний. Дробязко смотрел на него спокойно, изучающе. «В блиндаже отсиживаться...» Кравцов постучал кулаком в стенку.

— Бугров, зайди...

И к Дробязко:

— Комсомолец?

— Билет имею, товарищ подполковник.

— Билет... — протянул сухо Кравцов, в упор разглядывая солдата.

Дробязко неожиданно заморгал и покосился на вошедшего начальника штаба.

Кравцов сказал Бугрову:

— Оформить, — и торопливо начал одеваться. У порога остановился и добавил: — Обмундирование ему выдать по размеру!

## 2

Сержант Петя Мальцев очень гордился тем, что приходится земляком подполковнику Кравцову. Небольшого роста, с рыжеватым хохолком, торчащим из-под новенькой пилотки, он часто повторял: «Мой земляк просил меня держать взвод на спусковом крючке». Когда полк вывели во второй эшелон и стало известно о гибели лейтенанта Сурина и после того как отправили в госпиталь двух командиров отделений, получивших пулевые ранения в боях за взятие старого Турецкого вала, Петя Мальцев оказался в разведвзводе старшим по чину, и Кравцов поручил ему временно командовать взводом. Это поручение Петя тоже воспринял по-своему: «Мой землячок попросил: покрутись тут за командира взвода день-другой, пока не подберем для вас офицера».

Разведвзвод разместился в ветхом, полуразрушенном сараюшке. Мальцев приказал выбросить сохранившиеся от мирного времени кормушки, вход завесить брезентом и на дверях написать: «Вытирай ноги», — жирная крымская грязь пудами нависала на сапоги, а Пете хотелось, чтобы в помещении, где пахло сухой соломой, было чисто, хотя бы до первого прихода сюда подполковника Кравцова. Он покрикивал на разведчиков, которые не замечали надписи на притолоке, переступали порог с тяжелыми комьями грязи на ногах. Особенно неаккуратно вел себя

кудлатый, с широким лицом Родион Рубахин, или, как он называл себя, Родион Сидорович.

— Ты что, слепой?! Так могу очки прописать. Или неграмотный? Видишь, что написано! — Мальцев показывал на притолоку.— Читай.

Рубахин в растяжку отвечал:

— Гигиена... Как в пекарне,— и, отбросив полог, тяжело падал на хрустящую солому, снимал пилотку и долго крутил ее на указательном пальце, рассказывая, как вольготно ему жилось в армейской походной пекарне, как Мани, Сони и разные Ксюши — лазоревые цветочки — липли к нему без всяких с его стороны усилий. Как все там шло хорошо, и мог бы до победы дотянуть в этой пекарне, да очкарик, сухонький капитан интендантской службы, однажды вежливо попросил: «Товарищ Рубахин Родион Сидорович, вот вам направление на передовую. А хлеб девушки будут печь. Поезжайте. Вы для любой роты — находка, шестипудовые мешки играючи одной рукой поднимаете». И житье было, Петруха! А в вашем взводе черт те что — ни водки, ни баб. Гигиена...

Мальцев плохо знал Рубахина, тот появился во взводе дней пять назад, и в разведку его пока не посылали: обживался, присматривался. Гибель лейтенанта Сурина Рубахин воспринял по-своему: «И зачем дурень кидался под фрицевскую мину. Соображать надо».

А погиб лейтенант Сурин так: тащил на себе взятого в плен немецкого офицера. Неожиданно фашисты открыли минометный огонь. Пленный начал упираться. Веревку, которой были связаны его ноги, перебило осколком. Немец бросился бежать. Сурин настиг врага. Он мог бы пристрелить его и затем укрыться от огня в траншее, но разве настоящий разведчик пойдет на такое?! Сурина нужен был «язык», а не труп... Вражеская мина накрыла обоих... Произошло это метрах в тридцати от Пети Мальцева, он как раз бежал на помощь командиру взвода.

— Зачем кидался под мину? — повторил Рубахин, ошалело тараща глаза на сержанта.

— Приказ выполнял,— ответил Мальцев,— приказ... И каждый из нас должен так поступать...

— Без соображения? Не-ет, милок, Родион Сидорович не из таких, чтобы пуле голову подставлять,— он порылся в соломе, в его руках блеснула бутылка.— Заарканил вчера в хозвзводе. Где недогляд, там Родион — цап. А ну-ка... — он затажно приложился к горлышку, крикнул: — Ах, в бок те дышло, без соображений нельзя...

Мальцев качнул головой.

— Жалко мне тебя, Рубахин... ничего ты не понимаешь...

— Жалеешь? По какому праву?.. Да я тебя, воробышек, мизинцем могу зашвырнуть в небесную пустоту... Не смей меня жалеть! Понял? — Он поднял бутылку, вытер ладонью горлышко и оттопырил губы, чтобы вновь приложиться.

Петя напряжился, изловчился, и бутылка оказалась в его руках... Рубахин даже растерялся, глупо поморгал глазами, не зная, что предпринять. Потом шагнул к Мальцеву.

— Жонглер! Я ж в пекарне шестипудовыми мешками играл! Уловил?

Дрогнув полог, и в сарай вошла Сукуренко, одетая в стеганые брюки и фуфайку. Маленького роста, с темными волосами, выбившимися из-под ушанки, она остановилась у порога, ожидая, когда на нее обратят внимание. Первым ее заметил Рубахин. Позабыв сразу о Мальцеве, вразвалочку подошел к Марине.

— Вы к нам? — И, не дожидаясь ответа, сказал сержанту: — Петруха, гляди, какого ангела послал нам небесный грешник.

Мальцев, спрятав бутылку в вещмешок, вытер руки о гимнастерку.

— Вам кого, товарищ... девушка?

— Васю Дробязко...

— Это такой лохматый, похожий на цыганенка? — вспомнил Петя. — Вчера приходил во взвод, просился к нам. Да майор Бугров увел его с собой в штаб, сказал, что он сам решит, куда послать ефрейтора Дробязко.

— Да что ты, сержант! Это ж я! — выдвинулся вперед Рубахин, подмигивая Мальцеву. — Ты посмотри: лохматый! — Он тряхнул головой. — И фамилия моя Дробязко. Ангелочек, я тот и есть, кого ищешь, бери меня скорей и тащи хоть на край света. — Он положил тяжелую руку на плечо девушки.

Сукуренко вывернулась, отступила.

Мальцев сказал:

— Ищите Дробязко в штабе полка.

Рубахин наклонился к Сукуренко, что-то шепнул ей на ухо. Она улыбнулась и сделала еще шаг назад, поправляя сползшие на лоб волосы. Рубахин качнул головой в сторону Мальцева.

— Петруха, наш командир, не по чину должность дадена. Сержант!

Рубахин обнял Сукуренко, но какая-то сила рванула его в сторону, и он грохнулся на пол. Еще не соображая, кто его так ловко сшиб, он вскочил, обернулся. Мальцев с открытым от удивления ртом стоял в стороне. Наконец поняв, что это сделал «ангел», Рубахин шагнул к Сукуренко.

— Слушай... Я же шестипудовые мешки одной рукой бросаю. Слушай... — И хохоча обхватил снова Марину за плечи, пытаясь привлечь к себе.

Но опять та же сила подкосила его, и он, теряя равновесие, упал под ноги вошедшему в сарай Кравцову. Подполковник перешагнул через Рубахина.

— Встать! — скомандовал он. — Что здесь происходит?

— Это она его так ловко припечатала, — сдерживая смех, сказал Мальцев.

Кравцов взглянул на Сукуренко.

— Лейтенант, вы здесь?

— Если бы видели, товарищ подполковник, как она его припечатала... — хихикнул Мальцев.

Сукуренко слушала этот разговор, опершись плечом о косяк двери. Она безмятежно покусывала соломинку, словно речь шла совсем не о ней, и как-то неожиданно для себя только сейчас заметил Кравцов, что на ногах у Сукуренко не по размеру огромные кирзовые сапоги, заметил ложку, торчащую за голенищем, большие часы на руке, — заметил и почему-то удивился тому, что не увидел всего этого раньше, когда знакомился и разговаривал в штабе с лейтенантом Сукуренко. В груди у Кравцова шевельнулось что-то непонятное — досада, сожаление, грусть, — и он, позабыв о том, ради чего пришел к разведчикам (надо было распорядиться о порядке учебных тренировок), сказал:

— Идите, лейтенант Сукуренко, вас ждут в штабе.

...Он старался идти впереди, но она не отставала, шагала рядом, а иногда опережала его, мельтеша перед глазами, с руками, засунутыми в карманы брюк. Ему хотелось сказать, чтобы она вынула руки из карманов, что военным это не положено и вообще чтобы не бравировала своим особым положением как женщина. Однако сказать все это он почему-то не мог и сам не знал, что с ним сейчас происходит, в душе злился на себя, ругал, что не может проявить строгость, и все думал, куда бы ее пристроить. «Пошлю командовать хозвзводом», — рассудил наконец Кравцов, закуривая на ходу.

Сукуренко замедлила шаг, и он понял это по-своему:

— Хотите папироску?

— Не курю.

— И то хорошо...

— А что плохо, товарищ подполковник?

Он отвернулся, выпустил изо рта струю дыма.

— Как мальчишка! — сказал он с досадой. — Борьбу затеяли с солдатами... Лей-те-нант!

— Я защищалась...

Он остановился:

— Да вы что, серьезно?.. Рубахина одолели?

— Серьезно. Приставать больше не посмеет... Рубахина вообще надо держать в крепких руках.

— Ну-у, — удивился Кравцов.

— Я его обстругаю...

Кравцов раскатисто засмеялся:

— Он не в вашем подчинении...

Она обидчиво повела плечами, с грустью сказала:

— Не доверите взвод... — И запальчиво: — А я добьюсь своего, добьюсь. Вы не имеете права посылать меня не по назначению. Я разведчик, я окончила специальную школу...

Кравцов не знал, что ответить. Так молча они и вошли во двор, где размещался штаб полка.

Подполковник поднялся по скрипучей лестнице, велел девушке подождать у крыльца.

Возле каменной ограды была отрыта щель. Сукуренко села на бруствер. Пахло сырой землей, слышались оружейные выстрелы. Она задумалась... Напротив возвышалась иссеченная осколками стена. Сукуренко в упор смотрела на нее, но видела совсем другое, далекое — то радостное, то страшное. Прошлое надвигалось с непостижимой быстротой и яркостью, будто кто-то таинственный и всемогущий повесил перед ее глазами экран — и ну показывать кадр за кадром.

Отец... Он только что возвратился оттуда, где проходит государственная граница. Граница — это река, песчаный берег, поросший красноталом, коряги и вербы, растопыренные, уродливые. От отца пахнет новенькой кобурой, португя скрипит. Он спрашивает:

— Ну, как дела, Мариан? — На руки берет, целует, а сам грустный-грустный. Потом к матери обращается: — Не понимаю... Решительно ничего не понимаю!

— Написал бы Акимову. Вместе воевали, он тебя знает.

Акимов очень добрый дядя военный, большой-пребольшой начальник в Москве. Он приезжал на границу, ему все отдавали честь, с папой они схватились бороться, барахтались, потом целовались и все спрашивали друг друга: «А помнишь Царицын?.. А помнишь мост?.. Помнишь, помнишь?..» — только и остались в памяти эти слова.

— Написал и ответ уже получил: «Надеюсь, все кончится благополучно».

Через неделю, ночью, постучали в дверь. Вошли трое. В квартире все перерыли, ощупали. Отец стоял лицом к стене.

— Не напугайте Мариана, — крикнул он.

— Мариан? Какой Мариан? — спросил симпатичный дядя и, подойдя к кровати, сказал:

— Ты кто?

— Девочка.

— А где Мариан?

— Я и есть Мариан. Так зовет меня папа, и все зовут, и дядя Акимов так зовет...

— Черт возьми, — сказал дядя. — Придумают же...

...Солнце, очень жаркое солнце... Оно печет прямо в макушку... Дорога длинная и пыльная. Кони бегут трусцой, гремит привязанное ведро. Из-за поворота выскочила легковая машина, черная, а блестит, как серебро. Кони рванули в сторону, бричка накренилась и сползла в кювет. Остановилась машина. Мать уже поднялась, когда из машины вышел дядя Акимов.

— Ольга! Откуда? — Это он к матери.

Подошел, поздоровался за руку.

— Что случилось?

Милиционер вытянулся перед Акимовым и, заикаясь, еле выговорил:

— Эвакуируем по этапу как семью немецкого шпиона...

Дядя Акимов вздрогнул. Мать горько покачала головой.

— Что ж это делается? Вы же полжизни вместе прошли...

— Я распоряджусь, Ольга. Жить вы будете там, где вам удобно. Мариан-то вырос... Я постараюсь, постараюсь.— Он хотел было сесть в машину, но вдруг повернулся, вынул из нагрудного кармана маленькие часики с цепочкой.— Возьми, Мариан, и будь умницей...

Сел и уехал, быстро, как в сказке: был и нет... только пыль вихрилась на дороге.

Что ж было потом? В Москве, у тетушки, двоюродной сестры отца, остановились: Акимов сдержал свое слово, кое-что сделал. Это мать утверждала, а тетушка раздраженно говорила:

— Еще бы не сделать! Да Леонард честнейшей души человек, зазря его упекли! — И смотрела при этом по сторонам настороженно и пугливо.

Как-то проснулась, позвала мать. В комнату вошла тетушка.

— Ее нет. Ушла, к отцу ушла,— и заплакала.

Мать так и не вернулась.

Тетушка Марианом ее не называла и Мариной не кликала, Марка — и все тут.

— Марка, ты этого нахаленка в квартиру не приводи,— это про Васю Дробязко.— Он же бандит. Ружья мастерит да в казаки-разбойники играет. Не девчачье это дело. Срам один...

Стоит тетушка, скрестив руки на груди, и смотрит на Васю.

— Ты чего это облачился в красноармейскую одежку?

— Иду на фронт, бабушка.

— Брешешь. Таких недомерков не берут...

— Берут.

— Взаправду говоришь?

— Крест на пузе... Вот тут формируется ополченская дивизия, у них даже школа младших командиров имеется. Сунулся я туда — не взяли, говорят: ты уже созрел для фронта. А мне того и надо. Пошел в райвоенкомат. Посмотрели, послушали и определили: Василий Иванович вполне способен бить фашистскую немчуру...

— А чего к нам явился?

— С Марианом проститься.

Прощались на вокзале. Они были одногодки, но он по-мальчишески сетовал: «Ты вот что, Мариан, на Советскую власть не дуйся. Отец твой, конечно, контра, но ты очень правильный человек. А все правильные нонче под ружье идут, на Гитлера. Иди-ка ты, Мариан, к ополченцам, попросись в школу младших командиров — туда и девчонок берут, там много женского полу. Десять классов образования, возьмут. Имеешь значок «ворошиловского стрелка», опять же самбо владеешь — возьмут обязательно».

В школе готовили разведчиков. Она старалась изо всех сил, и ей присвоили звание сержанта. Все уже было позади, часть готовилась к

отправке на фронт, и тут приехал вдруг Акимов. Он обошел строй выпускников, обошел раз, второй и остановился напротив, узнал!..

— Ваша фамилия?

— Сержант Сукуренко.

— С какими оценками окончили школу?

— На отлично,— опередил ее командир ополченческой дивизии.

— Оформить на лейтенанта. И приказ сегодня мне на подпись,— бросил он и — больше ни слова, повернулся, ушел.

Да, она, конечно, боялась все время, что кто-нибудь докопается, в конце концов выявит, чья она дочь... Жила крадучись — еще там, в школедесятилетке, старалась, из кожи лезла вон, чтобы не оступиться, чтобы быть всегда отличницей и этим как бы избежать всяких подозрений; и в ополченческой дивизии тоже рвалась изо всех сил: не вызывать лиш-них вопросов; и в первых боях вела себя не хуже любого мужчины... И хотя ее никто не спрашивал об отце, но она все боялась, вот-вот произнесет кто-то страшные слова: «Оказывается, твой отец...» Потом все за-былось, ополченческую дивизию расформировали, ей дали направление в Крым, в документе указывалось, что целесообразно зачислить в войско-вую разведку... И она успокоилась. А теперь вдруг вновь затревожилась...

Где-то неподалеку началась бомбежка, раскатисто загрели зенитки. Марина вскочила на ноги, увидела на небе серые кляксы, и тотчас же забылись картины прошлой жизни. Она с нетерпением вбежала на крыльцо, постучала в дверь.

Кравцов прошелся по гнущемуся полу крыльца, остановился подле деревянного столбика, в нескольких местах изрезанного осколками, для чего-то сосчитал рваные отметки, сказал:

— Видите, снаряд разорвался рядом,— он показал на воронку,— сто-двадцатимиллиметровый... Ну что ж, придется вас откомандировать в штаб корпуса, нет у меня должностей...

— Я из полка не уйду, товарищ подполковник.

В дверях оказался Бугров.

— Ну как, дозволился Кашеварову? — спросил Кравцов у начальника штаба.

— Генерал разрешил допустить временно, потом, сказал, видно будет...

— Видно будет...— Кравцов закурил.— Да... Вот что, лейтенант Сукуренко, к разведчикам поступает пополнение. Я думаю, вы поможете нам сколотить взвод. Согласны?

— Это приказ? — спросила Сукуренко.

— Да!

— Разрешите выполнять?

— Выполняйте.

Она сбежала с крыльца. Возле ворот у нее соскочил сапог. Не оста-навливаясь, она подхватила его и скрылась за оградой.

Кравцов улыбнулся:

— Невеличка-птичка. А коготок-то у нее остер...

### 3

Мокрая земля холодила живот, чавкала под локтями. Рубахин горбил спину, безжалостно ругая в душе «ангела», шедшего за ним по пятам. Свет луны серебрил балку, сглаживал складки местности, казалось, что вокруг ни одного кустика, ни одного овражка. Между тем Рубахин точно знал, что все это есть, а там, еще ниже, имеется куча хвороста, где спря-тался Мальцев, и он, Рубахин, обязан безошибочно приползти к сер-жанту, приползти без шума, без малейшего шороха, иначе, если он это не сумеет сделать, лейтенант заставит повторить все сначала...



Внизу балки под коленями и локтями еще больше захлюпало. Рубахин грудью коснулся воды, хотел было свернуть в сторону, чтобы миновать лужицу, но не посмел. Сукуренко стояла позади с автоматом, перекинутым за спину. Родион подумал, что она сама скажет, чтобы принял левее, где, вероятно, посуше. Но Сукуренко молчала. Рубахин повернулся к ней, стараясь разглядеть лицо лейтенанта, выше приподнял голову... В синем свете луны блеснули глаза Сукуренко. Она махнула рукой, давая знать, чтобы он полз... Рубахина охватила злость: стоит тут сухонькая, а он, промокший, вдыхает запах лужи. Обучать решила, и ночью нет покоя... Тоже мне Суворов... Еще мгновение, и он бы вскочил на ноги, но тут увидел ее отражение в воде, изогнутое и расплывчатое, а рядом две звезды. Одна из них вдруг сорвалась, покатилась и исчезла в темной глубине земли.

— Обойдем,— прошептала Сукуренко и поползла в сторону так ловко и скоро, что Рубахин на минутку потерял ее из виду.

Над головой что-то пропело. Яркий свет разорвавшегося снаряда выхватил из темноты большой кусок серой мокрой балки, и Рубахин на миг увидел лейтенанта, даже успел определить, что Сукуренко лежит вниз лицом, поджав под себя руки. Гул прокатился и замер где-то в темноте. «Уж не задело ли ее? Может, надо помочь?..» Но Рубахин не поднялся, безотчетно еще плотнее прижался к тухлой и мокрой траве, ползком заспешил к видневшемуся в лунном свете серому комочку...

— Товарищ лейтенант,— робко заговорил он.

Сукуренко тихонько засмеялась и приподняла голову.

— Испугался?

— Ангел... Шла бы ты в медсанроту,— глухо пробасил он.

— Выполняйте задание,— услышал Рубахин и, помедлив с минуту, нехотя пополз к тому месту, где лежал Мальцев. И странно — теперь он не сердился на нее, наоборот, в душе возникла непонятная неловкость. Странное состояние не прошло и тогда, когда Рубахин достиг кучи хвоста, и позже, когда Петя Мальцев, идя с ним рядом, хвалил его за умение ориентироваться ночью на местности, подчеркивая, как это важно для разведчика.

В сараюшке все уже спали. Рубахин, не раздеваясь, лег на свое место. Вскоре он почувствовал под собой что-то твердое, округлое. Пошарил рукой: фляга. В ней было немного водки. Он приложился, выпил. И тут только заметил, что Сукуренко внимательно смотрит на него, сидя в расстегнутой телогрейке возле чуть пригашенного фонаря. Он подошел к железной печке, подбросил дров. Выпитая водка и тепло, идущее от печки, вскоре вернули его в обычное состояние.

— А я испугался, не задело ли вас,— сказал Рубахин, разглядывая свои крупные руки.

Она сняла фуфайку, подсела к печке.

— Я думала о другом: сейчас вскочит и побежит. Тогда заставлю повторить все снова.

— Ангел с виду, а внутри черт...

— Это уж точно,— ответила Марина и, чуть отвернувшись, стащила с себя гимнастерку, осталась в одной белой майке. Рубахин от удивления замер.

— Снимите брюки, я просушу их,— сказала она спокойно.— И сейчас же ложитесь спать...

— Как?.. При в-вас снимать?..

— Снимайте, я отвернусь...

— Шутите, ангел...— Он поднялся.— Это же жизнь,— прошептал Рубахин и шагнул было к ней, но, увидев гимнастерку с лейтенантскими погонями, сразу как-то охладел. Тряхнул кудлатой головой и бухнулся лицом в солому.

Проснулся он в полночь. Фонарь еле светился. Подошел к Сукуренко. Марина лежала, укрывшись с головой шинелью, виднелась только рука, белая, с впадинками на суставах, как у ребенка. Рубахин долго смотрел на эту девичью руку, боясь пошевелиться. Потом погасил фонарь, повесил брюки на полуостывшую печь и лег на свое место.

\* \*  
\*

— Товарищ лейтенант, еще один поступил! Принимайте!

Новенький, с бритой головой и смуглым, как обожженное дерево, лицом, смотрел на Петю Мальцева сверху вниз, будто насмехался: какой ты крохотный, парень. Мальцев с достоинством сказал:

— Сейчас я представлю вас командиру взвода, прошу без вольностей, докладывать по форме...

— Здравствуйте,— сказала Сукуренко, подавая новенькому руку.

Солдат помедлил, потом вытянул вперед свою огромную ладонь, напоминающую закопченный черпак.

— Как ваша фамилия?

— Мир Амин-заде! — вытянулся новенький, слегка обнажая белые зубы. — Таджик я, отес до войны привез в Ялту, определил в школу поваров... Немис оторвал меня от котла, товарищ лейтенант... Биль в горах под Феодоси, мало-мало немис стрелял...

Сукуренко обошла вокруг великана и приказала:

— Ложитесь!.. Ползите по-пластунски!

Амин-заде повалился на мягкий ковер девственно зеленой травы, спросил:

— Куда ползти, товарищ лейтенант?

— Туда и обратно,— показала Сукуренко на насыпь железной дороги.

Он полз, она шла рядом. Потом они спустились в овраг, и она посмотрела, как Амин-заде стреляет из автомата, бросает гранаты. Таджик оказался метким стрелком и гранатометчиком.

— Годишься, Амин-заде! — сказала Сукуренко. — А как со слухом, со зрением?

— Хорошо... немис вижу далеко-далеко. — Он рассказал, как партизанил в горах и какой у него был хороший друг, русский, Алеша, который часто спускался в Ялту и делал в городе «большой неприятность для фашистов» и как однажды не вернулся с задания, и он, Мир Амин-заде, до сих пор не знает, что случилось с Алешей...

После обеда они вновь занимались, и Амин-заде удивлялся, почему командир взвода, с виду такой хрупкий — «сапсем-сапсем девчонка», — не устает, а у него гимнастерка и белье хоть выжимай...

Рубахин сощурил хитро глаз.

— Тебе повезло, парень. Лейтенанту ты понравился.

— Почему так?..

— Смирный ты, работаешь до седьмого пота. Только о мокрых штанах при ней не говори...

— Почему так?

— Снять прикажет.

— Почему так? Смеешься?

— У-гу,— пропел Рубахин.

Вечером, когда гул боя немного утих, Амин-заде подсел к Мальцеву, читавшему возле огонька какую-то книгу. Петя, увидав возле себя новичка, продекламировал:

Небо — как колокол,  
Месяц — язык,  
Мать моя — родина,  
Я — большевик.

— Ты коммунист? — удивился Амин-заде, удивился, потому что слишком молодым, совсем парнишкой казался ему этот сержант Мальцев.

— Нет, не я большевик, Аминь, это так написал Сергей Есенин, мой земляк. Слышал про такого поэта?

Амин-заде не слышал, но он долго раздумывал, как ему ответить, и все же не признался, что не знает поэта Есенина, сказал:

— Читал, только мало-мало помню... Поварскую книгу, большая-большая, знаю от начала и до последней странички.— Он начал рассказывать, как проходил техминимум, как вначале ничего не понимал, а шеф-повар, толстый и лысый Арутюнян, замахивался на него кастрюлей и требовал, чтобы он обязательно поступил в русскую вечернюю школу, иначе он, Амин-заде, окажется вновь в долине Вахша, откуда привез его отец в Крым, к своему другу Арутюняну...

Забегал Дробязко. Он отозвал Петю в сторонку, жарко зашептал на ухо:

— Завтра полк посадят на танки, будем работать самостоятельно... Разведчики, конечно, впереди. Лейтенанту помогай, а то новичков понабрали всяких...

— Не волнуйся, Вася, порядок, как в Рязани,— ответил Петя.

— Приезжал комдив Кашеваров, сказал, что нашим маршрутом интересуется сам товарищ Акимов. Это представитель из Москвы...

— У-у-у,— прогудел Петя.— Значит, скоро Севастополь!

Петя никогда не был в Крыму, и ему за каждым перевалом, грядой и высотой мерещился Севастополь.

Когда Дробязко ушел, Мальцев таинственно спросил новичка:

— Ты мне скажи, Аминь, до Севастополя еще далеко?

— Га-га,— засмеялся солдат,— не Аминь, а Мир Амин-заде. Так мой фамилий правильно. Твой фамилий Мальцев, сапсем маленький.

— Но это для тебя, Мир, я маленький, для фашистов я большой... Я — смерть их, и ты — их смерть! Правильно?

Мир Амин-заде запрокинул голову, сквозь дыру, пробитую в сараюшке, увидел звезды, промолвил:

— Месяц — язык... Я — большевик! Хорошо сказал твой земляк... Сенин...

— Сергей Есенин,— поправил Петя.

Амин-заде похвастался:

— Я тоже знаю товарища Акимова — это большой-большой начальник из Москвы. Он приезжал к нам, партизанам, когда нас распределяли по частям, говорил мне: «Товарищ Мир, какой ты сильный, ты обязательно дойдешь до Берлина... А знаешь, спрашивает, где проходит дорога на Берлин? Через Сапун-гору, через Севастополь». Так сказал мне товарищ Акимов... Сколько бы километров до Севастополя ни было, Петя, мимо этого города не пройдем, нельзя, сапсем нельзя миновать...

#### 4

В боевых порядках отступающих гитлеровцев к полудню что-то надломилось. Потом, когда Кравцов со своим полком вошел в горы, выяснилось: центральный узел железных дорог в степной части Крыма взят советскими войсками, наступающими со стороны Перекопа. Темп продвижения полка невероятно возрос, подскочил, как ртутный столбик в знойный полдень, и не снижался в течение нескольких дней.

...Позади осталась Ялта... Генерал Кашеваров по радио предупредил Кравцова: за горными пастбищами немцы намерены приостановить наше наступление, будьте готовы к встречному бою. Кравцову очень хотелось

овладеть промежуточным рубежом противника с ходу, но он знал, что промежуточный рубеж — это крупный населенный пункт, и чтобы взять его в кратчайшее время, надо знать о противнике все. Впереди полка на танках шли разведчики. Кравцов связался с Сукуренко и приказал: «Необходимо иметь «карты», собирайте «карты», изучайте стол для игры»... Он знал — она поймет его, потому что другой задачи у разведчиков нет, они глаза и уши полка, они должны подготовить данные о тех, с кем завтра полк встретится лицом к лицу... Кравцов наметил место для своего наблюдательного пункта, там предполагалось развернуть полк, он поторопил танкистов.

Дробязко, сидевший на броне вместе с десятью чумазыми десанниками, начал беспокоиться: куда подполковник рвется, так можно напороться на вражеский заслон: впереди только Сукуренко со своими разведчиками. Вася хотел было постучать прикладом и предупредить командира, но тут неожиданно открылся люк: перед самым лицом Дробязко выросла голова Кравцова. Подполковник оглядел окружающую местность — голые песчаные холмы, низины, поросшие кустарником и уже успевшие зазеленеть, — подмигнул ординарцу:

— Шибко немец драпает, Василий Иванович.

Дробязко не сдержался.

— Так можно напороться на засаду — впереди одни разведчики.

Кравцов знал, что это далеко не так, что справа и слева полка долинами наступают другие полки и что они даже несколько опередили его и теперь, наверно, уже прицелились на окопавшегося врага, и он, Кравцов, обязан поддержать их.

— Не волнуйся, Василий Иванович, — Кравцов вновь скрылся в танке.

Еще целый час они двигались без остановки. Потом Кравцов велел механику-водителю свернуть с дороги. Танк остановился в укрытии, в придорожном кустарнике. Десантники соскочили с брони, начали окапываться. Вскоре подошел головной отряд, полк развернулся по фронту, оседлал рыжие холмы, чтобы завтра с разбегу ударить и вновь гнать врага... Танкисты увели машины для заправки горючим. Наступила непривычная для минувшего дня тишина, все спешили использовать эту паузу для своих очень срочных дел. Дробязко вместе с саперами принялся благоустраивать маленькую избушку пастухов под жилище и НП командира полка. Он очистил ее от хлама, подмел, натаскал травы, устроил нары.

Отправив солдат-саперов во взвод, Дробязко решил опробовать постель: хорошо ли отдохнет уставший командир. Он лег с папиросой в руках: хорошо! Кум королю, сват министру! Глаза его сомкнулись, и он уснул мгновенно, лишь рука с погасшей самокруткой, свисавшая с постели, чуть дрожала, как бы ища, за что ухватиться...

Дробязко проснулся от смеха, который ему показался свистом падающей бомбы. Перед ним стояли три человека. Он протер глаза и, еще не соображая, кто перед ним, вскочил и вытянулся перед Кравцовым. Приземистый крепыш в кожаной тужурке, стоявший неподалеку от Кравцова, рассмеялся:

— Ну и ординарец у тебя, Кравцов! Спящим узнает своего командира. Из каких мест, товарищ?

— Москвич я, — ответил Дробязко, взглядываясь в лицо крепыша: оно показалось ему знакомым, даже очень знакомым.

— Москвич? Да не может быть! — воскликнул человек в кожанке и с веселой хитринкой подмигнул: — Вот и не верю. Москвичи не устают, — снял фуражку, обнажая седую голову.

Дробязко покосился на Кравцова, сказал:

— Три ночи подряд на танке, уснешь и на ходу...

— Да-а! — протянул седовласый и забеспокоился: — Отдыхайте, товарищ. Пусть поспит,— сказал он Кравцову,— нам не помешает,— и повернулся к высокому человеку, стоявшему возле входа, в котором Дробязко сразу узнал командира дивизии генерала Кашеварова: он видел его перед наступлением, когда вместе с Кравцовым был в штабе дивизии. «И кто же этот в кожанке? — продолжал думать Дробязко.— По обращению повыше комдива... А я-то расслабил подпруги, уснул, разнесчастная эта постель убаюкала...»

Через некоторое время Дробязко из разговора понял, что седовласый в кожаной тужурке действительно главнее комдива, что фамилия его Акимов, и он вдруг вспомнил, что много раз видел портрет этого человека в книгах и календарях. А еще из разговоров Дробязко узнал, что в Москве торопят быстрее очистить Крым от немцев и что впереди, недалеко от Севастополя, на какой-то Сапун-горе, гитлеровцы создают крепость — сплошную многоярусную линию из железобетонных укреплений, и что Гитлер приказал какому-то генералу Енеке закрыть этой крепостью ворота на Балканский полуостров, лишить русских возможности использовать Черное море.

Когда, по-видимому, все было переговорено, Акимов, сворачивая карту и кладя ее в сумку, встретился взглядом с Дробязко.

— Что же не спишь? — сказал он.

— Ординарцы не спят,— вскочил Дробязко.

Акимов улыбнулся.

— Молодец москвич! Чай можешь организовать? — И к комдиву: — Петр Кузьмич, ты не против закусить?

Кашеваров подозвал к себе Дробязко, показал рукой в окошко:

— Видишь, стоит бронемашина? — сказал он.— Там мой Сергеев, пусть принесет поесть.

— Петр Кузьмич, я забыл, отставить,— вдруг перерешил Акимов.— Времечка в обрез, меня ждут переговоры с Москвой.

Вместе с ними вышел и Дробязко. Кашеваров на ходу еще раз напомнил Кравцову о том, что утром, в девять ноль-ноль, дивизия атакует немцев и что Кравцов обязан к полуночи иметь необходимые сведения о противнике на своем участке, чтобы не попасть впросак и не подвести соседние части.

— Свяжите меня с начальником штаба,— сказал Кашеваров связисту, сидевшему в броневике. Ему подали микрофон. Он откашлялся, сбил на затылок фуражку. Щелкнул переключатель.— Говорит ноль-два,— начал Кашеваров.

Язык кода был непонятен Дробязко, и он с любопытством рассматривал ординарца комдива Сергеева, заметил на груди у него нашивки о ранении. По их цвету определил, что лейтенант имел одно тяжелое ранение и одну контузию.

Неподалеку полыхнул снап огня. Над головами пропели осколки. Акимов прислонился к бронев автомашине. Дробязко про себя сказал: «Да уезжайте вы быстрее отсюда!» и переглянулся с Кравцовым.

Акимов, видимо, понял их и, когда в воздухе пропело еще несколько снарядов, достал из кармана трубку, начал не торопясь набивать ее табаком.

— Ай-Петри позади, на очереди Сапун-гора,— сказал он.— Обойти ее нельзя. Значит — только штурм. А как вы думаете, товарищ подполковник?

Кравцов был занят мыслью о лейтенанте Сукуренко. Справится ли она с поставленной перед взводом задачей, сможет ли собрать данные о противнике, ведь ей, девушке, трудно управлять разведчиками. Он был доволен ее работой, но все же в душе таилось желание при первой возможности поставить на взвод хорошего парня, а Сукуренко пристроить в

штабе. Кравцов собирался сейчас посоветоваться по этому вопросу с Кашеваровым. Он не успел ответить Акимову — тот продолжил:

— Вам брат Севастополь, вам, а не мне и не ему... Мы с Петром Кузьмичом для атак уже устарели... Ваше мнение для нас очень ценно. Можете возразить: операция, мол, спланирована. Да, да, это верно, раз-работана, рассчитана... И все же размыслить надо. Штурм — дело нелегкое, прямо скажу — крови прольем много. Но как по-другому взять Севастополь? С моря? Черноморский флот слаб, еще не окреп, а время не ждет. Как же?

— Только с суши,— сказал Кравцов, сетуя в душе на то, что упустил момент доложить Кашеварову о Сукуренко.

— Вот-вот,— подхватил Акимов.— Это значит, надо готовиться к штурму Сапун-горы, не теряя ни минуты. Об этом мы еще поговорим, посоветуемся. Так, что ли, Петр Кузьмич?

— Так, товарищ Акимов, именно так.

Комдив захлопнул дверцу. Броневи́к поднатужился, фыркнул и вскоре скрылся в горах.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### 1

Пальба, грохот... Дни и ночи...

Фон Штейцу порою не верилось, что огонь ведут люди, стоящие у орудий и минометов. Ведь люди не могут не устать. А тут — сыплет и сыплет... Многоорукая, беспощадная машина войны. Фон Штейц открыл термос: несколько глотков спирта. Выпил и швырнул посудину под ноги генералу Радеску. На посиневшем мясистом лице генерала заходили желваки. «Ну и что?» — хотелось крикнуть фон Штейцу, но он лишь вздернул плечами и закрыл глаза. Кольцо русских, охватившее армию Паулюса,— фон Штейц вообразил это так точно и живо, что на миг показалось, будто кто-то душит его.

Радеску спокойно поднял термос, поставил на стол, затем, глядя сумрачно в амбразуру, сказал, что танки генерала Гота, посланные деблокировать Шестую армию, видимо, не прорвутся и что он, фон Штейц, едва ли сможет выбраться из этого блиндажа: еще день — и аэродром будет занят советскими войсками, и самому ему, генералу Радеску, придется пустить себе пулю в лоб, ибо его, как коменданта аэродрома, все равно расстреляют потом...

— Кто расстреляет?

— Вы, фон Штейц,— сказал Радеску, отстегивая от поясного ремня флягу.— Пейте, это последнее...

— Вы собираетесь стреляться? — усмехнулся фон Штейц и быстро опрокинул флягу в рот.— Не советую! Фюрер ценит вашу преданность. Скоро он по всей России создаст мощные крепости, русские тогда не сдвинут нас с места. Крепостная оборона! Вот что теперь нам требуется... Выпейте...

Радеску налил в колпачок. Спирт обжег горло, и генерал закашлялся. Успокоившись, он покачал головой:

— Когда-то я слушал лекции генерала Енеке, кажется, в то время он возглавлял у вас штаб крепостного строительства?..

— Генерал Енеке еще скажет свое слово,— перебил его фон Штейц.— Фюрер высоко ценит талант Енеке... Вообразите! — продолжал фон Штейц возбужденно.— Наши войска удерживают всю Европейскую часть России, они — во Франции, они — в Италии, в Норвегии, Финляндии, в

Африке, на Балканах! Черт возьми, мы будем и в Англии, и в Америке... Вы поняли?

Конечно, генерал Радеску все это хорошо понимал, но кто объяснит ему, что происходит здесь, на прибрежных равнинах Волги и Дона? Кто ответит на вопрос: гибель армии Паулюса не есть ли удар по ногам, на которых еще стоит Германия? Припомнилось, как однажды маршал Анто-неску сказал, напутствуя своих генералов: «Отборная армия генерал-полковника Паулюса — это те самые ноги, на которых фюрер перешагнет Волгу!» Не перешагнул...

— Нам нужна передышка,— размышлял фон Штейц,— маленькая передышка, и тогда...— он не договорил, что произойдет тогда: в блиндаж вошел адъютант генерала Радеску, закутанный в какое-то запорошенное снегом тряпье, с огромными валенками на ногах.

— Господин генерал! — сильным голосом произнес он.— Русские продвигаются к посадочной площадке!

Радеску взглянул на фон Штейца, потом устремил глаза на адъютанта, разглядывая его с ног до головы. Потом резко встал.

— Пойдемте, фон Штейц, я провожу вас к самолету,— генерал толкнул дверь, и холодная, колючая поземка резанула его по лицу.

...Они шли ложиной. Их сопровождали десять автоматчиков, десять теней, едва передвигавшихся по глубокому снегу. Огни разрывов зловеще освещали степь, уже теряющуюся в вечерних сумерках. До взлетной полосы оставалось не больше километра, когда фон Штейц схватил Радеску за руки и показал на холм: там мелькали расплывчатые черные точки. Радеску понял — это движется цепь русских, и, похоже, что они намереваются отсечь им путь к площадке. Он подал команду автоматчикам. Завязалась перестрелка. Фон Штейц, прижимая портфель к груди, рванулся вперед. Потом, когда треск автоматных очередей над головой стал невыносим, упал в снег и пополз, не выпуская из рук портфеля.

Сколько времени он полз — трудно сказать. Прямо перед ним, преграждая путь, лежал человек, одетый в полушубок. Фон Штейц догадался: русский. Вытащил из кобуры пистолет, но человек лежал недвижимо. «Убит»,— решил фон Штейц. Он еще никогда в открытом бою вот так близко, лицом к лицу, не встречался с русскими... Его вызвали в Ставку Гитлера, чтобы он доложил обстановку в районе «кольца». Фон Штейц подумал, что любой документ о русских был бы ему сейчас очень кстати. Осмелев, мигнул карманным фонариком по поганам убитого: майор Красной Армии, полушубок расстегнут, там документы... Треск автоматов с новой силой обрушился на голову. Совсем рядом, справа, он увидел генерала Радеску, тот шагал, утопая в снегу, и что-то кричал. Фон Штейц вскочил и побежал к генералу, но тут майор в тулупе застонал и приподнял голову, в правой его руке блеснула граната. Фон Штейца стегануло по ногам пучком железных прутьев так больно, что он, пробежав несколько шагов, потерял равновесие и присел, попытался встать — и снова упал. Потом почувствовал, что его волокут по снегу...

Гул авиационного двигателя пробудил сознание: люди метались вокруг самолета, злобно крича друг на друга и стреляя куда-то из автоматов и пистолетов. Сгорбившись, неподвижно стоял чуть поодаль генерал Радеску, неотрывно смотрел, как механик втягивает в люк стремянку. В руках у генерала был портфель. Неожиданно рядом с механиком возникло лицо фон Штейца.

— Мой портфель! — крикнул он резко.

Генерал Радеску вздрогнул, кто-то из автоматчиков взял из его рук портфель, подошел к самолету и ловким броском швырнул в черный проем люка.

На второй или третий день после прибытия в имперский госпиталь фон Штейц позвал хирурга. Пришел лысый кругляш, снял пухлой белой рукой пенсне, спросил вежливо:

— Вам лучше?

— Я не об этом. Мне нужно знать, сколько извлекли осколков?

— Двенадцать...

— Принесите их.

— Хайль Гитлер! — сказал доктор и вышел из палаты.

Фон Штейц закрыл глаза. В который раз перед ним возникла все та же картина — район окружения, снега, трупы замерзших солдат, немолчный гул адской машины... Ему стало не по себе, даже озноб прокатился по всему телу...

Открылась дверь, вошел хирург, держа в руках металлическую коробочку.

— Вот они, — сказал врач и начал считать синеватые ребристые осколки. — Ровно двенадцать...

— Так... оставьте их мне, теперь будет тринадцать... — Фон Штейц отвернул подушку, достал кожаный футлярчик и извлек из него крупный, размером в голубиное яйцо, осколок. — Отцовское завещание, двадцать лет храню...

Доктор передал фон Штейцу коробочку, скрестил на груди руки.

— Когда я оперировал вас, вы звали какую-то Марту...

— Это жена...

— Я так и подумал. У нас в госпитале тоже есть Марта, хирургическая сестра. Хорошая девушка, смелая.

— Марта?

— Да, Марта...

— Позовите.

Марта оказалась белокурой, высокой немкой с пронзительно синими глазами. Фон Штейц лежал в отдельной палате, и теперь она часто приходила к нему. Они вели разговоры о войне, о том, что происходит под Сталинградом. Глаза Марты горели, когда она называла имена офицеров, отличившихся в боях, по ее мнению, генерал-полковник Паулюс обязательно разгромит скоро Красную Армию и пойдет дальше, к Уралу, где лежат разные богатства — золото, бриллианты, жаль только, что она, Марта, не там, не с армией Паулюса, этого храбрейшего полководца... Фон Штейц смотрел на ее хорошенькое личико со вздернутым носиком и думал о своих ранах, о том, сумеет ли он, как говорит хирург, через месяц-два встать на ноги. Ему хотелось спросить об этом Марту, но он только проводил языком по сухим бескровным губам и ничего не говорил. Марта продолжала щебетать, чуть картавя и растягивая слова. Оказывается, ее старший брат, Пауль Зибель, сражается там, в Сталинграде, она очень любит Пауля и убеждена, что он обязательно возвратится домой целым и невредимым, потому что Пауль окончил военное училище и знает, как вести себя на фронте.

— Вы его не встречали? Он такой смешной, все время играет на губной гармошке...

— Видел, видел... — ответил он. — Лейтенант...

— Вот молодец! — всплеснула руками Марта. — Нельзя ли похлопотать, чтобы его отпустили в отпуск? Я так соскучилась...

— Нет, нельзя, Марта... Оттуда не отпускают.

Она вздернула плечиками.

— Почему? Стоит только вам захотеть... Я знаю, кто вы! — Она поднялась, вытянула вперед руку. — Хайль Гитлер! — И, резко повернувшись, направилась к двери.



— Пойдите... Откуда вы знаете, кто я? — остановил ее фон Штейц.

— Полковник фон Штейц, личный порученец фюрера...— Она пристально посмотрела ему в глаза и вышла из палаты.

«Да ты и правда чертенок, Марта,— подумал фон Штейц.— Боевая и красивая немецкая девушка».

Когда Марта вернулась, фон Штейц рассматривал удостоверение личности майора Кравцова Андрея Петровича.

— Что это? — спросила Марта.

Фон Штейц закурил и, показывая на фотографию в удостоверении, сказал:

— Этот человек, Марта, ранил меня. Это русский майор.

Она удивилась.

— Русский майор вас ранил? — И рассмеялась.— Шутите, полковник.

Фон Штейц нахмурился: да, вот когда-то и он, фон Штейц, так думал. Красные варвары! Что они умеют, разве они могут по-настоящему воевать?.. Но Сталинград... мой бог, это же настоящий ад! Марта не знает этого, и очень хорошо, и вообще здесь, в Германии, мало кто имеет понятие об этом, разве лишь инвалиды... Он открыл коробочку с осколками...

— Вот они... Двенадцать штук... А этот, тринадцатый, отцовский. Тринадцать надо умножить на сто.— Фон Штейц сам не знал, почему именно на сто, но он минувшей ночью поклялся именно в таком соотношении отомстить за себя и за своего отца, старого кайзеровского генерала.— Я увезу эти кусочки на фронт и буду считать... за один — сто смертей.

Застывшим тяжелым взглядом фон Штейц смотрел на коробочку, в которой лежали осколки.

Марта забеспокоилась:

— Вам плохо?

— Нет, нет.— Он заставил себя улыбнуться, захлопнул коробочку и положил ее под подушку.— Марта, у меня есть просьба. Ты Потсдам знаешь хорошо?

— Знаю, господин полковник.

Он о чем-то подумал, со вздохом сказал:

— Меня зовут Эрхард... А знаешь, сколько мне лет? Двадцать восемь... Эрхард... и никакого полковника. Поняла?

Она улыбнулась, улыбнулась потому, что еще раньше знала, сколько ему лет и как его зовут. Еще в тот день, когда его только внесли в операционную, он ей понравился, понравился тем, что он «оттуда», с берегов русской Волги, понравился тем, что не стонал, как другие раненые, и, наконец, тем, что был доверенным Гитлера. «Герой, герой... Любимец самого фюрера!» Когда-то, еще будучи девочкой, она мечтала увидеть живого фюрера, вождя нации, но такого случая не представилось, фюрер ни разу не появился на окраине Потсдама, и было обидно. И вот теперь она сидит с человеком, который не раз и не два, а много раз встречался с вождем нации. Такое счастье выпадает не каждой немецкой девушке. Марта встала навтыжку перед фон Штейцем.

— Хайль Гитлер! — крикнула она.

— Хайль,— ответил фон Штейц.— Слушай, что я тебе скажу... Ты завтра поедешь в Потсдам... Дом три на Гейнештрассе — это мой. Я хочу, чтобы именно ты поехала. У меня там мать, отец и жена, тоже Марта... Это странно, но моя жена очень похожа на тебя...— Фон Штейц говорил неправду: его Марта была полной и с некрасивым, даже неприятным лицом, но он любил ее.— В дом не заходи, узнай у соседей, как они там... Потом я напишу, чтобы приехали сюда. Поняла?

— Поняла, господин полковник...

— Эрхард,— поправил фон Штейц, беря Марту за руку.

«Святой Иисус и пресвятая Мария, какое счастье!» — восторгалась Марта подвернувшейся возможностью навестить своих родственников в Потсдаме. Машина мчалась с бешеной скоростью. Водитель, угрюмый детина с крупным лицом и огромными ручищами, упорно молчал. Марта уже дважды пыталась с ним заговорить: ей не терпелось похвастать своим знакомством с фон Штейцем, но тот в ответ лишь покачивал головой да криво улыбался, посасывая свою бесконечную сигарету. Не добившись от него ни слова, Марта снова и снова предавалась воображению, как подъедет к своему домику, хлопнет дверцей и крикнет, чтобы все соседи услышали: «Вот и я, дорогая Mutti!» Она хотела, чтобы в это время семья была в сборе — мать, отец и ее маленький брат. О-о! Как они обрадуются: приехала их взбалмошная Марта! И все сразу и потом каждый порознь будут восхищаться ее военной формой и тем, что она работает в центральном имперском госпитале и что присматривает за фон Штейцем, который много раз встречался и разговаривал с фюрером, и побывал в самом Сталинграде, и даже видел там Пауля. Она все им расскажет, ни о чем не умолчит. Пусть узнают, как он красив, этот истинный ариец!.. Только настоящий немец может так терпеливо вести себя на операционном столе и с таким гневом и с такой точностью подсчитывать, сколько он убьет русских за каждый осколок от гранаты большевистского майора Кравцова. Уж она-то сумеет внушить Гансу, с кого следует брать пример, готовясь стать солдатом. А Ганс давно мечтает о военной карьере, ему уже шестнадцать лет, и он великолепно стреляет из пистолета, ввязывается в любую драку и бьет своего противника в нос, чтобы пустить кровь...

В километре от Потсдама водитель вдруг остановил машину и буркнул хмуро:

— Они опять бомбят! — Он хлопнул дверцей, грузно перепрыгнул через канаву и скрылся в придорожном лесу.

Марта была поражена трусостью шофера и, чтобы пристыдить парня, осталась возле машины. Самолеты бомбили с большой высоты. Их было очень много, она досчитала до тридцати и почему-то заплакала. Дробно хлопали зенитные орудия, тяжело, с надсадным кряканьем рвались бомбы. Под ногами шаталась земля. А Марта все стояла, запрокинув голову, и ждала — вот-вот запыхают и начнут падать самолеты врага; она ни на минуту не сомневалась, что русские не уйдут безнаказанно, зенитчики пока приспособляются, но вот еще несколько секунд, и они прочтат этих варваров, посмевших прилететь в самый центр Германии. Самолеты, однако, не падали, да и трудно было заметить что-либо — серые облачки зенитных разрывов, огромные клубы пыли и гари смешались, образуя сплошную чудовищную тучу. Туча эта дико гудела и грохотала.

Бомбежка длилась около часа. Она угасла внезапно. Наступила могильная тишина. Пыль оседала. На небе появились просветы. Марта почувствовала острый запах гари. Она вытерла слезы и увидела над городом шевелящиеся снопы огней, толстые и кудрявые, с черными оттенками.

Подшел шофер. Он осмотрел машину, бросил Марте:

— Садитесь. Куда ехать?

Марта села на заднее сиденье, сжалась в комочек, ответила:

— Сначала к моим родителям, потом на Гейнештрассе, три...

...Не было ни ворот, ни двора, ни дома... Была груда камней, еще горящих и дымящихся. Подошли какие-то люди. По их разговору Марта определила, что это команда по расчистке развалин. Однорукий майор с железным крестом на груди сворсил ее:

— Ты кто будешь?

— Порученец полковника фон Штейца! — сказала Марта.

Майор посмотрел на шофера. Парень в подтверждение кивнул головой. Однорукий лихо выкрикнул:

— Хайль!

Марта направилась к лимузину. Лицо у нее было серое, а глаза сухие.

— Гейнештрассе, — сказала она.

Дом фон Штейцев был оцеплен нарядом солдат. У ворот стояла карета скорой помощи. Марту не пустили во двор. Она начала кричать, требуя впустить ее, но один дюжий эсэсовец толкнул ее в грудь. Марта упала на спину и начала биться в истерике, теряя сознание...

Она пришла в себя в машине. Шофер остановил лимузин, повернулся к ней:

— Выпей... Помогает. — Он достал откуда-то бутылку, налил в эбонитовый стаканчик.

Ей стало легче, и она спросила:

— Что же я скажу полковнику?

— Жена погибла, старый генерал покалечен, едва ли выживет, — вздохнул шофер.

Они ехали молча. Потом парень сказал:

— Это была вторая бомбежка. При первой погиб мой отец...

Марта вскрикнула:

— И ты так спокойно говоришь! Всех надо уничтожить, всех, всех — и русских, и американцев, и англичан. Фюрер так и сделает!

Вдоль дороги тянулся лес, хвойный, живой лес, посеребренный слегка снежком... Выпал он три дня назад, а завтра, наверное, растает... и даже следа от него не останется. Марта любила снег, и ей вдруг стало жалко, что завтра не будет вот этих белых пушинок. Она открыла окно и начала вдыхать свежий, сыроватый воздух. Вдыхала до тех пор, пока не уснула.

Лимузин легко катился по шоссе. Марта спала крепким сном. Ей снилась зима, брат Пауль со снежками в руках и отец, пришедший с работы. От отца пахло машинным маслом и металлической стружкой. Потом Пауль запустил в нее снежком. Он разбил окно. Ганс крикнул: «Вот это выстрел!»

Она проснулась и сразу увидела ворота госпиталя.

### 3

Фон Штейц готовился выехать в ставку Гитлера. Он лежал на кровати и рисовал в воображении встречу с фюрером... Вот он, фон Штейц, в сопровождении охраны входит в кабинет. Официальные приветствия. Гитлер, высокий, прямой, жмет ему руку, улыбается, поправляя сползшую на лоб челку, ту самую челку, какую теперь носят многие офицеры, фельдфебели и ефрейторы, подражая вождю нации. Фон Штейц тоже пробовал завести себе такую прическу, но светлые сухие волосы рассыпались, и, как он ни старался, ничего не получилось, а усики, которые он отпустил, пришлось сбрить, ибо они топорщились рыжей колючей нашлепкой и безобразили лицо...

К отъезду было подготовлено все — и новый мундир, и ордена, начищенные до блеска, и костыли, изготовленные по особому заказу. Раны на ногах еще давали себя знать, но там, в Ставке, как бы ни было ему больно, он будет стоять перед фюрером гордо и прямо. На это у него хватит сил и терпения...

— Хайль Гитлер! — Это вошла Марта.

— Хайль! — ответил фон Штейц.

Он попробовал сесть, но острая боль заставила его опереться локтями

о подушки. Марта приставила к кровати деревянный подгрузник, и он удобно повис на нем, слегка касаясь ногами пола. Начались тренировки. Фон Штейц переместился к окну, затем ему захотелось взять костыли, пройтись по комнате. Он проделал это с завидной быстротой и ловкостью и остался доволен тренировкой. Марта сказала:

— Эрхард, хорошо...

Фон Штейц вытер платком пот и посмотрел пристально на Марту... Что-то изменилось в лице этой девушки. Он заметил это, как только Марта возвратилась из Потсдама. Он спросил ее тогда: «Ну что?» — «Ничего. Я попала под бомбежку, в город не пустили». С тех пор прошло много дней. Фон Штейц написал три письма и передал их Марте. Жена не отвечала.

— Марта, ты что-то скрываешь от меня? — спросил он.

— Ничего не скрываю.

— Посмотри мне в лицо.

Она подошла к нему вплотную. Фон Штейц взял ее за голову, наклонил к себе и увидел в ее волосах седые нити... Но он не сказал ей об этом. Лег на кровать, закрыл глаза.

— Начальник госпиталя вчера сказал мне, что моя семья погибла... Ты знала об этом?

Марта молчала.

— Ты знала? — повторил фон Штейц.

— Кое-что, Эрхард. Я не хотела тебя беспокоить...

Он поднял голову, взгляд его был сухой.

— Сентиментальность! — крикнул фон Штейц. — Вырви жалость. Немцам она не нужна... Поддай костыли...

Он неуклюже повис на костылях и поскакал по комнате. И оттого, что он так мужественно переносит свою боль — она знала, ему больно, — сердце ее охватил восторг.

— Эрхард, — сказала Марта, — Эрхард, я не сентиментальна. Ты знаешь, — она хотела рассказать ему все: как перенесла бомбежку, смерть отца, матери, брата, — ее ли упрекать в какой-то жалости?! Но он не дослушал ее. Измученный болью и весь взмокший от пота, фон Штейц добрался до кровати, и она уложила его в постель.

— Эрхард!..

— Я все понимаю... — Опять он помешал ей говорить. — И ценю вашу преданность... Идите, Марта, я хочу поразмыслить наедине... Идите, Марта...

\* \*  
\*

Где-то, видимо, на полпути в Ставку, сопровождавшие фон Штейца офицеры из личной охраны фюрера завязали ему глаза. Самолет шел ровно, без качки. Руки фон Штейца лежали на костылях: немного было обидно за эту повязку, «будто пленного везут», — подумал он. И только сознание, что подобная осторожность вызвана интересами безопасности фюрера, несколько успокоила его. Он начал считать про себя — так быстрее пройдет время... «Две тысячи триста сорок два», — самолет все продолжал лететь по прямой. «Три тысячи шестьсот двадцать...», — самолет накренился, и фон Штейц понял, что они идут на посадку. Толчок о землю.

— Господа, снимите повязку, — сказал фон Штейц.

Ему не ответили, молча взяли под руки, чей-то голос предупреждал у трапа об осторожности, потом, уже на земле, кто-то сказал: «Садитесь в машину, вот поручни, держитесь». Он ухватился за что-то гладкое и повис на руках, боясь опуститься на сиденье... Но его все же усадили, и фон Штейц, покусывая губы, покорился.

Машина остановилась. Повязку сняли. Он увидел солнце и, ослепленный, зажмурился, потом снова открыл глаза: перед ним стоял генерал-полковник. Фон Штейц напряг память и вспомнил: это Эйцлер, советник фюрера, с которым не раз приходилось встречаться раньше. Фон Штейц вытянулся, насколько позволяла боль, выбросил вперед руку:

— Хайль Гитлер!

— Хайль! — ответил Эйцлер. — Вас ждет фюрер. Вы в состоянии доложить о положении войск в кольце?.. Он требует, чтобы вы лично доложили.

— Да, господин генерал-полковник, мне уже значительно лучше...

— Пойдемте. — Эйцлер повернулся и, держа руки в карманах кожаного пальто, медленно направился по дорожке, покрытой асфальтом.

Фон Штейц оперся на костыли и выбросил тело вперед — раз, другой, третий... От боли зазвенело в ушах, а шагавший впереди Эйцлер вдруг как-то странно начал обволакиваться туманом. Фон Штейц догадался — это кружится голова, еще одно движение, и он может упасть. Неимоверным усилием воли он поборол слабость и сделал еще несколько движений, похожих на прыжки подбитого животного.

Эйцлер помог фон Штейцу спуститься по ступенькам в подземелье.

— Очень нужен, очень нужен, — сказал генерал-полковник в своем кабинете, показывая на кресло.

Фон Штейц сел, облокотившись с облегчением на мягкие поручни. Дьявольская усталость сменилась желанием уснуть. Это была минутная слабость. Перед ним стоял известный советник фюрера, и он не мог даже вида подать, что ему хочется спать, и что дорога утомила его, и что вообще ему сейчас лучше бы уклониться от встреч и разговоров.

Эйцлер нажал на черную кнопку в стене. С легким шумом раздвинулись черные шторы, и фон Штейц увидел перед собой огромную, во всю ширь стены, оперативную карту расположения войск Шестой армии Паулюса, знакомые названия улиц города, пригородных поселков, высот и равнин. Кольцо окружения было обозначено пунктиром, жирным, как след тяжелого танка. На юге, там, где намечался прорыв генерала Гота, синяя дуга прорыва почему-то была повернута уже не в сторону кольца, а к юго-западу, в сторону Сальска, вершина ее почти касалась этого степного города. «Значит, танки повернули назад», — с тревогой отметил фон Штейц.

Эйцлер стоял чуть согбенный и курил сигарету. План захвата волжского города — это его детище. Начиная битву за Сталинград, он верил в ее победный исход и уже представлял, какой славой окружит свое имя, когда войска фюрера разрубят Волгу и отсекут бакинскую нефть. Теперь ему стало ясно другое: планы рухнули, рухнули окончательно... Спасти Шестую армию невозможно: он, Эйцлер, понимает это лучше, чем кто-либо другой в Германии... Но спасти свою репутацию он еще может. Фюрер никогда не отдаст приказа на вывод войск из котла. Эйцлер это знает, кроме того данные о соотношении сил в его руках. Конечно, русские не позволят Шестой армии уйти от разгрома, они сожгут ее в котле, и тогда вся тяжесть вины падет на Гитлера, ибо он, Эйцлер, теперь на каждом докладе умоляет фюрера вывести войска из окружения... «Так в истории и будет записано... Но история не кончается сталинградским окружением», — подумал Эйцлер, и ему захотелось сказать об этом фон Штейцу, чтобы воодушевить его перед докладом.

— Танки генерала Гота отброшены. Русские продвигаются к Ростову. Вы обязаны сказать фюреру всю правду. Полковник, в ваших руках судьба Шестой армии. Я вас вооружу фактами. — Он не договорил — открылась дверь, и на пороге вырос незнакомый фон Штейцу генерал.

— Господа, прошу в зал. Фюрер прибыл.

Подковообразный, с низким потолком зал был заполнен офицерами и генералами Ставки. Фон Штейц занял место в пятом ряду, напротив него на помосте возвышался столик, накрытый черным сукном. Справа и слева от фон Штейца сидели офицеры войск СС. Он повел глазами вдоль рядов: та же картина — один генерал, два эсэсовца.

Все молчали, ожидая появления Гитлера. Мысль о том, что сейчас он увидит фюрера, услышит его голос, полностью завладела фон Штейцем. Он сидел не шевелясь и так увлекся воображаемыми картинами, что не заметил, как открылась боковая дверь. Генералы вскочили и хором гаркнули:

— Хайль Гитлер!

Фон Штейц даже не успел подняться, как Гитлер слабым стариковским жестом дал понять, чтобы все сели. Но сам он не сел, продолжал стоять, чуть сгорбленный и расслабленный. Глаза его были устремлены в зал, рот перекошен. «Мой фюрер, неужто это ты?!» — чуть не вырвалось у фон Штейца, и жалость к Гитлеру сдавила ему грудь. Но тут фюрер вмиг преобразился: он вскинул голову, откинул резким жестом челку на голове и заговорил:

— Господа, я собрал вас, я потребовал вас сюда, чтобы изложить свои требования к Шестой армии Паулюса. Но прежде я хочу услышать мнение Эйцлера.— Он сел, скрестив руки на груди, и устремил глаза в потолок.

Эйцлер охарактеризовал обстановку, рассказал о неудаче деблокировать танками генерала Гота Шестую армию. Гитлер хмуро молчал. Но вдруг его глаза вспыхнули, он вскочил.

— Шестая армия останется там, где она бьется сейчас!

Эйцлер, помолчав немного, продолжал:

— Необходимо отдать приказ Паулюсу выйти из окружения...

Гитлер снова его перебил:

— Это гарнизон крепости, а задача крепостных войск — выдержать осаду. Если нужно, они будут находиться там всю зиму, и я деблокирую их во время весеннего наступления.

Эйцлер, склонив голову, мягко настаивал:

— Мой фюрер! Русские наступают, Шестая армия теперь в глубоком тылу русских, снабжать армию просто невозможно. По вашему приказанию я вызвал полковника фон Штейца!

В зале наступила тишина. Эйцлер знал, что фон Штейц, этот выскочка, краснобай — за краснобайство и полюбился Гитлеру, — обязательно поддержит фюрера, укрепит его в ошибочном мнении, а это значит — симпатии многих генералов окажутся на стороне Эйцлера, и он выйдет чистеньким из этой трагической ситуации.

Фон Штейц встал, постукивая костылями, вышел вперед. На лице Гитлера появилось сострадание, он выбросил вперед руку.

— Говорите, мой храбрый и верный полковник.

— Мой фюрер!.. Не уходите с Волги! — Фон Штейц пошатнулся, из рук его выпали костыли. Падая, он увидел, как Гитлер резко и торжественно вскинул голову.— Мой фюрер, — пытался продолжать фон Штейц, но чьи-то крепкие руки подхватили его и вынесли из зала...

Фон Штейц пришел в себя в кабинете Эйцлера. Генерал-полковник сидел в кресле и тупо смотрел в потолок. Когда врачи, суетившиеся около фон Штейца, покинули кабинет, Эйцлер сказал:

— Фюрер наградил вас железным крестом, меня — отставкой. Поеду на фронт... Мне поручили отправить вас в госпиталь. Самолет готов, сможете вы лететь?

— Да, господин генерал-полковник, я готов выполнить любой приказ фюрера.

— Германия не забудет вашего мужества. Помните, сталинградским окружением история походов нашей армии не кончается.— Эйцлер поднялся. На его бледном лице фон Штейц заметил какое-то просветление, будто этот старый вояка только что свалил со своих плеч тяжелую ношу и теперь и радуется и грустит.

#### 4

Раны заживали очень медленно, их дважды вскрывали, зашивали, и фон Штейцу иногда казалось: наступит день и ему ампутируют ноги, и тогда коробочка с тринадцатью осколками потеряет всякий смысл — коротышку не пошлют на фронт, будет он всю жизнь прыгать на протезах, позвякивая крестами и орденами, как стреноженная лошадь колокольчиками... Врачи угрюмо и молча колдовали над ним, пугливо поглядывая друг на друга. Только Марта была по-прежнему верна себе. Как вихрь врывалась она в палату, выстреливая очередями: «Хайль Гитлер! Райхсмаршал Геринг выступил с речью для защитников крепости на Волге. Хайль Гитлер! Фюрер направил солдатам Шестой армии ордена. Эрхард, ты представляешь, сколько новых героев будет в Германии! Мы победим!»

Марту не огорчил даже траур, объявленный вскоре Гитлером в память погибших войск на Волге. Она продолжала восторгаться: «Фюрер сказал: «Мы создадим новую Шестую армию. Смерть предателю Паулюсу. Арийцы непобедимы!»»

Когда Манштейн вновь взял Харьков и все радиостанции Германии надрывно трубили об окончательном истощении русских, ликование Марты не было предела — она скакала, плясала, выкрикивала победные лозунги. Ее обнимали, тискали раненые, а она, охрипшая, с пылающими глазами, вырывалась, бежала из палаты в палату.

— Марта, ты помогла мне стать на ноги,— сказал фон Штейц, когда ему наконец сняли повязки.— Ты сама не знаешь, какая ты замечательная девушка. В моих глазах ты — настоящий герой.

В то утро он пил кофе, просматривал газеты. Сводки с Восточного фронта утверждали, что там наступила стабильность. Тревогой дышали сообщения из Африки. «Армии Роммеля и Арнима испытывают сильное давление англичан...», «В правительстве Муссолини наступил кризис». Это были неприятные вести, и он невольно подумал: «Черт побери, почему все так туманно?» Ему хотелось ясности, а ее в газетах не было — все вокруг да около. Он скомкал газеты и швырнул в урну...

Дверь палаты открылась, но вместо ожидаемой Марты он увидел генерал-полковника Эйцлера.

— Хайль Гитлер! — поднял руку Эйцлер.

— Хайль! — ответил фон Штейц, вытягиваясь в струнку.

— Рад вас видеть снова здоровым,— сказал Эйцлер, садясь в кресло. Оказывается, бывший советник Гитлера перед своим новым назначением — куда его пошлют, он точно еще не знает — получил недельный отпуск, чтобы подлечить не в меру расшатавшиеся нервы. Узнал, что фон Штейц еще здесь, сразу заглянул к герою павшей крепости. Эйцлер говорил скупко, с хрипотцой в голосе, что-то недосказывал, чем-то был недоволен.

«Старый сук, прошляпил Сталинград»,— со злостью подумал фон Штейц: здесь, в госпитале, он много думал о поражении на Волге, думал и взвешивал, и все больше склонялся к тому, что во всем виноваты генштабисты, планирующие операции, и в первую очередь Эйцлер, умолявший фюрера вывести Шестую армию из волжского котла.

— Почему в газетах много тумана? Непонятно положение армий «Африка», — раздраженно сказал фон Штейц.

Эйцлер крутил в руках сигарету, взглянул исподлобья.

— Наши дела там неважные. Катастрофа неизбежна, — промолвил он хмуро.

Эйцлер находился под впечатлением только что посланной радиограммы фельдмаршалу Роммелю, командующему армиями «Африка». В ней Гитлер писал: «Я и немецкий народ с глубокой верой в ваше командование и храбрость руководимых вами немецко-итальянских войск наблюдаем за героическим оборонительным сражением в Египте. В том положении, в котором вы находитесь, не может быть иного решения, как стоять насмерть, не отступать ни на шаг, бросить в бой каждую пушку, каждого солдата. В течение нескольких ближайших дней вам будут переброшены значительные авиационные подкрепления. Дуче и итальянское верховное командование тоже примут меры, чтобы снабдить вас всеми средствами, необходимыми для продолжения боя. Несмотря на большое численное превосходство, противник в конце концов будет измотан и обескровлен. Как часто случалось в истории человечества, железная воля возьмет верх над превосходством противника в живой силе. У ваших войск только один выход: победа или смерть, время — победа».

Примерно такое же писалось когда-то и Паулюсу; радиограммы, призывавшие к храбрости, посылались именно в тот момент, когда печальная участь войск была уже предрешена. Эйцлер негодовал на Роммеля, в душе он обвинял фельдмаршала в том, что тот позволил англичанину Монтегери создать для немецких войск ситуацию безнадежности, и теперь, конечно, никакие радиограммы не помогут африканским армиям.

— Катастрофа неизбежна, — повторил Эйцлер.

— Катастрофа? — удивился фон Штейц. — Я верю фюреру, этого не может быть.

Эйцлер встал.

— Я тоже верю в нашего вождя Адольфа Гитлера, и, может быть, больше чем вы, Штейц. Но это вовсе не значит, что мы, немецкие генералы, не должны реально взвешивать факты. Фельдмаршал Роммель оказался не на высоте, он не сумел правильно оценить оборонительные возможности «линии Марет» и сдал ее. Кто за него обязан был предвидеть все? Он, именно он! Теперь над стапятьюдесятью тысячами немецких и итальянских солдат нависла угроза плена. Правительство Италии заколебалось. История не простит нам, немецким генералам, таких ошибок... Любить фюрера и великую Германию — это значит уметь побеждать своих врагов! — воскликнул Эйцлер и направился к двери, но вдруг остановился и, повернувшись, сказал: — Фюрер вводит в войсках должность офицера национал-социалистского воспитания войск. Это по вашей части... Я помню, вы в академии считались лучшим оратором. Ваш покойный отец не раз выставлял перед Гитлером эту сторону вашего таланта. Ждите нового назначения, фон Штейц..

Эйцлер ушел. Фон Штейца охватил неудержимый порыв — надо что-то делать, и прежде всего немедленно покинуть этот тихий полугоспиталь, полусанаторий, — скорей туда, в бой, сражаться за великую Германию...

Он подошел к телефону, позвонил в оперативный отдел госпиталя. Пискливый голос ответил: «Господин полковник, не торопитесь, мы вас не забудем». Тогда он крикнул в трубку: «Я — фон Штейц. Немедленно примите меня». — «Фон Штейц, — ответил все тот же пискливый голос, — хорошо, хорошо! Но сегодня не можем...»

— Хайль, — фон Штейц бросил трубку, повернулся: перед ним стояла Марта в новенькой форме ефрейтора.

— Эрхард, я решила ехать на фронт снайпером. Я очень метко стреляю.



— Куда ты поедешь? — спросил фон Штейц, подумав: «Форма ей идет».

— Вместе с тобой, — ответила Марта.

— Я пока никуда не еду...

— Едешь. — Она отошла от него, села в кресло. — Я все знаю...

— Что ты знаешь?

— Тебя посылают в Крым, заместителем к генералу Енеке...

— К Енеке?

— Да, офицером национал-социалистского воспитания войск. Там сооружают крепость...

— Вот как! — насторожился фон Штейц. — Откуда ты знаешь все это?

— Майор Грабе из оперативного отдела влюблен немного в меня... Он мне все рассказывает. И про тебя рассказал. Говорит, есть предположение, что полковник фон Штейц будет назначен в Крым. Предположение, — засмеялась она и оттопырила по-детски губы, — когда Грабе говорит о предположении, значит, это уже состоялось.

«Идиот!» — возмутился в душе фон Штейц болтливостью майора. Он позвонил в оперативный отдел, попросил найти Грабе. «Майор Грабе слушает», — прозвучало в ответ. У фон Штейца набрякли шейные вены.

— С вами говорит полковник фон Штейц. Куда я назначен?.. Ты идиот! Об этом знает весь госпиталь. Я потребую, чтобы вас немедленно отправили на Восточный фронт... Что? Предписание уже на руках? В Крым? — Он положил трубку, спросил у Марты: — Кто этот Грабе?

— Майор из выздоравливающей команды. Он потерял один глаз, временно служит в оперативном отделе. Он настоящий немец...

— Хорошо, посмотрим... Марта. Ты поедешь в Крым!..

— Хайль Гитлер! — выбросила она вперед руку.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### 1

Паулю Зибелю казалось, что сейчас в Крыму нет такой долины, нет такого ущелья, нет лощины, откуда бы ни могли показаться русские войска: они выползали буквально из каждой расщелины и, атакуя, сметали с едва занятых рубежей. А он, Пауль Зибель, командир егерской роты, отходил и отходил, то поспешно, то планомерно — по приказу командира батальона... И еще казалось ему в эти дни, будто не немецкая армия до этого прошла от границ до Волги, а огромная Россия — от Волги до вот этих гористых мест — прокатилась непомерной тяжестью по немецкой армии, и теперь войска, подавленные и измочаленные, едва успевают менять рубежи, чтобы не оказаться в окружении у русских. Что там, позади, что ожидает их на последнем рубеже отхода, — обер-лейтенанту Зибелю и в голову не приходил такой вопрос: просто не было времени подумать об этом...

Рота Зибеля прикрывала шоссе, ведущее к Севастополю. К вечеру он узнал, что русские заняли Джанкой и успешно продвигаются к Симферополью. Зибель посмотрел на карту и впервые за время отступления остро почувствовал, что впереди у отходящей армии море...

Зибель знает его, это расчудесное Черное море, по Ялте, куда он попал раненым из приволжских окопов. Госпиталь размещался на берегу в красивом удобном здании какого-то бывшего санатория. Когда Пауль прибыл туда, все дворцы и лучшие дома назывались по имени тех, кому Гитлер обещал после войны передать их в личную собственность, и старые названия санаториев и домов отдыха никто не произносил. Море пле-

скалось под окнами... Живое, теплое, быстро меняющее свою окраску, оно ласкало его мягким взором, окутывало спокойствием и тишиной,— как-то само собой война забывалась. Не было адской машины, страшной, многорукой, бросающей огромные пригоршни пуль и мин, снарядов и бомб, не было тех снежных налетов, под которыми лежали скрюченные, замерзшие солдаты и офицеры армии Паулюса, не слышались стоны умирающих от холода и ран, а было только это море, обильно политое жаркими лучами солнца, и воздух, хмельной, как брага: вздохнешь раз, другой, и впору прыгать, скакать, искать развлечений. И Пауль искал их. С шумной компанией выздоравливающих офицеров он бродил по Ялте, от дома к дому, горланя песенки... Перед носом захлопывались двери домов, опускались жалюзи окон, и они, офицеры, шли дальше, на ходу пили вино, состязались: кто больше выпьет.

Вечером возвращались в госпиталь. Море таинственно плескалось, и никто не думал о том, что оно, это великолепие жизни, может быть страшным и грозным, как удар молнии.

Именно таким, страшным и грозным, представилось море Паулю Зибелю, когда остались позади горные пастбища и рота заняла оборону на высоте, неподалеку от Бахчисарая. Здесь проходила единственная дорога на Севастополь. Зибель понимал, что русские нанесут очередной удар именно в этом направлении, и мысль о том, что позади море, рождала обреченность и страх...

Зибель попробовал отвлечься от грустных размышлений. Он вызвал к себе лейтенанта Лемке: Отто командовал первым взводом, который занимал оборону возле дороги, и по замыслу Зибеля должен был первым принять на себя удар русских.

— Отто, как там у тебя, спокойно? — спросил Зибель, ставя на стол флягу с коньяком.

Лемке отчеканил, как на строевом смотре:

— Мины расставлены, окопы отрыты.

— Пей! — сказал Зибель, подавая стаканчик с коньяком. — Что говорят солдаты про море?

— Генерал Енеке создал в Крыму крепость. Фюрер сказал: обязанность крепостных войск обороняться, — выпалил Лемке.

— А все же?.. Разговоры о море идут?

— Русские нашу крепость не возьмут, господин обер-лейтенант... Турция сволочь! — Лемке был сыном мелкого дипломата. Его отец, доктор Ганс Лемке, писал ему на фронт, что Турция в конце концов выступит против России. Лемке очень хотелось, чтобы именно сейчас турки ударили по Красной Армии в Крыму и этим бы облегчили положение армии генерала Енеке. Он выругался: — Турция сволочь! Придет время, мы ее научим, как служить фюреру. Мой отец пишет: турки выжидают. Выжидают! — повторил Лемке, сжимая кулаки. — Мой отец просто болван, разве можно разводить дипломатию, когда грохочут пушки. Критерий один: стоишь в стороне — значит против нас... Нет, турок надо проучить, хватит миндальничать...

— А что поделаешь? Не начинать же войну с Турцией! — рассудил Зибель.

Лемке еще больше вознегодовал:

— С кем? С турками?! Какая там война! Разве эти азиаты способны воевать! Да стоит фюреру топнуть ногой, крикнуть, и они сразу поднимут лапки кверху. Так и произойдет. Мы их заставим помогать нам, и не только паршивыми сигаретами, но и дивизиями. Умники нашлись — выжидают. Сволочи! — крикнул Лемке. — Нейтраллисты — значит красные, значит на стороне Советов... Таких надо вешать, вешать! — Лемке весь затрясся.

Пауль подал ему рюмку.

— Выпей, успокойся.

Они выпили по две рюмки подряд. Лемке вздохнул.

— Море... Да, оно близко. Я застрелил одного подлеца, который болтал об эвакуации. А сегодня слышал опять те же разговорчики: потонем, русская авиация даст жару. Это страшно...

— Молчать! — одернул его Пауль и, схватив сумку, выскочил из блиндажа.

Было сыро и пахло морем. Зибель закурил, съежился, словно прячась от кого-то. Над ним висело крымское небо, черное и низкое, и казалось, что небо медленно опускается, вот-вот коснется головы, придавит... Пауль присел на корточки, увидел Лемке. Отто удалялся, направляясь к дороге, к своему взводу. Потом он растворился в темноте, будто пропал под водой, даже брызги почудились Паулю, и он невольно закрыл лицо руками.

\* \*  
\*

Лемке проспал в своем окопе до утра. С ним находился его денщик, высокий рыжий Вилли, известный во взводе тем, что был однофамильцем фельдмаршала Роммеля. Вилли разложил перед Лемке завтрак, Лемке захохотал:

— Обер-лейтенант Зибель вчера спрашивал меня о море... Ха-ха-ха... Море! Ты, Вилли, боишься моря?

Денщик нахохлился: да, он боялся моря, боялся потому, что знал, видел его, когда переправлялся через Керченский пролив под огнем русских. От берегов Тамани отчалило двенадцать суденышек, а к керченскому берегу пришло одно. И когда начали высаживаться, русский снаряд разворотил корму. Вилли прыгнул в воду и, едва выбрался на землю, оглянулся: серая туча пилотов и фуражек плыла по воде, мерно качаясь и изгибаясь. У Вилли потемнело в глазах, кто-то от страха закричал: «Они утонули! Они на дне!»

Этот крик и по сей день стоит у него в ушах. Что же он ответит господину лейтенанту?

Вилли глухо отозвался:

— Море?

— Да! — крикнул Лемке. Он понял, что этот парень, слесарь из Мюнхена, боится, и невероятная злость на денщика больно уколола Лемке. — Сволочь! Ты перестал думать о фюрере. Трус!

Он долго и крикливо отчитывал Вилли. Поостыв немного, приказал взять ручной пулемет и следовать за ним. Привел Вилли в воронку.

— Вот и сиди здесь. Ни шагу назад! Расстреляю, понял?

В каком-то испуге он посадил еще несколько солдат в воронку. Потом возвратился в свой окоп. Выпил полфляги водки, съел завтрак. Красными глазами уставился в телефонный аппарат, вскочил, позвонил командиру роты, доложил ему, как он поступил с денщиком. «В одиночку солдаты дерутся злее», — подчеркнул Лемке. Зибель грубо ответил:

— Твоя метода приведет к тому, что Вилли при появлении противника убежит. Ты подумал об этом?

Лемке не подумал об этом. Но то, что он сделал, считал единственно правильным. И все же весь день он тревожился за Вилли. Несколько раз подползал к воронке и показывал денщику пистолет.

— Видал? Убью!

Когда наступили сумерки, он каждые десять минут выглядывал из окопа, всматривался в темноту, громко выкрикивал:

— Сидишь?

«Я, я», — слышал он голос то Вилли, то других солдат-одиночек, выпивал глоток водки, усмехался: «Зибель дурак. И турки дураки. Выжи-

дают... Ах, сволѳчи! Научим, как выжидать», — и снова выглядывал из окопа.

— Сидишь?!

— Я, я, — неслось из окопов.

## 2

План захвата в плен гитлеровца был подробно разработан и затем разыгран на местности — в безлюдной лощине. «Языка» изображал Дробязко, он поклялся Кравцову, что усыпить его бдительность невозможно, и все же оказался в мешке. Как это случилось, он и сам не может понять. Ему было грустно и радостно, грустно потому, что его перехитрили, радостно, что это сделала Сукуренко... Значит, она в настоящем деле не сплешает...

Кравцов отдавал последние указания разведчикам. Пришел представитель особого отдела капитан Рубенов. Глаза его, грустные, большие, остановились на Сукуренко. Она видела Рубенова второй раз, но не знала, кто этот капитан, какую должность занимает в полку, и немного смутилась. Это заметил Кравцов. Он поспешил спросить:

— Товарищ капитан, у вас есть вопросы?

Рубенов сказал:

— Документы сдали?

— Сдали все, — ответил Кравцов.

Рубенов подошел к Сукуренко. Он знал все об этой дивчине — и то, что она дочь расстрелянного в 1937 году комкора, и что была семилетней взята на воспитание дальней родственницей, проживающей в Москве, и что не в меру храбра и очень тяготится тем, что постигло отца. «Знает ли об этом Кравцов? Конечно, знает...», — решил Рубенов и сказал:

— У меня нет вопросов.

За окном опускались сумерки. Перед Кравцовым стояло пять человек, одетых в маскхалаты. Привычная картина. Сколько раз он вот так же инструктировал и отправлял за «языком» разведчиков! Эта будничная работа была его жизнью, он привык к ней и смотрел на нее просто, как на обычное дело. Он знал, куда и зачем посылает солдат, сам не раз хаживал туда, в стан противника, и понимал, чего это стоит человеку — взять живым вооруженного врага, доставить его целехоньким в штаб. Все это он знал, но всегда делал такой вид, будто посылает солдат принести из лесу вязанку дров, — пойдете и принесете. Сегодня с командиром полка творилось что-то странное. Это заметил даже Дробязко: Кравцов был хмур и медлителен. Дробязко демонстративно достал из брючного кармана часы и громко щелкнул крышкой, напоминая командиру о времени. Но Кравцов лишь поднял белесые брови и продолжал стоять неподвижно, словно собираясь с мыслями. Он не смотрел на Сукуренко, но видел ее. Она возникала перед его глазами, куда бы он ни бросил взор, возникала именно такой, какой он увидел ее, когда Рубенов задавал свои вопросы, — немного напуганной, с чуть дрожащими губами. «Девчонка», — сказал про себя Кравцов и впервые подумал, что беспокоится за нее...

— Ну, товарищи, ни пуха ни пера! — наконец сказал Кравцов и уже вслед, когда разведчики уходили, добавил: — Сам товарищ Акимов желает вам успеха.

Сукуренко замыкала цепочку. Кравцов ждал, что она оглянется, оглянется потому, что об Акимове он сказал для нее. Но она не обернулась.

Рубенов раздавил ногой окурок, сказал:

— Заночую у вас, товарищ Кравцов. Дождусь «языка».

Через десять минут он уже спал, свернувшись калачиком на разостланной плащ-палатке. Об этом человеке Кравцов почти ничего не знал, —

ему известно было только то, что капитан из особого отдела, да еще его имя и отчество — Василий Алексеевич. Он приходил в полк как-то неожиданно, и не в штаб, а в какое-либо подразделение, и Кравцов узнавал о нем случайно, столкнувшись где-нибудь лицом к лицу, или со слов других. Кравцов привык к этому, считал, что так и должно быть.

Подполковник сел к телефону: надо немедленно связаться с командиром боевого охранения и еще раз напомнить, чтобы как можно чаще докладывал о действиях разведчиков. Он позвонил и сказал все, что хотел, но долго не клал трубку, думая, что бы еще сказать, что бы еще посоветовать. Но ничего в голову не приходило, и Кравцов понял, что сегодня ведет себя не так, как обычно.

— Все будет в порядке,— сказал Дробязко и поставил на стол термос с чаем.

За стеной в окопчике работал радист. Он пытался связать командира полка с начальником штаба, находившимся в подразделениях второго эшелона. Кравцов, отодвинув в сторону термос, крикнул:

— Не отвечает Бугров?

— Есть второй! — отозвался радист.

— Где он находится?

— Через два часа будет на КП.

— Передайте: жду.

Но ждать не стал. На передовом наблюдательном пункте находился его заместитель. Ему вдруг захотелось пройти к нему.

Проснулся Рубенов. Взял термос, налил в алюминиевую кружку чая.

— Уходишь, что ли? — буркнул он, словно нехотя.

— Да,— Кравцов надел телогрейку, приладил пояс с пистолетом и гранатами.

Рубенов с укоризной покачал головой.

— Ты же — командир полка. Зачем лезешь?..

— Надо подменить заместителя. У нас с ним сутки разбиты пополам. Пошли, Вася,— заторопился Кравцов.

\* \*  
\*

За боевым охранением сразу начиналась узенькая полоска ничейной земли. Ничейная — весьма условное название, обыкновенно эта полоска принадлежит тому, кто лучше изучит ее, изучит так, что может безошибочно ориентироваться на ней в самую темную ночь. Раньше всех это делают разведчики. Еще намечаются места для оборудования наблюдательных и командных пунктов, еще только по карте командир прицеливаются, выбирая направление атак и контратак, а разведчики, всегда идущие впереди, уже ощупали своими цепкими взглядами каждый метр этой земли и знают, что и где у противника расположено на переднем крае, как лучше подойти к обнаруженному объекту и как возвратиться обратно...

Сукуренко ползла впереди, уступом за ней, на вытянутую руку, следовал Амин-заде, правее, метрах в двадцати,— Петя Мальцев с Рубахиным... Если бы вдруг исчезла темнота и местность озарилась солнцем, то можно было бы увидеть: Мальцев и Рубахин переползают ничейную землю, двигаются к одинокой воронке, а Сукуренко с Амин-заде — к окопу... Вспыхивали осветительные ракеты. Они не так уж опасны: разведчики в халатах, окрашенных под цвет местности, да и ракеты быстро гаснут. Важно другое — приблизиться бесшумно к врагу, мгновенно набросить на его голову мешок и так же бесшумно уйти... Нарушишь тишину — кто-нибудь кашляет или вскрикнет,— тогда возникнет жестокая схватка, схватка насмерть, и кто-то из разведчиков не вернется в полк,

а может быть, и все лягут на рубеже, еще занятом врагом, лягут потому, что у разведчиков небольшой выбор... Да, выбор ничтожно мал, и, наверное, поэтому к каждой такой операции люди готовятся с ювелирной точностью, предусматривая каждую мелочь...

На правом фланге, за сопкой, послышались пулеметные выстрелы. Это завязало ночной бой соседнее подразделение, завязало, чтобы отвлечь внимание гитлеровцев от местности, на которой действуют разведчики.

Сукуренко шепнула:

— Мир, теперь остановись, следи за мной.

Он знал, что командир взвода будет брать «языка» и зашептал:

— Ты маленький, разреши, я.

Она зажала ему рот, и он понял: не разрешит.

— Лежи, позову.

Бруствер окопа вырос внезапно. Сукуренко плотнее прижалась к земле. Катившаяся по черному небосводу звезда вдруг задрожала на одном месте, будто желая, прежде чем превратиться в мельчайшие искорки, увидеть, что же произойдет сию минуту на этом маленьком кусочке земли. Но звезда оказалась очень нетерпеливой: она взорвалась, и ее огненные брызги тут же погасли.

Сукуренко поняла еще днем: с немцами что-то произошло — ходят по переднему краю во весь рост. Днем она рассчитала, как накрыть их со своими ребятами ночью. И вот теперь они рядом, на вытянутую руку. Ветер дышал со стороны окопа, доносил запах сырой земли, винных паров и еще чего-то. Голова гитлеровца долго не показывалась над бруствером. Со стороны воронки послышался короткий вздох, будто кто-то захлебнулся сильной струей воздуха. Она поняла, что это Петя Мальцев с Родионом Рубахиным угомонили своего «языка», и теперь очередь за ней...

Из окопа выглянул Лемке.

— Вилли, это ты? — спросил он каким-то мягким голосом. — Спустился ко мне. — Он хотел сказать, что сидеть в окопе одному чертовски нехорошо, но не успел: его голова попала в мешок, кто-то мгновенно скрутил руки, затем веревка обвила раза три тело... Все это было сделано так быстро, так ловко, что Лемке не успел даже сообразить, что попал в руки советских разведчиков. Только когда его понесли, понял, что случилось. Он лежал на чьем-то плече, свесив голову вперед. «Плен» — с ужасом подумал он и попробовал вырваться, но его безжалостно огрели по ягодицам, и он притих. Потом передали в другие руки. Плечи этого человека были толще, мощнее... Его несли куда-то вниз. Остановились. Лемке услышал шепот:

— Мир, сядь на него, я уточню, куда отошли ребята.

И тут по голосу Лемке сообразил: женщина. Женщина взяла его в плен! И он тоскливо застонал.

Амин-заде срезал ножом верхнюю часть мешка. Глотнув свежего воздуха, Лемке увидел перед собой человека в маскхалате, определил по местности, что находится где-то на середине ничейной земли. Он подумал, что если сейчас выстрелить, то Зибель услышит, придет на помощь, а в перестрелке всякое может случиться — или убьют, или подвернется случай и он убежит. Он вспомнил о маленьком револьвере, находящемся во внутреннем кармане френча. Это был подарок отца, привезенный из Турции, и Лемке никогда с ним не расставался. Но как его достать, когда руки связаны веревкой?

Лемке вдруг заплакал. Он рыдал навзрыд. Затем начал биться в истерику, потом вздохнул раз, другой и перестал дышать.

— Умер, — забеспокоился Амин-заде. Он потрогал холодное лицо немца и повторил: — Умер.

Он хотел было позвать Сукуренко, но не посмел произнести и слова, боясь нарушить тишину. Вспомнил, что разведчики возвращаются только с живыми «языками», а мертвые — брак в их работе. Решив, что во всем виноват он, Амин-заде безотчетно выдернул изо рта пленного кляп, припал ухом к его груди. И когда приподнялся, чтобы вновь вложить кляп, получил сильный удар ногой в живот, пошатнулся и упал, корчась от боли.

Шум заставил Сукуренко оглянуться. Ей показалось, что кто-то поднялся и прыгнул в заросли.

— Мир! — тихо позвала она. — Мир, — повторила Сукуренко, подбежав к уже оправившемуся от боли Амин-заде, — что случилось?

— Ушел! — Амин-заде метнулся в лощину. Но уже поздно было: лощина огласилась криками, немцы открыли огонь из пулеметов и минометов. Завязалась перестрелка.

Они лежали бок о бок в случайно попавшейся на пути воронке. Потом Сукуренко встала, шагнула по направлению к своим. Она шла во весь рост, ни о чем не думая. Позади плелся Амин-заде. Она все шла и шла...

Кто-то позвал ее по имени.

— Это я, Дробязко... Петя Мальцев с Рубахиным притащили ефрейтора... Капитан Рубенов сказал Кравцову: «Ну и колдуны твои разведчики, Андрей Петрович! Чисто работают!»

Сукуренко не остановилась, шла, подавленная мыслями о неудаче...

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

### 1

Совещание командиров дивизий, созданное Енеке, шло к концу. Все посматривали на командующего, и он понял, что от него ждут каких-то особых указаний...

«Каких еще указаний, когда все изложено?» — Енеке поднял стек и разрубил им воздух:

— Зарывайтесь глубже в землю. Турция не высадится в Крыму, — командующий откинулся на спинку кресла и закрыл глаза, давая этим понять, что совещание закончилось. Он сидел в такой позе до тех пор, пока не опустел бункер. Последним из приглашенных уходил генерал Радеску. Он остановился у выхода, повернулся так, чтобы видеть только фон Штейца, стоявшего рядом с командующим, произнес, пожимая плечами:

— За спиной моих войск — родина. — Он открыл дверь и тихо, словно боясь потревожить застывшего в кресле Енеке, вышел из бункера.

Командующий продолжал сидеть неподвижно. На его сером, отечном лице ни малейшего признака мысли, и трудно было понять, о чем думает этот человек, так твердо заверивший фюрера в том, что его солдаты удержат Сапун-гору, а значит, и Севастополь. Это было сказано по прямому проводу в присутствии фон Штейца в тот день, когда уже не слухи и не болтовня трусов и паникеров, а оперативная шифрограмма подтвердила выход советских войск на государственную границу с Румынией. Именно тогда он, фон Штейц, душой поверил, что Енеке — человек, глубоко верящий в счастливую звезду фюрера, в то, что летний и зимний отход немецких армий на запад, катастрофа под Курском, бобруйский котел и вот теперь крепость в Крыму — все это какой-то таинственный маневр вождя немецкой нации, маневр, смысл которого понять никому не дано, но который непременно приведет к победе.

Да, Енеке так думает, а значит, он выполнит слово, данное фюреру. И исходя из этой веры командующего, фон Штейц попытался оценить

свою деятельность как офицера национал-социалистского воспитания войск. Он пришел к выводу, что не может очертить свою работу точными рамками, точными обязанностями, и поэтому трудно прийти к каким-либо итогам. Он разработал памятку поведения немецкого солдата и офицера в крепости «Крым». Ее содержание знает наизусть каждый, как гимн, как молитву. Но чем она отличается от приказа генерала Енеке по обороне Сапун-горы? В сущности это одно и то же. Он создал сеть агентов-воспитателей. Но чем эта сеть отличается от сети, которую имеет в войсках гестапо? Разве лишь тем, что люди Гимmlера молча следят за настроениями солдат и офицеров и тайно доносят на них, а его подчиненные сначала одергивают неустойчивых, произносят разные высокие слова о долге и победе, а затем, в конце концов так же тайно, сообщают ему, фон Штейцу, имена солдат, охваченных страхом перед будущим. Он произнес десятки речей и видел, как при этом воодушевляются лица солдат и офицеров. И если это и есть то, на что рассчитывал фюрер, вводя институт офицеров национал-социалистского воспитания в армии,— значит, он, фон Штейц, не просто придаток генерала Енеке и Гимmlера, а самостоятельный орган в руках фюрера...

— Что это он сказал? — поднимаясь с кресла, спросил Енеке.

— Кто?

— Радеску...

— Он сказал: за спиной моих войск — родина.

— Как это понять?

Фон Штейц и сам сейчас думал над фразой Радеску, но ни к какому выводу прийти не успел. Генералу Радеску он верил, верил потому, что тот сумел выбраться из волжского котла и теперь вот командует дивизией здесь, в крепости. Один этот факт говорит о многом.

— Я думаю, что Радеску высказал свои заверения сражаться вместе с нами до победного конца.

Енеке сунул в зубы сигарету, но не прикурил, а тут же бросил ее в урну.

— Заверения — хорошо, но практические дела — лучше, — сказал он с раздражением, делая вид, что куда-то спешит.

«Вот так всегда: когда вдвоем — разговора не получается. Старик осторожничает или вовсе не доверяет мне. Напрасно, напрасно!» — Фон Штейц тоже заторопился, сослался на срочные дела и вышел из убежища.

Придя к себе в бункер, он сразу попытался сосредоточить мысли на подвиге лейтенанта Лемке. «Лемке — это фитиль, которым я зажгу сердца крепостных войск, — фон Штейц не мог иначе думать, его обязанность — зажечь и воспламенить души подчиненных ему людей. — Лемке, по-видимому, член национал-социалистской партии, а если нет, его надо немедленно оформить. Достоин! Шутка ли — вырвался из рук русских разведчиков. Радеску тоже молодец, на его дивизию можно положиться. Он понимает: румынам отступать нельзя. А Енеке? — Фон Штейц вдруг чертыхнулся: не может сосредоточиться на одном Лемке, так разбросанно мыслит. Он позвонил в штаб, потребовал, чтобы быстрее прислали к нему лейтенанта, совершившего подвиг. Ответил майор Грабе (он сразу узнал его голос). Грабе сказал:

— Господин полковник, лейтенант Лемке находится у командующего.

— Кто его туда направил? — спросил фон Штейц. Отвернувшись от трубки, он в сердцах бросил: — Идиот одноглазый! — И уже в трубку выкрикнул: — Это моя область работы. Послушай, Грабе, это ты умудрился послать Лемке к командующему? Ты?

Грабе ответил:

— Так точно, я, господин полковник.



— Почему?

— Генерал Енеке желал с ним поговорить.

— Откуда вы это знаете?

— Я все знаю, господин полковник.

— Послушай, Грабе, не слишком ли много берешь на себя? В госпитале я вам обещал устроить что-нибудь страшенькое, помните?

Грабе не сразу ответил.

— Помню, но я обязан все знать...

— Да кто же вы такой?!

— Майор Грабе, штабной офицер, господин полковник. Из инвалидной команды, помните?

Фон Штейц бросил трубку.

— Как бы этот инвалид не оказался гиммлеровским молодчиком! — Фон Штейц ненавидел шпигов, ненавидел потому, что считал их бездельниками, он злился всегда, когда чувствовал на себе посторонний взгляд незнакомого человека. Одноглазый Грабе, прибывший вместе с ним в Крым на должность штабного офицера, был для него загадкой: майор держался слишком независимо, его считали всезнайкой и на редкость болтливым человеком, но болтовня инвалида всегда казалась фон Штейцу наигранной, еще больше настораживала.

«Слежка за мной, за офицером национал-социалистского воспитания? Чепуха!» — Он вновь позвонил в штаб. Ответил кто-то другой:

— Майор Грабе у генерала Енеке.

Фон Штейц тихонько опустил на рычаг трубку: «Неужели Енеке имеет свою агентуру?» Он взглянул на портрет Гитлера, висевший на стене возле письменного стола, и прошептал:

— Майн гот,— неужели ты не веришь нам, твоим верным офицерам?

Он испугался собственных слов и невольно оглянулся по сторонам. Бункер был пуст. На тумбочке, стоявшей возле кровати, лежала книга «Майн кампф», на ней — металлическая коробочка, в которой хранилось тринадцать осколков. Фон Штейц раскрыл коробку, высыпал на ладонь осколки, долго смотрел на них, смотрел до тех пор, пока не вспомнил о том, что по его приказу в подвале каменного дома заперты двести севастопольцев, отказавшихся рыть окопы на Сапун-горе. Его глаза сверкнули, он крепко жажал осколки в руке, чуть поднял голову, и ему показалось, что Гитлер утвердительно качнул подбородком: «Действуйте!»

Он хотел было немедленно отправиться к месту заключения севастопольцев, уже сунул в карман коробочку с осколками, но вдруг спохватился: ведь он ждет Лемке. И все же фон Штейц вышел из бункера, поднялся по ступенькам крутой лесенки. Перед ним открылась широкая панорама города: притихший и изуродованный окопами и воронками, лежал внизу Севастополь. Изрытый, притаившийся город почему-то казался сейчас очень похожим на Сталинград. Чтобы отделаться от неприятных воспоминаний, фон Штейц начал оценивать местность с точки зрения построенных здесь оборонительных сооружений. Сапун-гора, многоярусные линии железобетонных и бетонных укреплений на ее скалах... По его мнению, практически она неприступна, даже если осада продлится годы. Прибрежные участки, пожалуй, следует укрепить... Две тысячи бетонных колпаков, которые обещает поставить маршал Антонеску, сделают крепость неприступной и с моря. А уж души солдат и офицеров он, фон Штейц, сумеет зацементировать так, что ничто не в силах будет их расплавить...

Подъехала легковая машина. Из нее вышел майор Грабе. Он вяло выбросил руку вперед, приветствуя фон Штейца. Грабе был высокий, стройный. Если бы не черная кожаная повязка, прикрывающая выби-

тый глаз, он бы выглядел красавцем. Это еще при первой встрече оценил фон Штейц, еще в команде выздоравливающих.

— Я доставил вам лейтенанта Лемке,— сказал Грабе, кивком головы показывая на машину.— Можете сделать из него национального героя. Он достоин этого, господин полковник. Я-то уж знаю — достоин.

«Опять это „знаю“»,— досадливо подумал фон Штейц и, не глядя на вышедшего из автомобиля Лемке, пригласил Грабе в бункер. Уже в помещении он повернулся назад: перед ним стоял маленький, одетый в новенькое обмундирование лейтенант с круглыми глазами и очень большим носом.

— Хайль Гитлер! — крикнул Лемке. Его низкорослая фигурка словно превратилась в межевой столбик.

— Вы лейтенант Лемке? — спросил фон Штейц и сам удивился тому, что произнес это слишком громко, с излишним удивлением. Но, черт возьми, разве он предполагал, что среди немцев есть подобные недоростки? От разочарования фон Штейцу даже стало не по себе, и, чтобы как-то скрыть это чувство, он спросил:

— А куда делся майор Грабе?

— Уехал, господин полковник.

— Уехал,— не то спросил, не то зафиксировал фон Штейц. «Какая вольность! Ну погодите, Грабе, я вам таки устрою страшенькое».

Однако герой стоял перед ним, и, несмотря на то, что фон Штейц ошибся во внешности Лемке, он все же почувствовал душевную приподнятость и начал с трепетным волнением расспрашивать лейтенанта, как это удалось ему перехитрить русских разведчиков.

— О-о, это хорошо! — воскликнул фон Штейц, когда Лемке закончил рассказ.— Вы заслужили железный крест. И вы получите его, лейтенант Лемке. Если каждый наш солдат и офицер будет оказывать такое сопротивление врагу, армия фюрера завоюет весь мир. Слышите, Лемке,— весь мир!

Да, он, Лемке, и сам понимает, что тяжелые неудачи на фронте — это всего-навсего временное явление, явление, вслед за которым наступят ошеломляющие мир события, те самые события, которые готовит фюрер. Они последуют неизбежно, неотвратимо, ибо в противном случае зачем было начинать великий поход на Восток?! Лемке верил в магическую силу Гитлера, но он также знал из письма отца, что у англичан появились сомнения — стоит ли Англии и дальше усердствовать на стороне России, когда советские войска вышли к границам европейских стран, не пора ли предпринять что-то такое, что может помешать большевикам выйти на территорию стран Восточной Европы. На мгновение Лемке овладел соблазн спросить фон Штейца, знает ли он об этом, но, вспомнив о том, что письмо попало к нему не по почте, а через знакомого офицера, он подавил соблазн и довольно бодрым голосом сказал:

— Весь мир! Я верю в это, господин полковник.

Фон Штейц поинтересовался:

— Что же эти русские разведчики физически сильные?

— Да. Их было семеро, и мне нелегко было справиться...

Фон Штейц поставил на стол коньяк.

— Пейте, лейтенант.

Они выпили бутылку, потом еще одну, вспомнили летнее наступление 1941 года.

В бункер вошла Марта.

— Эрхард, где наш герой? Это он? — ткнула она рукой в сторону Лемке.

— Да,— сказал фон Штейц и швырнул бутылку в сторону.

— Майор Грабе в восторге,— сказала Марта,— генерал Енеке представил его к железному кресту. Вы слышите, лейтенант, о вас завтра доложат фюреру!

Лемке поднялся, пошатываясь, опустил руки по швам.

— Господин полковник, лейтенант Лемке готов немедленно отправиться на передовую.

Фон Штейц поставил на стол новую бутылку коньяка, наполнил три стопки:

— Прошу выпить за храбрость немецкого офицера, за вас, лейтенант Лемке, за нашу победу!

Они чокнулись, выпили. Фон Штейц молчал, молчала Марта, молчал и Лемке. В бункере наступила какая-то страшная тишина.

— Эрхард, русские потопили транспорт с бетонными колпаками. Я только что видела генерала Радеску, он получил шифрограмму...

Фон Штейц позвонил Енеке, сказал в трубку:

— Я сделаю все, чтобы завтра к вечеру окопные работы были закончены в южном секторе крепости... Это мой долг, господин генерал. До свидания.— Фон Штейц надел перчатки и направился к двери.

## 2

«Землетрясение высшего балла» — Енеке великолепно знал, что это значит. Для города — это руины, ни один дом, ни одно здание, каким бы оно прочным ни было, не может уцелеть — все будет разрушено, измято, перемолото... А для созданных им, Енеке, укреплений, для железобетонных бункеров, дотов и дзотов, траншей и волчьих ям и гнезд? Да смогут ли русские, собственно говоря, нанести такой удар по Сапун-горе, достаточно ли у них сил и средств, чтобы смести с лица земли его войска, одетые в бетон и железо? На минуту он вообразил построенные и еще строящиеся оборонительные укрепления. Крутые, почти отвесные скаты Сапун-горы... Этот естественный пояс позволил русским в тысяча девятьсот сорок первом и сорок втором годах продержаться в Севастополе двести пятьдесят дней, продержаться в то время, когда немецкая армия была в зените своего наступательного порыва, когда с одного захода она могла таранить самые мощные укрепления. А Севастополь стоял, держался... Сам бог создал эту гору, чтобы выдержать любой напор, любой удар с воздуха и суши. Линии укреплений тянутся по скатам горы сплошными поясами... Эти огромные террасы, созданные из железа и бетона, нельзя разрушить фронтальным ударом, даже если этот удар и в самом деле будет равен по силе высшему баллу землетрясения!

И все же Енеке не был удовлетворен крепостью. Его фантазия и глубокое знание фортификации влекли дальше, даже не преклонение перед фюрером — нет, а простая жажда специалиста строить и возводить. Возводить... Он точно знал, сколько, где и каких укреплений сооружено, сколько открыто метров траншей, ходов сообщений, сколько установлено в дотах и дзотах орудий, пулеметов, сколько втиснуто в бетонные гнезда истребителей танков... Его мечта — построить несколько дотов-крепостей подобно уже сооруженному в центре главного сектора обороны... Этот четырехамбразурный дот имел форму корабля и был врезан в каменную террасу, прикрывал своим губительным огнем главные подступы к Сапун-горе. Дот-чудовище, комендантом его стал лейтенант Лемке...

Крепость казалась неприступной, и, однако, Енеке находил в ней места, вызывавшие озабоченность и тревогу. И тогда он всю свою злость извергал на головы румын, распекал генерала Радеску, повторяя, одно и то же: «Мне нужен бетон. Какого черта ваш штаб медлит!» Радеску

отвечал: «Я сейчас же свяжусь со штабом». Слово «сейчас» никак не гармонировало с интонацией ответа: генерал произносил свою постоянную фразу так, словно он обещал поинтересоваться, есть ли в его дивизии шахматисты...

«Радеску слишком инертен», — подумал Енеке, припоминая все, что знал о румынском генерале и по личной встрече в имперской академии, где Радеску слушал лекции по фортификации, и по рассказам фон Штейца, и, наконец, по тому, как показал себя генерал здесь, в Крыму. Радеску выполнял все, что приказывал Енеке, выполнял пунктуально, как его подчиненный, разве лишь не всегда вовремя докладывал, и однако Енеке чувствовал к нему неприязнь.

В бункер принесли завтрак. Повар, очень румяный и очень обходительный, быстро накрыл стол и, шелкая каблуками, мягким голосом пожелал:

— Хорошего аппетита вам, господин генерал.

Енеке, до этого сидевший перед раскрытой схемой оборонительных сооружений, поднялся, обошел вокруг стола и поднял телефонную трубку.

— Майора Грабе ко мне, — сказал он обычным строгим тоном и посмотрел на дымящиеся паром тарелки, поблескивающую бутылку с коньяком. Он всегда завтракал один, и повар был удивлен, когда Енеке потребовал накрыть стол еще на три персоны.

Пришел майор Грабе. Он занимался в штабе сбором и обобщением информации о ходе работ по устройству оборонительных сооружений. Открыв черную папку, майор привычно начал перечислять, на каком участке что открыто и построено, но Енеке остановил его.

— Доложите, что сделали румыны, — сказал Енеке и наклонился к схеме, чтобы нанести необходимые пометки.

Грабе прочел ряд цифр и условных названий и умолк.

— Это все? — спросил Енеке не разгибаясь.

— Точные данные за вчерашний день.

— Не густо, майор Грабе...

— А что поделаешь? Румыны, господин генерал, сами знаете: час работают — четыре часа мамалыгу варят...

— А фон Штейц знает об этом?

— О чем, господин генерал?

— Что час работают, а четыре часа мамалыгой наслаждаются?

Грабе потрогал кожаную повязку на глаза, сказал:

— Обязан знать. Он видел их на Волге, там они первыми сдавались в плен. Известное дело...

— Замолчите, Грабе! — крикнул Енеке. В глубине души он сам считал румын плохими солдатами, но, черт возьми, разве не тревожит их тот факт, что враг сегодня находится не на берегах Волги, а у порога Румынии, должны же они в конце концов понять это!

Он позвонил фон Штейцу, затем генералу Радеску. Грабе с вожделением смотрел на коньяк, на фрукты, на вкусно пахнущие бифштексы и был совершенно безразличен к тому, о чем говорил командующий. Потеря глаза, окопная жизнь, гибель товарищей на фронте напрочь лишили его способности чем-то восторгаться или чем-то печалиться, — именно эта война, в которой, по его мнению, сам бог ни черта не поймет и не сможет ответить, почему люди калечат и убивают друг друга, — именно эта война помогла ему понять слабости своего начальства. Оказывается, гордые и надменные фельдмаршалы, генералы и полковники — все начальство, которому он привык подчиняться и подчинялся, — боятся друг друга и подозревают друг друга в доносах. Он, Грабе, понял это и научился вести себя так, чтобы и его боялись. О, это штука преотличная! Достаточно на что-то намекнуть, что-то солтнуть,

сделать вид, что ты независим,— и с тобой обращаются уже по-другому. Вот бросил словечко о румынах, а Енеке, такой серьезный и уважаемый генерал, уже закрутился, смотрит на него, Грабе, как на человека, который может что-то ему сообщить, что-то подсказать, хотя он, Грабе, ничего этого не может сделать. «Фон Штейц знает об этом?» А откуда я знаю! Ведь и фон Штейц может у меня потом спросить: «Генералу Енеке известно это?» Все они оглядываются друг на друга...

Майор Грабе мог бы бесконечно размышлять по этому поводу, но тут один за другим вошли в бункер фон Штейц и генерал Радеску. Енеке, до этого мрачно шагавший около стола и полушепотом кому-то грозивший, снял с гвоздя стек, стал таким, каким он всегда был,— серьезным и сосредоточенным. Выслушав официальное приветствие, он сказал:

— Господа, я пригласил вас на завтрак. Пожалуйста, за стол. Майор Грабе, откройте коньяк.

Грабе открыл бутылку, наполнил стопки. Выпили молча. Фон Штейц, закусывая холодной свиной, метнул исподлобья взгляд на Грабе. «Этот молодчик, видно, околдовал командующего».

— Майор Грабе, налейте еще,— сказал Енеке.

«Да, сомнений нет, это так»,— все больше убеждался фон Штейц.

Когда выпили по третьей и приступили к бифштексам, Грабе сказал:

— Господин командующий, разрешите поднять тост за подвиг лейтенанта Лемке. Этого офицера должна знать вся армия.

У фон Штейца отвалилась челюсть. «Бог мой, что я слышу? Этот выскочка приказывает командующему». Он хотел возмутиться, прикрикнуть на Грабе, подчеркнуть, что он здесь является офицером национал-социалистского воспитания и не нуждается в советах майора Грабе, но его опередил Енеке:

— Разве листовка еще не послана в войска?

Фон Штейц вскочил, направился к вешалке, где лежал его коричневый пухлый портфель. Открыв его, полковник потряс листовкой — больше для майора Грабе, чем для командующего.

— Вот она! Утром ее разослали в войска.

Енеке прочитал вслух:

«Солдаты крепости!

От имени и по поручению нашего великого фюрера Адольфа Гитлера обращаюсь к вам с призывом.

Сражайтесь с врагом так, как лейтенант Отто Лемке!

Лемке, портрет которого вы видите на листовке,— командир стрелкового взвода. пылая любовью к своему фюреру и выполняя долг перед непобедимой Германией, лейтенант Лемке проявил акт величайшего мужества. Ночью он вступил в единоборство со взводом хорошо вооруженных и физически крепких разведчиков Красной Армии.

Один против двадцати пяти варваров!

Легендарный Отто Лемке наголову разгромил русских разведчиков и доставил своему командованию ценные сведения о противнике.

Солдаты!

Великая немецкая армия непобедима.

Дух фюрера среди нас!

Победа за нами и в Крыму и на всех фронтах!»

Генерал Енеке никогда не верил в силу агитации, тем более в силу печатного слова. Он считал, что для солдата важен не душевный порыв, а умение выполнять свои обязанности, владеть оружием. Фон Штейц знал о таком предубеждении командующего и сейчас с интересом ждал: что же скажет старый фортификатор о его листовке? В похвалах он, фон Штейц, не нуждался, но все же на отзыве командующего не прочь

был проверить, как он выполняет поручение, данное ему самим фюрером.

— Не дурно,— сказал Енеке,— не дурно. Лейтенант Лемке против двадцати пяти варваров! Один наголову разгромил вражеский взвод разведчиков. Тронут, весьма тронут. А что вы скажете, генерал Радеску?

— Это хорошо, господин командующий. Немецкий офицер совершил великий подвиг. Я немедленно сообщу об этом солдатам своей дивизии,— ответил Радеску и хотел еще что-то добавить, но не успел. Качнулась земля, послышались глухие разрывы бомб. Все притихли, лишь переговаривалась посуда, да, мечась по бункеру, скулила овчарка командующего. Енеке хлопнул стеклом по голенищу, и пес, прижавшись брюхом к полу, подполз к генералу.

— Барс, ты страшишься бомбежки,— сказал майор Грабе, пытаюсь на слух определить район налета авиации.

Енеке терпеливо ждал, что еще хочет сказать генерал Радеску, но тот молчал. Восторгаться подвигом лейтенанта Лемке! Не за этим он, Енеке, пригласил на завтрак Радеску. Конечно, Лемке точно выполнил свой долг — ни при каких обстоятельствах немецкий солдат не должен сдаваться русским. И о Лемке можно написать что угодно, на то она, эта самая агитация, и учреждена в войсках. Однако же он, Енеке, желает, чтобы и румыны поступали так, как лейтенант Лемке...

— Господин Радеску, я вас спрашиваю не о листовке. Мне нужна точная информация о количестве установленных вчера бетонных колпаков на участке вашей дивизии.— Енеке ткнул вилкой в кусок мяса и дал его собаке.

— Мы установили двадцать пять дзотов, господин командующий.

Енеке посмотрел на майора Грабе.

— Это точно? Вы сами проверили, генерал Радеску? Солдат, господа, обязан быть пунктуальным... Дней через пятнадцать русские начнут штурм Сапун-горы. Я имею проверенные данные о том, что советским войскам приказано в течение семи дней овладеть Севастополем. Штурм неизбежен. В Крым прибыл представитель Сталина Акимов. Он сделает все, чтобы именно в этот срок взять Севастополь. Вы представляете себе, что это значит?— Енеке вскочил и, заложив за спину руки, помахивая стеклом, заходил по бункеру.

Радеску с горечью подумал: «Мне-то да не представлять, что значит штурм! Я был в волжском котле...» И он повел плечами, словно почувствовал за спиной жгучий холод волжских степеней и пекло густо падающих и рвущихся с адским звоном русских бомб и снарядов, от которых сам черт мог отдать богу душу. И если он, генерал Радеску, не протянул ноги там в сугробах, то это лишь чистая случайность. Однако теперь отступить некуда, Румыния за спиной, маршал Антонеску грозит перевешать всех генералов, которые позволят русским войти в Румынию, и генерал Енеке, этот испытанный фортификатор, стремящийся превратить Сапун-гору в железобетонную крепость, видимо, прав, призывая их к нечеловеческим усилиям — выхода другого нет...

А Енеке все ходил и ходил по бункеру, помахивая стеклом, и Радеску казалось, что он видит перед собой не живого человека, а какой-то заводной механизм.

— Я требую, чтобы каждый генерал и офицер лично наблюдал за строительством оборонительных укреплений, своими глазами видел, где и что установлено. Мы принимаем вызов русских, мы обязаны победить. Только землетрясение высшего балла способно выбросить нас отсюда, но не атаки русских, не их артиллерия и авиация.— Енеке вдруг умолк, стек повис на его руке. Пес прильнул к ногам командующего, и теперь

Енеке уже не казался заводным механизмом, теперь Радеску видел перед собой очень усталого, седого и старого генерала, который едва ли способен выполнить то, о чем сейчас говорит. Радеску подумал об этом и невольно перекрестился холодной, потной рукой...

### 3

Фон Штейц был убежден, что генерал Енеке не знает о его ежедневных и многочасовых поездках в секторы оборонительных работ. Раньше, до памятного завтрака у командующего, он просто приезжал туда, ходил от траншеи к траншее, от дзота к дзоту, подсказывал, как лучше установить железобетонные колпаки, требовал, покрикивал,— он считал себя независимым или зависимым от генерала Енеке лишь постольку, поскольку тот управлял войсками, а он, фон Штейц, находился при этих войсках, и командующий имел возможность доложить Гитлеру о работе в его армии офицера национал-социалистского воспитания. Конечно, фон Штейц не допускал мысли, что генерал Енеке скажет о нем что-либо плохое, но все же... Всякое может быть, лучше, если командующий будет всегда в курсе его дел и стараний, ведь они — генерал Енеке и он, фон Штейц,— одинаково служат фюреру...

Именно такие мысли пришли в голову фон Штейцу, когда он собрался в очередной объезд крепости. Но как сделать, чтобы Енеке стало известно об этом? Позвонить командующему и переговорить с ним обо всем, что он намерен сегодня сделать? Но фон Штейцу чертовски не везло с телефонными переговорами: за редким исключением он не попадал напрямую к командующему. Почти всегда возникал этот майор Грабе, словно он действительно был приставлен к генералу Енеке (сам фон Штейц в этом почти не сомневался).

Марта лежала на тахте и курила.

— Генерал Енеке должен знать, что я еду в сектор «Б»,— сказал фон Штейц.

— Один момент.— Она подошла к телефону.— Грабе? Тебе информация из сектора «Б» еще не поступала? Нет? Великолепно! Немедленно приезжай к нам, мы вместе отправимся в сектор «Б» на бронетранспортере.— Она повернулась к фон Штейцу.— Вот так. Этот инвалид все передаст командующему. Он неподражаемый службист и подхалим.

— Ты, Марта, думаешь, что Грабе лишь службист и подхалим? — ледяным голосом спросил фон Штейц.

— Нет, не только. Грабе, кроме того, ловелас: достаточно ему увидеть голую коленку, и он теряет сознание. Но ты, Эрхард, не опасайся, у меня он ничего не добьется...— И она погрозила плеткой, с которой никогда не расставалась.

\* \*  
\*

Крутой спуск окончился, и бронетранспортер, чуть накренившись, остановился. Первым из машины вышел фон Штейц, за ним легко спрыгнула на землю Марта, потом как-то нехотя Грабе. Они находились у подножья Сапун-горы. Отсюда просматривался почти весь фронт оборонительных работ. Каменистый, пахнувший сухой пылью скат шевелился, шамкая и ухая. Говор лопат и кирок перемежался с надрывным кряхтением землеройных машин, слышались отрывистые команды офи-

церов. Там и сям огромными черепами белели еще не замаскированные железобетонные колпаки, гнезда истребителей танков; сотни амбразур темными глазами смотрели вниз, на подступы к горе. Пояса железобетонных точек поднимались крутыми ступенями до самой вершины горы, упиравшейся в предвечерний небосвод.

Они разделились: фон Штейцу нужно было убедиться, действительно ли приступили к устройству траншеи возле четырехглазого дота-чудовища. Марта и Грабе направились к сооружаемому противотанковому рву, возле которого толпились согнанные сюда из Севастополя подростки и женщины с лопатами в руках. Когда спустились в лощину, которую им надо было пересечь, в дымчатом, сиреневом воздухе показались самолеты. Грабе схватил Марту за плечи.

— Ложись!

Самолеты прошли стороной. Марта хотела было подняться, но Грабе удержал ее.

— Не спеши,— в густом сухом бурьяне голос майора прозвучал звонко и прерывисто, точно так, как в подвале имперского госпиталя, когда Марта впервые уступила этому одноглазому майору, и даже не майору Грабе, а таинственной личности. Она и сейчас может с любым поспорить, что Грабе тайный агент Гиммлера, только говорить об этом нельзя, это секрет... Грабе тогда обещал ей хорошее местечко, это он пристроил ее к фон Штейцу, потом поручил присматривать за ним, информировать, с кем и о чем говорит фон Штейц: фюрер должен знать все о своих приближенных, в этом его сила и сила нации. Что ж, она, Марта, готова во имя этого быть самым близким человеком для фон Штейца и выполнять поручения Грабе...

Его одноглазое, сухое лицо озарилось улыбкой.

— Марта, я говорил с генералом Енеке о награждении тебя железным крестом...

— Это возможно?

— Я ему сказал: «Господин генерал, Марта Зибель должна иметь орден». Старик чует, кто такой майор Грабе, разве он мне откажет! Он распорядился заполнить наградной лист.— Грабе врал спокойно, стой самоуверенностью, которая стала его второй натурой.— Теперь я думаю, как составить реляцию. Подписать ее должен фон Штейц...

— Он не подпишет...

— Подпишет. Ты написала отличный текст для листовки, прославила лейтенанта Лемке. Ты же писала листовку?

— Да.

— Реляцию фон Штейц подпишет. Ты довольна?

— Да.

Солено-горячие губы Грабе впились в ее рот.

— Теперь пошли,— сказал через некоторое время Грабе и другим голосом добавил: — Война штука такая — сегодня жив, а завтра убит, однако, можно немного и повеселиться в этой молотилке.

Ей не понравились последние слова Грабе, но она промолчала.

— Кто здесь старший? — крикнула Марта, подходя ко рву и видя, как медленно и нехотя работают пригнанные сюда люди: одни из них сидели, другие только делали вид, что роют землю.— Вот ты,— ткнула она плечью в худую грудь светловолосого подростка,— почему не работай?

— Устал...

— Коммунист?

— Я еще маленький.

Марта вспыхнула, плетка, свистя, заходила по спинам и плечам людей. Майор Грабе курил папиросу и любовался гибким телом Марты: ему была совершенно безразлична вся эта суматоха и вся эта гигант-



ская машина, вспахавшая каменную гору и воздвигнувшая чудовищные террасы. Он, Грабе, давно вышел из войны, ещё там, среди свирепых волжских холодов, и теперь ему на все наплевать, он не испугается, если даже фон Штейц застанет его где-нибудь с Мартой и, наконец, поймет, кто такой Грабе, а пока он живет по своим законам. «Марта красивый зверек, отлично работает плеткой...» Грабе бросил окурки, оглянулся: позади стоял обер-лейтенант, готовый доложить, но вместо официального рапорта офицер радостно воскликнул:

— Марта! — и бросился к ней, перепрыгивая через рытвины и груды строительного материала.

...Они сидели в землянке командира роты. Уже все было рассказано и пересказано, а Марта никак не могла успокоиться: рядом ее брат Пауль, тот самый Пауль, которым она восхищалась только за то, что он офицер рейха и шлет ей письма с фронта. А какие это были письма! «Русские бегут, и, дорогая Марта, нам приходится туго: их надо догонять... ха-ха-ха!..», «Наступило лето, и мы снова гоним русских. Теперь уже большевикам не избежать разгрома. Ха-ха! Скоро, скоро конец войне...», «Итак, мы у стен русского города, носящего имя их вождя... Представляешь, дорогая сестра, в какую даль мы зашли! Ха! Мы и Волгу перепрыгнем». Потом письма начали приходить без единого «ха» и кончались одними и теми же словами: «На фронте всякое бывает, но ты, Марта, не пугайся: бог не всех посылает на тот свет...» Она считала, что Пауль шутит по поводу бога и того света и смеялась над словами брата, потом шла в свою комнату, стены которой были увешаны портретами Гитлера. Их было много, этих портретов, — и маленьких и больших. Она снимала со стены один из портретов фюрера и посылала на фронт Паулю.

— Ты их все получил? — спросила Марта у брата.

— Получил, — сказал задумчиво Пауль.

— Покажи.

Пауль покосился на Грабе: майор, положив под голову полевую сумку, дремал на топчане. Марта поняла, что брат стесняется откровенничать при Грабе. Она сказала:

— Пауль, я хочу посмотреть, как размещены твои солдаты.

Они вышли из землянки. Со стороны моря надвигались синие сумерки.

— Как ты попала в Крым и что у тебя за должность?

— Ты их все сохранил? — не слушая брата, спросила она.

— Что сохранил?

— Портреты фюрера.

— Смешная ты, Марта. Меня самого еле вывезли на самолете. Вот тут ребра одного нет, — он показал на правый бок. — Подлечили в Ялте, теперь команду ротой. Ну, рассказывай, как попала на фронт?

— Пауль, я не понимаю, как можно было оставить портреты фюрера. Я не могу свыкнуться...

— А-а... Отец называл тебя фанатичкой. А ты кричала: «Адольф Гитлер — великий вождь народа. Он завоюет весь мир...»

Они шли медленно. Вдруг Марта остановилась. Рядом белел врытый в землю бетонный колпак. Она опустила на него. Сел и Пауль. В дзоте кто-то разговаривал. Через амбразуру довольно явственно слышались слова.

— ...Им требовалась подходящая кандидатура для этого, и они нашли. Оценили его... А теперь он им не нужен. Зачем? Война идет не в ту сторону. Я так думаю: Гитлер либо покончит с собой, либо они укокошат его и начнут искать другого...

Марта вся похолодела. Она хотела дослушать, но не могла — тряслась, стучала зубами. Пауль взял ее под руку и отвел в сторону.

— Ты слышал?

— Слышал...

Она задышалась.

— Пауль, немедленно... сейчас же брось туда гранату. Слышишь, уничтожить!

— Успокойся, Марта, я приму меры...

— Ты не хочешь их уничтожить? Тогда я сама. Дай мне гранату.— Она схватила гранатную сумку, висевшую у Пауля на поясе. Пауль легко отстранил ее, потом усадил на бруствер траншеи. Она разрыдалась. Пауль не уговаривал ее. Ему и самому было не по себе от того, что он услышал, от того, что его сестра Марта, как он понял, безнадежно хмельна тем, чем он тоже был когда-то опьянен, шагая по необозримым просторам России на восток. И еще ему было страшно от сознания — невысказанного, правда, запрятанного глубоко внутрь, сознания, что он уже не верит в гений фюрера, и если еще сражается с русскими, ходит в атаки, то просто по инерции, подобно колесу, которое запущено кем-то, катится по полю, катится все медленнее и все тише, но неизбежно остановится и упадет...

\* \*  
\*

Море плескалось у ног, перешептывалась галька. Острый слух генерала Радеску улавливал каждый шорох — долгая жизнь военного человека научила его понимать, о чем говорят звуки — всплеск воды, потревоженный камень, шорох травы, лягз оружия... Он мог точно определить, или почти точно, что делается впереди, в темном мраке южной ночи, по звукам определить... Позади доносились голоса — копали траншеи, тяжело вздыхая, ложились в земляные гнезда бетонные колаки, глухо переговаривались пустые солдатские фляги.

Но все это не то, что хотел бы услышать сейчас генерал Радеску. Там, за этим морем, притихшим и таинственным, есть берег, родная земля: неужели она сейчас, когда ему так нехорошо на душе, не может послать хотя бы один вздох, хотя бы одно дуновение знакомого плоештинского ветерка, того ветерка, которым овевало его многие годы и на плацу казарм, и в поле на полковых и дивизионных учениях? Нет, не те звуки, не те шорохи и ветер не тот... Чужая земля, чужие камни... И приказы он получает на чужом языке: «Требую, чтобы каждый генерал и офицер лично видел, где и что установлено». Вот он ползает от огневой позиции, от рубежа к рубежу, исходил, излазил весь район обороны... Приказ: «Генерал Енеке будет ожидать вас на берегу моря. Прибыть ровно в ноль часов тридцать минут». Он, Радеску, прибыл в назначенное место, а командующего еще нет...

Радеску прошелся по побережью — два шага в одну сторону, два — в другую, и тут услышал мягкий топот собачьих ног. Выпрямился: перед ним стояла овчарка генерала Енеке, через минуту из темноты показался и сам хозяин в сопровождении штабных офицеров.

— Мы решили проверить ваши укрепления, господин Радеску, ведите нас на позиции, — отрубил Енеке. — Показывайте.

Осмотр и проверка оборонительных сооружений затянулись до утра. Покидая дивизию, генерал Енеке сказал:

— Командующий группой армии «А» генерал-фельдмаршал фон Клейст внимательно следит за событиями на фронте. Возможен наш контрудар в направлении Кишинева и Одессы. Хайль Гитлер!

— Хайль! — поднял руку Радеску и держал ее вытянутой до тех пор, пока Енеке не сел в поданный броневедомитель и не уехал.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

### I

Еще утром, когда шел бой, Сукуренко вызвали в штаб полка. Дробязко забеспокоился: «Неужели из-за этого «языка»? Да вон их сколько ведут по дороге, бери любого, хочешь рядового, хочешь офицера, нынче не сорок первый год, нынче они очень даже разговорчивые!» Дробязко задумчиво оглядывал вспаханные бомбами и снарядами холмы, пыльные дороги, по которым брели колонны пленных. Серая лента шоссе огибала высоту, на которой размещался командный пункт Кравцова. Бой утих в полдень, командиры рот и батальонов приводили в порядок свои подразделения, подсчитывали трофеи, отправляли пленных в тыл. Время от времени то на нашей стороне, то там, где зацепился противник, вырастали черные с красным оперением султаны взрывов. На фоне зелени и синеватого полуденного воздуха они выступали отчетливо и, казалось, парили в воздухе. И все же это был не бой, это было затишье, когда солдаты отдыхают, а командиры ведут телефонные переговоры, подсчитывают, докладывают, пополняют боеприпасы, эвакуируют раненых, занимаются многими-многими мелочами, которые требуют к себе немедленного внимания.

Из блиндажа слышался голос Кравцова. Командир полка без конца кому-то приказывал, требовал. В блиндаж, ветхонький и низенький (прочные строить не к чему, завтра все равно придется переходить на другое место, ближе к Сапун-горе), входили все новые и новые люди. Дробязко спустился к дороге, по которой шла колонна пленных. Их конвоировал Петя Мальцев. Опрятно одетый, с посаженной на затылок пилоткой, он, увидев Дробязко, крикнул:

— Эй, служба, прими от меня этот товар! — Мальцев потер ладонью рыжеватый хохолок, торчавший из-под пилотки, скомандовал: — Хенде хох!

Пленные остановились как вкопанные и разом подняли кверху грязные корявые руки. Петя захохотал:

— Образованные... Полюбуйся, Вася...

— Ты что же, один их сопровождаешь? — спросил Дробязко.

— Тю-у! — удивился Мальцев. — Они в шоковом состоянии, смирененькие. Так что, принимай, Вася, а я побегу обратно. Без меня Родька скучает. Он, этот Рубахин, получил хорошее образование в боях, но еще догляда требует, иногда лишнего пропустит...

— Не могу, — ответил Дробязко.

— Эх ты, — обиделся Мальцев. — Это же фрицы образца одна тысяча девятьсот сорок четвертого года! Соображаешь?.. — И, повернувшись к пленным, Мальцев крикнул: — Всю жизнь будете во сне видеть Петю Мальцева и деткам своим прикажете никогда не ходить на нас войной. Шнель, и чтобы не оглядываться... Топай, топай, фриц!..

Пленные громыхнули сапогами, и колонна, качаясь из стороны в сторону, поплыла по дороге. Мальцев, стоя на месте, подмигнул Дробязко:

— Вот так, служба, нонче они сами в плен ходят, без сопровождения, как в сказке... Видишь, не разбегаются, ровненько идут... Придут куда надо, — рассудил Мальцев и еще раз подмигнул Дробязко.

— Да-а, как в сказке, — ответил Дробязко. — Только сказка эта родилась в тяжелых боях...

— Верно, Васек, верно, — согласился Мальцев и присел на лафет разбитого немецкого орудия. — Утихомирилась вражина, — хлопнул он ладонью по исковерканному щиту. — Металлолом! Кончится война — трактор из него сделают, на мою Рязанщину пойдет землю пахать...

Дробязко не терпелось спросить, как там Амин-заде: он считал его главным виновником случившейся неприятности, хотя в душе поругивал и Сукуренко: «Новичка на такое дело взять! И Мальцев хорош, не мог подсказать, и подполковник согласился...» Но больше всего в душе разосил капитана Рубенова: «Чего он хочет? Всем известно: дети за отца не в ответе... Вон когда это было!.. Пленный сбежал... Привели же одного, вязанками их не таскают»... В тон его мыслям отозвался Мальцев:

— Я этого Аминя стругал-стругал, говорю, как же это ты сообразил? Разводит руками и просит: «Пусть меня в штрафную посылают, командира не трогай, он не виноват». Не трогай! Вызвали... Шел бы ты, Вася, во взвод. Аминь этот ничего парень. Но мы с тобой здорово сработались бы. Просись у командира полка.

— Я говорил подполковнику, обещает отпустить. Послушай, Петя, а если капитан Рубенов прицепится к лейтенанту, отстранит от должности?

— Не имеет права... Если это произойдет, я пожалуюсь на него генералу Кашеварову. Такое настрою, что ему не поздоровится...

— Верно,— обрадовался Дробязко.— И я напишу... Ну, ладно, служба, надо бежать во взвод.— Он потер рыжеватый хохолок, вскочил, бросил в сторону немецкой обороны: — Эх, и устроим же мы им спектакль на берегу Черного моря!

...Телефонные зуммеры утихли, в командирской землянке на какое-то время наступило наконец затишье. Кравцов окликнул ординарца:

— Василий Иванович, заходи.— И когда Дробязко вошел, сказал задумчиво: — Сегодня ночью наш полк выведут во второй эшелон. Будем готовиться к штурму Сапун-горы.

Штаб располагался в трех километрах от наблюдательного пункта, в небольшом хуторке — его домики, покрытые красной черепицей, хорошо были видны с сопки. Кравцов загасил папиросу.

— Пешочком пойдем или машину вызовем?

На дороге один за другим вспыхнули два темно-красных букета. Будоража дрожащую дымку, гул разрывов прокатился по всей долине.

— Пешком, товарищ подполковник,— ответил Дробязко.

— Слушаюсь,— улыбнулся Кравцов.

Когда они пересекли низину и до хуторка оставалось не больше ста метров, Дробязко таинственно произнес:

— Все ли вы, товарищ подполковник, знаете о лейтенанте Сукуренко? — В душе Василий не раз порывался рассказать командиру полка о том, что он учился вместе с Мариной и кто ее отец, но при одной мысли, что это может повредить Сукуренко, сдерживал себя и мучился, что утаивает от командира.

Кравцов остановился и пристально посмотрел в лицо Дробязко: цыганские глаза ординарца были спокойны и по ним нельзя было определить, что он имеет в виду, а может, совсем о другом его спрашивает?

— Что такое? — Кравцов торопливо достал папиросу.

— Капитан Рубенов, говорят, вызвал ее. Осечка произошла с «языком». А ведь такое может с любым, сами знаете, какое счастье у разведчика...

— Не волнуйся, Вася, в обиду Сукуренко не дадим,— сказал Кравцов и швырнул в воронку окурков.

## 2

— Ну, показывайте, пожалуйста, Петр Кузьмич,— сказал Акимов и жадным взором охватил местность.— Вижу, понимаю: это в миниатюре Сапун-гора... Ну что ж, докладывайте.

Идею создания «учебной Сапун-горы» выдвинул сам Акимов. Она родилась тогда, когда в его руках скопилось множество данных о строительстве генералом Енеке бетонной крепости. Акимов понимал, что подобный мощный оборонительный рубеж без специальной тренировки войск едва ли можно взять, тем более в такие сжатые сроки, какие установила Ставка, направляя его в Крым. Эти сроки пугали Акимова, и были моменты, когда, оставаясь наедине, он хватался за голову. «Очень маленький срок...» И вместе с тем сам понимал, что такую большую группировку немцев опасно долго терпеть у себя в тылу, рядом с еще точно не определившейся в своем нейтралитете недружелюбной Турцией, в то время, когда части нашей армии уже вступили в пределы Румынии.

Наступление шло довольно быстро. Враг, прикрываясь заслонами, явно стремился к тому, чтобы как можно больше уберечь войск и расположить их на крутых, каменистых скатах Сапун-горы, густо нашпигованных различными фортификационными сооружениями. Замысел немцев был ясен, и эта ясность подстегивала Акимова. Тогда-то он и решил создать на подходящей местности учебную Сапун-гору, чтобы заранее потренировать часть войск в штурме. Эта идея принадлежала не целиком ему, она возникла и формировалась из многих предложений и советов, пока не воплотилась на практике.

«Весна в Крыму...» — подумал Акимов, всматриваясь в буйное цветение садов. Сады тянулись на десятки километров, и было такое впечатление, что огромная впадина до краев заполнена кипящим молоком.

— Показывайте, Петр Кузьмич,— повторил он.

Кашеваров очертил широким взмахом руки высокий и самый крупный участок горы.

— Вот здесь...— начал он и смущенно покашлял.— Конечно, нам не удалось полностью воссоздать подлинную картину Сапун-горы с ее укреплениями, но кое-что построили...

— И дзоты?

— Да.

— И траншеи?

— Есть и то и другое, товарищ Акимов.

— Пойдемте...

Они долго поднимались на каменистую, усеянную серыми валунами высоту. Акимов искренне радовался, что саперам и инженерам удалось за короткое время так хорошо оборудовать учебное поле. Кашеваров, идя вслед за Акимовым и видя, как тот легко, без особых усилий преодолевает подъемы и спуски, восхищался: «За шестьдесят перевалило, а крепок еще старик, не уступает мне, сорокалетнему».

Однако же крутой подъем и многочисленные спуски то в траншеи, то в гнезда, обозначавшие долговременные огневые точки, заметно утомили Акимова. Уже на самой вершине он шутливо сказал:

— Петр Кузьмич, прикажи устроить привал,— и сел на поросший сухим мхом выступ скалы, сжимая и кладя на колени фуражку. Его редкие седые волосы были влажны, по красноватому, гладко выбритому лицу сбегали к подбородку капельки пота. Акимов вытер лицо платком и внимательно посмотрел вокруг.— Вообрази себе, Петр Кузьмич, что ты генерал Енеке... Очень уж мудр этот немец в фортификации... Так вот, вообрази себя на его месте и прикинь, глядя на эти кручи, с какого направления можно предположить наибольший нажим. Можно попользоваться и картой района Сапун-горы,— посоветовал он и сам первый открыл планшет. «Енеке постарается особо укрепить фланги»,— решил про себя Акимов и спросил: — Ну что... вообразил?

— Поразмыслил,— ответил Кашеваров, кладя карту в планшет.— Главный удар вырисовывается по центру Сапун-горы.

— И я так полагаю,— подхватил Акимов, довольный тем, что их мысли совпали.

— Если разрешите, завтра же приступим к репетициям.

— Успеете?

— Почему же не успеем! Прошу взглянуть.— Кашеваров показал на подножие горы.

Акимов посмотрел в бинокль. С разных направлений стекались колонны войск. Это были специально созданные штурмовые роты, батальоны, оснащенные необходимым вооружением и боевой техникой...

— Хорошо,— сказал Акимов и вложил бинокль в футляр,— умнее будем в настоящем деле.— И опять как-то само собой взгляд его остановился на впадине, где кипели сады. «Весна в Крыму!» — подумал он снова.

\* \*  
\*

В душе Василия Алексеевича Рубенова жили как бы два человека: тот, которого все видели и знали,— суховатый, решительный, пунктуальный в работе, и тот, которого знал только сам капитан,— вечно предупреждающий его об осторожности при выводах, заставляющий часами размышлять о справедливости любого решения. Последний имел привычку наступать на первого, загонять его в угол. Этого, второго Рубенова, никто не знал, он его прятал. Но стоило остаться наедине, как немедленно тот возникал, и начиналась жестокая схватка.

В «деле» лейтенанта Сукуренко эта борьба приняла довольно затяжной характер. «Дочь репрессированного!» — это слова первого Рубенова, сухого и педантичного. В ушах звучат слова начальника отдела: «Если что случится, отвечаешь ты, Василий Алексеевич... Я могу подождать, а вот тебе, капитан, ждать рискованно...»

Капитан Рубенов сидел в комнате. Сейчас войдет сюда лейтенант Сукуренко. Что он скажет ей? Он сунул руку за пазуху, достал партийный билет и начал рассматривать его, будто впервые видел. «Год рождения... 1907... Время вступления в партию — май 1932». Прочитал и прикинул в уме: — «Это ж сколько?.. Двенадцать лет я в партии...» — «Точка!» — вскрикнул внутри Рубенова тот, второй. «Тебе ждать рискованно!» — возразил словами начальника сам Рубенов и поднялся на встречу Сукуренко.

Он посадил ее за стол, медленно прошелся от окошка к двери. Она молчала. «Все ведь предельно ясно,— продолжал размышлять Рубенов,— девушка боится отцовского позора, она, наверное, могла бы жизнь отдать, чтобы быть равной со всеми». — «Ну и пусть себе командует,— вновь нажал на Рубенова тот, второй.— Не трогай ее. Боец поймал на мушку врага, осторожно, не мешай, иначе промахнется...»

Сукуренко выжидающе смотрела на капитана, ждала.

«А все же я обязан напомнить, сказать что-то...» — С минуту он раздумывал и вдруг спросил:

— Кто вас послал ко мне?

— Майор Бугров...

— Он ошибся,— уже тише сказал Рубенов и повернулся лицом к окошку.— Занимайтесь своим делом...

Мир Амин-заде проснулся от взрыва. Вскочил с постели, суматошно бросился к выходу и тут же спохватился, ведь он не на переднем крае, а в летней хатенке с двумя маленькими оконцами. Заметив сидящего на полу Рубахина, виновато улыбнулся, ожидая, что Родион сейчас пошутит над ним, но тот лишь покачал головой и молча продолжал рассматривать какой-то сверток. Амин-заде постоял в нерешительности и лег на свое место. Но спать уже не хотелось. Он приподнялся на локте, начал рассматривать спящего Мальцева. Сержант лежал на спине. Лицо его было усеяно капельками пота. На верхней губе сизоватый пушок, тоже покрытый бисеринками пота. «Усы растут у Пети,— Мир тихонько засмеялся.— Жарко Пете». Мальцев пошевелился, перевернулся на бок, по-детски чмокая губами. Что-то очень доброе, приятное коснулось сердца Амин-заде, и он прошептал:

— Спи, Петя, спи...

Он вспомнил, как Мальцев работал в последнем бою автоматом и швырял гранаты в окопы гитлеровцев, покрикивал на пленных, нагоняя на них страх и смятение, даже отвесил крепкий подзатыльник рослому гитлеровцу, промедлившему выполнить команду конвоира. «Мальчик»,— восторженно заключил Амин-заде и опустил на корточки рядом с Рубахиным.

В руках у Родиона было женское платье в черный горошек. Амин-заде это удивило. Он спросил:

— Ты откуда взял?

— Хорошее? — Рубахин потряс платьем.

— Ты откуда взял? — повторил Амин-заде.

— Я, Аминька, соображаю, что нравится женщинам. Богиней будет она в нем, в этом платье.

— Ты украл его? — выпрямился Амин-заде.

Рубахин скривил лицо.

— Я же за такие слова могу ушибить! Родька не вор! — и с силой втолкнул платье в мешок, но тут же вытащил его, аккуратно завернул в бумагу и осторожно, чтобы не смять, положил возле изголовья. Закурил, подошел к окошку.

— Я, Аминька, не вор. Платье это я купил в одном месте... Думаю, лейтенанту нашему подошло бы. Как ты считаешь, подойдет?

— Не знаю...

— «Не знаю!» — повторил Рубахин и после продолжительного молчания произнес: — Интересно посмотреть на нее в таком платье!..

### 3

Три дня и три ночи полки то кидались на каменные кручи, то сползали вниз огромными серыми волнами, сползали быстро и с каким-то рокошущим шумом, опять поднимались, подрывали и захватывали дзоты, террасы и другие укрепления, неизвестно когда построенные саперами на этой дикой, густо усеянной сизоватыми валунами горе...

Шла последняя, генеральная, репетиция. Кашеварову хотелось лично посмотреть на работу тех, кому суждено было штурмовать укрепления Сапун-горы,— на солдат, взводных и ротных командиров. Он находился в окопе и ждал сигнала к атаке. В воздухе висел белый круг инверсии от пролетевшего самолета. След, казалось, дрожал, очень медленно,

еле заметно сползая в сторону моря. В горах стояла такая тишина и безмолвие, что Кашеваров уловил писклявый говор какой-то пичужки, глухие и тревожные вздохи оседавших камней. Потом впереди что-то надломилось, грохнуло и тяжело, с надрывом, зарычало, будто тысячи тяжелых молотов разом принялись стучать по скалам.

Стучали долго: бум-бум-бум... Затем он услышал, как ослабло это «бум-бум», но ослабло для того, чтобы уступить место ураганному вою реактивных минометов, катюш... Полуоглохший и уставший, он подумал: «Вот это похоже на бой, это то, что нужно для тренировок», — и с помощью ординарца вылез из окопа.

— А-а! — голосили горы. И люди, и огонь — все, что могло передвигаться, поползло все выше и выше — туда, где смрадное облако гари и дыма кудрявилось в отсветах разрывов.

...Подниматься было трудно. Кашеваров снял плащ и теперь в генеральском кителе бросался каждому в глаза. Его обгоняли, а ему хотелось не отставать.

— Давай, давай, товарищи, быстрее, быстрее, ребяташки! — шептал он, стараясь ободрить не столько бегущих мимо, сколько себя, чувствуя тот заряд энергии и воодушевления, который испытывают люди в атакующей врага лавине.

Где-то, видимо, при подходе к последней террасе, ибо артиллерия уже умолкла и кружились лишь штурмовики, сбрасывая на позиции пригоршни мелких бомб, Кашеваров увидел в цепи солдат, залегшей для очередного броска вперед, стоявшего на коленях подполковника Кравцова. Он узнал его сразу, обрадовался и тут же нахмурился: «Куда тебя занесло, братец, в самое пекло!» Он долго возмущался, пока не возвратился посланный за Кравцовым адъютант.

— Посмотри-ка, командир полка, вот с моего места, отсюда виднее.

Передовые цепи вздрогнули, поднялись, чтобы завершить последнюю атаку. Кравцов отчетливо видел, как отделились, вырвались вперед трое бойцов. Двух он узнал, вернее, догадывался, — это лейтенант Сукуренко и его ординарец Дробязко. Третий, издали похожий на серый валун, катился непостижимо быстро, прыгая через окопы и камни. И этого солдата подполковник узнал и обрадовался: «Да-а, новенький, Мир Амин-заде. Смелые ребята...»

...Потом они поднялись на плато, туда, где было намечено произвести разбор генеральной репетиции. Здесь уже не было войск, их отвели заранее намеченными маршрутами к подножию горы. Догорая, тлела подожженная снарядами бревенчатая хатенка, еще дымились воронки. В наступившей тишине слышно было, как где-то неподалеку рвались, глухо хлопая, патроны, пели в воздухе бомбардировщики над горами. Оттуда, где угадывалась Сапун-гора, время от времени доносились тяжелые вздохи крупнокалиберной артиллерии. Вслушиваясь в этот знакомый говор, Кашеваров невольно сравнивал только что закончившиеся учения с предстоящим штурмом немецких укреплений. Он знал, эти вещи несравнимы, но в чем-то чувствовал их сходство, какие-то общие закономерности. В чем сходство — ему пока еще было не ясно, но он совместно с командирами частей на разборе найдет их, обнажит и положит в основу своих требований, своего приказа по дивизии на штурм Сапун-горы...

#### 4

— Все, Александр Федорович! Тренировки позади. Через два дня занимаем исходные позиции, — сказал Кравцов, войдя в помещение штаба.



Бугров, занятый какими-то документами, устремил на Кравцова вопросительный взгляд.

— А что, это же сущий ад, а не учения. В саперной бригаде есть раненые... Мой Василий Иванович поднял бунт: отправляй его во взвод разведки, и никаких гвоздей, говорит: первым хочу быть в Севастополе! А потом ни минуты покоя — то туда, то сюда, то одно совещание, то второе. Нет, в бою меньше нервотрепки... Благо, хоть комдив добрый — отвел нам двое суток на отдых.

Зазвонил телефон. Кравцов взял трубку. Кто-то, не называя фамилии, приглашал на вечер в колхозный клуб. Кравцов ничего не понял, передал трубку Бугрову. Тот, выслушав, заулыбался.

— Вечер танцев, — сказал Бугров, — местные жители решили поселить фронтовиков... Может, сходим, командир?

— Воевать — так с музыкой, — засмеялся Кравцов. — Ладно, посмотрим. Сейчас нам надо подбить итоги — чего не хватает, чтобы заранее... Как с вооружением?

— Подвезли, имеем излишек боекомплектов.

Кравцов поинтересовался, сколько и каких видов боеприпасов получил полк и как это выглядит, если прикинуть на каждое подразделение. Бугров обо всем доложил подробно и обстоятельно.

— Александр Федорович, скажи мне, когда ты успел все это сделать? Ты же был на наблюдательном пункте, подменял меня, управлял боем? Вот что, теперь отдыхай... Нам, знаешь, что предстоит...

— Еще есть вопрос, — продолжал Бугров. — Из политотдела просили к вечеру представить наградные листы на отличившихся в генеральной репетиции. Так что, командир, давай решай, кого и чем будем награждать.

— Да, да, ты прав, это надо решить сейчас... Представления от командиров батальонов у нас есть?

— Замполит собрал. Вот они, — показал Бугров на серую папку, в которой хранились написанные на клочках бумаги боевые донесения и репортажи на отличившихся бойцов. — Замполит по ним уже высказал свое мнение...

— Кто же там у нас отличился?

Бугров прочитал список.

— Лейтенант Сукуренко, — сказал Кравцов.

Он закурил, взял папку с репортажами, отыскал представление на Сукуренко, подписанное командиром первого батальона, в составе которого был на учениях взвод разведки.

«Взвод лейтенанта Сукуренко действовал дерзко и стремительно. Я видел своими глазами, как лейтенант Сукуренко личным примером увлекал вперед солдат. Неподалеку рвались снаряды, два осколка пробили лейтенанту телогрейку возле плеча. Я полагал, что лейтенант ранен, послал санитаря. Но лейтенант прогнал санитаря прочь. Потом, уже на плато, тов. Сукуренко...» Кравцов не стал читать дальше. Он знал, о чем будет сказано. Сукуренко по существу спасла жизнь Рубахину. Контуженный и оглушенный разведчик чуть не попал под разрывы снарядов. Она остановила его, затем, взвалив на спину, оттащила в безопасное место.

— Андрей! — сказал тихо Бугров. — Я обязан открыть тебе одну тайну. Сукуренко...

— Не надо. Я все знаю! — ответил Кравцов и посмотрел в упор на Бугрова. — Я подпишу представление...

\* \*  
\*

Цветы вокруг — красные, темно-синие, желтые... Пригорок казался Сукуренко ярким ковром, точь-в-точь как у тетушки на стене, и особенно после того, как его почистят снегом. Вспомнилось: маленький дворик, сарайчик для дров и большой сугроб. Она трет снегом ковер, руки красные. Вася стоит подле и ворчит: «Вот дура, пальцы отморозишь... На рукавицы!» Однажды она простудилась, заболела крупозным воспалением легких и легла в больницу. Тетушка испугалась, а ей нисколько не было страшно, напротив, ей хотелось умереть: очень уж нелегко жить с анкетой дочери «врага народа». Вася приходил в больницу, приносил книжки, говорил тихо: «Дура ты, умереть пустяк — раз, два и готово. Ты брось об этом думать. Мы вместе будем уроки готовить». Но он готовил один — и за себя и за нее. Ему ставили четверки, а в ее тетрадях пятерки. Правда, потом, когда вышла из больницы, призналась: «Это не я готовила уроки, а он, Вася Дробязко». Ух, как он обиделся! Она сказала: «Я врать не могу, стыдно». — «Да разве это вранье! Ты ничего не понимаешь». Он подошел к ней, взял за руку и долго смотрел в глаза. Она испугалась: «Вася, не надо, ничего не говори!» — «Ладно, я потом скажу». «Потом» тоже не сказал — ни на вокзале, когда уезжал на фронт, ни теперь, здесь, в Крыму...

Венок получился красивый, пышный. Она сняла пилотку, примерила:

— Идет?

— Очень! Хорошее бы платье сейчас к этому венку... — ответил Дробязко. — В клубе будут танцы. Сходим?

Она не ответила. Вспомнился капитан Рубенов.

— Я была у него и ничего не поняла. Он сказал, что не вызывал меня. Может, ошибка...

— Может быть, — согласился Дробязко и сообщил, что его наконец отпустили во взвод разведки.

— Вася, да это же хорошо! — обрадовалась Сукуренко. — Ты у меня будешь ординарцем. Ладно?

— Ну-ну! — улыбнулся он.

Некоторое время они шли по поляне молча.

— А знаешь, Марина... — заговорил первым Дробязко, — я бы очень хотел тебя видеть в нарядном женском платье...

— Что ты сказал? — Она удивилась, что Дробязко назвал ее по имени. Ее никто так не звал. Марина, Марка, Леонардыч... Оказывается, она — Марина.

— А иной раз мне кажется, — продолжал Дробязко, — что не только я хотел бы видеть тебя в таком одеянии, но и другие... — Он умолк.

Сукуренко спросила:

— Кто именно?

— Подполковник Кравцов.

— Вася, ты с ума сошел! — Она действительно никогда об этом не думала. Разве это возможно? Она для Кравцова просто лейтенант Сукуренко. — Вася, давай не будем об этом говорить. Ты — мой самый верный и близкий друг, слышишь? — И, помолчав, заключила: — Как летит время, ты, Вася, совсем стал взрослый!..

\* \*  
\*

Кравцов и сам не заметил, как очутился возле домика, в котором размещались полковые разведчики. Ну что ж, пришел — значит, заходи: вот дверь, вот сени — направо одна комната, в ней солдаты, налево —

вторая комната, там она, их командир. Можешь постучать, а можешь и без стука входить. Но Кравцов не вошел. Завернул за угол; увидел возле походной кухни Амин-заде, спросил:

— Лейтенант Сукурэнко на месте?

— Все ушли в клуб, товарищ подполковник, и командир наш тоже.— Он подошел к Кравцову и весело добавил: — Ти наш командир сейчас не узнаешь. Мужской костюм сняль, платьє короший надель. Сюда пошель, прямо в клуб пошель. Вася Дробязко их подстригаль, красив прическа получился. Другой женщин стал, в Европа нет такой, в Узбекистан нет такой, в Москве не был, не знаю. В Москве, наверное, есть такой красивый девушка... Смелый он, наш командир, красивый и смелый.— Амин-заде умолк, вдруг спохватился: — Ужин подгорел, разрешите бежать кухня?

Кравцов пришел в клуб уже к концу веселья, хотя еще было много народа. Сукурэнко стояла возле окошка в окружении большой группы бойцов и командиров. Заметив возле нее капитана Рубенова, Кравцов нахмурился и хотел было сразу уйти, но тут вдруг баянист заиграл вальс, Петя Мальцев голосисто объявил:

— Танцевать не воевать. Пошли, ребята, в атаку на вальс!

Он подхватил Васю Дробязко, и они закружились по залу. Кравцов даже удивился: «Смотри, молодцы, как танцуют!»

Было еще несколько пар. Быстро расхватили девушек из медсанроты. Капитан Рубенов пригласил хирурга, пожилую женщину. Но танец этот, видимо, был последний и окончился внезапно, люди дружно заспешили к выходу. К Кравцову подошел капитан Рубенов, взял под руку:

— Ты чего такой скучный? — И не дожидаясь ответа, громко сказал: — А я у вас последний день, завтра уезжаю в корпус, новую должность получил...

— Повысили? — сухо спросил Кравцов.

— Да... Вот за какие заслуги, и сам не знаю. Одним словом, до свиданья, Андрей Петрович! — Он подал руку и быстро скрылся за дверью.

Кравцов посмотрел ему вслед и улыбнулся, примирительно подумав: «Черт его поймет, этого особиста. Странный какой-то!»

Он увидел Петю Мальцева, о чем-то разговаривающего с Дробязко, заметил и ее, все там же, у окошка. В платьє Сукурэнко выглядела совершенно по-другому, более женственной и какой-то хрупкой. Но это ощущение быстро прошло, когда она подхватила под руки Мальцева и Дробязко и, словно не замечая Кравцова, закружилась по залу.

Кравцов вышел на улицу, сел под деревом на скамейку. Оглянулся. Рядом стоял Рубахин, одетый в новенькое и аккуратно выглаженное обмундирование.

— Молодец, Родион Сидорович! — похвалил его Кравцов.— Люблю, чтобы у солдата все блестело. Такого враг боится.

— Это уж точно, товарищ подполковник,— охотно поддержал Рубахин, присаживаясь рядом.— Что у человека внутри, то и снаружи.— И сам же себе возразил: — Иной раз совсем по другому получается: внутри вроде бы золото, а по фасаду никакого вида... и наоборот может быть. Жизнь, она, товарищ подполковник, не вам говорить, не сразу открывается. А на фронте еще сложнее... Когда лейтенант Сурин погиб, я Мальцеву бросал такие слова: «Зачем лейтенант кидался под мину? Без соображений он был...» Теперь бы сам швырнул себя не только под мину, под бомбу лег бы... За одного человека.

Кравцов хотел спросить, кто этот человек, за которого он готов идти на смерть, но не успел: из клуба с шумом и смехом вышла большая группа бойцов и командиров, потом показалась Сукурэнко, за нею Мальцев и Дробязко. Рубахин вскочил на ноги, вытягиваясь и прихо-

рашиваясь. Лицо его, до этого грустное, озарилось. Разведчики, не останавливаясь, пересекли двор, скрылись за полуразрушенной оградой.

— Я побегу,— спохватился Рубахин.

— Идите,— сказал Кравцов и сам последовал к ограде. Сквозь пролом он видел, как удалялись Петя Мальцев и она, в белом в черный горошек платье. Рубахин, сутулясь, плелся за ними на почтительном расстоянии, подфутболивая попадавшие на тропе камни. Потом Сукуренок остановилась, позвала Рубахина. Родион вспорхнул и в один миг пристроился рядом с ней. Пролом был небольшой, и разведчики вскоре скрылись из вида.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

### 1

До моря считанные километры... По вечерам слышен рокот волн, то утихающий, то нарастающий. Нервы натянуты, а воображение обострено, и перед взором Лемке встает скалистый, обрывистый берег, а дальше вода, вода... На сотни километров властвуют волны и быстро скользящие по ним изломанные тени от русских самолетов,— встает, весь вздыбленный, взлохмаченный разрывами бомб котел Черного моря. Лемке не умел плавать, и это обстоятельство страшило его...

— Черное, черное...— шепчет Лемке и сам себя призывает к хладнокровию. На какое-то время ему удается подавить страх, но миг относительного спокойствия тут же исчезает, испаряется, как капля воды, упавшая на раскаленный металл...

Впереди, напротив,— русские войска. До них рукой подать. Лемке знает, что в низине, у подножия горы, притаились не просто части Красной Армии, а армада артиллерии, танков, проклятых катюш, авиации и людей.

Почему они молчат? Почему не стреляют?

Тишина угнетала Лемке, и, чтобы не задохнуться в ней, он бегал и ползал от траншеи к траншее, от дзота к дзоту, от солдата к солдату, подбадривая, призывая подчиненных к стойкости и самопожертвованию, говорил о близком переломе в войне, который готовит фюрер... И когда в воздухе появлялся русский самолет-разведчик или падал снаряд, посланный оттуда, где притаилась армада войск противника, он выскакивал из бункера, спешил к Зибелю, кричал в убежище:

— Они начинают! Теперь мы их перемелем в порошок!

Утром в бункер пришла Марта. Она пришла одна, без Грабе,— раньше она всегда появлялась на передовой с майором Грабе, которого Лемке побаивался. Марта исправила красным карандашом в тексте приклеенной на дверях листовки слово «лейтенант» на «обер-лейтенант», потом сказала:

— Поздравляю, Лемке, с новым званием.

— Хайль Гитлер! — ответил Лемке.

Она подала сверток.

— Здесь новый мундир и погоны обер-лейтенанта.

— О, это хорошо, спасибо, Марта. Ты отличный помощник у фон Штейца. Не слыхали, Турция не собирается высаживать свои войска в Крыму?

— Не слышала...

— Это же свинство, что они медлят! — возмущился Лемке.

— Пожалуют, придет время. Я верю в это, Лемке.— Марта заметила на кровати возле подушки томик Гейне и, пока Лемке надевал новый мундир, взяла книгу, начала листать ее. Она знала, томик принадле-

жит Паулю, брат и сам пописывал в юности стихи. Он был очень равнодушен к политической литературе, ей казалось, что это временно, вырастет, и тогда его не оторвешь от трудов доктора Геббельса, Мартина Бормана, которые так популярно излагают великие идеи Адольфа Гитлера. Да, так она полагала раньше. Ошиблась, теперь точно знает, что ошиблась: он, оказывается, остался совершенно безразличен к этому. Страшно подумать, в роте Пауля разоблачили коммунистического агитатора! Она первой услышала его бредни и не могла, не имела права скрыть это от фон Штейца... Брата разжаловали в рядовые, и теперь он просто истребитель танков, сидящий в бетонном гнезде.

Марта бросила на подушку томик.

— Это книга вашего брата,— сказал Лемке.— Представьте себе, он читает Гейне даже сейчас, когда его разжаловали! Он что, и раньше был таким идиотом?

В былые времена она любила Пауля, гордилась им. Это чувство, вернее, частица его, еще осталась и жила где-то в ее сердце. Она и сама не знала об этом. Но Лемке разбудил это чувство.

— Раньше Пауль не был идиотом!— крикнула обиженно Марта, взмахнув плеткой. Он знал, что она может ударить: этой психопатке, расправившейся со своим родным братом, ничего не стоит пройтись плеткой по его, Лемке, спине, не спасет и новый мундир.

— Повернись ко мне спиной!— приказала она, закуривая сигарету.

Лемке покосился на дверь. Марта поняла, что он сейчас уйдет, ей так хотелось, чтобы он это сделал, ей будет легче. Но Лемке не ушел. Он показал на дверь.

— Прошу выйти вон! Ничтожество! Кто ты есть? Дочь германского пролетария, взятая напрокат фон Штейцем. У меня дядя директор концерна. Надеюсь, ты об этом знаешь. Именем фюрера— выйди вон!— Лемке потряс кулаками.— Напрокат взятая, вон отсюда!

У Марты потемнело в глазах. Она еле нашла дверь. Земля была неровной, под ноги то и дело попадались воронки, рытвины. Она спотыкалась, падала, поднималась и вновь шла. Чьи-то руки подхватили ее, усадили на сухую, нагретую солнцем землю. Она сразу поняла, что перед нею стоит Пауль, рядовой Пауль, ее брат.

— Что с тобой, Марта?

— Он меня выгнал.

— Кто?

— Лемке, племянник директора концерна.

— А-а,— Пауль тихонько засмеялся.

— Он говорит: ты дочь пролетария, взятая напрокат фон Штейцем...

— А-а,— Пауль опять засмеялся.— Хочешь посмотреть мою могилу?— Он согнулся, с трудом протиснулся в бетонное гнездо и оттуда крикнул:— Директор Лемке постарался, гробик отлил прочный.

Что-то обвалилось, грохнуло, раз, второй, третий... Потом утихло. Зибель высунул голову из гнезда: курилась обугленная земля, легкий дымок полз по лицу Марты и оседал на лужице крови.

Дымок качнулся, раз, другой, Марта приподнялась, обхватила руками голову. Ее стон вывел Зибеля из оцепенения, и он бросился к сестре. Разорвал пакетик и только хотел было перевязать рану, как неподалеку грохнул второй снаряд. Зибель припал к земле, потом взвалил сестру на спину, пополз в убежище.

Марта дернулась, открыла рот, пытаясь вдохнуть, но сил уже не хватило, руки сползли с головы, безжизненно упали Зибелю на колени...

Лемке кричал со стороны ротного бункера:

— Зибель, они начали пристрелку! Слышишь, Зибель, теперь тишине капут.

Пришла шифровка от Гитлера. Енеке приказал раскодировать ее немедленно, тут же, не выходя из бункера. «Видимо, это весьма важное и весьма секретное указание, — предположил генерал, — и, может быть, о нем никто не должен знать кроме меня».

Гитлер предписывал: «Обязываю вас от своего личного имени поставить войска в известность, что мы ни при каких случаях не будем принимать попыток эвакуировать наши части из крепости «Крым».

Вы обязаны проявить максимальную строгость и требовательность к местным жителям Севастополя с тем, чтобы каждый из них, от мала до велика, был привлечен на строительство оборонительных сооружений, на подсобные работы. Разрушенные укрепления в ходе боев должны немедленно восстанавливаться.

Я и немецкий народ гордимся вашим личным мужеством, боевым опытом и высоким талантом инженера-фортификатора, и мы непоколебимо верим, что доблестные войска крепости «Крым» с честью выдержат осаду русских армий!

История поставила перед нами великую задачу — вырвать у врага нужное нам время для организации мощного и окончательного контр-удара! Время — победа! Адольф Гитлер».

Енеке прочитал телеграмму и задумался. Напоминание о мобилизации жителей Севастополя — дело обычное: он, Енеке, сам такое распоряжение отдал, как только русские овладели Перекопом.

«Я и немецкий народ гордимся вашим личным мужеством...» И эта фраза не вызвала у Енеке особых эмоций, потому что с момента волжского котла стала дежурной в директивах и распоряжениях Гитлера командующим армиями, попавшими на грань катастрофы. А вот первая фраза... «Мой фюрер! — размышлял Енеке. — Почему я это должен сделать от своего имени? Значит, я не могу сказать войскам, что это вы приказали, что это ваша воля, ваше указание?» Десятки вопросов возникли, а ответ напрашивался один: Гитлер решил всю ответственность за судьбу армии, за жизнь многих тысяч немецких солдат возложить на голову Енеке. Он понимал, что это значит — в случае гибели армии Гитлер останется в стороне и выйдет сухим из этой истории.

Ему стало не по себе от таких мыслей. Но Енеке умел быстро подавлять в себе всякие сомнения.

— Подшить в дело, — приказал он шифровальщику своим обычным твердым голосом.

Шифровальщик показал на гриф телеграммы.

— Это сжигается, господин генерал.

Енеке достал зажигалку, нажал на кнопку, вспыхнуло синеватое пламя. Затем он растер пепел на ладони, сдунул его.

— Вы свободны, — хмуро бросил он шифровальщику.

В бункер вошел фон Штейц и без обычного официального приветствия сказал:

— Кажется, началось. Они открыли пристрелку.

— Пристрелка — это еще не начало, — ответил Енеке, — пристрелка может продолжаться несколько дней. Несколько! — повторил он.

— Есть разрушения, убитые. — Фон Штейц полагал, что командующий сразу заинтересуется тем, кто именно погиб и в каком секторе, и он тогда назовет Марту.

Енеке не отозвался. Он сидел в кресле и молча играл зажигалкой, то нажимая на кнопку, то гася вспыхнувшее пламя. Он думал о своем, а фон Штейц — о Марте. Полковник вспомнил дни, проведенные в имперском госпитале, пытался в мыслях ответить себе, что свело его с этой фанатично настроенной девушкой. Любил он ее по-настоящему или

просто так привязался? На этот вопрос он не смог ответить, хотя точно знал, что он не женился бы на Марте. Не потому, что такой брак невозможен: она — дочь немецкого рабочего, а он — знатный человек, потомок известных в Германии фон Штейцев. И все же Марта для него не просто Марта. И он обязан что-то сделать, чтобы о ней осталась память. Если генерал Енеке выделит ему самолет, он отправит тело Марты в Германию и распорядится похоронить ее на берлинском кладбище, а потом, когда кончится война, поставит ей памятник как героине...

— Разрушения должны немедленно восстанавливаться, — произнес Енеке. — Пошлите туда местных жителей — сто, двести, сколько потребуется, и заставьте их восстановить разрушенное...

— Погибла Марта, — сообщил фон Штейц.

— Марта? Это, конечно, печально, но ничего не сделаешь, война...

— Она была настоящей немецкой девушкой.

— Женщиной, — подхватил Енеке, глядя из-под лба в упор на фон Штейца. «Мне-то известно, в каких отношениях вы были со своей помощницей», — говорили его глаза.

— Да, женщиной, — твердо повторил фон Штейц.

— Вот именно, — сказал Енеке, поднимаясь. — А обязанность немецкой женщины — рожать для Германии солдат.

Фон Штейц вскочил, но Енеке опередил его:

— Правда, Марта сама была солдатом, настоящим солдатом.

— Вот именно, — подражая Енеке, сказал фон Штейц, — а без настоящих солдат не может быть настоящего генерала.

Командующий понял намек фон Штейца.

— О, оказывается, вы умеете обижаться! — Он заметил в руках фон Штейца металлическую коробочку и, чтобы уклониться от неприятного разговора, сказал: — Это что у вас за сувенир?

— Где? — не понял фон Штейц.

— У вас в руках.

— А-а... Это незабудка о Шестой армии Паулюса.

— Интересно. Можно посмотреть? — Енеке взял коробочку, прочитал написанные Мартой на крышке слова: «Реванш! Помни, Эрхард». Она написала еще там, в госпитале, когда фон Штейц возвратился из поездки в Ставку. Генерал открыл коробочку, сосчитал осколки, видимо, догадался, откуда извлечены эти ребристые синеватые кусочки металла, и сказал: — Ваши?

— Да.

— Все тринадцать?

— Нет, двенадцать. Тринадцатый — отцовский. Он был ранен под Псковом в восемнадцатом году, осколок подарил мне.

— Помню старого фон Штейца. Помню... Реванш... Храните. — Он задумался, потом тряхнул головой: — Мы вырвем у врага время, нужное нам для организации сокрушающего контрудара. Реванш мы возьмем! Храните. — Он возвратил коробочку и совершенно другим тоном спросил: — Так... Что вы хотели сказать о Марте?

— Отправить ее тело на самолете в Берлин и похоронить на городском кладбище. Она этого заслуживает...

— Верю и знаю. Я могу просить фюрера о награждении ее железным крестом первой степени. Но самолет выделить не могу. Похороним ее здесь. Мы отсюда не уйдем, фон Штейц!

— Не уйдем, — повторил фон Штейц и почувствовал на душе облегчение: Енеке прав, похороним здесь, потом можно будет останки перевезти в Берлин. И как он сам не подумал об этом!

Они вместе вышли из бункера. Енеке сказал:

— Надо создать аварийный отряд из местных жителей под надежной охраной наших офицеров, — он обрадовался неожиданно пришед-

шей в голову мысли.— Без такого отряда нам не обойтись. Немедленно бросить его на восстановление разрушенных объектов.— Он начал говорить об отряде как уже созданном и действующем.— Пусть работают, пусть работают под огнем, под обстрелом. Пусть гибнут, но работают... Пусть, пусть! — перешел Енеке на крик. Впервые этот сдержанный, железной твердости человек лопнул по швам и обнажил перед фон Штейцем неуравновешенность и истеричность.

### 3

Все было сделано так, как приказал Енеке: на огневые налеты русской артиллерии немецкие войска не отвечали, чтобы не раскрыть систему укреплений и расположение огневых средств; основная масса живой силы сосредоточилась в укрытиях на запасных рубежах.

Пять дней подряд носился огненный смерч по Сапун-горе. Час назад этот смерч изуродовал, превратил в обугленную и обожженную грудку левый фас средней террасы. Потом наступило короткое затишье, а теперь снова началось. Енеке некоторое время пытался на слух определить, какой участок обороны подвергся очередной обработке. В голове стучало назойливо и неумолимо: так-так-так. «Русские методическими огневыми налетами артиллерии могут разрушить укрепления еще до основного штурма крепости,— подумал Енеке.— Значит, надо усилить восстановительные работы,— не ослаблять, а усиливать». Он поднялся, чтобы позвонить Грабе и получить точные данные о разрушениях и ходе восстановительных работ, но тут он сам вошел в бункер. Енеке побагровел.

— Вы обязаны докладывать мне в восемнадцать часов по берлинскому времени. Сейчас десять минут девятнадцатого. Прошу!

Грабе привычно перечислил разрушенные «точки» и умолк, закрывая папку.

— Сколько восстановили? — спросил Енеке.

— Огневые налеты повторялись часто, господин генерал, и работать было невозможно...

— Невозможно? Я приказал: мобилизовать местных жителей. Всех, всех — от мала до велика...

— Невозможно и опасно, господин генерал. Они по ночам куда-то исчезают... Есть сведения, господин генерал, что некоторые из мобилизованных местных жителей сбежали.

— Куда?

— В расположение противника, к русским. Они могут раскрыть нашу систему обороны.

— О, это действительно опасно! — подумав, сказал Енеке.— И тем не менее... — Он приблизился к Грабе.— Мой приказ остается в силе. Пусть возводят укрепления в городе, на запасных позициях.— Он подошел к выходу, открыл дверь.— Почему все же они не наступают?

— Кто, господин генерал?

— Русские! — крикнул Енеке и, хлопнув дверью, вышел из бункера.

Грабе последовал за ним. Он увидел, как генерал сел в броневтомобиль, как помчался к морю, туда, где занимала оборону дивизия генерала Радеску. Глядя вслед командующему, Грабе пытался понять, почему Енеке спрашивает о русских. Ему-то, Грабе, совершенно безразлично, будут наступать советские войска немедленно или их огневые налеты еще несколько дней погуляют в секторах обороны, изматывая нервы у солдат, — какая разница, сегодня или завтра...

Грабе спустился к дороге, присел на бугорок и, открыв флягу, приложился к горлышку. Стало веселее. Он достал из кармана губную гар-



мошку и с озорством начал наигрывать песенку, знакомую еще с юности. Он играл до тех пор, пока не услышал позади шум автомобиля.

Из броневика вышел фон Штейц. Грабе протянул ему флягу.

— Мой воспитатель... И годы юности прекрасны и национал-социалисты хороши,— пропел он поднимаясь.— Выпей, вспомни Марту...

— Грабе, ты пьян. Как можно так напиваться! Ведь ты же агент,— вырвалось у фон Штейца.

— Я инвалид, инвалид войны... Вот этой,— махнул он рукой в сторону высотки, где плясали огненные букеты разрывов.— Верни мне глаз, воспитатель, верни мои мысли, прежние мысли: «Мы расколошматим Россию в один прыжок!» Верни!..

Фон Штейц вздрогнул. Выдержка покинула его, и трость, взвизгнув, опустилась на плечо Грабе.

— Именем фюрера!..— Он не договорил, резко повернулся и уже, когда открыл дверцу автомобиля, крикнул:— Я обязан послать вас в штрафную роту!

Автомобиль сорвался и резво побежал к штабному бункеру. Грабе, держась за плечо, стоял согнувшись: броневик казался ему маленькой букашкой..

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

### 1

В бинокль Акимов видел с наблюдательного пункта подошедшие вплотную к Сапун-горе штурмовые полки. Их исходные позиции пролегли от моря и до моря. Эта живая дуга, составленная из многих тысяч людей, танков и орудий, подрывной техники, представлялась ему четко, потому что он лично исходил и объездил эти места, прежде чем наметить боевые порядки готовых к штурму войск. Он знал, что за его спиной, в глубине крымских гор и равнин, гнездятся десятки дивизионов артиллерии большой мощности, а еще глубже, под Керчью и на Таманском полуострове, рокочут, готовые к взлету эскадрильи бомбардировщиков, штурмовиков, истребителей...

Войска напряжились, готовые к удару. «Товарищ Акимов, стратегическая и оперативная обстановка на фронтах такова, что мы не можем дальше терпеть группировку немцев в Крыму. Она тормозит наше наступление на южном крыле. Рады будем вас видеть четырнадцатого мая в Москве»,— звучат в ушах слова вчерашнего разговора со Ставкой. Четырнадцатого мая... Да, торопиться надо. В Крым прибыл новый командующий немецкой группировкой генерал Альмендингер. Он может внести изменения в систему обороны. Это очень нежелательно, ибо курок советских войск взведен, осталось только нажать. Теперь возникла необходимость получить новые данные о противнике. Конечно, Альмендингер ничего не сможет изменить, и, видимо, останется все то, что создал генерал Енеке,— старого фортификатора понизили в должности, он теперь заместитель нового командующего, но все же... Акимов опустил бинокль, протер платком усталые воспаленные глаза, спросил у Кашеварова:

— Где и кто берет контрольного пленного?

— Подполковник Кравцов.

Полк Кравцова занимал исходные рубежи в направлении главного удара, в километре от наблюдательного пункта дивизии. Акимов прикинул, сколько нужно времени на захват «языка», на первоначальный допрос его и доставку на НП добытых сведений. Надо сократить это

время максимально, чтобы в случае необходимости произвести какие-то изменения в общем плане наступления. Хотя все уже рассчитано и начелено, но в последний момент вполне можно кое-что уточнить, например, огневой удар гвардейских минометов или новые цели для авиации. Именно для этого Акимов и прибыл к генералу Кашеварову. Но рядом полк Кравцова...

\* \*  
\*

В блиндаж, где сосредоточились разведчики, пришел Кравцов. Его новый ординарец, очень высокий, веснушчатый солдат, начал угощать солдат «Казбеком». Кравцов заметил:

— На улице покурим, товарищи?

Мальцев шепнул на ухо ординарцу:

— Болван, — и, надвинув ему пилотку на глаза, потащил к выходу. — Подышим воздухом.

Теперь в землянке их было двое — Кравцов и Сукуренко.

Кравцов развернул перед лейтенантом карту участка, где намечалось взять контрольного пленного.

— Вот тут, — сказал он.

— Да, — подтвердила Сукуренко. — Мы изучили систему обороны, подходы и отходы.

Она начала рассказывать, как изучали, как вместе с начальником разведки дивизии составили план операции. Обо всем этом знал Кравцов, и, если говорить откровенно, встречи командира полка с командиром разведвзвода перед самым выходом за «языком» могло бы и не быть, потому что все уже согласовано.

«Привычка — вторая натура, — решила про себя Сукуренко. — Командир полка и раньше приходил во взвод, когда отправлялись брать пленного».

Кравцов свернул карту, положил в планшет. Потом вновь достал ее и теперь уже, не разворачивая, смотрел на маленький квадратик, на котором был изображен кусочек земли, занятый гитлеровцами.

— Вот здесь, — повторил он больше для себя, чем для нее, повторил и понял — пришел сюда, чтобы еще раз предупредить: там стена, не просто линия обороны, а именно — стена чудовищной толщины, и вытащить пленного из этой спрессованной массы бетона и железа практически невозможно. Ему, Кравцову, посылать ее на этот раз за «языком», как никогда, трудно... Но он, пожалуй, этого не скажет.

— Марина.

— Я, лейтенант Сукуренко, — отозвалась она.

— Хорошо, хорошо, товарищ лейтенант... Марина.

— Нет, нет, зачем так... — она посмотрела на него умоляюще.

«Милая девушка, — чуть не сорвалось у него с губ, ставших вдруг почему-то сухими, — позволь перед самым решающим боем произнести твое имя...» А сказал совсем другое:

— На Рязанщине сейчас начался сев. Я ведь из Рязани...

— Слышала, Андрей Петрович.

Брови его удивленно вздрогнули.

— Мне Дробязко говорил о вас, товарищ подполковник.

— Василий?

— Да... Мы в одной школе учились.

— Вот как! Значит, он вас хорошо знает? А мне говорил: «Москва большая, разве можно всех знать».

Она не ответила, а он все ждал, глядя на карту.

— Он просто хороший товарищ, — сказала она.

— И только?  
— Да, да... И только, Андрей Петрович.  
— Андрей Петрович... — улыбнулся он. — Мне двадцать семь лет. Это ведь еще немного, правда?  
— Немного.  
— Через год окончится война. Будет двадцать восемь.  
— Почему через год?  
— Теперь уже недалеко до победы... Приезжайте после войны к нам, в Рязань... Приедете?  
— Приеду, — прошептала Сукуренко.  
— Тогда... По коням! — И Кравцов позвал разведчиков в блиндаж.

\* \*  
\*

Ночь была тихая-тихая, и звезды будто бы замерли, а Кравцову хотелось услышать выстрелы. И они раздались вскоре — злые, частые. Теперь ему хотелось, чтобы эти хлесткие, визжащие звуки оборвались, заглохли. Кравцов всмотрелся в темноту, тревожно крикнул:

— Идут! Их четверо!

Да, их было четверо — Дробязко, Мальцев, Амин-заде и Зибель, бывший обер-лейтенант, теперь рядовой гитлеровской армии. Он шел, как идет человек, у которого страшное осталось позади, а впереди — неизвестное, не лишающее надежд на лучшее.

— Я буду говорить только правду, — сказал Зибель и попросил, чтобы ему дали глоток воды и сигарету. — Ваши солдаты — это что-то невероятное! Я находился в гнезде истребителя танков и ждал смерти. — Он говорил так быстро, что его прервали и потребовали повторить. И он повторил.

...Кравцов провожал Акимова до броневедомобиля. Выстрелы еще гремели, но не так хлестко, как прежде. На небе появлялись и гасли серебристые следы от ракет. Акимов сказал:

— Имеющиеся у нас данные о системе укреплений врага полностью подтверждены. — Он умолк, наблюдая, как, вспыхнув, покатила к морю звезда.

— Она не погаснет. Нет, — думая о Сукуренко, отозвался Кравцов.

— Звезды гаснут, — сказал Акимов.

— Не все... Подождем, узнаем...

— Вы о чем, подполковник?

— О лейтенанте Сукуренко.

Акимов открыл дверцу и, прежде чем сесть в машину, наклонился к Кравцову:

— Вы думаете, что она погибла или попала в руки немцев?

— Я ничего не думаю, товарищ Акимов, я просто докладываю вам о лейтенанте Сукуренко.

— Да, да, подполковник... Надо подождать, возможно, вернется.

— Конечно, будем ждать, товарищ Акимов. Она не одна, вместе с ней не вернулся с задания разведчик Рубахин.

— Всякое бывает, Кравцов, — ответил хмуро Акимов. — Подождем. Не все ведь, попав в безвестность, погибают.

— Не все, — согласился Кравцов.

\* \*  
\*

Что-то тяжелое, жесткое давило на грудь, голову. Сначала Рубахин открыл один глаз, потом второй... Над головой висело спокойное и на редкость чистое небо. «Утро», — подумал Рубахин. А тяжесть все давила

до боли и хруста в груди. Рубахин с трудом поднялся на колени, затем во весь рост. Рядом с бруствером зияла огромная воронка, лежали комья земли, продымленные и обожженные. Кругом стояла звенящая тишина. Рубахин начал припоминать, где и что с ним произошло, и наконец вспомнил. Спустились в эту траншею вместе с командиром взвода, потом началась бомбежка, артиллерийский обстрел. Сукуренко приказала группе захвата отходить вместе с пленным, сама с Рубахиным прикрывала отход. Что произошло после этого, Родион не мог восстановить в памяти. В голове шумело. Неожиданно метрах в ста в стороне, на рыжем пригорке, он увидел группу людей. Их было четверо — двое тащили под руку обессиленного человека, один плелся вслед, держа автомат наизготове. Тот, кого вели, показался Рубахину знакомым. Родион от неожиданности вздрогнул. «Она!» и побежал вдоль траншеи. На изгибе наскочил на немца, сшиб его с ног, прижал к земле, держа за горло. Гитлеровец колыхнулся раз, другой и утих, бездыханный. Рубахин разжал пальцы, схватил ручной пулемет и выглянул из траншеи. Отсюда было ближе до рыжего пригорка, и он отчетливо увидел, как упиралась Сукуренко.

— Стойте! — крикнул Рубахин, но голоса своего не услышал. — Стойте! — И опять не услышал. Тогда он понял, что его контузило, и, возможно, он лишился речи. Немец, который был ближе, оглянулся, видимо, он услышал шум, поднятый Рубахиным. Рубахин бросил на бруствер пулемет, нажал на спуск... Немец взмахнул руками и, сделав несколько шагов, упал.

Пока все это происходило, Лемке, довольный тем, что в его руки попал советский командир, с особым удовольствием докладывал по телефону командиру полка. Он положил трубку в тот момент, когда послышалась пулеметная очередь: пули пропели возле самого входа в блиндаж. Лемке насторожился: что бы это могло быть? Он вышел из убежища, охватил взором местность. Солдаты продолжали вести русского лейтенанта. Он крикнул вслед конвоирам:

— Кто стрелял?!

И тут увидел распростертого лицом вниз старшего конвоя ефрейтора Носке. Лемке позвал его, но тот не пошевелился.

— Носке! — повторил Лемке.

Снова совсем рядом пропели пули, Лемке заметил, как один из конвоиров, выпустив из рук пленного, мягко осел на землю. Тотчас же на позициях боевого охранения застучали автоматные и пулеметные выстрелы.

А Рубахин не слышал выстрелов. Покинув траншею, он быстро полз, гонимый одной мыслью: освободить лейтенанта... Когда был уничтожен второй конвоир, в обойме кончились патроны. Рубахин разбил пулемет о камень, а остатки его зашвырнул в бурьян. Теперь в руках был автомат. С разных направлений приближались мелкие группы немцев. Рубахин напряжился и пополз стороной, не теряя из виду тех, кто находился на пригорке... Пусть поднимутся, и тогда он перестреляет охрану, а Сукуренко в суматохе может скрыться, ибо весь огонь врага он примет на себя... Быстро вытащил из сумки гранату и швырнул ее далеко вперед, в надежде припугнуть немцев, заставить их пошевелиться. Но это не подействовало. Тогда он вскочил на ноги и, уперев автомат в плечо, скорой походкой, не сгибаясь, во весь рост пошел на пригорок... Метров пятьдесят оставалось до места, где лежала прижатая немцами к земле Сукуренко, он отличил ее по телогрейке. «Товарищ лейтенант, это я, Рубахин!» — пошевелил он губами, и оттого, что не услышал своего голоса, заплакал...

Лемке решил взять разведчика живым. Прижавшись в окопе, он пропустил Рубахина, а затем с подоспевшим солдатом прыгнул ему на спину. Рубахин тряхнул плечами, и Лемке грохнулся на землю, огром-

ный сапог врезался ему в лицо, и обер-лейтенант, обливаясь кровью, запрокинулся на спину. Рубахин направил ствол автомата на второго гитлеровца, но не успел выстрелить, что-то обожгло живот, и он осел на землю, чувствуя, как схватили его за руки... Сумка с гранатами, висевшая впереди, уперлась Рубахину в подбородок. Он напрягся, зубами выхватил кольцо. Щелкнул запал, и Рубахин засмеялся: у него восстановился голос. Он смеялся шесть секунд и успел сказать:

— Зараз очищу от погани землю...

Детонатор сработал, снап пламени ударил в лицо...

Лемке потом долго смотрел на груды сплетенных тел, пытаясь отыскать труп русского. И он опознал его, опознал по широким плечам и уцелевшим поганам на них. Обер-лейтенанта охватил страх, и он начал торопить солдат, чтобы быстрее доставили русского лейтенанта в штаб полка.

## 2

Еще утром, когда первые лучи солнца легли на землю, Сапун-гора была просто горой — с обрывами, лощинами и скатами. Но теперь ее нет, вместо крутой и высокой земляной гряды, шипя и грохоча, бьется в конвульсиях упавшее с неба солнце. На десятки километров вокруг стоит густой запах гари и огня, такой густой, что можно захлебнуться от одного вдоха.

К полудню канонада чуть стихла. На наблюдательный пункт Кравцова из кратера взрывов приполз продымленный и прокопченный Амин-заде. Глаза, как два уголька, сверкнули в блиндажном полумраке.

— Товарищ подполковник, фашисты понатыкали в землю бетонных шариков, в которых сидят фрицы и бьют по нашим танкам... Сержант Мальцев велел передать: надо мелькими группами влезать на гору, мелькими-мелькими...

Амин-заде рассказал, что их группа, наступая, уперлась в четырехглазое чудище-дот, который брызжет таким плотным огнем, что подступиться к нему невозможно — ни танку, ни орудью, ни солдату. Но Вася Дробязко говорит: попробуем ночью овладеть этой крепостью.

— Мир, это хорошо, пусть так и сделает Дробязко. Возвращайся туда и передай Мальцеву: я прошу взять дот,— сказал Кравцов.— Очень прошу.

— Будет так, товарищ командир, приказ я поняль.— И, наполнив флягу водой, он снова пополз на гору, окутанную огненным кипеньем разрывов...

Ночью перестраивали боевые порядки. Ночью не спали — работали до седьмого пота.

Утром небо вновь неистощимо сыпало на гору снаряды и бомбы. И обугленная земля вновь превратилась в упавшее на землю солнце...

Потом огненный вал, вздрогнув, пополз кверху, обнажая позиции немцев.

Кравцов подал сигналы для повторной атаки. От окопов потянулись быстрые и молчаливые ручейки людей. Их было так много и они бежали так быстро, что за какие-то полчаса достигли кромки кипящего котла.

К вечеру полк продвинулся на триста метров.

Кравцов распорядился продвинуть наблюдательный пункт вплотную к штурмовым группам. Он уже собрался покинуть удобную для наблюдения высоту, как в блиндаж вошел Акимов. Левая рука его была забинтована.

— Первый прыжок сделан,— сказал Акимов. Он прильнул к амбразуре.— Отличный обзор! — И, повернувшись к Кравцову, поинтересовался: — Не вернулась?

— Нет, товарищ Акимов,— поняв, о ком спрашивает генерал, ответил Кравцов и сообщил о своем решении выдвинуть наблюдательный пункт вперед.

— Хорошо,— сказал Акимов,— Кашеваров гордится мужеством твоих солдат. Он сейчас сюда прибудет. Как только развернут средства связи, мы передадим в Москву имена героев штурма. До встречи, Андрей Петрович!

Полк продвинулся на триста метров, Дробязко со своими ребятами — на сто тридцать. Внизу догорали подбитые танки, штурмовые орудия, стонали раненые. Их подбирали санитары, волокли на своих спинах по горячей земле на полковой пункт медицинской помощи.

Из темноты выплыл Амин-заде, подполз и замер возле Дробязко.

— Аминь, что сказал командир полка? — тихо спросил ефрейтор.

— Очень просил дот убрать.

Справа, слева и впереди виднелись курганчики. Сверху неслись крики: «Капут вам тут! Расшибете головы о нашу крепость».

Петя Мальцев возмутился:

— Сволочи! Ругаться как следует не умеют.

Дробязко сказал:

— Ты поспи, Амин-заде, устал?

— Мало-мало,— он протянул руку ефрейтору.— Перевяжи, Вася, пониже локтя укусил. Но кость целая, сапсем не больно.

Дробязко, перевязав рану Амин-заде, начал прилаживать к древку пробитое пулями и осколками красное полотнище. Серая глыба монолита нависла над их головами, защищая от выстрелов и катящихся сверху камней. Камни, ударяясь, высекали искры. Пахло горелым. Камни еще долго катились книзу, шурша и будоража прикорнувшую на миг тишину.

— Эй, рус, отступай, в плен брайт тебя утром будем.

Это кричат где-то сверху. Мальцев запрокинул голову.

— Наваждение, будто он у меня на плечах сидит.

Амин-заде хихикнул:

— Испугался...

— Не больно пугливый, сам кого угодно до смерти напугаю,— отозвался Мальцев.

Амин-заде поднял автомат, потряс над головой.

— Сапсем не болит, товарищ сержант. Дратья буду, за лейтенанта Сукуренко мстить буду...

Мальцев поднялся на выступ и долго приспособлялся, чтобы без шума забраться на камень, нависший над головами разведчиков. Наконец ему удалось это сделать. В мигающих отсветах выстрелов, гремевших то впереди, то где-то сбоку, он успел разглядеть двухметровую стенку, увенчанную каким-то нагромождением — не то пирамидами из камней, не то бетонными колпаками. Швырнуть туда связку гранат, швырнуть немедленно! И он швырнул бы, но в тот миг, когда замахнулся, при очередном отсвете, который почему-то долго не гас, он увидел очень близко от себя голову немца. Мальцев не опустил связку гранат, а еще выше поднял ее, теперь целясь прямо в гитлеровца...

— Не убивайт, я плен иду! — прошептал немец, бросив оружие и поднимая руки.

Мальцев напряжился, бесшумно прыгнул на плечи врага и стащил его вниз.

— Фрица приволок, Вася. Мы тут сидим, а они шастают по головам. Вот он, трофей-то,— Мальцев дернул за шиворот немца, подтолкнул ближе к Дробязко.

— Что же мы будем с ним делать? — сказал Дробязко после того, как все успокоились и присмирели. — Обуза для нас. Интересно, каким путем он к нам проник? Может, и к ним можно пробраться, ребята?

— Вася, ты маршал, — подхватил Мальцев. — Ты, Вася, тихий человек, а в голове у тебя океан стратегических и тактических мыслей. — Он наклонился к сидевшему немцу, поторопил: — Быстренько, доложи-ка нам... Ты по-русски сообщаем?

— Я, я!

— Чего это он? — спросил Мальцев у Дробязко.

— Понимает, — пояснил Вася. — Скажи: мы можем забраться на террасу и спрятаться там на время?

— Я, я!..

— Не тронем, будешь жить, в Германию отправим, только проведи. Согласен? — продолжал Мальцев.

— Я, я.

— Вот это послушание! — обрадовался Дробязко. — С таким фрицем можно жить. Но смотри, — погрозил он пленному связкой гранат, — обманешь — получишь...

Посоветовались. Помолчали. Шутка ли — идти на такой риск!

Петя Мальцев сказал:

— Если что, взорвем дот...

Амин-заде подвинулся ближе к Дробязко:

— Вася, командир полка просил...

— Веди! — приказал Мальцев пленному.

\* \*  
\*

Они ждали восхода солнца, чтобы осмотреться, куда привел их слесарь из Лейпцига Вилли Роммель. Восход запаздывал, и казалось, что на этот раз его вообще не будет, солнце, видимо, устало и решило переждать там, за далекими горами, чтобы не видеть и не слышать, как стонет и рушится земля под тяжелым дождем металла и взрывчатки...

Но вот полоска зари очертилась на востоке и тут же погасла. Ее затмил густой непроходимый лес разрывов.

Разведчики сидели в темном бетонном мешке. Над ними клацали затворами, гремели выстрелы, кто-то кричал, бегал, топая коваными сапогами.

— Это у них укрытие, — догадался Мальцев, — они могут сюда спуститься...

— Я, я, — подтвердил пленный и показал кивком головы на узкую дыру, — есть запасной выход...

— Гут! — крикнул Мальцев и приказал Дробязко взять под обстрел зияющую дыру люка.

...Лемке видел, как все ближе и ближе к террасе подкатывается огненная гряда, вот-вот она перехлестнет порожек и накроет форт. «Но может, и не накроет, может, остановится или пройдет стороной. Еще немного подождем, и тогда...» Он знал, как поступить «тогда»: часть солдат уйдет в укрытие, часть останется у орудий и пулеметов — их обязанность расстреливать в упор атакующего противника.

Звякнул телефон. Говорил генерал Енеке.

— Твои солдаты показывают образцы стойкости. Я убежден: там, где обороняются солдаты капитана Лемке, русские не пройдут!..

Лемке подумал: «Значит, я уже капитан».

— Хайль! — прохрипел он, и тут же телефонный аппарат с грохотом упал на бетонный пол. Солдат-пулеметчик отскочил от амбразуры.

Шатаясь и держась за голову, он повернулся к Лемке, из-под его рук сочилась кровь.

Лемке подбежал к внутреннему переговорному устройству.

— В укрытие, наводчикам остаться! — И сам бросился к люку, чувствуя, как печет ему спину.

...Мальцев сначала увидел ноги, они дрожали и покачивались, потом туловище в офицерском мундире. Он взял автомат за ствол, ударил прикладом по спине.

— Спокойно...— связывая руки Лемке, сказал Мальцев. Он вогнал кляп в опухший, рассеченный рот офицера и приготовился принять очередного немца...

Скоро их набралось здесь восемь, обезоруженных и связанных. Дробязко высказал опасение, что если дальше так пойдет, то некуда будет помещать пленных, и они задохнутся в этом мешке вместе с фрицами.

Подождали. В люк никто не опускался. Там, наверно, неумолимо продолжалась обработка немецких укреплений...

Мальцев приказал:

— Теперь, ребята, наверх! Водрузим знамя и будем драться до подхода своих...

### 3

Енеке открыл вентилятор — струя упругого воздуха ударила в лицо, взвихрила волосы. Воздух был горячий. Генерал нажал на кнопку, жужжание оборвалось, на какое-то время Енеке почувствовал прохладу и подумал, что там, на поверхности, пожалуй, духота плотнее, чем в бункере. Но это лишь показалось, ибо вскоре спертый, нагретый воздух снова начал беспокоить Енеке. Он решил подняться на второй этаж, оборудованный для кругового наблюдения. Амбразуры были открыты, и сквозь эти квадратные глазища проникали сквозняки, хотя и теплые, с запахом паленого, но дышать стало легче...

Перед фон Штейцем стоял все тот же русский лейтенант — девушка, с которой он, Енеке, уже дважды разговаривал, требуя рассказать об организации боевых порядков советских войск, штурмующих Сапун-гору. Ему хотелось знать именно это, он не допускал и мысли, что обычным, шаблонным построением войск можно так глубоко вклиниться: уже пал первый пояс оборонительных сооружений, командиры дивизий докладывают, что противник подходит ко второму ярусу, к главной полосе укреплений. Енеке тверд в своих убеждениях — эту машину русским не одолеть, во всяком случае здесь произойдет пауза, и он сделает все, чтобы залатать трещины, образовавшиеся в крепости. И все же... Если бы удалось вырвать у этого лейтенанта данные о боевых порядках русских! Тогда возможна была бы мощная контратака...

Енеке снял перчатки, погладил овчарку, опустил на стул возле амбразуры. Пес лег у ног, наострил уши на пленную. Фон Штейц спросил через капитана-переводчика:

— Вам оказали медицинскую помощь?

— Да,— ответила Сукуренко, разглядывая переводчика. Она заметила, что тонкие губы капитана чуть-чуть дрожат.

— Кто ваш отец?

— Отец? Какое это имеет значение? — вздохнула Сукуренко и отвела взгляд в сторону.

— Он коммунист?

— Коммунист! Старый коммунист,— она посмотрела на фон Штейца в упор.

— С какого года коммунист?



Она точно не знала, когда отец вступил в партию, но, не задумываясь, сказала:

— С тысяча девятьсот двенадцатого года.

— Мать большевичка?

— Большевичка.

— Значит, вы пошли на фронт по убеждению.

— Да, по убеждению. Я родилась при Советской власти, училась в советской школе. Я еще не успела вступить в партию, но можете считать, что я тоже коммунистка! — Она взмахнула рукой так энергично, что овчарка поднялась и оскалила зубы.

— Мы вас обязаны расстрелять, — сказал фон Штейц. — Но у вас есть возможность избежать смерти...

Енеке прищурил правый глаз, покачал головой: да, он, Енеке, точно так же вел вопрос. Она тогда сказала: «Смерти не боюсь», и он поверил, что она действительно не боится смерти...

Фон Штейц продолжал допрашивать пленную, но Енеке уже не слушал его, он припал к амбразуре и весь отдался мысли, как, каким способом вынудить русских остановить свое наступление, получить паузу. От него этого требовал командующий генерал Альмендингер, и он должен что-то сделать. Глядя в бинокль, генерал вдруг заметил на гребне — там, где оборонялись солдаты капитана Лемке, — красное полыхающее пятнышко. Он присмотрелся: это был флаг, маленький, но стойко трепещущий на ветру...

Енеке закричал:

— Фон Штейц, приказываю расстрелять, — он ткнул стеком в плечо Сукуренко. — Смотрите, — и потащил фон Штейца к амбразуре.

— Лемке! Красный флаг! — воскликнул фон Штейц. — Это невозможно!

Енеке бросился к телефону, приказал немедленно послать из резерва командующего танки в район главного фаса обороны.

Вошел майор Грабе, вытянувшись, прохрипел в растяжку:

— Русские пробилась в главный фас центрального сектора.

Енеке рванулся к выходу и под лай овчарки загрохотал каблуками по лестнице, крича адъютанту:

— Подготовьте броневик!

Фон Штейц достал из кармана коробочку с осколками, потряс ею перед глазами Грабе:

— Прочти...

— Реванш, — вяло прошептал Грабе.

Фон Штейц повернулся к Сукуренко и, обращаясь к Грабе, сказал:

— Возьми двух солдат и расстреляй немедленно. Именем фюрера! — Он хотел еще что-то сказать, но задохнулся от ненависти и только потряс руками. Осколки переговаривались в коробочке, будто фон Штейц играл детской погремушкой.

\* \*  
\*

Она шла впереди, шла туда, куда указал ей одноглазый майор. Она догадывалась, куда ее ведут, но не понимала, почему так долго... Сукуренко очень хотелось оглянуться, и она повернула голову назад: одноглазый был один. Он прикуривал сигарету, держа в правой руке тяжелый пистолет. Солдаты, сопровождавшие ее, уходили прочь, поднимаясь по пыльной тропинке на взгорье.

Одноглазый приблизился, спросил на ломаном русском языке:

— Закурить хочешь?

В голову пришла мысль: «Этот бандюга, наверное, долго ходил по нашей земле, успел освоить наш язык».

Грабе повторил:

— Кури.

У нее были связаны руки. Сукуренко показала взглядом на них, решив: «Теперь все равно, можно и закурить». Майор ткнул ей в рот сигарету, поднес зажигалку, потом махнул рукой:

— Иди... иди...

Тропинка привела к обрыву. Внизу шумела горная река, на берегу и в воде торчали большие округлые камни, виднелся какой-то хлам: не то разбитые автомашины, не то снарядные тележки. Обрыв был высок, метров двадцать, и ей вдруг стало страшновато... падать с такой кручи. Но подумав о том, что она упадет уже мертвой, и ей будет все равно, Сукуренко начала рассматривать деревья, растущие на противоположной стороне. Она стояла в расстегнутом кителе, изорванном при допросах, с непокрытой головой. Ветер играл ее волосами. Она чувствовала, как они льнут ко лбу, касаются щек, и невольно подумала, что теперь уже не придется беспокоиться о них, не надо будет просить Дробязко подстричь ее, не придется волноваться при встречах с Кравцовым. «Двадцать семь лет, это же немного... Приезжайте к нам в Рязань», — пропел над ухом ветер, и она, вздрогнув, снова оглянулась.

— Страшно? — спросил Грабе.

Она отрицательно покачала головой.

— Вам повезло. Раньше мы вешали или расстреливали на площадях, при народе. — Он вытащил из кармана плоскую посудинку, приложился к горлышку. — Корош русский шнапс... Годы юности прекрасны и национал-социалисты хороши... Эту песенку я любил. — Грабе швырнул флягу под обрыв и вдогонку ей выстрелил на лету, разбив посудину. — Видала? О, Грабе может стрелять! Видала? Ну вот... — Он отошел метров на десять и начал целиться. Ствол пистолета не дрожал, черным глазом смотрел в лицо Сукуренко. Она проглотила комок, появившийся в горле. «Это хорошо, что у меня никого нет, некому будет оплакивать. Только жаль, очень жаль, что никто не видит из наших», — пронеслось в ее голове, и она крикнула:

— Родина! За тебя!

Грабе опустил пистолет, приблизился.

— Как сказала? Родина? Это смешно. Ты есть уже труп. Ти мне объясняй, что есть ваш Советская власть?

— Посмотри на меня, — ответила она. — Видишь? Я и есть Советская власть...

— О-о! — вздохнул Грабе. — Ти есть красивый девка... Послушай... Ты можешь мое лицо запомнить?

— Мертвой опознаю, — прошептала Сукуренко.

— Это страшно, — сказал Грабе и опять отошел на прежнее место.

В сторону моря полетели штурмовики. Грабе стал считать. Их было больше ста. Он закурил. Опять пошли самолеты. Теперь он не считал, тупо смотрел на скользящие по земле тени.

— Слушай, девка... Я, конечно, обязан выполнить приказ. Но, черт побери, мне хочется жить! И я бы мог выжить в этой войне... Плен, лагерь, эн-ке-ве-де... Если я тебя отпущу, потом ты скажешь своему эн-ке-ве-де, что майор Отто Грабе спас тебя от расстрела?

Она не поняла его, молчала. Грабе подошел вплотную.

— Скажешь эн-ке-ве-де?

Она улыбнулась: ее палач просит у нее пощады.

— Да, это можно, — сказала она четко своим певучим голосом.

— Не обманешь?

— Нет...

Он порылся в карманах, достал карандаш и листок бумаги, что-то написал.

— Вот тут мой фамилий и род занятий. Я буду стреляйт в воздух, падай туда, иди в город.— Он выстрелил один раз, второй. Сукуренко скатилась вниз. Грабе еще выстрелил. Сукуренко вскочила, бросилась в кустарник...

#### 4

Флаг уже дважды исчезал и дважды вновь появлялся, огнисто мельтеша на сером гребне, к которому тянулись группы советских бойцов.

— Ну еще рывок, еще один,— шептал Кравцов, сам не замечая того, как все больше и больше высывался из окопа, будто стараясь подсобить тем, кто карабкается наверх, навстречу полыхавшим выстрелам.

Ординарец умоляет Кравцова:

— Товарищ командир, осторожнее, кругом осколки. Присядьте вы, товарищ командир.

— Еще рывок! — повторял Кравцов, отмахиваясь от парня.— Еще рывок, и мы пробьемся к ним.

Полк уже четвертый час подряд, вгрызаясь в скалы, бетон и железо, штурмовал гребень, на котором волшебствовал флаг. В полку уже знали, кто его водрузил, знали, что разведчикам крайне требуется поддержка и что за этим гребнем открывается вид на море, начинаются предместья Севастополя.

Кравцов посмотрел на часы: стрелка бешено мчалась по циферблату, она бежала так быстро, что подполковник приложил часы к уху: не спешат ли? Но ход был нормальным, и он понял: не усидеть ему на месте.

Подполз связист, устранявший поврежденную линию, связывающую командира полка с командным пунктом. Пропищая телефон.

— Вас, товарищ подполковник,— сказал телефонист, подавая трубку.

— Акимов говорит,— услышал Кравцов знакомый голос.— Я все знаю, молодцы твои разведчики. Мы оповестили войска о том, что твои солдаты ворвались в главный фас немецкой обороны. Ты понимаешь, что это значит?

— Да! — крикнул Кравцов.— Пробиваюсь к гребню, еще рывок, товарищ Акимов, и мы будем там.

— Очень прошу вас, Кравцов, очень. Вам посланы танки, через двадцать — тридцать минут они подойдут. Немедленно бросайте их в бой. Остановка может все испортить. Вы поняли меня?

— Понял, товарищ Акимов...

Кравцов передал трубку связисту, охватил одним взглядом поле боя и скорее почувствовал, чем увидел, что в отдельных местах люди уже не продвигались, лежали под камнями; другие сползали книзу. Кравцов смотрел в бинокль, и ему хорошо было видно и тех, кто, полусогнувшись, взбирался наверх, и тех, кто лежал, прижавшись к земле, кто уже никогда не поднимется. Убитых было немного, но они резко бросались в глаза, и подполковник легко отличал их от уставших, выбившихся из сил бойцов. Он также понял, что сейчас, чтобы поднять изможденных, до предела уставших людей, нужны не танки — огня и так с избытком, — нужно что-то другое.

Кравцов думал послать ординарца и передать — нет, не приказ, приказ не подействует, — передать просьбу сделать еще один рывок, до флага остались считанные метры.

— Костя! — Он хотел было сказать «беги», но произнес другое. — Глоток чая...

Кравцову показалось, что ординарец слишком долго отвинчивает

колпачок, дольше, чем пронеслись над окопом штурмовики, натруженно ревя моторами.

— Костя, пошли! — Он выпрямился, выпрыгнул из окопа, полный решимости броситься самому в атаку. На ходу увидел, как покачулся флаг, окутанный взрывом, но не упал. Обогнул обрыв, поднялся к разбитому дзоту, перепрыгнул через разрушенную траншею и оказался среди бойцов. Его сразу узнали. Кто-то крикнул хриловатым голосом:

— Командир полка с нами, товарищи!

— Вперед! — позвал Кравцов. — Последний рывок! — И бросился на продымленную кручу.

\* \*  
\*

Сначала появился один танк. Он остановился метрах в пятидесяти, поводит стволом вверх и вниз и замер. Потом открылся люк, показалась голова в черном шлемофоне. Голова начала что-то кричать — отрывисто, лающе. Разведчики поняли лишь одно слово: «Лемке», повторенное несколько раз.

— Лемке — это что? — спросил Амин-заде у Мальцева.

— Разве поймешь... Пусть он повыше высунется, я ему отвечу из пулемета.

— Лемке! — продолжал немец, размахивая руками.

Мальцев прицелился и выстрелил. Руки танкиста вздернулись, и он провалился в люк. Танк прострочил из пулемета, взрыхлил пулями бруствер, попятился назад. Потом ударил из орудия. Снаряды пропели в воздухе, крикнули где-то позади.

С холмиков, видневшихся справа, — видимо, там были замаскированы дзоты, — застрекотали автоматы. Стрекот тут же потонул в гуле, возникшем внизу. На гребень цепочкой шли в атаку танки. Они шли быстро, будто состязались, кто раньше перепрыгнет через траншею.

Мальцев и Амин-заде переглянулись, молча взяли по три связки гранат. Потом Мальцев о чем-то подумал, взял еще две связки.

Танки захлебывались в пулеметном стрекоте. Теперь это была не цепочка, а клин, грохочущий гусеницами и шевелящий свирепо огненными глазницами.

Горячая волна прошуршала, опалив лица, перекатилась через траншею. Связки гранат тяжелыми черными птицами вспорхнули и грохнулись о металл. Первый танк вздыбился, заржал оголенными дисками-бегунками, ища опоры, и, не найдя ее, ткнулся носом в землю, осел. Остальные метнулись в стороны и вновь приняли боевой порядок.

Один танк отделился, заходя с фланга. Он приближался медленно, до того медленно, что Амин-заде не выдержал, застрочил из пулемета. Танк шел. Еще несколько метров, и он развернется, ударит вдоль траншеи. Амин-заде понимал, что допустить этого нельзя — погибнут все. У ног лежали связки гранат. Амин-заде снял ремень, нанизал на него три тяжелых букета, надел через плечо. Он боялся, что его могут услышать Дробязко и Мальцев, отвлекутся, и тогда те танки, которые идут прямо на них, могут прорваться... Амин-заде бесшумно вылез из траншеи, и, когда он был почти под танком, Петя Мальцев увидел его.

— Аминь! — вскрикнул он и на мгновение закрыл лицо руками.

Громыкнул взрыв. Дробязко подумал, что это разорвался тяжелый снаряд. Он присел и оглянулся. Амин-заде не было на месте. Тяжелый, костистый пулемет одиноко маячил на площадке. Из подбитого танка отползали немцы.

— Жабы! — загорячился Мальцев. — Что же ты на них смотришь! — и бросился к пулемету.

— Где Амин-заде? — спросил Дробязко.

— Под танком. Это он подорвал...

Ожили видневшиеся справа холмики, оттуда строчили пулеметы, изредка отзывались орудия, долбя снарядами неподатливую землю Сапун-горы...

Дробязко смотрел на окружающую местность, видел, как цепочками и в одиночку поднимались наверх бойцы штурмовых групп, видел, как полыхали разрывы и металась по кручам столбы обугленной земли и камней. Над ухом трепетал флаг. Он поправил чуть накренившееся древко и только тут заметил: со стороны холмиков в направлении к доту двигались ползком серо-зеленые цепи немцев. Он прикинул на глаз — не меньше роты будет, — позвал Мальцева. Тот облизал перекошенные губы и впервые не нашелся сразу, что сказать, лишь когда лег за пулемет, крикнул:

— Против двоих столько фрицев бросили на смерть!

Немцы ползли не так уж долго, может быть, минут пять-шесть, но Мальцеву показалось это вечностью. Он поправил ленту, сосчитал гранаты, лежавшие у пулемета. А немцы все ползли и ползли. Казалось Мальцеву, что он уже слышит тяжелое дыхание врагов, цоканье оружия о камни...

Рыкнули пулеметы — раскатисто и громко. Зеленые цепи дрогнули, поднялись — заголосили протяжно, закачались то вперед, то назад. Клубок этот долго еще грохотал и стонал, пока не откатился на несколько метров назад, рассыпавшись в складках местности...

Мальцев с трудом оторвал от пулемета одеревеневшие руки, заметил выступившую чуть ниже плеча кровь. С минуту он раздумывал, говорить ли Дробязко, что ранен, или подождать: рана, видимо, не так опасна, хотя и больно, но рука действует. Не поворачиваясь и все глядя на залегших в камнях немцев, он сменил ленту у пулемета, сгреб в окоп кучу гильз, начал рассказывать об Амин-заде: каким он был чудесным солдатом. Мальцев знал его всего двадцать дней, но говорил как о человеке, с которым прожил жизнь.

— Вася, ты знаешь, Вася... — и вдруг он подумал: «Почему Дробязко молчит?», он приподнялся. Дробязко лежал вниз лицом с поджатыми под себя руками. Мальцев подбежал к нему, перевернул на спину. — Вася! — Он разорвал гимнастерку. Из груди Дробязко пеннелась кровь. — Вася!

Дробязко открыл глаза, мутные, стекленеющие. Но он еще был в сознании. Синие губы дрогнули, он прошептал:

— Душно... Ты мне на грудь положи... холодного...

Мальцев оторвал от своей гимнастерки рукав, смочил водой из фляги.

— Легче? — спросил он, хотя видел, что Дробязко не полегчало: он то закрывал глаза, то открывал их, тяжело вздыхая.

— Петя... Может, встретишь ее... Марину Сукуренко...

— Знаю, знаю, Вася... Ты помолчи, помолчи... Я обязательно ее встречу... Помолчи...

Дробязко вскрикнул и умолк...

Мальцев снял пилотку и заплакал. Он плакал навзрыд, бегая по траншее и потрясая кулаками, бегал до тех пор, пока снова не услышал топот ног. Тогда он лег за пулемет.

Немцы шли теперь мелкими группами и с двух направлений — справа и слева по пыльной равнине.

— Давай, давай! — шептал Мальцев. — Давай!

Кто-то сзади прыгнул в траншею. Мальцев схватил гранату. Перед ним стоял Кравцов с ординарцем и еще каким-то солдатом. У Мальцева ослабли руки, подполковник обнял его, прижал к груди:

— Спасибо... Смотри, — он показал рукой на взгорье.

По косогору поднимались танки, за ними, насколько видел глаз, бежали неотглядной широкой волной наши бойцы.

Второй солдат, пришедший с Кравцовым, налаживал связь. Кравцов кому-то говорил — громко, отрывисто, и Мальцев почувствовал, что сейчас начнется: будут молотить немцев, давить их танками, утюжить штурмовиками, теснить к морю. И когда танки, преодолев последние метры сапун-горского подъема, выскочили на равнину, когда появились самолеты, прижимая к земле толпы дрогнувших немцев, когда впереди вырос густой частокол разрывов и землю вновь залихорадило, Мальцев поднял на руки Дробязко.

— Смотри, Вася, смотри, они бегут...

...Под вечер Дробязко похоронили вместе с Амин-заде тут же, рядом с крепостью, которая больше не угрожала прорвавшимся на простор войскам. Вырос холмик, увенчанный дощечкой с неровной надписью: «Герои штурма Сапун-горы ефрейтор Василий Дробязко, рядовой Мир Амин-заде».

Утром немцы отошли на мыс Херсонес — на голый клинышек севастопольской земли, вонзившийся в море. К четырехглазому дотучищу, впаянному в скалу, подкатил броневичок. Из него вышли Акимов и Кашеваров. Они осмотрели крепость. Подошли к холмику.

Акимов сказал:

— Фамилия знакомая, где-то встречал...

— Из полка Кравцова.

— Да, да, — вспомнил Акимов. — Кончится война, на этом месте мы воздвигнем памятник. Золотом высечем имена героев штурма, — сказал Акимов и посмотрел вниз: огромные, взлохмаченные воронками и дотами скаты Сапун-горы почти отвесно уходили в затуманенную даль. — Воздвигнем! — повторил он, надевая фуражку.

## 5

— Они требуют безоговорочной капитуляции... Именем фюрера приказываю: никакой капитуляции!.. — произнес Енеке. — Генерал Альмендингер принял решение окопаться на Херсонесе. Нас пятьдесят тысяч. Мы обескровили русских. Они выдохлись и теперь хитрят. Нет, нет! Фюрер гениален. Вот его шифрограмма: «Я и немецкий народ твердо убеждены, что ваша личная храбрость и мужество подчиненных вам войск сделают все, чтобы удержать мыс Херсонес еще два-три дня. Я отдал приказ генералу Эйцлеру немедленно выслать вам морем транспорты с войсками и боевой техникой».

Енеке хотел сказать еще что-то, но, видимо, обессиленный длинной речью, опустился на раскладушку-кресло. Генерал Радеску уронил из рук бинокль, молча поднял его, тяжелый и грузный, прошел к выходу. Он был ранен в голову, повязка сползла ему на глаза. Поправляя ее, он что-то сказал, но фон Штейц не расслышал, потому что мысли его были заняты другим. Речь Енеке, да и вся обстановка — эти генералы и офицеры, притихшие и молчаливые, и сам он, подавленный тем, что русские овладели Сапун-горой и Севастополем, напомнили ему Ставку Гитлера, тот день, когда Эйцлер настаивал на выводе армии Паулюса из волжского котла. Вспомнил слова Эйцлера: «Волжским котлом история Германии не кончается...» Что имел в виду старый генерал, повторяя эти слова, фон Штейц до сих пор не может понять... За волжским котлом последовали другие, не менее ощутимые, не менее трагичные... Может быть, Эйцлер намекал на неспособность Гитлера как верховного главнокомандующего, намекал на то, что при другой ситуации в руководстве армией дела пойдут совсем по-другому. Такая мысль показалась фон Штейцу чудовишной, потому что он знал Эйцлера как

самого видного пропагандиста в армии идей фюрера. «Реванш, реванш,— отозвалось в его голове. Рука невольно скользнула в карман, зажала коробочку.—Тринадцать осколков... Нет, Енеке прав — никакой капитуляции!» Он вскочил:

— К каким часам русские требуют ответ?

— Немедленно, иначе начнут бои,— ответил Енеке, поглаживая прильнувшего к коленям пса.

— Я готов лично ответить красным: капитуляцию не принимаем.

— Господа, прошу немедленно разойтись по своим местам и быть готовыми к решающей схватке,— распорядился Енеке.

Пес вскочил и залаял вслед уходящим генералам и офицерам.

...Радеску шел к морю. Он шел спокойным, размеренным шагом, будто у него не было никаких забот. Тишина! Крики чаек, говор моря. Рядом, совсем рядом берега родной Румынии. Тяжело Радеску думать об этом! Три года он шагает по чужой земле, живет в блиндажах, под огнем, носит на плечах свою смерть. Слишком велик и тяжел для шестидесятилетнего генерала такой груз! А что впереди? Два-три дня? Смешно и дико! Никакой транспорт по морю не пробьется в Крым. Русские завладели воздухом полностью. «Я и немецкий народ убеждены...» Опять, опять обман... Впереди у него два дня, потом смерть или плен. Слишком хорошо он, Радеску, знает, что такое бои на истребление...

...Фон Штейц направлялся к месту встречи парламентаров. Он спешил, боясь просрочить время. В кармане гулко гремели осколки. Странное дело! — осколки могут говорить. Они рассказывали фон Штейцу о прожитых годах, об отце, старом отставном генерале, получившем ранение под русским городом Псковом в тысяча девятьсот восемнадцатом году; о том, как отец, возвратясь с фронта, долго хранил осколок, извлеченный из его ноги; о том, как старый фон Штейц был у Гитлера и похвалялся сыном, обещая фюреру вручить осколок сыну, чтобы он готовился к великому реваншу и помнил, всегда помнил, что Германия — страна военных походов, страна господ и что ей самим богом предписано владеть миром; о том, что старый кайзеровский генерал фон Штейц погиб от русской бомбы в своем доме, а его сын Эрхард теперь хранит в коробочке собственные осколки — целую дюжину осколков...

Осколки напоминали. И был момент, когда фон Штейц, раздраженный назойливыми мыслями о доме, неудачах на фронте, хотел было выбросить коробочку, чтобы не дразнить свое сердце прошлым, дать ему отдохнуть в ритме обыкновенной жизни, но не выбросил, — так, гремя осколками, и подошел к русским парламентарам...

Их было трое: солдат невысокого роста, с задиристым выражением на лице, капитан-переводчик, отлично говорящий по-немецки, и подполковник, широкоплечий крепыш с красивым, открытым лицом.

Фон Штейц сказал:

— Капитуляция невозможна.— Он хотел было добавить, что немецкое командование принимает вызов русских, но осекся на полуслове, умолк, силясь вспомнить, где он встречал этого русского подполковника. Фон Штейц обладал хорошей памятью, он вспомнил фотографию на удостоверении личности, которое он до сих пор носил с собой, вспомнил фамилию и заснеженные сталинградские степи, бегство на самолете. Ему не терпелось назвать подполковника по фамилии, но он сдержался и повторил: — Капитуляция невозможна.

— Тогда мы вас истребим,— сказал Кравцов.— Вся тяжесть вины за сотни и тысячи погибших немецких солдат ляжет на плечи вашего

командования. Безвыходное положение ваших войск надо расценивать как безвыходное.

— Я уполномочен заявить: капитуляция невозможна, — отрубил фон Штейц и, повернувшись, зашагал прочь.

— Вот бешеные, — сказал Мальцев, когда скрылись немецкие парламентареры.

— Верно, Петя. Фашисты остаются фашистами. Что им человеческая кровь, горе народа, его страдания. Одним словом, ты прав — бешеные!

Мальцев вздохнул:

— Неужели и после этой войны фашисты объявятся?

— Не знаю, Петя...

— А я знаю — нет.

— Едва ли...

— Подохнут они. Как же им быть, коли на земле наступит мир? Воздух будет не тот.

— Ну, если воздух будет другой, атмосфера другая, тогда вполне возможно — подохнут...

\* \*

\*

Акимов, выслушав Кравцова, сказал:

— Действительно, бешеные!

Кашеваров поддел Акимова:

— А вы говорили о гуманизме. Да они и слова этого не понимают. И поймут ли когда-нибудь, трудно сказать. Разрешите подать сигнал для атаки?

— На что они рассчитывают, отвергая капитуляцию? — колебался Акимов. Он знал обреченность противника, знал потери немцев: уничтожено и захвачено громадное количество танков, орудий, самолетов, тысячи вражеских трупов усеяли Сапун-гору, предместья и улицы Севастополя. И после этого отвергать капитуляцию!

— Разрешите подать сигнал для атаки? — повторил Кашеваров. — Время подошло, товарищ Акимов, — наше время. Время победы...

— Разрешаю, Петр Кузьмич. — Он вытер платком лицо, взял бинокль и прильнул к амбразуре. Огненные струи катюши перечертили мыс Херсонес от края до края. Акимов, вспомнив, что, по подсчетам оперативников, у генерала Альмендингера осталось не меньше тридцати тысяч солдат и офицеров, в сердцах бросил:

— Преступник! Жалкий игрок!

\* \*

\*

Артподготовка продолжалась около часа. За это время Енеке не проронил ни слова и ни разу не посмотрел в бинокль, висевший на груди, не поинтересовался ходом боя. Он гладил овчарку, гладил так, словно боялся причинить ей боль. Пес лежал головой на его коленях, совершенно не реагируя на грохот орудий и бомбежку. Фон Штейцу надоело молчание, он крикнул:

— Эйцлер не прорвется.

— Какой Эйцлер? — наконец отозвался Енеке. — Не будет Эйцлера. Десант — это королевский тигр тысяча девятьсот сорок второго года, это бред больного. Эйцлер на Западе сражается. Он не дурак, там американцы, англичане. Он знает, где можно сохранить себя.

— Десанта не будет? — глухо спросил фон Штейц, пораженный словами Енеке.



— Имперскую академию кончал, а мыслишь, как паршивый агитатор! Всякий бред принимаешь за чистую монету. Тоже мне барон! — Енеке встал и на глазах у фон Штейца застрелил овчарку. — Теперь пойдете. Не отставать, за мной! — Выскочил из блиндажа, приказал адъютанту: — Серию черных ракет!

...Енеке бежал с обнаженной шашкой. Фон Штейц еле поспевал, чтобы не отстать от генерала. Бежал, подхваченный массой солдат и офицеров, гикающей и стонущей под огнем. Бежал до тех пор, пока не увидел справа и слева выброшенные белые полотнища и лес поднятых рук.

— Изменники! — закричал он. — Убрать полотнища! Расстреляю!

Но его никто не слушал, не слышал и Енеке: он лежал с простреленным плечом, корчась от боли. Его шашка, воткнутая в землю, еще покачивалась над ним.

Фон Штейц повернул назад. Сделав несколько прыжков, упал на землю, насмерть сраженный пулей. Коробочка выпала из кармана и раскрылась неподалеку, обнажив тринадцать синеватых ребристых осколков...

\* \*  
\*

На следующий день после контратаки немцев все было окончено: увезли на машине трех гитлеровских генералов, проползла по пыльной дороге неоглядная вереница полуживых, полуголохших пленных, улетел в Москву Акимов, чтобы лично доложить Ставке о полном освобождении Крыма, отоспаться день-другой и потом снова колесить по фронтовым дорогам, теперь уже ведущим прямо в Берлин, откуда выплеснули на головы людей жестокую, невиданную доселе войну. Вместе с Акимовым улетел за новым назначением и Кашеваров.

Недвижимо лежала херсонесская земля. Изрытая и усеянная трупами, она как бы боялась пошевелиться и открыть глаза: а вдруг это сон, и стоит только чуть-чуть поднять веки, как тишина исчезнет, и лихорадящий, леденящий душу грохот сражения вновь потрясет и опалит ее.

Но вот что-то показалось вдали, выросло, очертилось в человеческую фигуру, одиноко шагавшую по черным опалинам. Кравцов разыскивал среди убитых Марину Сукуренко. Он искал ее уже полдня и не находил. Случайно наткнулся на тело фон Штейца, заметил коробочку с осколками, поднял, прочитал на крышке надпись: «Реванш! Помни, Эрхард!» Долго смотрел на эту надпись, потом с гневом отбросил коробочку вместе с осколками и, не оглядываясь, зашагал прочь. Выйдя на дорогу, сел в куцый «виллис» и приказал шоферу ехать в Севастополь.

При въезде в город он увидел сидевшего у дороги человека в помятом и изорванном кителе. Остановил машину, соскочил на обочину, глядя на этого человека и удивляясь тому, что у него белая, будто запыленная снегом, голова.

— Товарищ, вас подвезти? Куда вам надо?

Человек поднялся, сделал шаг и остановился, глядя пристально на Кравцова.

— Я... Сукуренко... Узнаете?..

— Марина! — вырвалось из груди Кравцова. Он подбежал и обнял ее. — Ты жива... Ты здесь...

Они сели в машину. Они снова были рядом.



## ПУШКИНСКИЙ ПЕРЕВАЛ

ПОЭМА

*Товарищам по Закавказскому военному округу посвящаю.*

Служу. С моею службою дружу.  
И, старый обличитель, я тужу,  
что здесь попал в такого сорта  
войско,  
где матерьял почти не нахожу  
для звонких обличений  
солдафонства.

В Париже пишут, будто на Кавказ  
я сослан в наказание, как Пушкин.  
Я только улыбаюсь:  
Эх, трепушки,—  
желаю вам, чтоб так сослали вас!

Пусть нет на мне армейского ремня,  
настолько все хлопочут, как родня,  
настолько смотрят добрыми  
глазами,  
что мой приезд совсем не для  
меня —  
для армии скорее наказанье.

Я полюбил поющих труб металл,  
и чистоту оружия и коек,  
и даже дисциплину,  
против коей  
предубежденьем некогда блистал.

Я полюбил солдат...  
Не без стыда  
я думал, что писал о них не часто.  
И полюбил высокое начальство,  
чего не мог представить никогда.

Поэзия и армия родны  
по ощущенью долга и устава:  
ведь на границах совести страны  
поэзия — всегда погранзастава.

Нет, армия не та же, что была.  
Закон армейский новый —  
это братство.  
Шагистика из армии ушла,  
ушли навечно мордобой, муштра —  
пора бы из поэзии убраться!

Мне, право, подозрителен тот фрукт,  
который, заявляя всем, что воин,  
из формулы «поэт — солдат» усвоил  
не честь солдата —  
фридриховский фронт.

Но так же мне сомнителен поэт,  
когда он весь разболтан и  
расхристан  
и ни армейской выправки в нем нет,  
ни мужества армейского, ни риска...

Ко мне подходят с грохотом слова,  
как будто эшелоны новобранцев.  
В них надо хорошенько разобраться,  
до самой глубины к ним  
подобраться  
и преподать основы мастерства.

Но часто — вроде опытный солдат —  
себя я ощущаю онемелым,  
когда в строю разбродном,  
неумелом  
слова с узлами штатскими стоят.

Как важно, чтобы в миг той немоты  
за сильного тебя хоть кто-то принял,  
от широты своей душевной придал  
тебе значенье, большее чем ты.

Полковник был тот самый человек.  
В нем было что-то детское на диво,  
и странно, что оно не проходило  
в стыдящийся казаться детским век.

Полковник мне значенье придавал.  
Совсем смущенно он сказал:  
«Имею,  
Евгений Александрович, идею —  
на Пушкинский подняться перевал».

...Была зарей навьючена Кура.  
Хинкальные клубились, бились  
листья,  
и церкви плыли в мареве, когда  
мы выехали утром из Тбилиси.

Пошли деревни.  
Любопытство, страх  
в глазенках несмышленишей  
чернели.  
Блестя, сосульки Грузии —  
чурчхелы  
на ниточках висели во дворах.

Пузатые кувшины по бокам  
просили их похлопать —  
ну хоть разик! —  
но, вежливо сигналив ишакам,  
упрямой ишака трусил наш газик.

А солнце все вздымалось в синеву,  
а Грузия лилась, не прерывалась,  
и как трава вливается в траву,  
и как строфа вливается в строфу,  
в Армению она переливалась.

Все стало строже — и на цвет, и вес.  
Мы поднимались к небу по спирали,  
и, словно четки белые,— овец  
кривые пальцы скал перебирали.

И облака, покойны и тихи,  
взирая на долинный мир высотно,  
сидели на снегу, как пастухи,  
и, как лаваш, разламывали солнце.

Полковник будто тайну поверял,  
скрывая под мундиром школьный  
трепет,  
о том, как гений гения здесь  
встретил,  
как страшно побратал их перевал.

...Арба навстречу Пушкину ползла,  
и он, привстав с черкесского седла,  
«Что вы везете?»  
— крикнул в грохот ветра,  
и кто-то там ответил не со зла,  
а чтобы быть короче:  
«Грибоеда...»

Полковник, вероятно, был чудак,  
но только в чудачках есть божья  
искра.

Про перевал шепнул полковник так,  
как будто бы про Пушкина:  
«Он близко...»

И газик наш, рванувшись, перегнал  
с погибшим Грибоедовым повозку  
и вдруг,  
хрипя,  
забуксовал по воздуху —  
и Пушкинский открылся перевал...

Теперь все оправданья не спасут!  
Да и не надо!  
От игры в поэтов  
жизнь привела туда, где Грибоедов,  
туда, где Пушкин,—  
привела на суд.

И я, такого жалкого, внизу  
себя увидел...  
Дотянусь я разве?  
Как я сюда дойду и доползу  
с прилипшей к башмакам низинной  
грязью?

Не то что глотка,—  
и глаза рычат,  
когда порой от грязи спасу нету.  
Так что ж —  
как новый Чацкий закричать  
на модный лад:  
«Ракету мне! Ракету!»?

Но даже и ракетой вознесен,  
несущейся быстрее, чем скорость  
звука,  
увидю я, как будто страшный сон,  
молчалиных тихоньствующих сонм  
и многоликость рожи Скалозуба.

Но где-то там, поземицей обвит,  
среди видений — дай-то бог  
поклепных! —  
на перевале Пушкинском стоит  
и все-таки надеется полковник.

Надеются миллионы добрых глаз,  
надеются крестьянок встречных  
ведра,  
и каждую свою каплей — Волга,  
и каждым своим камешком —  
Кавказ,  
и женщина, оставшаяся  
за

негаданным изгибом поворота,  
откуда светят даже не глаза,  
а всполохом всплывает поволока.

Почти кричу: «О, не надейтесь вы!»,  
и страшно самому от крика этого.  
Полковник, друг,— не Пушкин я,  
увы!

Кого везут? Да нет,—  
не Грибоедова.

Я слаб. Я мал. Я, правда, не злодей,  
не Бенкендорф, не подленький  
Фаддей,

но это ль утешенье в полной мере?  
Конечно, утешают параллели,  
что даже и великие болели  
болезнями всех маленьких людей.

Был Пушкин до смешного уязвлен  
негромким чином, громким вздором  
света,  
и сколько раз поскальзывался он  
на хитром льду дворцового паркета!  
А Грибоедов! Сколько отняла  
у нас тщета посольского подворья!  
Тебе, создатель «Горя от ума»,  
ум дипломата жизнь дала от горя.

Пора уже давно сказать, ей-ей,  
потомкам, правду чистую поведая,  
о «роли положительной» царей,  
опалой своевременной своей  
из царедворцев делавших поэтов.

Но высшую всегда имеют власть  
над гением две страсти —  
два кумира:  
запечатлять всевидящая страсть  
и страсть слепая улущенья мира.

И гений тоже слабый человек.  
И гению альков лукаво снится,  
а не одни вода и черный хлеб  
и роковая ласка власяницы.

И он подвержен страху пропастей,  
подвержен жажде нежности властей,  
подвержен тяге с быдлом быть в  
комплоте,  
подвержен поножовщине страстей  
в неосвященных закоулках плоти.

И гений чертит множество кругов,  
бессмысленных кругов среди сыр-  
бора,  
но из угрюмых глыб своих грехов,  
сдирая ногти, создает соборы!

А если горы грудью он прорвал  
и впереди пространство слишком  
гладко,

то сам перед собою для порядка  
из этих глыб он ставит перевал!

Пардон, пушкиновед и чеховед,  
не верю в подопечных ваших  
святость.  
Да, гений тоже слабый человек,  
но поднятый собой —  
не чудом — вверх,  
переваливший собственную  
слабость.

Так будем выше слабостей своих!  
Ведь наши плечи — черт возьми!  
— мужские,  
и если на плечах — судьба России,  
то преступленье — с плеч ее свалить.

И надо не сдаваться перед ленью,  
самих себя ломать без полумер  
и у своих предтеч в преодоленье —  
не в слабостях искать себе пример.

Среди хулы или среди хвалы  
еще не раз мы, видимо, постигнем,  
что перевалы наши — лишь холмы  
в сравнении с тем, Пушкинским  
— пустынным.

Мы падаем, срываемся, скользим,  
а перевал нас дразнит гордой  
гранью.

Как тянет из бензинности низин  
к его высокогорному дыханью!

И вы надейтесь, как полковник тот.  
Нужна надежда не для развлеченья,  
а чтобы стать достойными значенья,  
которое нам кто-то придает.  
Чтоб нас не утешали параллели,  
когда толкают слабости в провал,  
чтоб мы смогли,  
взошли,  
преодолели —  
и Пушкинский открылся перевал...



# РАЗОРВАННЫЙ КРУГ

РОМАН

## ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

**В**ывоз в Комитет химической промышленности был для Брянцева неожиданным. Плановый отдел не сумел подготовить все материалы к вечернему самолету, пришлось отложить вылет на утро.

Брянцев был даже рад этому. Вечером его шофер наловил великолепных озерных раков, теперь они полетят в Москву. Елена любит раков с детских лет — на Дону они первое лакомство.

— Не задохнутся? — спросил Брянцев.

Василий Афанасьевич снисходительно посмотрел на него.

— Что вы! Я их сухим мхом переложил. В такой упаковке с ними две недели ничего не станется.

Своеобразный он человек, Василий Афанасьевич. Заботливый, преданный, но не теряющий своего достоинства. Кого не любит, того не возит. У Хлебникова продержался только десять дней и запросился в грузовой парк. И вежлив тот был, и внимателен, и перерабатывать особенно не давал, и ждать у подъезда по три-четыре часа не заставлял. Но шло это не от души, а от наигранного демократизма — вот, мол, какой я свойский и простой. Василий Афанасьевич умел отличать естественную простоту от игры в простоту и никакой фальши не любил. К Брянцеву он привязался за то, что тот не играл. Не заладится у него что, муторно на сердце — молчит, а отойдет немного — разговорится и, что больше всего ценил Василий Афанасьевич, посоветуется. А почему бы и нет? Оба шинники, только один делает их, а другой на них ездит.

Знал Василий Афанасьевич много больше того, что полагалось знать шоферу. Знал, что у директора завелась зазноба в Москве, и даже письма для него получал «до востребования» на свое имя. Не раз одолевал его соблазн вскрыть письмо да прочитать. Он людей на своем веку повидал и по письму понял бы — стоит ли огород городить. Да честность не позволяла.

В аэропорту Василий Афанасьевич передал Брянцеву берестяную кошелку, затянутую обрывком старой рыболовной сети. Он понимал, кому предназначаются раки, а потому выбрал самых больших и широкозадых.

Транзитный самолет опоздал, и Брянцев добрался до Сивцева Бражка только к девяти. Позвонил на всякий случай, хотя знал, что

Валерка в пионерском лагере. Подождал немного и отпер дверь своим ключом.

В квартире никого. Вывалил раков в ванну и невольно залюбовался ими. Подобрал же экземплярчики Василий Афанасьевич! Вот будет довольна Еленка!

Сколько раз пытался Брянцев сделать ей какой-нибудь подарок и всегда получал отпор. И только однажды сама сказала, когда заташил ее в комиссионный магазин на улице Горького: «Купи мне эти серьги, Алеша. Они очень подойдут к новому платью». Серьги были коралловые, дешевые. Потом она, как бы оправдываясь, призналась: «Мне очень хотелось иметь вещицу, которая постоянно напоминала бы о тебе. Но сам ты не проявляй инициативу. Запрещаю. Не потому, что не доверяю твоему вкусу. Так... вообще... не надо».

Брянцев поворошил раков в ванной, сбрызнул их водой из душа, отчего они зашуршали, расползаясь в разные стороны, и прошел в комнату.

Сел на диван. Хотелось отдохнуть, а вернее просто побыть в этой комнате, которая всегда вызывала у него чувство умиротворения и успокоенности. Так все мило здесь. Ничего лишнего, что мешало бы жить. Низкий диван, круглый журнальный столик с двумя легкими креслами по бокам, маленький письменный стол у окна. Небольшое пианино уютно примостилось в углу. На нем бисквитного фарфора бюсты Моцарта и Доницетти. Удобный торшер у дивана с кокетливым абажуром, сделанным самой Еленой.

Брянцев закурил, посмотрел, открыто ли окно, — Елена не любила запаха застоявшегося табачного дыма, — и только сейчас заметил на столе тетрадь в сафьяновом переплете, с золотым обрезом, которую никогда не видел раньше. Взял ее и снова уселся на диване.

Перелистал страницы, исписанные знакомым почерком, понял, что это дневник, и захлопнул его. Не из деликатности. Страшно стало заглянуть в человеческую душу, в глубины, возможно от него скрытые. Но любопытство взяло верх. Снова перелистал дневник. Записи были посвящены только ему, никаких других он не увидел. Посмотрел на даты. В первой своей части дневник заканчивался днем окончания школы. Потом перерыв и снова записи, датированные годом их встречи в Новочеркасске.

«...Лека приходит ежедневно, мы с ним проводим целые дни. Опять бой часов на соборе разлучает нас, как в годы юности, опять тревожится мама, как и раньше, и что-то ворчит насчет приличий и неприличий, насчет старых вскрывшихся ран и прочих атрибутов присущего маме «высокого штиля».

А вчера она сказала мне жесткие слова: «Милая моя, любовь, которая бывает эпизодом в жизни мужчины, целая история в жизни женщины». Потом срезала еще одной беспощадной фразой: «Ты знаешь, мне твой друг напоминает охотника, который напал на след им же подраненной дичи и теперь старается во что бы то ни стало добить ее».

Подранок! Как это точно сказано... Но я не хочу быть добытым подранком. Лучше уж быть раненой вторично, но не добытой. Не хочу».

«...Алексей не может не чувствовать свою власть надо мной. Он должен понимать, что ему достаточно сказать «люблю», и я буду принадлежать ему безраздельно. Но он не говорит. Либо действительно он в этой ситуации просто охотник, либо слишком честен по натуре и понимает, что такое признание влечет за собой большие обязательства. Мне до сих пор неизвестно — женат он или нет. Наверное, женат. А он не знает о том, что я свободна. Мы договорились пожить в мире воспоминаний и не выходим из этого мира. Я еще не рассказала ему о Сергее, о его нелепой смерти, о сыне. Нельзя подранку показывать, что он совсем без-

защитен... Нет, пусть Алексей ничего не знает, тем более, что он собирается уезжать. Я с ужасом думаю о том дне, когда открою глаза и пойму, что его нет, что мне больше не придется ждать встреч и расставаться с ним...»

«Может ли чувство сохраняться подспудно, независимо от тебя и, главное, незаметно для самой себя? Произошло что-то непонятное. Столько лет мы не виделись с Алексеем, а встретились так, словно ждали все эти годы друг друга. Каждый раз, когда я приезжала в Новочеркасск, я вспоминала о нем, бывала там, где бывали мы вместе, и в душе всегда возникала тоска о нелепо утраченном счастье. Это была глухая тоска, но странно, что она не убывала. А последний раз она была особенно острой. Я думаю, что это от одиночества, на которое обрекла меня жизнь после смерти Сергея. Жизнь или я сама? Ведь были люди, которые хотели жениться на мне. И неплохие люди, интересные. Но не было в них главного — мужественности. Вот Лешка был мужественный. Сергей — тоже. Они-то и сформировали мои вкусы.

Сергей боялся только одного: искалечиться. И я понимала его: такому сильному было страшно оказаться беспомощным, а еще страшнее стать непригодным для любимого дела. Сергей, Сергей! Ты даже не сказал мне, когда мы познакомились, что ты летчик-испытатель. Боялся отпугнуть? Не сказал, когда и поженились. Почему? Конечно же только потому, что не хотел заставлять меня проводить мучительные часы ожидания. Словно знал, что мне невыносимо трудно ждать. Всего — счастья и несчастья. Ты сказал мне, что ты механик, готовишь самолеты к полетам...»

Брянцев взглянул на часы. Половина десятого. К десяти его вызывали в Комитет химической промышленности. Не пойти нельзя, но и оставить дневник непрочитанным он не мог. С каждой строкой он узнавал Елену больше, глубже, чем знал до сих пор. Забрать дневник с собой? Нет, нельзя. Мало ли что еще таится на его страницах. Может быть и такое, чего Лена стыдится, что можно знать только ей одной. И поступок его может вызвать гнев или, что еще хуже, — отчужденность.

Снял телефонную трубку, набрал номер, назвал себя. Нет, ему положительно везет в жизни! Референт извинился, сказал, что коллегия перенесена на завтра. Брянцев не сумел подавить радостного возгласа и, повесив трубку, снова раскрыл дневник.

«...Я, кажется, начинаю понимать ощущения человека, приговоренного к смертной казни. Он радуется каждому дню, который дарит ему жизнь, но как мучительны эти дни, когда знаешь, что все равно они скоро кончатся... Горше этой пытки невозможно себе представить. Не возникает ли у такого человека желание поскорее избавиться от мучений? Вот и мне иногда хочется, чтобы Алексей поскорее уехал, или самой уехать, бежать без оглядки.

Я счастлива, но это горькое счастье, омраченное ожиданием неизбежной разлуки. Как бы я ни старалась казаться веселой, мне это не удается. И Алексей стал другим. Неужели и у него идет такой же процесс нарастания чувства, как у меня? Неужели и он так же дорожит этими часами и отодвигает минуту разлуки? Он сказал, что приехал на неделю, но неделя уже прошла...»

«Сегодня он сказал мне «любимая», а завтра он уезжает. Просил прийти проводить. Не пойду. Не в силах. Пусть думает, что хочет. И — конец...»

Дальше шли пустые страницы, потом запись, датированная днем его отъезда в сентябре.

«Алексей уехал. Даже день о нас плачет. Мелким, тоскливым дождем. Я держалась молодцом и, как ни удивительно, не разревелась, хотя это стоило мне больших усилий. Что, израсходовала запас боли, кото-

рый мог уместиться в душе, на ежедневные мысли о разлуке? Или появилась надежда, что когда-то, возможно очень скоро, мы будем вместе? Он ничего не обещал мне, но он что-то задумал. Это я видела по глазам, они у него никогда не лгут. Хорошие у него глаза, мягкие, ласковые и преданные. И, самое главное, — исчезло в них выражение вины.

Может быть, он решил проверить себя в разлуке? Кто-то сказал, что разлука действует на всякую любовь: слабую она ослабляет, сильную — усиливает, подобно тому, как ветер задувает свечу и раздувает пожар. Кто? А неважно. Но это точно. Ведь может он думать, что все то, что произошло, навеяно «гипнозом места». Уедет отсюда — и гипноз рассеется...»

И еще одна запись без даты. В этот день не произошло никаких событий. Просто Елене захотелось поразмышлять на бумаге.

«...Я как-то сказала Алексею, что испытываю неловкость, когда он высказывает те или иные мысли или суждения. Они до странного совпадают с моими. Он попытался объяснить это: «А не кажется ли тебе, что у природы недостаточно материала, чтобы создавать абсолютно непохожих людей? Нет-нет — и встречаются люди, сложенные из одинаковых кубиков». Встречаются. Но не так часто. Это большое счастье, когда встречаются. И преступление таким людям отказываться друг от друга, от той радости, какую никто другой им дать не может. Я не сказала об этом Алексею, еще подумает, что я агитирую за совместную жизнь...»

Брянцев задумался. Он не считал себя несчастливym, но только встретившись с Еленой, понял, что счастлив никогда не был. Удивительно, как в те дни ушла из памяти Тася. Словно растаяла. И сейчас уходит, когда он рядом с Леной, и угрызений совести он не испытывает. Он у Таси ничего не ворует, ничего не отнимает. У них совершенно не изменились отношения. Они всегда были равные, спокойные. Им ничего не стоило расстаться на любой срок без огорчения и встретиться, не испытывая особой радости. Так было в первые годы совместной жизни, когда он учился в институте, а она металась между Ярославлем и Темрюком. Никто не скучал друг о друге. Если разобратсья, то они, пожалуй, даже не друзья. Дружба подразумевает полное понимание, какое-то взаимное вхождение, вторжение в жизнь каждого. А они были похожи на две жидкости, никогда не смешивающиеся.

Закурил папиросу, Брянцев снова принялся за дневник.

«Сегодня — первое письмо. Вот оно.

«Родная моя Алenuшка! (Ах, непослушный, я же говорила, что это имя вызывает у меня грустные ассоциации). И за что только ты меня любишь? Ну, на самом деле: уехал и ничего, даже слова утешительного не сказал тебе, думай, мол, что хочешь. (Я и думала, что хотела, и, разумеется, видела все в самом радужном свете, рисовала самые отрадные картины). Но ты знаешь: это не от черствости — от честности. Боялся наговорить лишнего в минуту порыва. А сейчас — могу. Я не мыслю существования без тебя. (И я тоже). Уеду. Куда — не знаю. Но только туда, где мы спокойно сможем быть вместе.

Не сердись, что не писал тебе так долго. (Это хорошо, что неделя оказалась тебе долгой). Месяц отсутствовал — и на производстве все пошло не по-моему. Пришлось поднажать, чтобы войти в ритм. Все прочее отодвинулось на второй план. Даже ты отошла на второй план. (Вот я и боюсь, что моя участь — оставаться на втором плане). Сказалось и очень серьезное отношение к нашей «проблеме». Большое видится на расстоянии. Нужно было время, чтобы определиться, чтобы ощутить всю остроту тоски по тебе, почувствовать, что без тебя нет меня. (Это я и хотела услышать от тебя, и не в горячую минуту, а после трезвого раз-



мышления). Осталось три месяца сумасшедшей напряженной работы. Наберись терпения, жди...»

«...Три дня тому назад приехал Алексей. Был у меня. Валерик смотрел на него волчком — не привык видеть мужчин в нашем доме. И хотя мы с Алешей держались в рамках чисто дружеских отношений, неотступно наблюдал за нами и явно ревновал меня. Если бы Алексей вздумал подлаживаться к нему, заигрывать, разговаривать покровительственно или панибратски, что так неуклюже делают взрослые с мужчинами одиннадцатилетнего возраста, лед неизвестно когда бы растаял. Но Алексей нашел к нему подход тем, что не искал подхода. Заговорил, когда в этом появилась необходимость, не задавал привычных детям вопросов — какие отметки, как ведет себя в школе, слушает ли маму и, совершенно откинув в сторону всякие педагогические соображения, рассказывал, что сам вытворял в его возрасте.

На другой день Валерик принес двойку по поведению. Оказывается, он передал на уроке завернутую в бумагу трещотку-резинку, которая трещит и ворочается в руках, как живое существо. Вот оно что! Пугалка школьных лет конструкции Лешки Брянцева. Но, как я ни допытывалась, Валерик держался стойко и не выдал своего вдохновителя».

«...Алексей сообщил неприятную для нас новость: его назначают главным инженером завода. Он отбивается, но понимает: ему ничто не поможет. Я верю, что отбивается он всеми силами. Он не тщеславен...

Опять осуществление наших планов откладывается. Алексей чувствует себя виноватым, но я его успокоила. Сказала, что все понимаю, ни на чем не настаиваю, хочу только, чтобы он любил меня».

«...Наконец закончили работу, которую вели семнадцать месяцев. Почти полтора года наша группа изучала усталостные характеристики шинных резин на основе синтетических каучуков, стабилизированных антиоксидантами различных химических классов. Данные наших исследований будут положены в основу технологии изготовления резин, и их сразу использует промышленность.

Хорошо, что я связала свою жизнь с институтом тонкой химической технологии. Нас с Алексеем, помимо всего прочего, связывает и общее дело — он делится со мной своими мыслями и планами не только как с другом, но и как со специалистом».

«Стоит жить на свете, ох, как стоит! Алексей подарил мне месяц. Целый месяц! И выбрал, хитрец, место. Станица Федосеевская, где никого из знакомых наверняка не встретишь. Приехал с женой, с сыном — и баста. Я так привыкла к новой роли, так вошла в нее, что даже страшно становилось. А милейший Данила Степанович не мог на нас налюбоваться и без конца удивлялся, как это Алексей подобрал жену, которая словно для него слеплена. И, главное, безошибочно подобрал, с первого раза....

Удивительно поэтическое место! Станичка — одна улица, сжатая серебристым Хопром и меловой горой. Сады с одной стороны спускаются к самому берегу, с другой — взбираются на взгорье. Взбираешься ты за ними — и горизонт раздвигается необъятно, и куда только хватает глаз тянется могучий лес с врезанными в него озерами. На этих озерах мы с Алешей и рыбачили, и охотились.

Нет, пожалуй, большей красоты в мире, чем лесное озеро на расвете, когда отражает оно в себе могучие дубы и могучие облака. Оно красиво еще и потому, что все время меняет свой цвет — от темно-зеленого до нежно-голубого, словно незримый кто-то растворяет в воде разные краски...

И я, типичный потомок плаксивой интеллигенции, полюбила этот миг, когда застоявшуюся утреннюю тишину вдруг разрывает звук вы-

стрела и озеро, испуганное падением чирка, ломает очертания дубов и разметывает облака...

Воображаю, как удивилась бы маман, увидев свою дочь в широкополой, задыренной рыбацьею шляпе, с удочкой в руке. Червей насаживал Валерик, рыбу с крючка снимал Алексей, я только закидывала удочку. Да, рыбак заправский, ничего не скажешь! А стрелять я научилась. И не по сидячей дичи, а влёт. До сих пор синяки на плече. Алексей умилялся, говорил, что я неправдоподобно разносторонне способная.

...Маленький мой Валерик. Он так привязался к Алексею! Страшно хочет быть похожим на него. Во всем. Стал причесывать пятерней волосы, тербит кончик носа, когда собирается изречь что-нибудь «глубокомысленное», и сто раз на день говорит: «Мама, здравствуй».

Я уже не жалею о своей судьбе. Можно жить год в ожидании такого месяца. Мне даже жалко было засыпать. Во сне я не чувствовала, что Алеша рядом, что мы вместе, что он мой. Но зато как радостно просыпаться утром! Первое, что я испытывала проснувшись,— это ощущение неизбывного счастья. И до сих пор отголоски его живут во мне.

Теперь буду ждать отпуска в будущем году. Да, долго ждать тебе, Лена. Одиннадцать месяцев. 335 дней. Триста, да еще тридцать, да еще пять...»

Листок за листком, страница за страницей. Елена все реже обращалась к дневнику. Записи стали короче, и характер их изменился: появились нотки грусти, даже отчаяния.

«Прилетел Алексей. На один день. Вернее, даже от самолета до самолета. Позвонил на работу, что-то говорил, что — я так и не поняла, потому что торопился и говорил быстро. Не выдержала, помчалась на аэродром — хотелось увидеть хоть издали. Увидела в окружении людей, очевидно с завода. И он увидел меня, хотя я стояла в стороне, изменился в лице, но быстро овладел собой и великолепно разыграл приветливое спокойствие. Так разыграл, что даже в глазах его я большего не прочитала. Мне стало страшно: может быть, он и не играл...

Любовь, как растение, нуждается в питании. А питания нет, одни только письма. Мои и его. Я верю его письмам, Алексей не умеет лгать ни в глаза, ни на бумаге, но все чаще невольно думаю о том, что он обманывает себя».

Снова перелистал Брянцев несколько страниц и только сейчас заметил, как изменился почерк в дневнике. Напоминавший вначале катящиеся по желобку одна за другой дробинки, он становился все более размашистым и угловатым, иногда даже неразборчивым.

Одна страница приковала его внимание.

«Случилось невероятное. Я уступила просьбам Коробчанского провести с ним вечер. Сколько можно подвергать себя добровольному заточению! Я же в конце концов не в монастыре. Лешка не один, у него жена. Кстати, когда я думаю об этой женщине, кровь бросается мне в голову. Кто из нас имеет больше прав на Алексея? Конечно я, потому что больше прав у того, кто больше любит и кого больше любят.

Коробчанский красив, умен, тонок. Мы были с ним на концерте, слушали Листа. Ко мне он давно благоволил, часто заходит в лабораторию. Но я не могу сказать, что мне не льстит его внимание.

После концерта были в ресторане. Потом он проводил меня. Когда подошли к дому, попросил разрешения зайти. Я поколебалась, больше для приличия, и согласилась.

Сидели на диване. Он завладел моей рукой и поцеловал в губы. Я ответила ему, ничего не испытывая. Этот внутренний холод меня испугал. Испугала Лешкина власть надо мной. Я поняла, что мне никто кроме него не нужен. Совсем не нужен. Он или никто. И мне стало страшно.

Ведь мне не так много лет, и мне опостылело одиночество. Коробчанский обнял меня. Я вырвалась и попросила его уйти. Он был озадачен, не сразу поверил в искренность моих слов. Начал что-то говорить о своих серьезных намерениях. Но мне он не нужен. Ни как муж, ни как любовник.

Он ушел. Я была в отчаянии. Ничего не произошло, но я пала в своих глазах, потому что могла пасть. Пусть это не случилось сегодня. Но пройдет время...»

У Брянцева выступил холодный пот. Даже руки покрылись испариной, и пальцы оставляли влажные следы на страницах, которые он торопливо просматривал, ища фамилию Коробчанского. Впервые в жизни он испытывал острую, мучительную ревность. Не нашел. Открыл последнюю страницу. Она была без даты, написана в виде письма, возможно даже сегодня.

«Знаешь ли ты, Алеша, какие причиняешь мне невыносимые муки? С настроением еще можно бороться, но с состоянием... Неужели ты не чувствуешь, что можешь потерять меня? Совсем, навсегда. Я устала любить. Я не могу больше ждать. Всего ждать: приезда, когда тебя нет, отъезда, когда ты есть. Ждать дня, когда мы будем вместе, дня, в который больше не верю. Ты не обманываешь меня, нет, ты, обманываешься сам. Тебе только кажется, что у тебя хватит сил уйти с завода, который вырастил тебя и который теперь растишь ты. И у меня не хватит сил требовать от тебя этой жертвы.

Была бы я человеком другого склада, все было бы проще. Но я не выношу неопределенности. Лучше плохой конец, чем бесконечные ожидания. Я не могу рассказать тебе обо всем, что творится со мной. Хочу, чтобы ты пришел ко мне не из жалости. Это у нас, у женщин, любовь иногда начинается с жалости. Мужчины не любят тех, кого приходится жалеть. Ты должен прийти ко мне не для меня, а потому, что не можешь жить без меня. А я боюсь, что можешь. У тебя дел невпроворот, ты всегда занят. Я же... Пока я на работе, я забываюсь. Все остальное время я мучительно ощущаю твое отсутствие. Хуже всего, что я не сплю. Все ночи напролет. Ночью совершенно теряю контроль над собой и мне кажется, что схожу с ума. Засыпаю уже под утро от изнеможения, и тогда даже будильник не может разбудить меня. Иногда хочется сказать тебе, что ты свободен от всяких обещаний. Но я боюсь, что ты не поймешь меня, решишь, что я не люблю тебя больше, не верю. Нет, люблю и верю. Но я схожу с ума...»

Брянцев закрыл тетрадь, осторожно положил на стол и стремительно вышел.

## ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Ему повезло. Он застал Шаповалова в кабинете одного.

— Что случилось? — спросил Шаповалов, едва Брянцев переступил порог.

У Шаповалова усталое лицо и нездоровый цвет кожи, как у всякого, кто мало бывает на воздухе. Неосвеженные нормальным сном глаза красноваты. Брянцеву стало неловко. Его появление не укладывалось в рамки обычного служебного визита.

— Бывают обстоятельства, когда человеку нужен дружеский совет, — извиняющимся тоном произнес он.

— Не знал, что числюсь в ваших друзьях, — сказал Шаповалов. — Но дружеские советы даются за чашкой чая или рюмкой коньяка. А вот если вы ко мне пришли как к заведомо ЦК, я к вашим услугам.

— Я пришел как человек к человеку.

Шаповалов посмотрел на Брянцева спокойно, пытливо и молча указал на кресло.

— Эта формулировка удачнее, чем первая. Садитесь, рассказывайте.

Брянцев растерялся. С чего начать? С любви школьных лет? Смешно. Со встречи в Новочеркасске? Но кто начинает с середины?

Он мысленно выругал себя. Надо было обдумать хотя бы первые фразы. И потом, разве можно в таком сугубо личном деле спрашивать совета? Нужно поступать так, как подсказывает совесть. К черту совесть! Четыре года прислушивается он к ее голосу — и вот результат: сломал человека.

— Борис Николаевич, вы меня извините, я лучше уйду...

Взглянув Шаповалову прямо в глаза, Брянцев увидел в них сочувствие.

— Не горячитесь, я вас слушаю.— Шаповалов собрал лежавшие на столе бумаги, сунул их в папку и откинулся на спинку кресла.

Брянцев принялся рассказывать. Торопливо, беспорядочно. Рассказывал нужные и ненужные подробности — и это придавало полную достоверность всему, что он говорил, рассказывал, позабыв где он, с кем он,— и это позволяло понять всю глубину его взволнованности,— рассказывал даже о том, что могло быть истолковано ему во вред,— и это всего более убеждало в его искренности. А когда он замолк и приготовился услышать в ответ какие-то успокаивающие или осуждающие слова, вошел референт и предупредил, что начинается секретариат.

— Наверное, часов до пяти,— сказал Шаповалов, вставая.— Приходите к этому времени.

Три часа ожидания. Куда их девать? Дел, как всегда в Москве, было много. Надо зайти в Госплан, уточнить изменения в плане. Опять увеличили, не ожидая конца года. В «Главметаллосбыте» надо выбить проволоку для бортовых колец, чего не сумели сделать снабженцы.

Но ни в одном учреждении он не мог показаться в таком состоянии. Мысли, одна горше другой, одна мрачнее другой, вспыхивали в разгоряченном мозгу. Да, завод, да, люди. Но может ли он сбросить со счета любимого и любящего человека? Говорят, от любви не умирают. Возможно. Но замучить человека бесконечными обещаниями, отнять несколько лет жизни, иссушить, убить веру и в себя и в людей — можно. А он еще спрашивал: «Что с тобой, Ленок? Почему ты бледна? Не больна ли?» И проявил внимание: привез раков...

Вспомнив о раках, он похолодел. Надо увезти их из квартиры и уничтожить все следы своего пребывания.

Такси он не нашел. Доехал на метро до Арбата и пошел по Гоголевскому бульвару, торопясь так, словно у него оставались считанные минуты.

Окурки — в унитаз. Обсыпал унитаз пеплом. Вот черт, надо мыть. Чем? У дивана на полу — пепел. Где веник? Нашел его за дверью в кладовой. Подмел пепел под диван, но выронил пластмассовый совок, он разбился. Брянцев похолодел от ужаса. Свидетельство присутствия постороннего человека в доме было налицо, и таким посторонним мог быть только он. Спрятал совок за шкаф. Потом началась возня с неугомонными раками. Положит в корзину одних — вылезут другие. Да еще норовят ухватить за палец. Сетку с корзины он сорвал небрежно, не подумав о том, что она может пригодиться. Пришлось искать нитки, связывать сетку. Потом ванну мыл, пол вытирал. Фу, все!

Весь в поту добрался он до гостиницы и едва умолил принять живой груз в камеру хранения.

Вышел на улицу, постоял и пошел в аптеку, которую по старой памяти москвичи называют Феррейновской,— Таисия Устиновна снабдила его целым списком лекарств для своих подопечных. Значились в этом

списке еще и лечебное белье, и детские туфельки двадцать восьмого размера, и конфеты «Снежок».

Однажды Брянцев устроил жене «страшную месть». Взял с собой в Москву и заставил ее саму отыскивать нужные знакомым вещи. Таисия Устиновна сбилась с ног и не влюбила столицу — шумно, сутолочно. Больше она с ним не ездила, но поручения давала аккуратно. Даже когда он уезжал внезапно, как и на этот раз, успевала сунуть в карман пиджака пространный список.

Сегодня Брянцев выполнял поручения жены без особого неудовольствия. Это помогало коротать время. И все же он непрестанно думал о своем.

Если по каким-то признакам Еленка поймет, что он был у нее дома и читал дневник, наверняка что-то встанет между ними. Нельзя заглядывать в душу глубже, чем тебе позволяют. Решение, которое определилось у него за эти часы, — рвать со всем, что им мешало, будет в ее глазах не добровольным его решением, а вынужденным, вынужденным, вымученным... Да и простит ли она такое вторжение в ее «святая святых», вторжение, которое противоречит всем этическим правилам? Может быть, лучше было не читать дневник? Но кто знает, насколько тогда затянул бы он еще свое решение? А теперь ему ясно: больше медлить нельзя. Заводская жизнь похожа на зубчатые колеса. Не успеет один зуб выйти из сцепления, как в него попадает другой. Удобного случая все равно не представится.

Ровно в пять он вошел в приемную Шаповалова.

— Борис Николаевич уехал домой, он нездоров, — неприязненно глядя на Брянцева, сказал референт. — Но вас просил к нему приехать.

— Домой? — не скрывая своего удивления, спросил Брянцев.

— Домой, — так же неприязненно подтвердил референт. — Но только прошу вас лично от себя: не задерживайтесь у него долго. — И показал на сердце.

На звонок дверь открыла молодая женщина. Две маленьких девчушки с коротенькими, смешно торчащими кисточками косичек с любопытством уставились на Брянцева, но тотчас их лица выразили разочарование: дядя был явно не тот, которого они ждали.

— Вы Брянцев? — спросила женщина. — Проходите, пожалуйста. Папа вас ждет в кабинете.

Шаповалов сидел на широком кожаном диване, откинувшись на подушку. Он слабо улыбнулся и усадил Брянцева рядом.

Вслед за Брянцевым прошмыгнули и девчушки. Как ни увещевал их Шаповалов, они не уходили до тех пор, пока не спросили с детской бесцеремонностью — скоро ли уйдет дядя.

— Нет, не скоро, — Шаповалов смутился и, словно извиняясь за поведение своих внучек, добавил: — Отца они почти не видят — капитан дальнего плавания, — и я для них единственный представитель мужского населения в доме. Кстати, меня они тоже очень мало видят. Мужчины у нас — персона редкая. — Шаповалов посмотрел на Брянцева совсем не так, как раньше: благосклонно и с любопытством. — Вы задали сложную задачу, — после паузы, которая показалась Брянцеву очень долгой, продолжал Шаповалов. — И так плохо, и этак нехорошо. А скажите, пожалуйста, почему я должен распутывать этот запутанный узел? Или вы явились за тем, чтобы я благословил вас на развод?

Брянцев молчал. На самом деле: зачем он пришел? Застраховаться от неприятностей, которые его ждут? Идя к Шаповалову, он действовал под влиянием порыва, действовал от неудержимой потребности действия, от возникшей необходимости решить во что бы то ни стало сегодня же эту затянувшуюся на годы проблему.

Шаповалов ждал ответа, а Брянцев продолжал молчать. Он потерял всякое желание продолжать беседу, которая поворачивалась не так, как ему хотелось.

И снова вопрос, которого Брянцев не ожидал:

— Как вы расцениваете влияние руководителя на работу предприятия?

— Смотря какой руководитель и какое предприятие.

— А конкретнее?

— На хорошо налаженном предприятии со сплоченным коллективом руководителем может быть каждый.

Шаповалов взглянул на Брянцева, лукаво прищурился, — способности хитрить за этим на редкость прямым человеком он раньше не замечал.

— Ошибаетесь, Алексей Алексеевич. Для того чтобы наладить производство, нужно очень много и умно работать, а чтобы разладить его, достаточно работать вполсилы, вполголовы.

— Но у нас нередко случается: наладит директор работу завода, а его берут и на отстающий завод сажают.

— Случается. Но не от хорошей жизни. И часто каемся потом. Работа одного завода расстраивается, другого — не настраивается. В результате — два отстающих предприятия. Не всегда новая метла чисто метет, и я лично против привлечения варягов. Директор должен вырастить из коллектива завода, знать его досконально. На это требуются годы. Вот на вас затрачено пятнадцать лет...

Брянцев встал, прошелся по комнате и тотчас сел снова.

— А почему так стоит вопрос? Ушел директор от жены — и он уже не директор?!

Шаповалов досадливо поморщился.

— Директору авторитет нужен, а такие поступки авторитета не укрепляют.

У Брянцева не нашлось слов для возражений. У него было особо сложное положение. Он многим и охотно рассказывал о том, что Таисия Устиновна спасла ему жизнь, старательно ядил ее в тогу героини, создавал ей ореол, который объяснял бы людям их нелепый союз. Вот рассказать бы на собрании все подробно, как рассказал Шаповалову, — пожалуй, и поняли бы.

— Если бы вы смогли рассказать людям, с которыми общаетесь, так, как мне, — снова заговорил Шаповалов, и Брянцев даже вздрогнул от такого совпадения мыслей, — тогда никто не бросил бы в вас камень. Но это, к сожалению, невозможно. Вообще трудно найти достойный выход из создавшегося положения. Пока вы не победите или не завалитесь со своим антистарителем, оставить завод вы не сможете. Идет бой. Принципиальный и очень важный. Ни один командир не покидает в бою солдат. Даже раненые ведут атаку.

Вошла дочь Шаповалова со стаканом в руке.

— Папа, пора пить микстуру.

Шаповалов залпом выпил бурюю жидкость, поморщился и вернул стакан.

— Пообедаем? — спросил Брянцева.

Брянцеву хотелось есть, но он отказался — счел неудобным навязывать свое присутствие, да еще за семейным столом.

Дочь ушла, но ее вторжение расклеило беседу, затормозило ее, словно собеседники потеряли нить мыслей.

— Арифметика получается несложная, — сказал Брянцев, — Сейчас три несчастных человека, после моего ухода несчастным будет один.

— Арифметика получается сложная, — в тон ему ответил Шаповалов. — Трудно подсчитать, во что обойдется эта передрыга государству.

Вы уйдете, другой пока освоится. И кто этот другой? Бушуев? Молод еще.— Помолчал и спросил: — А все же признайтесь, чего вы от меня хотите?

— Узнать, как поступили бы вы на моем месте?

Шаповалов недобро усмехнулся.

— Об этом вы с успехом могли бы спросить какого-нибудь своего приятеля,— ответил он.— Но уж если настаиваете, извольте: на Таисии Устиновне я бы не женился, поэтому такой вопрос мне не пришлось бы решать.

«Ловко ушел от ответа»,— подумал Брянцев.

— А еще что хотите от меня? — спросил Шаповалов.

— Посоветуйте, что мне делать.

— Дорогой мой, когда вы собирались жениться на Таисии Устиновне, вы принимали решение самостоятельно. Почему же сейчас отказались от этого принципа? И на что вы рассчитывали, когда шли ко мне? Чем я могу быть вам полезным? Принять решение за вас? Взять вас под защиту? Помочь перейти на другой завод? Прямее, прямее.

Брянцев долго молчал. Видел, что Шаповалов теряет терпение, и все же понимал, что он искренне хочет ему помочь.

— Помогите мне задержаться на заводе. Хочу додраться до конца.

— Наконец-таки я слышу голос не юноши, но мужа,— удовлетворенно сказал Шаповалов.— Только учтите: сделать это мне не просто — решать вашу участь будут местные партийные организации. Если они выскажутся за ваше снятие, то единственное, что в моих силах,— это притормозить выполнение решения. Посоветую не спешить, пока не найдут на ваше место равноценного работника. А это потребует времени. Думаю, у вас хватит воли работать с полной отдачей в подвешенном состоянии. Что же касается совета, который вы так жаждете получить, то могу сказать: решайте так или иначе, но не тяните. В подобных ситуациях ничто так не противно, как двойная игра. За это бьют всего сильнее.

## ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Много ли человеку надо? Теплое слово, когда его не ожидаешь, рука, протянутая в тяжелую минуту. И все неразрешимое видится разрешимым и все трудное — легким.

Брянцев вышел от Шаповалова в том радужном состоянии, когда море кажется шириной в реку: нашелся человек, который его понял, который в решающую минуту поможет.

Кутузовский проспект был залит непривычным зеленоватым светом фонарей. Окна верхних этажей высотного здания на Смоленской площади еще багровели огнями заката.

Остановился на мосту через Москву-реку и стал наблюдать за огоньками речных трамваев, которые скользили по застывшей глади реки. Залюбовался отражением в воде освещенных окон домов.

Ему казалось, что он только воспринимает тихую красоту уходящего в вечер города и вдруг неожиданно для себя он вот сейчас нашел определение любви. «Любовь — это чувство, не требующее взамен ничего, кроме любви». Еленка... Она никогда не требовала ничего, кроме любви!

Брянцев нажал кнопку звонка и не отпуская ее, пока Елена не открыла дверь. Она охнула, рванулась к нему навстречу, повисла на шее.

Алексей Алексеевич поставил в передней корзину, но Елена не обратила внимания на раков. Стояла и смотрела на него ошалело радостным взглядом. Он наверняка не понял бы этого взгляда, если бы не знал содержания дневника.

— Ну что ты, Ленек, смотришь на меня, как на воскресшего из мертвых? — сказал он. — Мы же с тобой договорились: мы — неистребимы!

У нее повлажнели глаза. Она попыталась взять себя в руки, но не смогла, расплакалась. Потом призналась:

— Ты знаешь, у меня было такое чувство, будто ты ушел на этот раз навсегда, что нас уже нет... Я так и жила последние дни. И удивительно: обычно ты всегда находился рядом со мной и мне казалось, что достаточно протянуть руку, чтобы прикоснуться к тебе. А тут вдруг ты исчез. Это было страшно...

Он понимал, что сейчас ему нельзя ограничиться обычными обещаниями. Надо сказать что-то весомое, убедительное. Но что? И он завел разговор о том, где они будут жить. Сибирск исключается, Москва тоже. Могут уехать на Украину, могут на Волгу, могут в Азербайджан.

Они обсуждали этот вопрос так живо и подробно, будто для решения его им был дан только сегодняшний вечер. Елена принесла Валеркину школьную карту, и они путешествовали по ней из города в город. Она склонялась к Днепропетровску. Много высших учебных заведений, у Валерки после окончания школы будет возможность выбора. А это не за горами, всего два года. Брянцева больше тянуло в Волжск. Там первоклассный, самый современный завод с большим будущим. Но с ее доводами приходилось считаться.

Елена отдавала себе отчет в том, что все это произойдет не завтра и даже не через полгода, но путешествие по географической карте подняло ее настроение. Значит, Алексей тверд в своем намерении. И все же на этот раз не удержалась, спросила:

— Ты что, пришел к какому-то определенному решению?

— Да. Возвращаюсь на завод, тотчас подыскиваю себе комнату и перебираюсь. А назавтра иду с повинной в райком.

— Ох, Алеша, — только и проговорила Елена, и он так и не понял, чего больше было в этом возгласе — радости или тревоги.

Утром, в самый разгар сказочного пиршества, когда на столе в кухне уже выросла целая гора ярко-красных рачьих панцирей, приехал из пионерского лагеря Валерик. Загоревший, исхудавший («На чем только штаны держатся», — сокрушалась Елена), он был несказанно доволен тем, что удалось вырваться в Москву. Чмокнул в щеку мать, протянул свою тонкую руку Брянцеву.

— Я только до вечера, мам. Приехал с завхозом купить кое-что для самодеятельного спектакля. Ну и пылища по дороге! Пошел отмокать...

— Только не долго. Десять минут — не больше. Мне на работу, — сказала Елена.

Уже из ванной Валерка крикнул:

— Обо мне не забудьте, хоть пару оставьте!

«Не пойду сегодня в институт! У меня есть переработка, позвоню, предупрежу — и все», — подумала Елена и тут же объявила о своем решении.

Заглянула в холодильник — Валерку кормить нечем. Надо сбегать в гастроном. Схватила сумку и ушла.

— Как твоя музыка? — спросил Брянцев через дверь Валерку, хотя и знал от Елены, что тот бросил Гнесинское училище, решив, что у него нет призвания к музыке.

— Так же, как и марки! — беззаботно ответил Валерка.

— Терпения не хватает?

— Увлечения.

Валерка не отличался постоянством интересов. Он переболел всеми мальчишескими увлечениями: коллекционировал спичечные коробки, марки, открытки, перья, писал стихи, занимался авиамоделизмом. Но быстро ко всему остывал. У него были музыкальные способности, и



Елена прикладывала все силы, чтобы задержать его в училище. Любовь к музыке она воспитала, но к занятиям ею вызвала отвращение, потому что заставляла много играть. Валерка взбунтовался и в седьмом классе оставил музыку совсем. Одно время он вообразил, что будет дирижером. Накупил долгоиграющих пластинок опер и балетов и часами дирижировал, слушая пластинки и одновременно заглядывая в партитуру. Для этой торжественной церемонии он обязательно надевал белую рубашку, манжеты которой должны были выглядывать из-под рукавов пиджака, и галстук. Даже палочку завел себе не простую, а выточенную из кости.

Елена радовалась, решив, что наконец-то у сына появилось настоящее серьезное увлечение, может быть, даже открылось призвание. Но вскоре музыкальные вкусы Валерки изменились. Появились пластинки легкой, потом джазовой музыки, а потом и они улеглись на нижней полке шкафа.

Напрасно пыталась Елена гальванизировать его стремление стать дирижером, говорила о его исключительном слухе, о способности расчленять оркестр на отдельные составляющие его инструменты, рисовала картины заманчивого будущего. Валерка терпеливо выслушивал ее и спокойно произносил одну и ту же переделанную на свой лад крылатую фразу: «Дирижером можешь ты не быть, но разбираться в музыке обязан».

Валерка вышел из ванной, надел на мокрые вихры сеточку и, издав радостный возглас при виде оставленных ему раков, плюхнулся на стул.

Он был все такой же «развинченно-взвинченный», как сказала о нем однажды Елена. Расхлябанность манер странно сочеталась в нем с напряженной серьезностью. Он явно кому-то подражал и подражал сразу двум совершенно разным людям.

Чтобы заняться чем-нибудь, Брянцев налил себе чашечку кофе, и, глядя, как Валерка ест раков, невольно сердился. Они с Еленой расправлялись с ними виртуозно — оставляли только вычищенный панцирь. Даже ножки разделявали подчистую. А Валерка ел только шейку и то каким-то дикарским способом — совал в рот, жевал, а потом выплевывал.

Последнего рака Алексей Алексеевич у него отобрал и показал, как их нужно есть.

Валерка смотрел с вежливым вниманием, потом философским тоном изрек:

— Каждый делает свое дело в меру сил и способностей.

Брянцев увидел за этой фразой определенную концепцию и возразил:

— Но и силы и способности люди развивают в себе.

— Те, у кого есть на это желание...

— А у тебя нет?

Валерка помолчал со скучающим видом, словно раздумывал, ввязываться ему в спор или нет.

— В отношении уменья очищать раков до блеска кожуры с внутренней стороны у меня такого желания нет,— произнес он нарочито неуклюжую фразу, давая понять, что надо прекратить этот бессмысленный разговор.

— А в отношении остальных способностей?

Валерка почувствовал, что Брянцев задает вопросы целенаправленно, и снова отбился:

— Остальных у меня нет.

— Вранье, такого не бывает. У каждого есть способности к чему-либо. Их нужно только найти.

Валерка усмехнулся с видом человека, которому говорят прописные истины.

— Искать у себя способности, развивать у себя способности... А для чего? Для того, чтобы принести максимальную пользу обществу?

— А разве тебя это не вдохновляет?

— Нет. Об этом так много говорят, так нудно и так скучно, что, поверьте, не вдохновляет.

— А что тебя вдохновляет?

— Не знаю.

Брянцев немного растерялся от этого ответа. У них с Валеркой были дружеские отношения, обычно они разговаривали на равных. Он чувствовал, что мальчик все больше привязывается к нему, хотя нежности и не проявляет, знал от Елены, что Валерка часто спрашивает, когда придет дядя Алеша, и не только потому, что видит, как скучает по нем мать. Он и сам скучает.

Никогда не вел с ним Брянцев откровенно нравоучительных разговоров, но делал это исподволь. Рассказывал о заводских делах, о людях — плохих и хороших. Старался показать ему завод изнутри, дать почувствовать, что это не просто совокупность людей, отбывающих в течение семи часов трудовую повинность, а множество индивидуальностей, иногда очень ярких и всегда отличных друг от друга, живущих интересной, неповторимой, а кое для кого и непонятной жизнью. Жизнью со своими тревожностями, бурями и страстями.

И каждый раз, когда приезжал Брянцев, Валерка спрашивал его, с какой новой идеей носится Целин, по-прежнему ли воюет Гапочка с рабочими-исследователями или его перевоспитал Салахетдинов, бушует ли, как всегда, Бушуев? Он проходил воспитание заводом, сам о том не подозревая.

И вдруг такой неожиданный поворот в ходе его мышления. Наносное это, показное, или опасный симптом равнодушия?

Брянцеву приходилось сталкиваться с молодежью. И с заводскими комсомольцами, и со школьниками. Попадались ребята с заскоками, с вывихами, с червоточинной. Не попадались только равнодушные. Ему высказывали и недовольство, и разочарование, но и то и другое имело свои видимые и устранимые причины. Либо мешала учиться работа в разных сменах или неустроенность быта, либо хотелось получить одну специальность, а навязывали другую. Всем им чего-то хотелось, а этому не хочется ничего. А может быть, это просто мальчишеское желание поставить его в тупик? Или проснулась неприязнь к человеку, которого любит мать и который не отвечает на ее чувство должным образом?

Поднял глаза на Валерку. Нет, неприязни в его взгляде не было, было спокойное любопытство. Брянцев впервые почувствовал, что Валерка перестал быть Валеркой — незадачливым мальчишкой, каким его считали. И поняв это, нашел новый ход.

— Слушай, для чего ты себя обрекаешь на мученическую жизнь? — спросил он.

— При чем тут мученическая жизнь?

— При том, что, не выявив у себя способностей, стремлений, не найдя себе соответствующего применения, человек всю жизнь несет крест. Надеюсь, ты отдаешь себе отчет в том, что тебе придется работать?

— Конечно.

— Однако ты еще не дорос до понимания того, что труд — главная радость жизни. Эти слова для тебя звучат как затертые. Но ты уже должен понимать, что дело, которое тебе противно, может стать твоим несчастьем. Любишь одно, а делаешь другое. Или еще проще: не любишь то, что делаешь, но вынужден делать каждый день, всю жизнь.

Выражение превосходства сошло с лица Валерки. Он задумался. Задумался и Брянцев. Великое дело — традиции рабочей семьи. Они впи-

тываются с молоком матери, воспитываются отцовским примером. С заводскими ребятами ему просто разговаривать и на собрании и наедине, а вот такие, как Валерка... Впрочем, контакт у них всегда был. Надо добиться взаимопонимания в трудных для мальчишки вопросах, в которых тот пытается разобраться.

Валерка словно угадал ход его мыслей.

— Плохо все же, что я не знал отца, — сказал он. — Профессии отцов иногда помогают найти себе место в жизни. Может быть, и я захотел бы пойти в авиацию... Я много перебрал в своем воображении. Дирижером хотел стать, геологом, чего мама даже не знает, и много еще кем. А сейчас мне нравится журналистика.

— Что тебя привлекает в ней? Известность? Большая трибуна? — забросал его вопросами Брянцев, обрадованный тем, что Валерка вылез из скорлупы и заговорил всерьез.

Валерка встал, покружил по кухне. Снова сел за стол, повертел в руке панцирь рака и пытливо посмотрел на Брянцева.

— Много привлекает. И возможность повидать страну, а главное — только не считите за фразерство — возможность вмешиваться в судьбы людей, помогать им. Ведь это здорово! Ущемили хорошего человека, затерли дельное изобретение. Кто поможет в первую очередь? Журналист. Живет маленький человек в глухом, неприметном месте. Совершил подвиг. Кто о нем расскажет? Журналист.

— Все это хорошо, Валерик. Но уверен ли ты, что у тебя есть данные стать журналистом?

— А какие нужны особые данные? Поехал, посмотрел, увидел, написал.

— Вот, вот. Большинство людей думает, что они не журналисты и не писатели только потому, что у них не хватает времени. Ты как сочинения пишешь?

Валерка смутился.

— Четверки... Проскакивают и тройки.

— Мало обнадеживающие данные...

— Но в институте ведь учат этому?

— В институте, Валерик, развивают способности, а не прививают их.

Взглянув на Брянцева исподлобья, Валерка сказал:

— Дядя Алеша, вы ведь неспроста затеяли этот разговор. Вы мне что-то собираетесь посоветовать, да?

— Собираюсь. Оставшиеся два года ты должен заняться выбором профессии. Для начала приедешь ко мне. Хоть сейчас, как только из лагеря вернешься, вместо того чтобы баклуши бить в Москве. Походишь по цехам, по лабораториям, а главное — с ребятами поговоришь. Там что ни человек, то энтузиаст своего дела. Я уверен — глаза у тебя разгорятся!

— Значит, вы считаете, что я шинником должен стать?

— Хотел бы. Химия резины — еще невспаханное поле. На этой ниве непечатый край работы. И не просто работы, а поисковой, исследовательской, изобретательской, какой хочешь. Приедешь?

— Обязательно.

Валерка просиял. Он почувствовал мужскую направляющую руку и обрадовался возможности совершить первое самостоятельное путешествие.

Когда Елена вернулась из магазина, Брянцева уже не было. Валерка важно расхаживал по кухне с заложенными за спину руками.

— Вы что, уже окончательно договорились с дядей Алешей? — спросил он.

Елена смутилась. Не столько от вопроса, сколько от взрослой требовательной интонации. Ответила уклончиво:

— Ты же знаешь, Валерик, это зависит не только от нас, но и от целого ряда обстоятельств.

— Обстоятельства можно выдумывать любые и без конца,— резонерски заметил Валерка.— Я тебе под каждую свою тройку такие обстоятельства подведу... А знаешь, он пригласил меня к себе. Надеюсь, отпустишь меня одного?

— Конечно. Ты достаточно взрослый.

Человеку ласковому и мягкому по натуре тяжело быть строгим. А Елена держала сына в строгости. Ежедневно проверяла, как он приготовил уроки, требовала опрятности, приучила содержать в чистоте свою комнату. Не прощала и других отступлений от заведенных ею правил: он не должен был отлучаться без спроса, поздно приходить домой. Но мелкой опекой не докучала — где ходил, что делал, хотя умела исподволь выведать все, что ей хотелось. Валерка привык быть с матерью откровенным. Даже записочки от девочек показывал.

Она не утерпела, спросила:

— Ты почему решил, что мы договорились?

— Да так. Разговаривал он сегодня со мной как-то по-особому... По-отцовски, что ли.

— Можно узнать о чем?

— Это был мужской разговор, мама...

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Перед сном Брянцев непременно звонил на завод диспетчеру, чтобы узнать, как идут дела. Сделал это и сегодня из квартиры Елены.

Скороговорка Исаева ему не понравилась с первых слов.

— На заводе все в порядке, Алексей Алексеевич. План — сто один и четыре десятых, покрышек для тракторов «Беларусь» собрано двести девяносто. Но для вас есть что-то у Карыгина. В гостинице вас не нашли, позвонили ему и передали какое-то сообщение.

Брянцев попросил соединить его с Карыгиным.

— Сию минуточку, только еще одно. Пришла телеграмма из Ашхабада. Четыре покрышки из наших опытных развалились на третьи сутки.

— Как развалились?

— Отслоение протектора по всей окружности.

Совершенно забыв, где он находится, Брянцев выругался, но тотчас спохватился. Взглянул на Елену и увидел на ее лице не возмущение, а испуг.

— На испытательной машине? — спросила она.

— Нет, в автохозяйстве, но тоже в Средней Азии,— ответил он, прикрыв трубку рукой.

Исаеву долго не удавалось соединиться с Карыгиным, а когда удалось, долго никто не отзывался.

Наконец в трубке раздался сонный голос Карыгина.

— Что случилось? — спросил Брянцев.

Карыгин отвечал не торопясь, со свойственной ему манерой тянуть жилы.

— Вас искали из института, но в гостинице не нашли. Позвонили сюда, просили, если вы обнаружитесь, передать следующее: завтра в десять утра вас ждут во Внуковском аэропорту, чтобы лететь в Ташкент. Билет взят.

— Для чего? — нетерпеливо спросил Брянцев, зная привычку Карыгина самое неприятное откладывать напоследок.

— Испытательная машина с нашими покрышками потерпела аварию. Шофер погиб.

— Погиб? — выкрикнул Брянцев, не веря своим ушам.— А Кристич? Что с Кристичем?

— О Кристиче никаких сведений не поступило. Вы откуда говорите?

— Из гостиницы,— соврал Брянцев и положил трубку.

В тишине комнаты Елена слышала каждое слово, звучавшее в трубке. Она понимала, что означало это происшествие для Брянцева и для них вместе. Утешать, успокаивать она не умела, особенно в те минуты, когда сама нуждалась в этом. Только прижалась к Брянцеву так, словно прощалась с ним.

«Значит, шины не выдержали испытания необычной температурой,— думал Брянцев,— и вся вина падает на меня: я взял на себя ответственность за эксперимент. Оказывается, антистаритель не так уж надежен. не так универсален, как нам казалось. Ташкент и Ашхабад. Нет, вся эта история не пахнет случайностью. Больше похоже на закономерность».

Раздался телефонный звонок. Елена вздрогнула от неожиданности. Кто может звонить ей ночью? Схватила трубку.

— Алексея Алексеевича,— услышала она хриплый голос и передала трубку удивленному Брянцеву. Он не только никому не сообщал номер этого телефона, но даже нигде не записывал его во избежание всяких случайностей. Взял трубку неохотно и настороженно.

Звонил Карыгин. Он вежливо извинился и сообщил, что уточнил расписание: самолет уходит не в десять, а в десять пятнадцать.

— Как он узнал мой номер? — спросила Елена.

Брянцев высказал свои предположения: очевидно, Карыгин позвонил на междугородную и установил, с какого московского телефона был вызван Сибирск. Ночью звонки редки, да еще в их город, и нет ничего мудреного в том, что телефонистка нашла его заказ.

Невозмутимость Брянцева не успокоила Елену. Она знала, что чем сильнее взволнован Алексей, тем старательнее хочет казаться спокойным.

— А Карыгин — он что: пассивный друг или активный враг? — спросила она.

— Ты как-то странно представляешь себе мое окружение. У меня есть еще активные друзья и пассивные враги,— попытался отшутиться Брянцев, а сам подумал: «Пассивные не будут искать через междугородную телефон, чтобы сообщить такую несущественную мелочь».

Брянцев понимал, что Карыгин позвонил неспроста. Очевидно, он собирал козыри в той игре, которую вел против него. Но Елене этого знать не нужно, она и без того взволнована.

В аэропорту было, как всегда, суетливо и шумно. В толпе пассажиров, разноязычной и разноплеменной, Брянцев долго искал кого-нибудь из института.

В этом аэропорту он однажды с исключительной силой ощутил необъятность Родины. Он возвращался в Сибирск где-то на грани сентября и октября. Самолет по техническим причинам опаздывал, он прохаживался у выхода на летное поле. Было пасмурно, иногда срывался мелкий дождь, почти не отличимый от тумана. Одетый, как и большинство пассажиров, в демисезонное пальто, он поднял воротник — не столько от холода, сколько от сырости.

И вдруг прибыл самолет из Тбилиси. Мимо него шли женщины в открытых платьях, с загорелыми руками и лицами, с букетами цветов, такими пышными, какие делают только у нас в стране — от щедрости природы и от щедрости сердца. А следом приземлился самолет из Амдермы, и по лесенке стали сходить пассажиры в меховых шубах, в валенках и унтах. И получилось так, что не успела южная волна пассажиров войти в вокзал, как с ней смешалась северная, и они так

контрастировали между собой, что и со стороны на них нельзя было смотреть без улыбки, и сами они посмеивались друг над другом. Все смешалось в этой толпе: унты и сандалеты, дохи и открытые платья, южный загар и северная бледность. Сколько раз ни появлялся потом здесь Брянцев, это ощущение необъятности страны, где в один день можно заставить и лето, и осень, и зиму, каждый раз овладевало им. И у него, человека, знающего на своем опыте, как сложно управлять даже одним предприятием, захватывало дух, когда думал о том, сколько сил, энергии, таланта и прозорливости требуется от тех, кто руководит такой гигантской страной...

Даже сегодня, когда он был в смятении, это чувство тихого восторга проникло в его сознание и больно отозвалось вопросом: «А ты как помогаешь работать такому сложному механизму?»

В этот момент его плеча коснулся Хлебников. Он обрадовался, увидев Брянцева. Ему, очевидно, очень хотелось привезти строптивного директора на место катастрофы — пусть увидит плоды своей деятельности, пусть поймет и прочувствует всю тяжесть своей ошибки.

Хлебников был достаточно угнетен гибелью Апушкина, чтобы торжествовать свою победу, и достаточно зол на Брянцева, чтобы высказать сочувствие. Он только осведомился о состоянии здоровья Брянцева, который после бессонной, тревожной ночи выглядел далеко не блестяще — темные круги под глазами, серое лицо.

Их места были в разных концах самолета. Брянцев обрадовался этому. Он был избавлен от тягостного разговора и не менее тягостного молчания.

В самолете Брянцев вскоре заснул: безотказно сработала привычка спать в дороге.

Во время стоянки самолета Хлебников прошел мимо Брянцева в надежде перекинуться несколькими словами, но тот спал как убитый. «Ох, и черствый человек! Нет, такого жалеть нечего, — подумал Хлебников. — Его надо так тряхнуть, чтоб искры посыпались. Иначе не проймешь».

Брянцев проснулся, как просыпался всегда, когда накануне случались неприятности, — от толчка в сердце. Сразу вспомнил о Крестиче. Пожалуй, вспомнил даже раньше, чем проснулся. «Что с ним? Где он? Раз не сообщили, что он погиб, значит жив, но, возможно, искалечен...»

Он любил Крестича. Когда встречался с ним на рабочем месте, у резиносмесителя, или в своем кабинете, у него возникало то особое ощущение, которое вызывает по-настоящему хорошие, душевные, умные люди. У Крестича не было ни излишней скромности, ни той наигранной панибратской развязности, которая всегда раздражает. Он держался... Впрочем, он никак не держался, поскольку понятие это подразумевает какую-то нарочитость. Крестич был воплощением непосредственности, простоты и внутреннего достоинства. Брянцев выделял его, заставлял учиться, поручал ему сложные исследования. Он был уверен, что из этого парня выйдет настоящий инженер.

Пассажиры прильнули к окнам, и Брянцев, последовав их примеру, увидел великолепный современный город, рассеченный прямыми, как стрела, асфальтированными магистралями. Обилие зелени, изломанные русла рек, озеро и горная цепь вдали придавали ему неповторимый колорит. Потом город исчез, и навстречу снизившемуся самолету побегала бетонная дорожка. Слева виднелось монументальное здание аэровокзала, к удивлению Брянцева, не имеющее ничего общего с вычурной восточной архитектурой.

Часто наши желания осуществляются тогда, когда острота их притупилась или они вовсе потухли. Но досаднее всего, когда осуществляются они не ко времени.

Средняя Азия была для Брянцева белым пятном — его никогда не заносило сюда. А давно хотелось побывать и в Ашхабаде, и в Самарканде, и особенно в Ташкенте.

Но сейчас ему не до города. Что с Кристичем? Почему произошла авария? Мысль об Апушкине Брянцев отгонял от себя. Не хотелось верить в трагический исход. Тлела надежда, что произошло недоразумение, что кто-то что-то перепутал при телефонном разговоре. Слабая это была надежда, но он цеплялся за нее.

Такси остановилось у больницы. Хлебников знает, куда идти, к кому обратиться, инициатива полностью в его руках. Брянцев приходит в себя только у здания морга.

— Я подожду здесь,— почти просит он.

— Без сантиментов, пожалуйста. Идемте. Я могу вашего Кристича не опознать.

Входят в полутемное помещение, и служитель ведет их в самый дальний угол, где лежат два неопознанных трупа. Черт побери, почему так колотится сердце, почему кружится голова? Ведь он навидался смертей на войне. Да, навидался. Но то была война. Там к смерти призывали как к повседневной неизбежности. А вот этой смерти можно было избежать...

Служитель сдергивает простыню. Полный, обрюзгший пожилой мужчина. Закрывает мертвое тело и открывает второе. Тоже не Кристич.

Хочется вздохнуть полной грудью и нельзя — слишком тяжелый здесь воздух.

Апушкин лежит в другом углу. Брянцев старается не смотреть на его лицо и не может. Смелое, мужественное лицо солдата... Даже смерть не стерла выражения, которое было ему присуще при жизни.

— Хороший человек был,— тихо говорит Хлебников и добавляет беспощадно: — Надо же так — всю войну прошел и погиб из-за чьей-то глупости.

Брянцев молчит. Сказать ему нечего. Пожалуй, на месте Хлебникова и он был бы так же беспощаден.

Хлебников бросает на Брянцева быстрый взгляд: ну как, мол, довольно с тебя? И уходит.

В этой больнице Кристич не числится. В другой его не может быть. С травмой привозят сюда или, во всяком случае, сюда сообщают.

Теперь — автоинспекция.

Причины катастрофы? Еще неясны. Инспектор, который выехал на аварию, не вернулся. Далеко ли? На 112-м километре. Выставлен ли там пост? Да, выставлен. Приказано ничего не трогать.

«Но где Кристич? Не может же человек сквозь землю провалиться», — думает все о том же Брянцев. Остается надеяться, что все выяснится на месте аварии.

Душно. Солнце палит всюду, с непривычки больно глазам, их все время приходится щурить, и это вызывает сонливость. Однообразный пейзаж по обе стороны дороги. Сколько ни видит глаз — хлопок и хлопок. Ни деревца, ни холмика. Если бы не ощущение тревоги, усиливающееся по мере приближения к месту аварии, Брянцев заснул бы. Хлебников, который сидит рядом с шофером, клюет носом. Ему волноваться нечего, ему все ясно.

Сотый километр. Сто пятый. Сто десятый. Хлебников уже не дремлет, всматривается в даль. Дорога становится гористой, она идет теперь по краю небольшого холма и постепенно забирает вверх. Справа склон. Сто одиннадцатый, сто двенадцатый... Поворот, еще поворот, и вот внизу, метрах в ста от шоссе, лежит перевернутый грузовик со смятой кабиной. А где же колеса? Машина разута.

Таксист затормаживает «Волгу», и Брянцев бежит к машине. Никакого поста нет и в помине. Одна машина в степи. Подбегает ближе и под кузовом обнаруживает орудовца. Он спрятался в тень от палящего солнца. Подходит и Хлебников.

Орудовец, молодой паренек, ничего не знает. Его привезли сюда сегодня утром. Машина была в таком виде, как сейчас. Покрышек не было, сняты вместе с ободами. Кем? Очевидно, шофером какой-то проходившей мимо машины. Удивляться нечему — на шины голод. Кристич? Какой Кристич? Машина подобрала только одного, доставила в больницу.

Снова неопределенность. А Брянцеву нужна ясность. Полная ясность. Где Кристич?

— Шины, по-видимому, были хорошие, раз их сняли,— говорит он. Орудовец мгновенно опрокидывает это предположение.

— Сейчас любые снимут. Да и снимали, наверно, ночью, когда не рассмотришь.

Брянцев поворачивается и идет к такси. Хлебников следует за ним.

— А мне что тут делать? — кричит орудовец. — Тут же испечься можно!

Хлебников думает мгновенье и машет рукой.

— Поехали с нами.

Достав из-под кузова сумку и термос, орудовец бежит вдогонку.

До города едут молча. Дремлет Хлебников, дремлет орудовец. Брянцеву не до сна. Беспокойство его нарастает.

В городе, возле управления милиции, Брянцев сходит. Ему надо найти Кристича. В конце концов человек — не иголка в стоге сена. Не может он исчезнуть. Тем более, что известно: из Ташкента они выезжали вместе — Апушкин и Кристич. Куда же мог деться Кристич?

Хлебников улетает сегодня, они сухо прощаются.

— Не задерживайтесь здесь и не удерите в свою вотчину,— предупреждает Хлебников. — Встретимся у Самойлова. Надо ставить точку над «и».

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Каждое слово Хлебникова как удар молота обрушивалось на Брянцева.

В кабинете Самойлова множество людей. Здесь и сотрудники НИИРИКа, и представители шинных заводов, и руководители Всесоюзного химического общества имени Менделеева, и сотрудники Комитета партгосконтроля. Но Брянцев не видит никого кроме выступающего, не слышит, как перешептываются соседи.

У Хлебникова вдруг открылся талант прокурора.

— Мы своевременно предупреждали Брянцева (он, по-видимому, нарочно пропускает слово «товарищ») о несостоятельности опытов по применению снадобья, громко именуемого «антистарителем ИРИС-1» и разработанного академией доморощенных исследователей. Мы своевременно демонстрировали ему образцы резины, прошедшие испытания в озоновой камере. Они ясно говорили о том, что этот антистаритель разрушает шины...

Хлебников достает из портфеля фотографии, раздает их присутствующим.

Изгрызанные озоном образцы на фотографиях производят устрашающее впечатление. Представитель Ярославского завода Кузин громко вздыхает, покачивает головой и передает фотографии своим соседям — шинникам Московского завода.



— Какую нужно было проявить чудовищную малограмотность,— продолжает Хлебников,— чтобы совать в такое тонкое химическое соединение, как резина, какие-то отходы от нефти, непостоянного состава, неизвестно чем загрязненные, пригодные лишь на то, чтобы сжигать их в топках, как мазут! Какой авантюризм запускать шины с этими отходами в массовое производство! Какое тупое упрямство продолжать делать то же самое, уже зная о результатах испытаний в озоновой камере! Брянцев пал жертвой культивируемого им самим в заводском коллективе убеждения: все, что от НИИРИКа,— плохо, все, что от них, от завода,— хорошо, в противовес существующему...

— ...в институте убеждение: все, что от них,— хорошо, а что от заводов — плохо! — вставляет Кузин так быстро и в тон, что Хлебников, не поняв смысла фразы, подтверждает ее, вызвав сдержанные улыбки присутствующих.

Самойлов решает воспользоваться случаем остановить Хлебникова и наказать Кузина за злую реплику.

— Я хотел бы слышать ваше мнение,— обращается он к Кузину.

Тот мнется, как ученик, не выучивший урока, и отделяется отговоркой:

— Мы не испытывали «ИРИС-1» на нашем заводе.

«Хоть бы один вступился,— думает Брянцев, бродя взглядом по лицам.— Почти всем заводам разослали антистаритель с просьбой исследовать его. Неужели никто не заинтересовался? Значит, надо активнее искать союзников. Что, если поехать в Ярославль, к Честнокову? Разве он не поймет, не поможет, не заставит Кузина провести исследования? Мнение такого завода будет решающим в этом споре».

— Директор общественного института — вы? — спрашивает кто-то.

— Я,— отвечает Брянцев.

— Какая у вас ученая степень?

Вопрос задан явно в угоду Хлебникову: у какого директора найдется время для диссертации!

— Никакой.

Брянцев понимает, что о нем сейчас думают: взял человек ношу не по плечу — вот и расплывается. Может быть, некоторые видят у него хорошие побуждения, а большинство — карьеристские.

Но сейчас его мало интересует истолкование его поступков. Он сбит с толку роковым совпадением обстоятельств: вышли из строя шины в Ашхабаде и следом — авария испытательной машины. Если бы он не знал об отслоении протектора, он еще защищался бы. А сейчас вынужден сложить лапки...

Как из тумана доносится до него реплика представителя Московского шинного завода Саввина:

— Плохо, что мы не имеем шин. Может, авария произошла по другой причине, а мы тут завалим стоящее дело.

«Хороший ты человек,— с нежностью думает Брянцев.— Только не знаешь, что не одна авария произошла, а по сути две, и это уже симптоматично».

— Незачем искать холеру там, где налицо чума,— резко заявляет Хлебников.

— Сколько шин выпущено с вашим антистарителем? — спрашивает Брянцева Саввин.

— Около пятидесяти...

— Штук?

— Тысяч...

— Значит, можно ожидать пятьдесят тысяч аварий! — констатирует Хлебников.

— Но почему же произошла только одна? — допытывается Саввин.

— Это должно быть вам понятно, дорогой товарищ инженер,— язвительно говорит Хлебников.— Шины в автохозяйствах работают, как правило, в менее жестких условиях, чем при ускоренных испытаниях. И меньше часов в день, и с перерывами, и не всегда на жаре.

Он несокрушим сегодня, Хлебников, и победа на его стороне. Брянцев с ужасом думает о той минуте, когда Самойлов спросит его, что он как директор предполагает делать дальше. У него не хватит смелости идти напролом. Теперь, если где-либо произойдет авария из-за шин, все станут искать причину в антистарителе.

— Какие будут предложения? — спрашивает Самойлов бесстрастным голосом, так, будто готов выполнить все, что здесь предложат.

Хлебников не выпускает инициативу из своих рук.

— Я полагаю, что надо прекратить выпуск шин с «ИРИСом-1». Это во-первых. Во-вторых, все шины, уже находящиеся в эксплуатации, изъять во избежание несчастий.

— Пятьдесят тысяч? — вздохнул кто-то.

— Да, все пятьдесят, до единой,— подтверждает Хлебников.— И прежде всего в Средней Азии.

Гнетущее молчание воцаряется в кабинете. Каждому ясно, какая туча нависла над этим довольно симпатичным директором. При таком дефиците покрышек изъять пятьдесят тысяч штук перед самой уборочной, когда и так много автомашин стоит на приколе! Легко внести такое предложение, но как его выполнить? И выполнить нельзя и не выполнить — тоже.

Все взгляды сосредоточились на Самойлове. Что он решит? И сможет ли сам решить, возьмет ли на себя риск?

— Какие еще будут предложения? — снова спрашивает Самойлов.

Брянцеву кажется, что этот человек давно уже пришел к определенному выводу, а предложения вытягивает либо для проформы, либо изучая людей. На Брянцева он не смотрит, словно того и нет здесь. И не понять: игнорирует он его или щадит? А вот с Чалышевой не сводит глаз, словно от нее и только от нее ждет решения.

Но Чалышева упорно молчит.

И вдруг в напряженной тишине раздается спокойный голос:

— Я считаю, что никаких особых мер принимать не нужно. Нужно продолжать работу и поиск.

Все головы поворачиваются в сторону человека, бросившего вызов Хлебникову. Поворачивается и Брянцев и видит невозмутимое лицо доктора технических наук Дубровина. Он с самым невинным видом смотрит на Хлебникова, который пытается что-то сказать, но только беззвучно шевелит губами. Дубровин понимает, что хочет спросить его растерявшийся Хлебников, но на помощь все же не приходит. Только когда тот заговаривает достаточно вятно, снисходит до разъяснения.

— Я не согласен с теоретическими предпосылками, высказанными Олегом Митрофановичем. Первое. «ИРИС-1» — это отходы нефти, но отходы чистейшие, имеющие постоянный химический состав, более постоянный, чем парафин. Вот этот ингредиент действительно имеет довольно пестрый состав, но он почему-то не вызывает неудовольствия моего уважаемого коллеги. Второе. Олег Митрофанович полагает, что высокое содержание восков снижает качество резины, действует на них, как масло в слоеном тесте: ухудшает склеиваемость и вызывает расслоение, столь приятное в кондитерских изделиях и недопустимое в технических. Я же стою на диаметрально противоположной позиции. Считаю, что восковая пленка на поверхности резины предохраняет ее от окисления в условиях производства и улучшает склеиваемость слоев. Как видите, теоретическое расхождение у нас непримиримое. Вот почему я нахожу, что три процента восков, которые ввел сибирский за-

вод в резину, не могут явиться ни причиной брака шин, ни причиной аварии. И странно, исходя из закона больших чисел, в одной единственной аварии видеть подтверждение теории. А если авария случайна? Если произошла по другим причинам? Какой научный работник, не отягощенный жадной доказательностью, не стал бы своей правоте, защитит честь своего мундира, вправе делать выводы на основе одного, пусть даже вполне ясного случая? По правилам самой суровой науки — криминалистики — и то недоказанная улика должна оборачиваться в пользу обвиняемого. А вы, Олег Митрофанович, простите меня, вели себя в отношении Алексея Алексеевича как прокурор в отношении обвиняемого. Вы позволяете себе толковать единственное происшествие так, чтобы сокрушить противников и их теорию. Почему? Нужно утвердить свою точку зрения? Ведь других подтверждающих случаев нет? Ведь нет, товарищ Брянцев?

Брянцев молчит.

Сказать, что в Ашхабаде развалились шины, — значит, сдаться на милость победителю, значит — закрыть дальнейшие исследования. А не сказать об этом постыдно. Впрочем, он ведь тоже не знает причины выхода из строя шин. Может быть, это просто совпадение случайностей? Но здесь такому предположению не придадут значения. Новая технология будет отменена, и попробуй потом ее восстановить. Держаться? А если он не прав и завод выпускает аварийные шины? Нет, по закону больших чисел этого быть не может. А вот для Средней Азии, для высоких температур — возможно. Только прежде чем что-нибудь решить, он должен сам во всем убедиться. И черт его дернул послушаться Хлебникова и немедленно вернуться в Москву, когда нужно было лететь в Ашхабад на автобазу и посмотреть на шины своими глазами. А пока что надо выиграть сражение, исход которого поворачивается с помощью Дубровина в его пользу.

— Случай единственный, — придав своему голосу как можно большую убедительность, произносит Брянцев и видит благожелательные лица. Даже Кузин из Ярославля, похоже, склоняется на его сторону.

— А Ашхабад? — Хлебников следовательно прищурил глаза. — Это второй случай, вторая точка, которая предопределяет кривую зависимости.

— Какой Ашхабад? — наивным тоном спрашивает Брянцев. — Я ничего не знаю...

Это только и нужно Хлебникову. Он достает из портфеля телеграмму и читает:

«Опытные шины сибирского завода на третий день вышли из строя из-за отслоения протектора».

Кладет телеграмму на стол и уничтожающе смотрит на Брянцева. Брянцев протягивает руку.

— Дайте-ка мне телеграмму.

— Для чего? Если вы этого не знаете — плохо, если знаете и утаили — еще хуже. Так знаете или не знаете?

Вопрос поставлен в такой форме, что не ответить на него нельзя, но и ответить правдиво в этой ситуации невозможно.

— Я хочу прочитать телеграмму. Имею я на это право?

Хлебников, похоже, и не думает выполнить это требование.

— Кто прислал телеграмму? — спрашивает Самойлов.

— Это неважно...

— Сейчас все важно! — вскипает Самойлов. — И перестаньте, пожалуйста, разыгрывать здесь роль начальника разведки, который не выдает свою агентуру!

Хлебников протягивает Самойлову телеграмму.

— Только для вас.

Пробежав ее глазами, Самойлов спрашивает Брянцева:

— Кто такой Карыгин? — И тут же вспоминает: — А, это снятый за приписки секретарь обкома, который работает теперь у вас...

— Угу,— подтверждает Брянцев, вспомнив старую истину о том, что один враг может принести больше вреда, чем сто друзей — пользы. Почему враги всегда активнее? И, не выдержав, произносит глухо: — Мерзавец. Я дал ему указание послать в Ашхабад человека, выяснить причину аварии, а он вместо этого...

— Однако директор — человек скрытный,— иронически улыбается Хлебников.

— Он просто не спешит с выводами,— вступается Дубровин.— А вы, Олег Митрофанович, проявляете излишнюю торопливость.

— Да, я тороплюсь! Тороплюсь предупредить сотни, а может быть, и тысячи аварий! А что касается ваших теоретических домыслов, Леонид Яковлевич, то должен заявить, что вопрос старения резины и борьбы с ним не совсем вашей компетенции...

Все ждут, что Дубровин ответит резкостью, но он сдерживает себя.

— Простите, коллега, я сюда не напрашивался. Меня пригласили как представителя Центрального научно-исследовательского института шин, очевидно доверяя мне. И я могу предположить, что, подержи я вас, вы до небес превознесли бы мою компетенцию.

Снова чаши весов, на которых все время колеблется мнение большинства здесь собравшихся, приходят в состояние равновесия. Но равновесие не устраивает Хлебникова. Он резко поворачивается к Чалышевой и останавливает на ней недобрый взгляд.

— Ксения Федотовна, вы приглашены сюда не в качестве благородного свидетеля. Вы скажите, будьте добры, вслух свое мнение. Вы у нас самый крупный специалист в этой области.

Хотя все говорят сидя, Чалышева встает и, по-прежнему ни на кого не глядя, начинает говорить тихим, заставляющим до предела напрягать слух голосом:

— Я считаю, что «ИРИС-1», или, как мы называем его в институте с высоты своего величия, «туземный антистаритель», не может ухудшить качество шин настолько, чтобы они изнашивались в три раза быстрее. В этом я убедилась, когда по совету Льва Витальевича Самойлова поехала на завод и без обычной нашей академической торопливости при решении чужих вопросов ознакомилась с работами, ведущимися в «Академии рабочих», как именует Олег Митрофанович институт рабочих исследователей. Это изумительно, товарищи! — голос Чалышевой зазвучал четче, взволнованнее.— Мы ведь, грешным делом, не очень торопимся. Мы не так остро ощущаем нужды производства, потому что не дают они на нас повседневно. Мы не знаем их во всем объеме, не чувствуем своей кожей. Нам у заводчан многое надо бы позаимствовать. И ярость, с которой они ведут исследования, и нетерпимость ко всяким проволочкам, и бескомпромиссность суждений, и эмоциональный заряд почти взрывной силы!

Брянцеву казалось, что он сходит с ума. Если бы все это говорил Хлебников, он не так удивился бы. Хлебников — натура экспансивная, горячая. Такого, как ни странно, легче повернуть в другую сторону. Но Чалышева, этот манекен, напоминающий ему деревянную длинноносную куклу, Чалышева, у которой ни разу не проскользнула живая интонация в голосе, вдруг заговорила так взволнованно.

Хлебников слушал ее в полном недоумении. Подобного в его институте еще не было. Случалось, что научные работники меняли свою точку зрения. Но чтобы ставить под удар руководителя института... Это неслыханно!

— Пойдите, Ксения Федотовна, где же ваше мнение?! — выкрикнул он. — Вы сколько раз письменно доказывали, что все опыты Целина с церезином, с петролатумом — блеф. Вы восемь лет стояли на этой точке зрения...

Чалышева посмотрела на стул, даже слегка наклонилась, чтобы сест. Огонек, засветившийся было в ее всегда удивительно безжизненных глазах, потух, они сделались, нет, не стеклянными — у стеклянных есть блеск, — тусклыми, как у покойника, и Брянцеву, наблюдавшему за ней, стало не по себе. Но она не села, выпрямилась. Снова засветился в ее глазах огонек. Она была похожа сейчас на тихого, покорного зверька, который вдруг восстал против своего дрессировщика.

— Я несколько изменила свое мнение, — сказала Чалышева тоном, в котором прозвучали твердые нотки, и Брянцев тотчас воспроизвел в своем воображении нигде не виденную им ткань — мягкую, но с вделанными в нее металлическими нитями.

— Почему же вы мне об этом не сообщили?

— Я пыталась вчера сказать вам, но вы меня не захотели слушать. А разве я не могу изменить свое мнение без вашего разрешения?

И вызывающая поза, так не идущая к ее облику, и металлические прожилки в суконном голосе, и блеск глаз, давно потухших или даже вовсе не загоравшихся, вдруг приоткрыли Брянцеву всю глубину потаенной человеческой трагедии. Ему почему-то показалось, что этот человек, годами дремавший, проснулся, увидел все, что окружало его, да и себя самого как бы заново и возмутился, захотел расправить согбенную спину, согбенную не корысти ради, а по недомыслию. Возмутился и восстал, не думая о том, что произойдет с ним завтра, потому что по натуре был честен и не мог лгать. Ни другим, ни себе.

— Друзья мои! — с тоской в голосе сказала Чалышева, и таким странным показалось это ее обращение здесь, в деловой напряженной обстановке, что многие переглянулись и посмотрели на Самойлова. Он сидел, опустив глаза, как это делают деликатные люди, когда перед ними обнажают душу. — Олег Митрофанович напомнил мне о моем мнении. Я хочу рассказать вам, что такое мое мнение. Никто, кроме меня, антистарителем не занимался. Я была единственным специалистом. Что я говорила, то считалось непререкаемым. Мое мнение стало мнением института, его отстаивали всюду, как честь мундира, как отстаивает сегодня профессор Хлебников, даже не спросивший моего мнения... Вот вам образец мнимой коллегальности, когда мнение создается одним, а поддерживается всей организацией. Вот вам и причина того, что один человек, изобретатель, не наделенный учеными степенями, может оказаться правым, а целый институт — нет. Так получилось в данном случае. Мнение института сформировала я. А я ошиблась. Ошиблась в методике исследования в озоновой камере.

— Значит, вы отказываетесь от выводов, которые сделали в своей диссертации? — многозначительно спросил Хлебников.

— Ее всю надо проверять заново...

Брянцев слушал Чалышеву, и ему все больше становилось не по себе. Нет, не от ее слов. От иступленной проникновенности, с которой они произносились. Казалось, она предупреждала других от подобных ошибок. И он подумал, что так Чалышева никогда раньше не говорила и больше никогда говорить не будет, что такая яркая вспышка у тусклой натуры равносильна самосожжению и может произойти лишь один раз в жизни.

— У нас в институте есть разные люди, и, ради бога, не судите обо всех плохо, — с истерической откровенностью продолжала Чалышева. — У нас есть таланты, люди семи пядей во лбу, и они делают огромной важности работу. Там, где мы сосредоточиваем все свои силы, как

лучи в фокусе, мы достигаем многого. Но у нас бывают скандальные провалы. И я вам скажу, друзья мои: никто так не уверен в себе, как человек бездарный, и нет ничего страшнее в науке, чем бездарные. От них и неверные пути поиска, и огульное отвергательство, и зависть, и склоки...

Она закрыла лицо платком и быстро вышла, почти выбежала из комнаты. Наступила тяжелая тишина.

Ее нарушил Самойлов.

— Я считаю самым правильным в данной ситуации поручить товарищу Брянцеву выяснить причины выхода из строя шин в Ашхабаде. Надо ему определить хоть одно неизвестное в этом уравнении со многими неизвестными и принять решение. А мы обсудим.— И не осведомившись, есть ли у кого возражения, он торопливо направился к двери.

За ним устремился Хлебников.

Люди, вышедшие из кабинета, видели, как Самойлов и Чалышева ходили в конце длинного коридора, слышали, как он в чем-то горячо убеждал ее.

Брянцев подошел к Саввину прикурить.

— Поклонитесь Чалышевой в ноги,— сказал Саввин,— иначе был бы из вас компот! А каков Дубровин, а? С виду мухи не обидит, а зубаст.

Внизу, в раздевалке, Брянцев помог Чалышевой накинуть дождевик, взял ее портфель, и они вышли на улицу.

— Я преклоняюсь перед вашим мужеством,— сказал Брянцев после долгого молчания.— Как вы решились?

— Какое там мужество... Его не было и нет. И сейчас дрожат колени.. Просто не могла иначе. А Хлебников успел порадовать меня: пригрозил лишить ученой степени.

— Лишать нужно тех, кто упорствует в своих заблуждениях,— попытался ободрить ее Брянцев.

— Основания у него для этого есть, Алексей Алексеевич. Знаете, в чем ужас? Я избрала неверный метод. Слишком искусственны условия в озоновой камере, а мы слепо верили ей, попавшись на удочку «непогрешимости» западной науки. Получается иногда, что плохо защищенные резины в озоновой камере дают хороший результат, а хорошие — такие, как ваша,— плохой. Вы понимаете теперь, чего стоит вся моя диссертация? Коммивояжер западных фирм...

Снова шли молча. Потрясенный глубиной человеческого страдания, Брянцев все же вспомнил, что его ждет Елена, ждет и волнуется за исход сегодняшнего разбирательства. Он сказал Чалышевой, что торопится, так как сегодня же уезжает в Ярославль, и объяснил, почему уезжает.

— Переходите к нам на завод,— предложил он.— Я уже просил вас об этом. Повторяю свое приглашение.

— Вы знаете, что со мной произошло? — сказала Чалышева.— Я рухнула. Рухнула в своих глазах... Я была — и меня нет...

— Ксения Федотовна, вы не рухнули, вы поднялись! — горячо возразил Брянцев.— Отказ от заблуждений — бóльший подвиг, чем открытие истины!

— Успокаиваете? И на том спасибо.— Она грустно улыбнулась.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Не узнал Брянцев ни вокзала в Ярославле, ни привокзальной площади. Все было новым, большим, красивым, и ему показалось, что в этом городе он никогда не был.

Только выйдя из троллейбуса на площади Волкова, он увидел тот же город. Здесь все оставалось нетронутым с тех пор, как он уехал в Сибирск. И здания гостиниц — старой, приземистой, и новой, многоэтажной, — и любопытный по своей архитектуре театр, выдержанный в стиле модной для начала века модернизированной московской классики.

С гостиницей ему повезло. Вчера закончилось какое-то межобластное совещание и свободных номеров было много.

Наспех побрившись, Брянцев вышел из гостиницы. Его внимание привлек стенд шинного завода с фотографиями новых шин, новых цехов.

Да, изменился завод. Непостижимо быстро бежит время. Двадцать три года прошло с той поры, как, окончив школу, он появился в Ярославле.

Ох, и хлебнул же он здесь горя в сборочном цехе! Работа не клеилась, он никак не мог научиться, казалось бы, нехитрому делу — надевать браслет на барабан по центру.

Его учитель Семен Гаврилович, старый, опытный сборщик, отличавшийся завидным педагогическим терпением, и то не выдерживал, ругал Лешку последними словами. Даже грозился отправить в отдел кадров, чтобы дали работу попроще. «Чего ты к сборке прилип? Тебе бы в грузчики податься! — не раз говорил он. — Силища у тебя, как у молодого медведя, а сноровки никакой. — И снисходил: — Ладно, еще раз покажу».

Пока Лешка смотрел, все ему казалось легче легкого. Браслеты у Семена Гавриловича будто сами налетали один на другой, укладывались строго по центру, гладко и без морщин, а брался он — и снова начиналась пытка.

«А может, Гаврилыч тупой как дуб, что научить не умеет», — ухватился было он за спасительную мысль. Но Семену Гавриловичу дали второго ученика, и по виду шупленького, и с лица глупенького, и будто насмех названного родителями Антеем, но дело у того через неделю пошло. Лешка чуть не плакал от стыда и зависти — чувств, ему ранее незнакомых. Но отступать не хотелось. Самолюбие, только самолюбие удерживало его в цехе, заставляло терпеть и ругань наставника, и насмешки Антея.

Как ухватил он правильный прием надевания браслета — он понять не мог. Но с того дня все пошло по нарастающей.

Брянцев так ушел в воспоминания, что не заметил, как на конечной остановке трамвай опустел. Только когда вагон заполнили новые пассажиры, выскочил из него и направился к зданию заводоуправления.

Честноков не поднялся навстречу гостю. Только взглянул на него и холодно спросил:

— Что, людей переманивать явился?

— Нет, я с мирными намерениями, с челобитной. Пришел, как говорят в Сибири, в правую ногу пасть.

Только тогда Честноков поднялся из-за стола. Среднего роста, плотный, с совсем небольшой сединой, хотя ему за пятьдесят. Лицо волевое, очень живое, выразительное.

— Вот полюбуйтесь на коллегу, — обратился он к человеку, сидевшему в кресле перед столом. — Это Брянцев, знаменитый нарушитель спокойствия. Послал ему в помощь пять человек налаживать производство шин со съёмным протектором, так он двоих переманил, и самых лучших. Что вы на это скажете? С виду такой приятный, выглядит вполне джентльменом, прямо положительный герой! А на ходу подметки срезает. Знакомьтесь.

Брянцев подошел к человеку в кресле, тот подал ему маленькую, но сильную руку.

— Парнес,— коротко отрекомендовался он и повернулся к Честнокову:— Я двинусь, пожалуй.

Нагнувшись, взял лежащие между креслом и столом костыли, с трудом встал и пошел к двери, умело перебрасывая груз своего тела с одного костыля на другой.

— Ты смени гнев на милость,— сказал Брянцев.— Я ведь на тебя работаю. Съемный протектор— это твое детище, и хлопот оно мне доставило немало.

— Не на меня, а на народное хозяйство,— сухо поправил его Честноков.— Ну, выкладывай свою челобитную. Выпутался с антистарителем?

— Еще нет.

— Приехал и меня запутывать?

— Это же не для себя, а для народного хозяйства.

— Не знаю, не знаю,— сухо сказал Честноков, но все же попросил секретаря пригласить Кузина и снова обратился к Брянцеву:— Этого одержимого знаешь? Парнеса? У него невероятно заманчивая идея: механизировать сборку шин так, чтобы рука человеческая к ним не прикасалась. Каркас шины из одной нити наматывать, как на катушку. Кнопку нажал— начал работать станок, нажал— готовая шина слетела. Решение задачи сулит колоссальное сокращение трудовых затрат и улучшение стойкости покрышек. Кстати, как ты к одержимым относишься?

— Побольше было бы одержимых, ближе было бы к коммунизму. Лицо Честнокова потеплело.

— Я тоже за одержимых. А мы с тобой разве не одержимые? Ну, попробуй заставь человека с холодной душой самому вертеться с утра до ночи и эту махину вертеть.— Честноков показал рукой на огромную фотографию завода, снятого с птичьего полета.— Не заставишь. Я вот уже четверть века верчусь!

— Удивляюсь тебе, Владимир Петрович. Я недавно на этом электрическом стуле сижу, и уже седина начала пробиваться. Что же дальше будет?

— Дальше? Лысина. А лысине седина не страшна.— Честноков взглянул на густую шевелюру Брянцева и рассмеялся. Лицо его сделалось юношески задиристым.

«Широко размахнулся Честноков»,— с восхищением подумал Брянцев.

Он ясно представил себе шинный завод будущего. Ряд сложных, но негромоздких станков с огромной скоростью производит сборку шин. Конечно, останутся резиносмесилка, вулканизационное отделение, правда, видоизмененные, но все, что связано с кордным полотном, с его пропиткой, сушкой, обрезинкой, раскромом, изготовлением браслетов,— все эти громоздкие агрегаты и трудоемкие операции уйдут в прошлое. И фабрики, изготавливающие кордное полотно, тоже окажутся ненужными. А потом химики найдут такой полимер, из которого можно будет отливать шину целиком, как сейчас — детские игрушки. Ведь свершили советские люди чудо, в которое никто на западе не верил,— открыли способ изготовления искусственного каучука из спирта. И когда! Еще в тридцать втором году. С тех пор химия как шагнула!

Честноков просматривал какие-то бумаги, забыв на некоторое время о Брянцеве, потом произнес:

— Конечно, задача это не простая, и, может быть, не один год уйдет на ее решение. На этом революционном пути одинаково возможны и



жестокое поражение, и блистательная победа. Но, понимаешь, жизнь без перспектив, без дальнего прицела — это не жизнь.

Вошел Кузин, поздоровался, пытливо заглянул Брянцеву в глаза.

— Ты почему не попробуешь их антистаритель? — спросил Честноков.

— И не буду пробовать, — категорически заявил Кузин. — Так люди не поступают. Мы почему-то без утайки рассказываем, что делаем и как делаем. А они продают kota в мешке. Прислали полтонны какой-то муры и — пожалуйста: ведите опыты. А что это такое? С чем ее едят? Спросил Целина, что за снадобье, — темнит, в секрете, видите ли, держит. Ну и пусть со своими секретами катится.

— Поганец, — зло сказал Брянцев.

— Кто? — грозно спросил Честноков.

— Целин, конечно.

— И Целин не поганец, — возразил Честноков. — Я его до сих пор с благодарностью вспоминаю. Он нас на ленинградском шинном прямо-таки спас со своим предложением делать шины на барабане. До него по три — три с половиной покрывки собирал сборщик, а на барабане стал делать по восемнадцать — двадцать. В шесть раз больше. Человек он неорганизованный, но голова у него...

— Голова хорошая, — подтвердил Брянцев. — Генератор идей. А нервишки... Все боится, что его обворуют.

— Воруют те, у кого своих идей нет. А у нас, слава богу, их избыток, можем на сторону отпускать, — заносчиво произнес Кузин.

— Но, но... — остановил его Честноков.

— К чему относится «но, но»? — улыбнулся Брянцев. — К избытку идей или к отпуску на сторону?

— К скромности. А вот антистарителем, Кузин, займись. Потребуй, чтобы тебе выслали точный анализ, и если только этот антистаритель еще не умудрился состариться, — давай. Алексею Алексеичу надо помочь. Задача-то важная — долговечность резины. Тут не только освобождением от импорта пахнет, но и возможность экспорта. Валюта не из дома, а в дом. И не малая: миллионов на десять, на первых порах. — Честноков повернулся к Брянцеву. — А ты все-таки отчаяка. Уважаю таких и только потому разговариваю. Иначе на порог не пустил бы. Двух лучших сборщиков уворовать! Э-эх! Завод смотреть будешь?

— Конечно.

— Посмотри, посмотри. Не узнаешь. В новые цеха зайди. И на испытательную станцию. Нет такой второй в Союзе. Даже ни в одном институте нет. Да, кстати, скажи откровенно: ты свой общественный институт не от бедности организовал? У тебя ведь и лаборатория послабее, и конструкторские отделы. У меня их три. Один — специально по новым шинам.

— Как тебе сказать? Может, и от бедности, а может, от богатства, — раздумчиво ответил Брянцев. — От духовного богатства людей. Мы, руководители, чем грешим? Берем только то, что приносят нам люди. Готовенькое. Ну, как в скупочном магазине, на приисках, принимаем самородки. А золотonosную жилу разрабатывать надо. Крупица к крупице — право же неизмеримо больше, чем любой самородок. Надо не только ждать, когда тебе принесут, но и побуждать людей к тому, чтобы несли, чтобы искали.

— Могу идти, Владимир Петрович? — спросил Кузин, хорошо знавший, что спорить с директором можно до получения распоряжения, а получив его, остается только выполнять.

— Я хочу попросить товарища Кузина, — заторопился Брянцев. — Поборите свою антипатию к автору антистарителя. Это тоже влияет на исход экспериментов.

— Да, да, ты мне смотри,— пригрозил Честноков.— Проверь обстоятельно. Слово «ярославцев» должно быть весомо, а главное, доказуемо.

Брянцев ходил из пролета в пролет, из корпуса в корпус и испытывал острое сожаление оттого, что у него мало времени. Засесть тут недельки на две — набрал бы целый ворох новинок.

И черт бы ее побрал эту совнархозную разобщенность! Раньше, когда было министерство, передовой опыт, худо ли, хорошо ли, все же пропагандировали и заставляли перенимать. А сейчас каждый дует во что горазд. Кто хочет — тот ищет, перенимает, а кто не хочет — свою лапу сосет.

Вот опять у сборочного станка чисто местное приспособление — прикатчики незнакомого ему до сих пор типа. И станок какой-то непонятный.

— Чей станок? — спросил он первого попавшегося ему человека, с хозяйским видом расхаживавшего по пролету.

— Наш, ярославский,— не без гордости ответил тот и вдруг воскликнул: — Лешка! Ты?

Не без труда узнал Брянцев в плечистом, полноватом для своих лет человеке не кого иного, как Антея, а когда узнал, смутился. В ту пору отношения у них так и не сложились. Сначала он завидовал Антею, потом Антей завидовал ему. Правда, зависть у них была разная. Брянцев напрягал все силы, чтобы догнать своего соперника, а Антей, оставшись позади, злился, но особой прыти не проявлял и сил не тратил.

— Ты здоровый стал и важный, хотя и тогда фигурой отличался,— не очень дружелюбно произнес Антей.— Небось уже большим начальником работаешь. Кем?

— Вроде бы начальником.

— Цеха?

— Да нет, директор.

— Ишь ты,— с уважительной завистью произнес Антей.— Сколько же ты зарабатываешь?

Брянцев невольно усмехнулся.

— Лучше спроси, сколько я часов в день работаю, сколько ночей на неделе не сплю, сколько раз отпуска за работой проводил, сколько бит был, сколько шкурой своей рисковал. А ты сразу — заработок. По труду и заработок.

— Ну да, оно конечно,— сказал Антей и заторопился куда-то.— Прости, сегодня у меня на участке дело плохо идет.

Брянцев не стал его задерживать, спросил жив ли их общий учитель Семен Гаврилович, осведомился о его здоровье и отправился дальше.

Уже вечерело, когда, изрядно уставший от обилия впечатлений, он вышел с завода и медленно пошел вдоль трамвайной линии. Постоял у общежития Химико-технологического института. В нем он провел пять трудных лет. Стипендия была небольшая, и, хотя он подрабатывал на сборке, денег никогда не было. Тася иногда устраивалась на работу, но нигде подолгу не задерживалась и выручала только тем, что часто ездила на побывку в Темрюк. На месяц, на два.

Студенты в ней души не чаяли. Кто по возвращении из дому собирал весь открылок второго этажа и скармливал продукты, которых двоим хватило бы на месяц? Тася. Кого можно было попросить заштопать носки, постирать, пришить пуговицу? Тасю. У кого перехватить трешку до стипендии? У Таси.

Ее прекраснодушие выходило боком Алексею. Он вместе со всеми объедался два дня, а потом вместе со всеми постился, вместе со всеми ходил в нештопаных носках, ожидая своей очереди. Но не роптал, счи-

тал все это естественным. А вот ее нежелание учиться беспокоило его, он нет-нет — поднимал бунт в надежде ее образумить. Тася с покорно грустным видом выслушивала наставления и упорно молчала. А когда настояния мужа приедались, садилась в поезд и уезжала в Темрюк.

Ярославль в воображении Брянцева расчленился надвое: довоенный и послевоенный. Довоенный был наполнен Еленой, хотя нога ее никогда не ступала здесь.

Вот почему, когда он подошел к театру, у которого уже толпились зрители, его охватило ощущение одиночества, точно такое, какое испытывал давным-давно, после первой их разлуки. Сюда он приходил один, в одиночестве сидел в зале, в одиночестве бродил в антрактах и думал только об одном: как было бы хорошо, если бы Еленка была рядом.

Да, он очень любил ее. Он и сейчас не согласен с теми, кто утверждает, что юношеская любовь похожа на костер — чем горячее он горит, тем быстрее прогорает. Но как же могло случиться, что он все-таки забыл ее? На фронте он думал о ней, мечтал о ней, ждал того дня, когда увидится с нею. Так было до ранения. А потом, после длительного беспмятства, когда он, наконец, очнулся, все прошлое отодвинулось куда-то далеко-далеко, подернулось дымкой, утратило реальность. И Елена ушла в это далекое. А потом — история с Тасей, история, которая казалась тогда лирически трогательной, а теперь кажется безмерно глупой.

Не спеша дошел до почтамта. Отсюда было рукой подать до маленького дощатого домика на набережной Которосли, где он снимал крохотную комнату с крохотным оконцем. Надо было только пересечь площадь.

Полна неповторимого своеобразия эта площадь древнего города. Сквозь узкие бойницы высоких стен Спасо-Преображенского монастыря проглядывало алое закатное небо, отчего стены теряли свою массивность и выглядели непонятно тонкими, почти ажурными. Прошел мимо церкви Богоявления, щедро украшенной зеленоватыми изразцами, и спустился на Которосльскую набережную.

Широко разлилась река, поднялась после рождения Рыбинского моря. Слева, у стен монастыря, сжатая дамбой Которосль спокойно текла под новым каменным мостом, держа путь к Волге.

Брянцев подошел к трехконному домику на углу Южного переулка. С тех пор он еще глубже ушел в землю, обветшал и казался таким маленьким, что было даже трудно понять, как в нем могут помещаться люди. Крохотное оконце его комнаты теперь было почти на уровне земли. Через это оконце он никогда не видел людей во весь рост — по улице двигались туловища, лишённые голов. Ни одного радостного воспоминания не было связано с этим местом. Здесь он прожил три суровых года войны, пока не ушел на фронт.

Возвращаясь в гостиницу, зашел на почтамт, взял талончики для телефонных разговоров.

Москву дали мгновенно.

— Леша, — взволнованно сказала Елена, — рушится наша конспирация. Утром мне позвонили из Сибирска. Тот же человек, что и прошлый раз, попросил позвать тебя к телефону. Я сказала, что ты выехал. Тогда он осведомился, кому принадлежит этот номер телефона, — частному лицу или учреждению. Я сказала — учреждению.

— Молодец.

— Погоди. Спросил, какому учреждению. Сказала, что это дом приезжих Московского шинного завода. Но и это еще не все. Спросил, на какой улице он находится. Меня эта настойчивость разозлила, и я резко ответила, что адрес он узнает в том случае, если приедет в Москву и если руководство завода захочет поселить его в этом доме.

— Леночка, ты гениальна! Если ты будешь прятать свои романы от меня так, как прячешь наш от других, я впропал...

— Как тебе не стыдно, Леша!

— Стыдно. Прости...

А двумя часами позже, когда Брянцев уже лежал в постели и читал газету, раздался звонок междугородной. Он подумал, что его соединили с управлением милиции в Ташкенте, но это была Елена.

— Леша, родной, несчастье,— услышал он в трубке: — Чалышева покончила с собой...

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Как и другие сотрудники института, Елена не была в близких отношениях с Чалышевой. Но смерть ее потрясла всех и особенно Елену, потому что знала она о Чалышевой больше, чем остальные.

Это была трагедия честного заблуждения и честного прозрения. Случаи научных заблуждений в институте не так уж редки. Закрывались за бесплодностью работы, на которые были затрачены время и деньги, опрокидывались сложившиеся научные представления. Но у людей оставалось, чем жить. У одних за плечами бесспорные научные достижения, у других впереди — новые замыслы, которые можно реализовать. А у Чалышевой ничего не было в прошлом и ничего в будущем. Единственное, что она имела, — это научный авторитет. Он рухнул прежде всего в собственных глазах, и она не считала себя способной восстановить его. Жизнь потеряла для нее всякую цену. Столько лет затратила она, чтобы завоевать положение, и не было сил начинать все сначала, начинать строить здание даже не с нулевой отметки, а еще ниже, с фундамента, с котлована под фундамент.

Похороны людей посторонних, — а Чалышева обладала удивительной способностью держаться от людей в стороне и не подпускать к себе, — обязанность, от которой стараются уклониться. Но проводить Чалышеву в последний путь пришли многие, даже те, кто ее почти и не знал. Пришли, может быть, потому, что добровольный уход из жизни в нашей действительности — случай чрезвычайно редкий.

Холодное прощальное слово, сказанное Хлебниковым, разволновало Елену. Ее так и подмывало выступить, но она побоялась, что наговорит лишнего. Решила высказаться один-на-один и, как только Хлебников прошел в свой кабинет, последовала за ним. Плотно прикрыла дверь.

— Я все-таки полагаю, Олег Митрофанович, что у вас найдется несколько теплых слов для человека, которому вы помогли отправиться на тот свет, — сказала она дрогнувшим голосом.

Хлебников посмотрел на нее со спокойным любопытством.

— Не понял.

— Вы пригрозили Чалышевой лишить ее ученой степени.

— Откуда эта версия?

Елена замялась. Не хотелось ссылаться на Брянцева, и она схитрила:

— Мне рассказала Чалышева. Я встретила ее, когда она возвращалась с последнего в ее жизни совещания.

— Этого не было.

— Значит, я выдумала?

— Она выдумала. Плод расстроенного воображения. — И вдруг обезоруживающе миролюбивым тоном Хлебников добавил: — Вот так, Елена Евгеньевна. Между прочим, вы зашли кстати. Я собирался вас вызвать. Сядьте, пожалуйста.

Елена смотрела на Хлебникова и пыталась понять: разыгрывает он спокойствие или в самом деле не чувствует себя ни капельки виноватым.

— Не ставьте меня в неловкое положение. Я не могу разговаривать сидя, если женщина стоит.

Елена села.

— Не принято плохо говорить о покойниках, но Чалышева очень виновата перед институтом,— заговорил Хлебников тоном человека, у которого наболело на душе и который ищет сочувствия.— Она бросила тень на качество наших научных исследований. Весь мир пользуется озоновой камерой, а у нее, видите ли, возникли сомнения.

Очень хотелось Елене одернуть Хлебникова, но она промолчала — интересно было, к чему он клонит.

— Но раз сомнения возникли, мы обязаны их проверить,— продолжал Хлебников.— Я хотел бы, чтобы этим занялись вы, Елена Евгеньевна. Проверьте состояние камеры, методику исследований, сравните результаты с другими методами испытаний. И, чтобы зря не терять времени, пошлите на всякий случай «ИРИС-1» на точнейший анализ в специализированный химический институт.

«Ах, вот оно что. В общем — укради, если сумеешь».

Да, есть над чем подумать. Приняв это предложение, она была бы в курсе всех происков, которые затевает Хлебников, и могла бы им мешать. Случается, что чужую идею слегка видоизменяют и выдают за свою. Но роль тайного соглядатая показалась ей унижительной.

— Хорошо, Олег Митрофанович,— сказала она миролюбиво.— Но предположим, что «ИРИС-1» окажется идеальным препаратом. Как мне поступить в этом случае?

— Для чего нам загадывать наперед? Обстоятельства покажут.

— А как мне вести себя с заводчанами?

— Деточка, почему вы так о них печетесь? В их обязанности не входит изобретать. Если у них что не получается, им не в укор. А мы для этого здесь сидим, и наша задача — найти свой антистаритель.

«Ага, „свой“, — подумала Елена.— Это означает, что нужно ввести в «ИРИС-1» несколько составляющих, которые не играют активной роли. Так, для проформы. И вот уже «свой» препарат, можно ставить марку института, и честь мундира спасена».

— Нет,— сказала Елена,— ни в лаборатории Чалышевой, ни вообще в вашем институте я работать больше не хочу.

Она покинула кабинет, оставив Хлебникова в полном недоумении.

В приемной Елена написала заявление об уходе из института по собственному желанию и вручила референту.

Три дня она с наслаждением провела дома. Отоспалась, отлежалась. Но как только пришла в норму, затосковала по работе. Был бы дома Валерка, она нашла бы себе применение, а одной время девать некуда. На четвертый день поехала в лагерь к Валерке в Переславль-Залесский — чудесный лагерь на берегу Плещеева озера, шумный от грачиных криков и визгов ребят.

Валерка и обрадовался, и смутился. Больше, пожалуй, смутился: как же, к такому большому маме приехала. Он неохотно поводит ее по лагерю, показал ботик Петра Первого, дедушку русского флота, и забеспокоился: достанет ли она билет на автобус и не придется ли возвращаться ночью. Елена поняла его и ушла.

А назавтра, проснувшись чуть свет, почувствовала, что устала отдыхать, что больше не в силах бездельничать, и решила поехать в Центральный научно-исследовательский институт шин.

Ей приходилось и раньше бывать в этом крупнейшем в стране институте. Она знала, какие проблемы он разрабатывает, как хорошо оснащены здесь лаборатории, какая творческая атмосфера царит в нем.

В отдел кадров идти не хотелось, с директором института она знакома не была, а вот с Дубровиным сталкивалась и относилась к нему с симпатией. Он несколько раз выступал у них в НИИРИКе и подкупал не только увлеченностью своей, но удивительной простотой.

В институте день был необычный. Во дворе стояли, выстроившись в ряд, три десятка машин, вокруг них толпились люди. Из отрывочных разговоров Елена поняла, что колонна машин вернулась с государственных испытаний. Шины «Р», разработанные институтом, прошли в три раза больше, чем обычные серийные, и были еще пригодны к дальнейшей эксплуатации. Вот почему на лицах людей написана такая радость, вот почему здесь так шумно.

Вдруг разговоры стихли, и все, словно по команде, повернулись в одну сторону. Повернулась и Елена и увидела директора института, председателя Комитета химической промышленности и еще нескольких человек, как узнала позже, из ЦК. Они ходили от машины к машине и беседовали с водителями.

Елена протиснулась поближе. Ей доставляло удовольствие выслушивать суждения водителей-испытателей, людей, разбирающихся в тонкостях шинного дела и чувствующих ответственность за каждое свое слово.

Немного позже появились руководители Комитета партийно-государственного контроля, и Елена уехала домой, понимая, что сегодня ею никто заниматься не будет. Однако общая радость передалась ей. Приятно было думать, что через несколько дней она, может быть, войдет в этот коллектив.

Дубровин встретил ее радушно. Он знал ее в лицо, вспомнил, где видел, но фамилию вспомнить не мог.

— Ракитина Елена Евгеньевна, — представилась Елена и рассказала, что приходила вчера, зачем приходила, почему ушла.

— Напрасно, напрасно. Для такой обаятельной женщины я нашел бы время, — галантно произнес Дубровин, используя право преклонного возраста говорить комплименты. — А шины посмотрели? Каковы?

— Хорошие шины. Только очень сложны конструктивно. И мне не ясно, когда заводы получат соответствующее оборудование, а рядовые сборщики освоят их изготовление.

В глазах Дубровина появилось любопытство. Ракитина смотрит в корень, значит понимает в шинах. Так почему же она ушла из НИИРИКа? И он спросил об этом.

— Разошлась с руководством во взглядах на пути поиска антистатрителя, — осторожно ответила Елена, не желая охаивать ни институт, в котором работала, ни его руководителя. — Я стою на точке зрения сибирского завода.

Лицо Дубровина выразило живейший интерес.

— Но, роденькая, правильность взглядов доказывают работой, а не уходом! — сказал он.

— Каждый доказывает, как может, — возразила Елена. — Я предпочла искать единомышленников, а не бороться с противниками.

— Вы кандидат?

— Нет. Рядовой научный сотрудник. Химик-аналитик. Исследовательских способностей за собой не вижу и плодить число ученых-пустоцветов не собираюсь.

— А может быть, у вас просто не сумели пробудить эти способности?

Елена ответила коротким анекдотом. Человека спросили, играет ли он на скрипке. «Не пробовал, — сказал он, — может быть, и играю».

Дубровин рассмеялся.

— Вы копуха или торопыга? Признавайтесь,— неожиданно потребовал он.

— Торопыга,— поспешила ответить Елена, словно боясь, что Дубровин примет ее за копуху, если она помедлит с ответом.— Я всегда стремлюсь поскорее сделать работу и получить результат.

Дубровину все больше нравилась эта женщина. Она не старалась произвести выгодного впечатления, чем часто грешат люди, устраивающиеся на работу, и этим невольно подкупала. Дубровин понимал, что особой ценности для его отдела она не представляет. Но отпускать ее ни с чем не хотелось, и он стал рассуждать вслух:

— Может быть, лучше всего подключиться вам в поисковую работу дальнего прицела? Как правило, это значительные темы и ведут их серьезные люди, у которых есть что позаимствовать. Вот сейчас мы пытаемся создать моношину. Знаете, что это такое?

— Шина сплошь из одного полимера.

— Значимость ее представляете?

— Еще бы! Сборка заменяется литьем или штамповкой.

— Увлекает?

— Интересно. Но прицел очень уж далекий. Люди, решающие такие задачи, похожи на путников в дальней дороге: они не спешат. А я торопыга.

— Есть еще одно интересное дело, поближе. О радиационной вулканизации слышали?

— Краешком уха,— призналась Елена.— Только то, что было опубликовано.

Дубровин подробнейшим образом рассказал о том, как в стенах ЦНИИШИНа родилась мысль подвергнуть резину воздействию атомной энергии, как искали здесь оптимальные параметры, как терпели неудачи. Рассказал и о теоретических схватках, которые пришлось выдержать. Многие ученые считали, что облучение не улучшит свойства материалов, а наоборот, ухудшит их.

По его оживленности Елена догадалась, что радиационная вулканизация ему, пожалуй, ближе остальных проблем.

— Я горячо советую вам, Елена Евгеньевна: заинтересуйтесь радиационной химией,— уговаривал Дубровин.— Возможности ее безграничны и пока находятся далеко за пределами наших знаний. Мы еще не совсем точно представляем себе, что происходит в облученных шинах, но можем сказать с уверенностью, что ходимость их возрастет на пятнадцать—двадцать пять процентов. Представляете? Скоро мы начнем в Крыму дорожные испытания шин, подвергнутых радиационной вулканизации, проверим результаты лабораторных исследований и будем бороться за промышленное внедрение.

Елена тотчас подсчитала, какой экономический эффект даст такое повышение ходимости и сколько можно будет сэкономить на строительстве шинных заводов, если все шины подвергнуть такой обработке.

Это окончательно покорило Дубровина. Инженерный практицизм и знание экономики свойственны далеко не всем научным работникам.

— У нас часто возражают против параллелизма в разработке тем разными институтами. Я с этим не совсем согласен,— сказал Дубровин.— Это лишь иногда правильно, но большей частью вредно. Вот вам пример. Вопросы старения были сосредоточены только в НИИРИКе, и что получилось? Пшик. Почему? Они стали монополистами в этой области и варились в собственном соку. А подключился бы в такую работу другой институт — тут тебе и взаимоподстегивание, и взаимная проверка, и желание сделать во что бы то ни стало лучше, чем твои соперничающие коллеги.

— Леонид Яковлевич,— сказала Елена,— меня очень заинтересовала проблема старения. И вот сейчас мне пришел в голову еще один вариант исследовательской работы в одной области: что, если подвергнуть шины с сибирским антистарителем радиационной вулканизации? Можно ведь получить неожиданно интересные результаты.

Дубровин не сдержал радостного возгласа.

— Ну вот вы и нашли себе применение, Елена Евгеньевна! Знаете, с чего начнем? С самого малого. Поезжайте на испытания в Крым. Там все радиационники соберутся. Познакомитесь с людьми, войдете в курс дела. А потом видно будет. База у нас в Симферополе. Учтите: жара, пылица.

Заметив колебание на лице Елены, Дубровин нахмурился. Он хотел заинтересовать ее и, казалось, заинтересовал. Что же ее смущает?

— Видите ли, Леонид Яковлевич,— отвечая на его вопросительный взгляд, сказала Елена.— Отъезд на длительный срок... У меня сын в девятом. Понимаете...

— Жаль, жаль,— не скрывая досады, произнес Дубровин.

— Дайте мне сутки на раздумье. Если мама согласится приехать на это время, я с радостью приму ваше предложение.

История с антистарителем «ИРИС-1» взволновала Дубровина. Он понимал, что Хлебников будет тянуть, изворачиваться, лишь бы не признать себя побежденным. Что же предпринять во имя пользы дела? Комитет химической промышленности только что организовался и оперативно решить такой вопрос не сможет, его будут решать там, где подняли,— в Комитете партгосконтроля. Но и этому Комитету нужны не мнения и предположения, а точные данные лабораторных, стендовых, а лучше всего дорожных испытаний. Как бы ни был далек человек от химии, но когда ему говорят, что шина прошла на испытаниях столько-то тысяч километров, он понимает, что это за шина. Вот только обходятся испытания дорого, и чем дальше, тем они дороже — ходимость шин с каждым годом увеличивается. Дубровин помнит время, когда шины выходили из строя на пятой тысяче километров, а сейчас подбираются под сто тысяч. И станет ли руководство одного института вмешиваться в прерогативы другого? У Хлебникова вопросы старения в плане, а ему, Дубровину, придется заниматься ими в порядке самостоятельности, как бы в пику коллегам. Не очень приятно в конце концов. Отношения между институтами складываются иногда так же, как между людьми: ты помоги мне — я помогу тебе. А еще чаще по правилу: ты меня не трогай — и тебя не трону. Было над чем задуматься.

Сегодня Дубровин изменил своему принципу принимать в отдел исключительно одаренных, пообещав работу Ракитиной. Он боялся бездарностей не только потому, что они ничего не давали науке. Они становились тормозом на пути других. История Чалышевой была тому разительным примером. Сумела же она, ничего не сделав сама, столько лет задерживать поиски отечественного антистарителя! Но Чалышева оказалась честным человеком. Она поняла глубину своего заблуждения и призналась в этом. А сколько людей не осознает своих ошибок или, еще хуже,— осознав их, продолжает упорствовать! Посочувствовать им можно: нелегко ученому, затратившему годы на разработку той или иной проблемы, вдруг зачеркнуть сделанное и начать все сначала. Чем старше возраст, чем прочнее авторитет, тем больше мужества нужно, чтобы пойти на такой шаг.

Дубровин был верен себе всю жизнь. Он не раз отказывал в приеме на работу людям, за которых хлопотали влиятельные лица или его хорошие друзья. Но гораздо труднее было, убедившись в никчемности человека, освободиться от него. Очень уж доброе сердце у Дубровина — приходилось заставлять себя совершать этот суровый акт.



А вот Ракитину согласился принять. Она подкупила своей честностью, заявив, что ученых степеней добиваться не будет, следовательно, не будет и балластом в науке.

Честность. Это качество Дубровин считал не переменным качеством ученого и ценил его наравне с талантом. Его учителем был знаменитый Лебедев, человек большого ума и неотразимого обаяния. Это он привил своему ученику смелость в экспериментировании, умение искать на главном направлении, ненависть к нечистоплотности всякого рода, особенно в науке.

К тому же Дубровин был творчески плодовит и щедр. Родится идея, разработкой которой ему заниматься недосуг или неподручно,— и он отдает ее любому и ничуть об этом не жалеет.

Была у него слабость: не любил, когда забывали упомянуть о нем как об авторе идеи. В таких случаях он сам напоминал о себе, иногда деликатно, исподволь, а иногда и без обиняков. Над этой слабостью посмеивались, но ее охотно прощали. Прощали еще и потому, что восхищались его удивительным бескорытием. Став кандидатом химических наук в молодые годы, когда работал на производстве, Дубровин не стремился получить докторскую степень — не считал возможным затратить на это два-три года, не хотел отрываться от неотложных дел, от реализации своих творческих замыслов. Такая непрактичность создала ему репутацию чудака, но чудачества подобного рода только увеличивают уважение.

Доктором наук он стал лишь потому, что институт возбудил ходатайство о присвоении ему ученой степени *honoris causa* — без защиты диссертации, по совокупности научных заслуг. И это произошло всего четыре года назад, когда ему стукнуло шестьдесят.

Дубровин отличался не только завидной способностью «выдавать» свои идеи, но и всячески поддерживал чужие. Его очень заинтересовал заводской антистаритель — мысли то и дело возвращались к нему. Стыдно медлить с решением проблемы, столь важной для всей резиновой промышленности. Но что он может сделать? Выше себя не прыгнешь. А если прыгнуть? Если взять и обуть сибирскими покрышками несколько машин, которые выделены ему для испытаний? Правда, тогда он получит меньше данных по испытаниям своих «радиационных» шин. М-да! И все-таки, кажется, стоит этим пожертвовать. Была не была. Но какой разразится скандал! Он затратил столько усилий, доказывая, что ему необходимы именно пятнадцать машин. Сначала дали десять, потом две, потом еще две. За последнюю, пятнадцатую, воевал почти месяц. И вдруг несколько машин передать чужому дяде. Неприятностей не оберешься. Однако придется и этим пренебречь. Очень уж интересная штука — сибирский антистаритель.

И теперь, уже торопясь, чтобы отрезать себе пути к отступлению, Дубровин вызвал Сибирск, рассказал о своих планах Брянцеву. Попросил, чтобы Целин выслал в ЦНИИШИН образцы «ИРИСов» всех марок для всестороннего исследования и комплекты шин для испытаний. Предупредил: за выполнением надо проследить, потому что Целин — экземплярчик своеобразный: истерически активен, когда сталкивается с сопротивлением, и чрезвычайно медлителен, когда встречает поддержку.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Не было на заводе человека, которого исчезновение Кристича удручало бы больше, чем Диму Ивановского. До организации общественного института они не знали друг друга. Институт не только познакомил, но и сблизил их. Они стали большими друзьями.

По характеру это были разные люди. Кристич, живой, подвижной, словоохотливый, с душой нараспашку, располагал к себе с первого взгляда. Дима Ивановский размерен в движениях, молчалив, собран. Нужно было как следует узнать его, чтобы оценить по достоинству.

Говорил он чрезвычайно мало. «Пять слов в неделю», — шутили товарищи. Но если уж что-то задевало Диму за живое, если добирался он до трибуны, у него автоматически включалась высшая скорость. Успевай только слушать.

Скромностью он отличался непомерной и недооценивал себя. В школе увлекался электротехникой, электроникой, радио, но заглянул как-то в курс электротехники для втузов, испугался сложности математических формул и решил, что это не для него. Посоветовался с приятелями — и пошел сборщиком на шинный завод. Работа замысловатая, интересная. Однако старое увлечение оказалось живучим. Дима постоянно мастерил радиоприемники. Его аппарат был громоздким, занимал полкомнаты, но работал лучше любого фирменного и по избирательности и по звучанию — три динамика, включенных одновременно, в совершенстве воспроизводили звук.

От скромности его лечили все как от болезни. И мастер по сборке, у которого Дима освоил дело в фантастически короткий срок — через неделю он уже собирал шины самостоятельно, — и Целин, дававший ему самые сложные задания по институту, и Брянцев, не упускавший случая, чтобы похвалить его. Лечил и Саша Кристич. Он заражал друга своей уверенностью.

Похвалы на Диму действовали своеобразно. Он считал, что в них только половина правды, и лез из кожи вон, чтобы сделать их полной правдой.

Он не стеснялся, закончив смену, остаться в цехе и часами наблюдать за работой других сборщиков, подмечая все, что давало возможность экономить секунды. Он поездил по заводам, освоил лучшие приемы лучших сборщиков и сам стал учить других. Учил не только показом. Составил подробнейшее описание лучших приемов. Так родилась книжка, небольшая, но емкая и очень полезная.

Последнее время Дима был одержим мыслью создать сборочный станок, в котором сочетались бы все достижения отечественной и зарубежной техники. Обдумывая его и разрабатывая за чертежной доской, сосредоточивал максимум внимания на том, чтобы сборщик за станком не терял ни мгновения, чтобы доставал все необходимое, не делая и шага. Борьба за секунды для него уже давно окончилась, он искал способы экономить доли секунды.

Не было на заводе человека, который так ощущал отсутствие Кристича, как Дима Ивановский. Они привыкли и отдыхать вместе. Под выходной садились на «москвича» и уезжали на озеро. Ловили рыбу, бродили с одним ружьем на двоих по осоке.

И теперь каждый день, предварительно наведя справки у секретаря Брянцева о результатах поисков, Дима заходил к жене Кристича Яне и часами просиживал у нее. Шесть лет Яна и Саша прожили счастливо, без сучка, без задоринки, произвели на свет двух чудесных ребят. В эти дни Яна не находила себе места, мучилась неизвестностью, плакала.

Вот и сегодня, отработав смену, Дима с тягостным чувством отправился к Яне, успокаивать ее, убеждать в том, чему сам не верил.

Он вошел в коридор большой коммунальной квартиры, постучал в дверь справа.

— Войдите, — услышал голос Яны.

Вошел — и чуть не упал. За столом сидел Саша Кристич, исхудавший, почерневший, как головешка, ипил чай из большой фаянсовой кружки.

И, как это часто бывает, когда человек, причинивший много беспо-

койств, появляется живой и невредимый, Дима испытал вместе с радостью раздражение.

— Где тебя черти носили, будь ты трижды неладен! — выкрикнул он в сердцах, хотя за минуту до этого готов был броситься на шею первому встречному, кто сообщил бы ему о возвращении Кристича.

— Здорово! — усмехаясь, ответил Саша. — Хорошо встречаешь!..

Дима опустил на стул, обессиленно свесил руки.

— Дать бы тебе по морде, да жалко — и так полморды осталось. Болел?

— Ладно уж, — засмутился Кристич. — Ни в чем я не виноват. Не знал, что струсил. Я в Ашхабаде был.

— Почему произошла авария с машиной? — нетерпеливо спросил Дима.

Этот вопрос беспокоил многих на заводе, всех, кто дорожил его честью, для кого исследовательская работа стала главным призванием в жизни, кто близко принимал к сердцу дальнейшую судьбу общественного института и боялся возникновения преград на его пути.

— Думаю, не шины в этом виноваты, — сказал Кристич, — хотя ничем этого подтвердить не могу. Исчезли они.

— А что же?

— Заснул, возможно, шофер. На него жара плохо действовала. Пока я с ним ездил — ничего. Я то балачки ему рассказывал, то за баранкой сидел. И режим держал строгий. А без меня... — Кристич замолчал, опустил голову. — Жаль мне его. Хороший был человек. Немножко застоявшийся, но с душой открытой для воздействия.

— А ты-то где пропал?

— Я же тебе сказал — в Ашхабаде. Узнали в гараже, на котором мы базировались, что на ашхабадской автобазе накрылись наши шины — отслоение протектора. Апушкин, водитель мой, встревожился. А у меня, сам понимаешь, какие мысли завертелись. Горим со своим «ИРИСом». Я и махнул в Ашхабад.

— Ну и что выяснил?

— Я думаю, какая-то сволочь схалтурила. Протектор, наверное, попался длинный, ну и присобачил его сборщик ударами молотка. Получилась волна, а под волной воздушный пузырь. Как только шину покатали, этот пузырь тоже покатился внутри и отодрал протектор, как клин.

— Диагноз точный? — спросил Дима.

— Был бы я уверен, сразу телеграмму дал бы.

Посещение Кристичем Брянцева имело неожиданные последствия: директор отобрал у него пропуск. «Воскресшего из мертвых» три дня не пускали на завод, чтобы отдохнуть и отоспался. Выпросив на четвертый день пропуск, Кристич наконец перешагнул порог проходной.

Он сразу заметил изменения, которые произошли за последние два месяца на территории завода. Небольшого домика, где помещался институт рабочих исследователей, не было и в помине. На его месте рыли котлован. Давно поговаривали о том, что институту дадут две большие комнаты в новом корпусе, куда должна была перейти и заводская лаборатория, но в это верилось и не верилось: слишком часто происходило распределение помещений в новых зданиях.

Кристич повернул направо, где высылось только что отстроенное четырехэтажное здание. По чисто вымытым стеклам понял, что оно уже заселено. Стал отыскивать помещение института, читая надписи на дверях: «Лаборатория истирания», «Динамические испытания», «Пластоэластические испытания», «Полярограф».

На третьем этаже, рядом с конструкторским бюро новых шин, нашел табличку «И Р И». Но о том, что институт помещается здесь, догадался

раньше, чем увидел ее: из-за неплотно закрытой двери доносился гул голосов, перекрываемый визгливым тенорком Целина.

В просторной, с наклонным потолком комнате собралось человек сорок. Все знакомые, все свои, наиболее активные ребята, на которых держался институт.

Кристич ожидал горячей встречи — как-никак считался пропавшим без вести, — но все уже знали, что он благополучно вернулся, и удивления не проявили. Закивали, подмигнули, заулыбались.

У окна, облокотившись на подоконник, сидел Приданцев. Его лицо выражало непривычное смущение. Приданцев отличался самоуверенностью и той заносчивостью, которая характерна для людей, ничего за душой не имеющих, но изо всех сил стремящихся показать, что они представляют собой что-то. Сейчас от всего этого и следа не осталось. Четыре злополучных ашхабдских шины, распотрошенные вдоль и поперек, как это делают при самом пристрастном исследовании, красовались на стенде, а над ними висел плакат: «Позор бракоделу Приданцеву».

— ...И в результате этой подлости, — кричал Целин, — именно подлости, иным словом этого поступка я назвать не могу, чуть было не рухнула вся наша работа, которую мы вели три года! Подумать только! Сотрудники НИИРИКа утверждали, что введение большого количества восков будет вызывать отслоение протектора — и нате, получите: в Ашхабаде отслоение протектора. Попробуйте доказать, не зная причины, что воска не имеют никакого отношения к этому случаю, что причина тут одна: подлость, подлость, подлость!..

Целин задохнулся от негодования, и Приданцев тотчас воспользовался паузой.

— А ты попробуй стань на мое место, — грубо сказал он. — То дадут протектор короче, чем надо, то длиннее. Что, стоять? А норма? А план? А заработок? У меня дети, их кормить надо!

— А Ивановский? — выкрикнул Целин. — Для него качество превыше всего!

— Наплодит четырех — тоже перестанет о качестве думать, — огрызнулся Приданцев.

Как ни грубы, как ни элементарны доводы Приданцева, они все же заставили призадуматься. Сборщики часто попадали в подобное положение. Слишком тонкое дело производство протекторов. Отрезанная резина садится, сокращается по длине, и не всегда машинист шприц-машины может предусмотреть размер усадки. С этим злом боролись, но устранить не могли.

— Так что же, значит так и будем выпускать брак? — наседал Целин. Вместо ответа — молчание.

— Не знаю, как этот вопрос решать технологически, — подал голос Кристич, и все обернулись в его сторону, — но с таким, как Приданцев, я работать не хочу. Честно говоря, многие нарушают технологию, но они все-таки имеют совесть, знают, что грубое нарушение — это, прежде всего, человеческая жизнь, а может быть, даже несколько жизней. В общем, я бы сказал так: нужно, чтобы Приданцева отстранили от сборки.

Нет ничего тяжелее осуждения товарищей. Если пробирает администрация — это не так доходит. Это одна из обязанностей руководителей, и многие ею злоупотребляют настолько, что нагоняи входят в привычку, к ним вырабатывается иммунитет. А вот когда твой брат рабочий не хочет с тобой стоять рядом, когда с тобой перестают здороваться, — эту кару не выдерживают даже самые толстокожие. Что такое наказание отчуждением, Приданцев испытал, когда вскрылась его проделка с профсоюзными взносами. Отчуждение было тем страшнее, что возникло не по сговору. Он понимал, что стал противен всем и каждому в отдельности. Вот почему после жестких, разящих слов Кристича он сжался и поник.

Ивановский настороженно посмотрел на Целина.

— А что, если протектора делать так, чтобы они не были длиннее? Или по норме, или короче?

— М-да-а! — многозначительно произнес Целин. Только уважение к Диме удержало его от едкой реплики.

— А короткие зубами натягивать? — сказал кто-то из сборщиков.

— А если потом стык разойдется? — спросил другой.

— Дайте договорить, — остановил нетерпеливых Ивановский. — Под рукой у сборщика должны быть прокладки разного размера. Не сошелся протектор на сантиметр — сантиметровая, на дюйм — дюймовая.

— Значит, уже два стыка получится, — не выдержал Приданцев, понимая, что его дельная реплика будет даже сейчас что-то значить.

— Наша резина, одобренная восками, хорошо склеивается, — продолжал Ивановский. — На крупных станках итальянской фирмы Пирелли всегда протектор из двух половин. И ничего, мир не жалуется. — Он в упор посмотрел на Приданцева. — Кто не боится одного стыка, тому не страшны и два.

— Попробуем! — решительно сказал Целин. — Самый вредный страх у людей — страх опыта. Поручим это Ивановскому.

— Лучший способ отбить охоту подавать идеи. Сам подал — сам выполняй, — пошутил кто-то.

Поднялся Кристич.

— Я никак не пойму, что тут происходит. Занятие? Совещание? И почему тут все еще находится Приданцев? С его вопросом покончено — и пусть катится отсюда подобра-поздорову.

Собравшиеся смотрели на Целина: что он скажет, как решит? А Кристич сверлил взглядом провинившегося сборщика. «Ну, поднимись же, уйди, — говорил этот взгляд. — Не заставляй брать тебя за шиворот».

Однако Приданцев не двигался, будто прирос к стулу. Он понимал, что рвалась нить, соединявшая его с этими людьми. Его никогда не интересовало их расположение, но их неприязни он боялся. Мелькнуло было желание встать, демонстративно выйти, да еще дверью хлопнуть как следует, чтоб штукатурка посыпалась, — помирать — так с музыкой. Но не посмел.

Люди молчали. Понимали, что Приданцеву воздали должное, что впереди у него административное взыскание, и выгонять его не решались. У одних не хватало мужества, у других — жестокости, третьи раздумывали о том, как сами чувствовали бы себя, если бы получилось такое.

Разрядить обстановку решил Калабин.

— Пусть сидит. Он нашими делами не болел, нашей жизнью не жил — все больше козла забивал да на огороде копался. Хоть напоследок узнает, чем его товарищи дышат.

Кристичу стало ясно, что попал он не на совещание и не на занятие. Просто собрались исследователи, как собирались часто, потому что всех взволновала история с ашхабадскими шинами. А раз уж собрались, то и пошли разговоры о том о сем — что кого интересовало.

Салахетдинов рассказал, что активисты Первоуральского трубного завода решили организовать у себя общественный институт, но обком союза их не поддержал. Надо вмешаться, послать письмо в обком и в ВЦСПС. И зачитал составленное им письмо. Оно получилось горячее, едкое, убедительное.

Дима Ивановский растроганно посмотрел на Салахетдинова. Казалось бы, какое дело резинщику до металлургов? Металлурги были все время в центре внимания, о шинниках надолго забыли и только после Пленума по химии заговорили в полный голос. Сам Салахетдинов сколько раз сердился, читая сообщения о металлургах. («Можно подумать, что только металлурги и строят коммунизм!» — говорил он).

А наскочил на заметку в «Труде» — и задело его за живое, захотел и металлургам помочь, и новому начинанию. Какое письмо написал!

Вмешательство в чужие дела заставило заговорить о своих. Берутся других учить, а у самих тоже не все благополучно. Многие инженеры бегут от института рабочих-исследователей как от огня. А начальник центральной заводской лаборатории до сих пор относится к институту с недоверием. Норовит то одно, то другое исследование провести силами своих сотрудников, хотя есть указание директора, прямое и категорическое: без рабочих-исследователей никаких работ не проводить. И вот ведь как получилось: когда организовывали институт, были и противники и такие, кто относился к этой затее равнодушно. Но противники, вроде Гапочки, давно уже перешли в разряд друзей, а равнодушные так и остались равнодушными. Их-то и нужно раскатать, особенно молодых инженеров.

Дима Ивановский предложил собрать их и поговорить начистоту.

— Крепкие, здоровые, сил — хоть отбавляй, — говорил он, — а отработают свое — и баста. Больше ничем не интересуются. Спят. Не разбудишь — через несколько лет из них мещане с дипломом получатся.

Эти сборища рабочих-исследователей всегда возникали из необходимости творческого общения и не только в случаях чрезвычайных происшествий. Предложит один человек или группа рабочих что-то новое, интересное — идут в заветную комнату, уточнять, выяснять, спорить. Высказывания здесь не регламентируются ни повесткой дня, ни временем, ни формой изложения. Говорит кто хочет, как может. Если кто и «загнет», не спешат осмеять его, опрокинуть, приклеить ярлык, потому что даже из неправильной мысли, из ошибочного суждения можно извлечь полезное.

Снова вниманием собравшихся завладел Целин. Решил посоветоваться с активом о плане работы института на будущий год. Не торопясь зачитывает он план, дает по каждому пункту пространные разъяснения, отвечает на вопросы.

О многих работах Кристич знает. Они — переходящие. Разработка наилучшего состава антистарителя, применение ультразвука при пропитке корда, освоение ряда новых синтетических каучуков, ширение кордного полотна. Но появились и новые. Например, исследование органического активатора вулканизации.

Кристич радовался, слушая Целина. Он боялся, что исследования на участке резиномешения затихнут. Нет, оказывается, работы непочатый край: в плане исследование «ИРИСа-2», «ИРИСа-7» и так, наверное, будет без конца, потому что нет пределов для лучшего.

В числе сотрудничающих с институтом рабочих-исследователей появились новые научные организации: автодорожный и проектно-технологический институты, Кольский филиал Академии наук. Исследователи живо откликнулись на их просьбу проверить и реализовать несколько смелых идей.

— Удивительное дело, — размышляет вслух Кристич. — Чужие к нам тянутся, а НИИРИК бежит без оглядки, да еще гадить старается!

Реакция на реплику была неожиданно бурной: людей разобрал смех.

Масла в огонь подлил Целин.

— А я, ребята, решил поступать по-собачьи: в ту подворотню, где бьют, — ни ногой. В НИИРИК я больше не ходок. Мое прибежище теперь — ЦНИИШИН.

Когда расходились, Целин подошел к Кристичу, дружески обнял его.

— Намаялся?

— Голоднул напоследок. Денег только на билет оставалось. Натощак ехал.

— Знаешь, о чем мы тут с Брянцевым договорились? Надо нам молодежь, которая поступает на завод,— а в основном идут из десятилетки,— пропускать при приеме через наш институт. Сейчас прием идет казенно. Поступит парень с запросами, ну хотя бы на вальцовку — и такой однообразной покажется ему работа, что бежит он с завода без оглядки. А этого парня хорошо бы сразу заечь, заинтересовать, показать, что входит он в интереснейший мир. И если сделать это умело, он — наш, шинник до конца жизни. А не загорится — грош ему цена. Вот мы этим и займемся. Не лишнее экспонаты наши показать и непременно поведать о великом таинстве рождения резины. И не я буду это делать, а рабочие-исследователи. Ты, Ивановский, Калабин. Пусть ребята сразу проникаются уважением к рабочему человеку. А то многие из них на рабочие профессии свысока смотрят.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Одиннадцать недавних школьников переступили порог института рабочих-исследователей. И с ними один школьник — Валерик Ракитин. Он уже несколько дней живет в заводском общежитии, уже исходил вдоль и поперек Сибирск, а на этот раз Брянцев пристроил его к группе молодежи, поступающей на завод.

Они уже все перезнакомились, рассказали друг другу о своих планах. Все, кроме Валерика. Он держал в секрете мотивы своего появления и отвечал на вопросы неопределенно, даже немного загадочно.

Ребят провели по всем цехам, оглушили шумом машин, ошеломили разнообразием технологических процессов, пропитали запахом резины и посыпали сажей. Они прослушали нуднейшую лекцию по технике безопасности, или, вернее, об опасностях техники, чуть было не заснули на ней в начале, а в конце многим захотелось вернуть свои приемные листки и ретироваться: если поверить лектору, то вскоре останешься без ног, без рук, а может быть и без головы. Только благодаря Эдику Крылышкину не сбежали домой. Этот рослый, смысленный не по летам паренек с задатками вожачка, сказал, когда они, выйдя в коридор, рассуждали о том, как отсюда смыться:

— Да что вы, братцы! Наш, с позволения сказать, лектор выдает на уровне наших бабушек: не ковыряй в носу — дырку проковыряешь, не болтай ногами — ноги отвалятся.

И ребята не смылись. А Лидочка, у которой была звучная фамилия — Жемчугова, сразу решила получить квалификацию браслетчицы. Что это такое, она, по существу, еще не разобралась, но ее прельщало эффектное звучание: браслетчица Жемчугова. И в анкете при поступлении в институт (в какой — она тоже еще не знала) это будет звучать неотразимо, и при знакомстве с парнями. Остальные специальности не казались ей такими романтическими. Вот еще вулканизаторщик — неплохо.

А остальные девять? Трое из них были детьми рабочих и тоже хотели стать рабочими. А шестеро еще не избрали специальности и пылливо приглядывались ко всему, решая, кем быть.

Саша Кристич дал ребятам освоиться, осмотреть срезы шин, разложенные на столе. Ему нравились мальчишки. Они держались преувеличенно независимо, и вид у них прямо-таки глубокомысленный. На лицах девушек, кроме усталости и растерянности, ничего написано не было.

— Так вот, друзья,— начал Кристич.— Десять лет назад я окончил школу и поступил на наш шинный завод без особой охоты. «Ну что это за производство? — думал я.— Вроде галошного. Только галоши делают для людей, а шина — галоша для автомобиля». Послали меня в резино-смесительное отделение. Были там?

— Были.

— Это где пол дрожит под ногами и все ходят черные, как негры,— высказал свое отношение к этому цеху один из ребят.

— Вот, вот! Я там и работаю. После смены еле отмоешься, а под глазами так и остаются черные круги. Девушкам в этом цехе нравится — не нужно глаза подводить,— Кристич бросил быстрый взгляд на Лидочку, которая удлинила себе глаза модными стрелками.— Работа меня сразу заинтересовала. Знаете, чем? Таинственностью своей. Незначительные доли веществ, иногда граммы, неузнаваемо изменяют свойство резины. Тайны этих превращений еще далеко не раскрыты. Здесь — как в море: под тобой неизведанная глубина. А на глубине есть где понырять. Кстати, вы слышали о том, как была изобретена резина?

— Я знаю,— сказал Валерка.

— А остальные?

Нет, никто не знал, и Кристич рассказал один из вариантов легенды.

— Каучук вначале использовался как средство стирания написанного карандашом. Продавали его в аптеках кусочками. А чтобы не слипался, обсыпали порошком — тальком, либо серой. И вот однажды безвестный до того времени изобретатель, имени его я не помню...

— Гудийр,— подсказал Валерка.

— ...уронил кусочек каучука, покрытого серой, на жарко натопленную печь. Пальцами снять его нельзя было. Пока Гудийр искал пинцет, каучук прогрелся и вдруг приобрел совершенно другие свойства: из пластичного материала, которому легко придать любую форму, превратился в эластичный. Растяни его — и он снова примет свои прежние размеры. Он стал резиной. Резину начали окрашивать в черный цвет, покрывая сажевым раствором. И снова открытие: раствор впитывался в нее и в десять раз увеличивал прочность. Вот что такое резина: каучук с серой и сажей, подвергнутый действию горячей воды или перегретого пара, так называемому процессу вулканизации.

Романтический ореол специальности вулканизаторщика померк в глазах Лидочки. Пар или вода — вот и все. Кристич, внимательно следивший за хорошенькой девушкой, тотчас заметил выражение разочарования на ее лице и решил оживить беседу.

— А история изобретения шины вам известна? Тоже нет? Велосипед изобрели раньше, чем шину. Представьте себе, что за удовольствие было ездить по булыжной мостовой на железных колесах. Однажды французский ветеринарный врач Денлоп надул воздухом резиновый шланг и обернул железный обод. Толкнул это колесо — и оно прокатилось в три раза дальше, чем обычное. Так изобрели шину.

Ребятам был симпатичен этот парень, беседовавший с ними. Совсем не похож на заштамповавшегося лектора и ненамного старше их. С таким можно пошутить, такого можно и подкусить.

— Вернусь к себе,— продолжал Кристич.— Я убедился, что в шинной промышленности еще много белых пятен, и подумал, что каждый может найти для себя белое пятно, которое нужно исследовать. Каждый! Начиная с рядового рабочего и кончая академиком. Здесь ничто не окостенело, здесь широчайшее поле для поисков. Но одному искать нелегко. Вот и решили мы создать общественный институт рабочих-исследователей. Слышали?

— Слышали!

— В газетах читали.

— По радио говорили не раз.

— Этот институт очень помог нам. Тем, у кого бродили свои мысли,— проверить их, тем, у кого не было своих,— проверить чужие.

— А у вас свои мысли были? — с невинным видом спросила Лидочка, поправляя волосы.



Кристич ответил не сразу — воспользовался случаем полюбоваться миловидным лицом девушки.

— В ту пору еще нет. И потому я охотно набросился на чужие.

— Какие?

— Есть в мире неотвратимые бедствия. Одно из них — коррозия металлов, ржавление. Каждый год из-за нее выходят из строя миллионы тонн стальных изделий.

— Миллионы? — переспросил кто-то.

— Да. Миллионы тонн идут в переплавку. С резиной происходит то же самое. Она стареет, трескается, теряет свою прочность. Причем довольно быстро. Очень часто шина, пока ее доставят потребителю, теряет половину прочности. Так вот, первая работа, которую мы начали вести, — это поиски антистарителя. Дешевого, надежного и обязательно из отечественного сырья.

— И нашли? — спросила Лидочка.

— Нашли, — ответил за Кристича Валерка.

Кристич сердито посмотрел на выскочку.

— Мы искали антистаритель три года, — сказал он. — За три года накопили столько данных, что другому научному учреждению не под силу.

— Вы имеете в виду «ИРИС-1»? — тоном знатока спросил Валерка.

— Да, его и еще целую кучу его разновидностей. Это очень интересно, ребята, искать и находить.

— Вы кем сейчас работаете? — любопытствовала Лидочка.

— Тем же, кем и раньше, — рабочим-резиномесильщиком.

От Кристича не укрылось, что ребята удивленно переглянулись, а на лице Лидочки снова появилось почему-то огорчившее его разочарование.

— Рядовым рабочим? — протянула она.

— А почему же вы ничему не учились? — с интересом спросил Валерка.

— То есть как это ничему? — вспыхнул Кристич. — Я за эти годы проштудировал все, что написано о шинах и резинах. — И тут же, со свойственной ему прямотой добавил: — Но ни в каком специальном учебном заведении я действительно не учился. — Обвел взглядом настороженные лица ребят. — У рабочих парней, как правило, одна и та же беда. Когда у них вспыхивает непреодолимое желание учиться, глубже постигать свою специальность, бывает уже поздно. Обрастешь семьей, пойдут дети. На вечернем факультете физически трудно, на дневном — материально невозможно. Единственный выход — самообразование.

— Значит, самообразовываться до конца жизни и до конца жизни глотать сажу, — резюмировал Валерка.

— Помолчи ты! — оборвал его Эдик.

— Почему? — взъерошился Валерка. — Я хочу понять психологию человека, который всю жизнь думает быть рабочим. Почему он обрекает себя на физический труд?

— Да, да, почему? — поддержала его Лидочка. — Из приверженности к делу, от высокой сознательности или... или... простите, пожалуйста... от ограниченности запросов? Разве ему не хочется быть инженером, творцом?

— Конечно, хочется! — просто сказал Кристич. — Но ведь труд может быть творческим или не творческим независимо от того, имеет ли человек диплом о высшем образовании или за душой у него семилетка. Таких примеров у нас на заводе хоть пруд пруди. Есть инженеры без проблеска своей мысли, есть рабочие, которых распирают технические замыслы. Вот наш резиномесильщик Криворотов. Он год подбирал состав резины для обрезинки бортовых колец. Нашел. Знаете, сколько он положил в

карман заводу? Триста тысяч рублей. А о сборщике шин Ивановском вы слышали?

— Его весь город знает! — сказал Эдик. — Кроме Лиды, конечно...

— Он — рабочий. Но он задался целью изучить лучшие приемы сборщиков. Сначала цеха, потом завода, а потом и других заводов страны. Ему предоставили эту возможность. Он обобщил свои наблюдения, написал книжку, а сейчас мало того, что помогает конструкторам станков, — сам конструирует станок с учетом и своего опыта, и опыта сборщиков почти всей страны. Творчество? Творчество. А по положению — рабочий.

Кристич прошелся по комнате и остановился против Валерки.

— «До конца жизни самообразовываться и до конца жизни сажу глотать», — сказал ты. Да, учиться до конца жизни. А вот насчет сажи... Противное это дело, сажа, ребята. Но...

— Пройдет год — и у вас будет новое подготовительное отделение. Автоматика, кнопки, гранулированная сажа, — продолжил за него Валерка.

— Ты, оказывается, и об этом знаешь? Что же ты мне ехидные вопросы подбрасываешь?

— Это я так, для оживления, — усмехнулся Валерка. — А то некоторые здесь горюют о том, что сажа кожу портит...

Лидочка не ожидала этого щелчка и решила одним ударом сразить и Кристича, и Валерку.

— Мы иной раз любим вместо разговоров о сером настоящем мечтать о голубом будущем, — сказала она, насмешливо глядя на Кристича.

— Не ваша эта фразочка. Пришлая... У меня, например, жизнь не серая, да и у вас не похоже.

Девушка молчала. Кристич снова прошелся по комнате. У него возникло было желание сказать Лидочке, чтобы она не поступала на завод, — все равно шинницей не будет. Те, кто приходят просто зарабатывать стаж, редко работают на совесть. Но он сдержал себя. Разве мало приходило на завод таких же, с мусором в голове?

— Обязательно устраивайтесь на завод, — сказал он.

— Перевоспитываться?

— Нет. Перевоспитываться нужно тем, кто плохо воспитан. А вы еще совсем не воспитаны. И хорошо будет, если вы поступите именно на наш завод. Почему? Вы о творчестве заикались. Так вот у нас более чем где-либо творческая среда.

Дверь приоткрылась, в комнату заглянул Целин. Ему показалось, что школьники скучают, что Кристич не сумел заинтересовать их. И он начал говорить прямо с порога. Включился как хорошо отрегулированный мотор.

— Знаете, для чего мы пригласили вас сюда? В цехах вам все показалось элементарно просто. Пропитывают корд, обрезают, делают из него браслеты, собирают шины, вулканизируют их... — Целин подошел к огромной, выше его роста, шине, прислоненной к стене, положил руку на боковину. — А вы знаете, что такое шина? Это фантастическое произведение человеческого ума. Разве можно сравнить условия, в которых она работает, с условиями работы какого-либо механизма? У шины все время переменные условия. То зной, то мороз, то гладкий асфальт, то рывины проселка, то скользкий лед, то острая, как нож, щебенка. За время службы каждая точка шины изменяет свое положение по сравнению с другими пятьдесят миллионов раз. Что такое шина? Это сгусток решенных проблем. Возьмите корд. Он был сначала хлопчатобумажный, потом вязкозный, потом капроновый. Сейчас появились новые разновидности химических волокон. Возьмите протектор. Он делался из натурального каучука, потом из смеси натурального и искусственного, теперь — только из искусственного. Столько человеческих умов труди-

лось над тем, чтобы создать шину такой, какой она есть! Что такое шина? Это в то же время и сгусток нерешенных проблем. Как заставить служить ее столько, сколько служит автомобиль? В условиях Арктики и в условиях Африки. Как сделать ее наиболее безопасной? Как соединить в ней обычные каучуки с новыми износостойкими материалами? И еще тысячи, тысячи «как». Почему тысячи? Потому что здесь неисчерпаемые возможности и сложности химии. Большой химии, ребята. Вы знаете теорию сочетаний и можете себе представить, сколько комбинаций можно сделать из восьмидесяти составляющих, которые находятся в нашем арсенале и которые мы используем для производства резины. И, наконец, шина — это объект для применения самых разных способностей и наклонностей. Хотите ее создавать — идите в конструкторское бюро, хотите делать — пожалуйста в цех, испытывать — на испытательную станцию, исследовать — в центральную лабораторию — там больше тридцати разновидностей испытаний. И где бы вы ни работали, вы всегда будете желанными гостями в нашем общественном институте.

Час спустя Валерка уже сидел с Брянцевым у борта плавучего ресторана.

— Я ребят порядком озадачил. Все допытывались, откуда я и что тут делаю, — рассказывал он. — Все-таки от вас и от мамы я нахватался терминов и кое-каких понятий, ну они и удивляются. — Валерка рассмеялся, довольный тем, что удалось втереть очки старшим ребятам.

— Чем же ты их озадачил? Своими парадоксами? Вроде как тогда в Москве меня?

— Подбросил Крестичу парочку ершистых вопросов.

— Что пить будем? — на полном серьезе спросил Брянцев.

— Я, пожалуй, пивом обойдусь.

Брянцев невольно усмехнулся. Ишь как принял игру во взрослого. Сказал официантке:

— Две бутылки пива, два шашлыка.

— Дядя Алеша, а вы хитрее, чем я думал, — признался Валерка. — Пустили бы вы ребят по заводу с каким-нибудь недотепой, нанюхались бы они резины, наглотались сажи — и все впечатления. А так они завод глазами Крестича увидели. Изнутри.

— Как тебе Крестич, понравился?

— Вы обратили внимание, что он на разных языках говорит?

Брянцев удивленно вскинул брови.

— С инженерами — как инженер, с рабочими — попроще. Даже строй речи у него меняется. А с этими несмышлениками — как педагог.

«Замечает то, чего не заметит и взрослый. А Еленка все еще считает его ребенком».

Официантка принесла шашлыки, пиво и, хотя Брянцев не просил ее, поставила перед ним рюмку коньяку — всегда безотказно оправдывающий себя способ выполнять план.

— Дядя Алеша, вы меня к шинным делам... с умыслом приучаете? — разливая по фужерам пиво, спросил Валерка.

— Помнишь, я тебе советовал стать химиком? А с шинным заводом знакомлю для начала. В субботу поедем с тобой на нефтеперегонный, у меня там дела. А потом на завод синтетического каучука.

Валерка молча резал жесткий шашлык. Брянцев почувствовал, что мальчик болезненно воспринял этот уклончивый ответ, и ему стало жалко его.

— После школы, Валерик, тебе, очень может быть, придется пойти на завод, — мягко сказал Брянцев. — И очевидно на шинный, потому что мы втроем — мама, ты и я — будем жить в городе, где есть шинный завод. И пойми еще одно: если ты станешь шинником, каких советчиков будешь ты иметь в нашем лице!

— А это... уже решено? — Валерка запнулся.

— Да,— просто, без нажима, сказал Брянцев и заметил, что у Валерки повлажнели глаза.

Чтобы не смущать его, Брянцев отвернулся, стал смотреть на реку.

По-вечернему длинные тени деревьев прикрыли воду, сделали ее синей и холодной. А у того берега, где река простреливалась солнечными лучами, вода горела. И странно, и тревожно было видеть парусные шлюпки, невредимо скользившие по пламенеющей поверхности.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

После размеренной работы в институте с давно знакомыми, чуть надоевшими людьми Елене радостно было очутиться в непривычной обстановке испытаний.

Лаборатория приютилась во дворе базы бытового обслуживания «Крымоблавтостреста» на окраине Симферополя. Тут с утра до вечера толчея. Сдача машин напрокат проходит мирно, но возвращение неизменно сопровождается пререканиями и даже скандалами. Сдающему машину приписывают такое количество повреждений, какое даже опытный автомобилист не сделает и за полгода.

В лаборатории народ подобрался озорной, веселый, и, хотя все здесь моложе Елены, никто этого не замечает, даже она сама. Называют все друг друга по именам, и Елене это не только не обидно, но даже приятно. Ходит она в комбинезоне, который ладно сидит на ее стройной фигуре и очень молодит.

Обязанности у нее хлопотливые: следить за тем, чтобы не нарушались правила испытаний, и знакомиться с методикой изучения шин с помощью изотопов. У нее три колонны легковых автомашин. Одна ходит на Мелитополь, другая — на Судак и третья — по кольцу через Ялту и Севастополь. Самая беспокойная — мелитопольская. Эта колонна испытывает облученные шины, их приходится замерять на износ изотопным способом два раза на день. В лаборатории непрерывно шелкают счетчики — инженеры все время совершенствуют новый метод определения износостойкости. Это очень важно. В скором будущем уже не придется гонять машины до полного износа протекторов — шестьдесят, сто тысяч километров, достаточно будет пробега в шесть тысяч километров.

Елену интересуют исследования. Она чувствует, что находится на переднем крае. Неизменно присутствует она при введении изотопов в шину. Ей нравится наблюдать, как Писаренко, надев белый халат и специальные резиновые перчатки, вооружается шприцем и бережно, словно перед ним живое существо, делает уколы под наружный слой протектора, вводя изотопы.

Но как ни ответственны эти испытания, Елена наибольшее внимание уделяет колонне, которая ходит по кольцу и которую прозвали «Приморской». Четыре «Волги» обуты шинами, содержащими в своем составе антистаритель «ИРИС-1», одна, для сравнения, — обычными серийными. Вот за этой колонной Елена следит с явным пристрастием, и придирчивостью своей удивляет не только шоферов, но и инженеров.

— Ничего странного тут нет. Говорят, что «ИРИС-1» предохраняет от старения не только шины, но и людей, — отшучивается она. — Кому, кому, а мне пора об этом подумать.

К великому удовольствию начальника колонны, она нет-нет да и поедет вместо него. Местные шоферы — народ особенный. Почти все — лихачи. За ними только смотри и смотри. Без зазрения совести могут и

покупаться вдоволь в море, и позагорать, а потом наверстывают время — гонят машины с непозволительной скоростью. Правда, на пути от Ялты до Севастополя не разгонишься, дорога — как серпантин, не лучше той, которая еще не так давно соединяла Алушту с Ялтой. Но от Севастополя им удержу нет.

Первый рейс с новым контролером водители провели по всем правилам, но на втором уже не выдержали и показали, каковы они на самом деле. Сначала две машины оторвались и ушли вперед, потом еще одна, и Елена прибыла с двумя машинами на базу позже всех.

Поняв, что начальник колонны разбаловал шоферов и объективной картины износостойкости при таких нарушениях режима не установишь, она потребовала отстранить от испытательных пробегов двух шоферов и добилась, чтобы на роль начальника колонны прислали из Москвы опытного водителя-испытателя.

И шоферы сдались. Не нашлось охотников потерять работу, на которой ежедневно перевыполнялся план и которая сулила премию.

Над Еленой подтрунивали:

— Вы что, агентом сибирского завода работаете? На премии? Почему вы так яростно за этими машинами следите? На линии Симферополь — Судак вас никогда не видели, а на кольцевой проявляете сверхбдительность.

— Эти шины у нас пасынки, — отвечала Елена. — К тому же, испытываются они в последний раз.

Но как ни был напряжен день, он все же заканчивался, наступал вечер. Куда его девать? Сидеть в номере и читать газеты — не слишком ли стариковское занятие? А бродить по улицам, всегда заполненным в эту пору оживленной толпой, неприятно. Даже в кино пойти одной неудобно — непременно кто-нибудь привяжется. Правда, молодые инженеры не оставляли ее без внимания, но навязывать им свое общество она считала неудобным, да и особого удовольствия общение с ними ей не доставляло. Несколько вечеров скрасил ей Дубровин. Он отдыхал в Ялте, но иногда наезжал сюда, не удовлетворяясь телефонными разговорами. Часами рассказывал он Елене о тонкостях радиационной химии, стремясь пробудить интерес к ней.

В пустые вечера Елену одолевали мысли об Алексее. Вот бы его сюда! Побродить с ним, поездить.

В один из воскресных дней она решила поехать в Ялту. Но не доехала. Взглянув с высоты дороги на притаившийся у берега Гурзуф, на настороженные клыки Айдалар, вышла на остановке и устремилась вниз, сначала по широкому шоссе, потом по узеньким горбатым улочкам восточного типа, с домами, вторые этажи которых нависали над первыми.

На берегу она выбрала местечко помалолюднее и села на камень у воды, зачарованно глядя, как играют волны, меряются силой, как издеваются над берегом: напоят его досыта, охладят, потом снова безжалостно подставят солнечным лучам и шипят, злорадствуя.

Медленно вошла в воду, растягивая блаженство встречи с влажной прохладой, преодолела каменный барьер и поплыла саженками, далеко выбрасывая руки, как научили давным-давно новочеркасские мальчишки. Наплававшись до усталости и почти до озноба, долго лежала ничком, подставив спину солнечным лучам. И опять — неотвязные мысли об Алексее...

В следующее воскресенье она снова собралась в Ялту. Позавтракала, надела купальник, чтобы потом не возиться с ним на берегу, стала причесывать волосы. Густые, длинные, они доставляли ей много хлопот. Но остричь их было жаль, да и Алексей слышать не хотел о короткой стрижке.

У шкафа с одеждой призадумалась, какое надеть платье. Белое пижонское — марковое, красное, в горошинах, — чересчур броское, горит как факел, сиреневое — очень прозрачное. Выбрала ситцевое, в цветах, отделанное кружевом. Коротковато? А, была не была! Не страшно, когда стройные ноги.

Вышла из гостиницы, пересекла сквер и остановилась у троллейбусной остановки. И вдруг увидела в отдалении Брянцева. Он шел к гостинице в летнем сером костюме, с соломенной шляпой в одной руке и с небольшим чемоданом в другой. Елена хотела окликнуть его, но не смогла, хотела побежать навстречу — не повиновались ноги. Ей показалось, что все это снится: и залитая солнцем улица, и троллейбус, который вынырнул из-за угла, и удаляющийся Брянцев...

Он уже подходил к подъезду гостиницы, когда Елена окликнула его. Забыв обо всех условностях и приличиях, о сотрудниках института, которые могли выйти из гостиницы или увидеть ее из вестибюля, подбежала к Брянцеву, обняла, поцеловала.

— Спасибо тебе, родной!

— За что?

— Как за что? Разве ты не по моей просьбе приехал?

Алексей Алексеевич растерялся.

— Честно сказать, только к тебе я не смог бы вырваться. Воспользовался случаем проверить, как проводятся испытания, как ведут себя наши шины.

— Даже получив мое истерическое письмо?

— Какое письмо?

— В котором умоляла тебя приехать хотя бы на час.

— Не было такого письма...

Первый раз за время их переписки пропало письмо. Это озадачило обоих.

— Надолго приехал? — спросила Елена, нарушив затянувшееся молчание.

— Сегодня и завтра. Нарочно приехал в воскресенье, чтобы провести его с тобой.

— Значит, обо всех моих событиях ты знаешь только в изложении Валерика?

И Елена вкратце рассказала, как ушла из НИИРИКа, как поступила в ЦНИИШИН и чем занимается сейчас.

Брянцев сдал чемодан в камеру хранения и пока шли по городу, отыскивая такси, поведал с плохо скрытым восхищением о первых самостоятельных шагах Валерки.

— Я о нем изменил мнение, — заключил он. — Валерка всегда казался мне таким... витающим в облаках и немного нескладным. А он на редкость сообразительный, самостоятельный и какой-то разнообразный мальчишка. И, знаешь, он мне нравится не по долгу будущего отцовства. С теплинкой он. Твоей, наверно?

Остановили такси. Сели в машину, поцеловались, несколько не удивив видавшего виды шофера. Удивили другим: сразу заговорили о шинах.

Какие только разговоры ни приходилось слушать шоферу, но такого он не слышал. Столько покрышек стер на своем веку, но и десятой доли не знал о них того, что узнал сейчас. А когда женщина заговорила о покрышках, обработанных радиоактивным облучением, даже скорость сбавил, чтобы ничего не упустить. Если бы не профессиональная привычка не вмешиваться в разговор пассажиров, он непременно расспросил бы об этих чудесах подробнее. Одно удовольствие преподнести такую новость товарищам!

Когда после перевала на горизонте показалось море, Елена и Брянцев притихли, залюбовавшись открывшейся им картиной.

— Обидно как-то. Столько лет прожила, а на море впервые,— негромко сказала Елена.

— Обидно, что столько лет прожили друг без друга...— так же тихо отозвался Брянцев.— Но будем утешаться тем, что хоть остальное будет наше!

Молчали долго, почти до самой Алушты. Неожиданно Брянцев спросил:

— А нельзя больше пятисот километров в день гонять? Надо торопиться, девочка. У меня уже появился суеверный страх. Боюсь, что на наши головы за это время обрушится еще что-нибудь.

— Ну что ты, Алеша! Эти машины Дубровин оторвал от себя. И деньги выкроил из средств, отпущенных на его работы. Представляешь, что это значит для ученого? Я преклоняюсь перед ним.

— Да-а, интересно устроены люди,— раздумчиво произнес Брянцев.— Одни не делают того, что обязаны делать по долгу службы,— и ничего, беззастенчиво смотрят всем в глаза, другие делают больше того, что могут, и не требуют благодарности. Одни заблуждаются и, даже прозрев, упорствуют в своих заблуждениях, а другие платят за заблуждение жизнью.

Елена вспомнила Чалышеву и, таясь от Брянцева, смахнула слезу. Как ни украдчив был ее жест, Алексей Алексеевич заметил его и решил уйти от этого разговора.

— Товарищ водитель, что дороже обходится: автомашина или покрышки? — спросил он шофера.

— Вы меня за кого считаете? — вопросом на вопрос ответил шофер.— За дурака или за дефективного?

— Это будет видно по ответу,— рассмеялся Брянцев.

Шофер взглянул в зеркальце перед собой, пытаясь понять по выражению лица пассажира, какую ловушку тот расставил. Но кроме добродушной улыбки ничего не увидел. Улыбалась и женщина, уютно примостив голову на плече спутника.

— Ну так как? — поторопил его с ответом Брянцев.

Только сейчас шофер сообразил, как мог он попасться. Конечно же шины обходятся дороже, нежели автомашина, особенно на грузовых. Сколько комплектов шин перемелет за свою жизнь машина! И гордый своей догадливостью, он небрежно бросил пассажиру:

— Разумеется, шины обходятся дороже.

Брянцев разочарованно вздохнул: розыгрыш не удался. Как правило, с ответом ошибались.

Дорога от Алушты до Ялты была незнакома Брянцеву. Он ездил старой дорогой, извилистой и узкой. Новое шоссе было широкое, с плавными поворотами, но теперь во многих местах далеко отходило от берега и прятало море. Внезапно из-за поворота показалось удивительное по своей красоте лукоморье Ялты. Не дав себя рассмотреть, снова исчезло, потом снова появилось, будто дразнило.

Шофер остановился на площади у автобусной станции.

Спустились к морскому вокзалу мимо гостиницы с заросшими цветами и зеленью балконами.

— Только десять,— радостно отметила Елена.— Целый день у нас впереди. Целый день!

Пошли по набережной.

Празднично-красивой показалась Брянцеву Ялта. Он был здесь лет десять назад. Был один, скучал, и это окрашивало все впечатления в серые тона.

А сегодня Ялта словно повернулась к нему другой стороной. Рядом шагала Еленка и, хотя она ничем не выражала своего восторга, он чувствовал, что и ей здесь нравится, и смотрел на город ее глазами. Помогали ему и ее руки. Нет-нет — и дрогнут пальцы, легко дрогнут, едва уловимо, но он воспринимал каждое их движение и понимал каждое движение. Налетела волна на гранит набережной, взмыла вверх, рассыпалась на мельчайшие брызжинки, каждая из которых засверкала в лучах солнца, — и дрогнули пальцы; раскинулся перед ними розарий, поражающий глаз разнообразием цветов и оттенков, — пальцы дрогнули снова. Сам, может быть, прошел бы он мимо всего этого, а сейчас смотрит и не насмотрится...

Постепенно им овладело то состояние, которое всегда возникало при встрече с Еленой: ничего и никого не нужно кроме нее, а она была рядом. Вот так бы идти и идти по набережной, рука в руке, смотреть на море...

— И все-таки нет счастья без досуга, — сказала Елена.

— Нет счастья без поисков, без борьбы и... без любимой.

— Нарочно поставил на последнее место?

— Не на последнее. Рядом. А по-твоему, что такое счастье?

— Для меня это ты. Не на день, не на ночь, а навсегда. Я с ужасом думаю о той минуте, когда этот мираж кончится. И это мне многое отравляет. Но не будем, Алеша, портить день... Посмотри, какая волна!

Ударившись о гранит набережной, волна взмыла вверх, но не рассыпалась на брызги, не упала, а помчалась во весь свой исполинский рост вдоль набережной, постепенно оседая.

В саду «Ореанды» выпили массандровского портвейна, съели по шашлыку и опять пошли бродить по Ялте. Елена иногда заходила в магазины, что-то высматривала, и тогда он терпеливо ждал ее на улице.

Из книжного магазина она вышла сияющая — забрала последний, прекрасно иллюстрированный экземпляр «Дамы с собачкой». За этим изданием она давно охотилась.

В парке уселись в тени эвкалипта. Кромки берега отсюда видно не было, море далеко отодвинулось и казалось спокойным.

— Здравствуй, Леноч! — сказал Брянцев, заглядывая ей в глаза.

— Здравствуй, — тихо ответила Елена. — Ты хотел бы жить здесь?

— А чем бы я здесь занимался?

— Мало ли чем? Разрабатывал бы получение золота из морской воды или заведовал складом шин в автохозяйстве.

— А что, дело! — Брянцев рассмеялся.

Улыбнулась и Елена.

— Знаешь, Леша, почему мне так хорошо с тобой? С тобой я не чувствую своего возраста. Появляешься ты — и я как бы возвращаюсь в свои семнадцать лет.

— А я возраста вообще не чувствую. Когда мне было семнадцать, я на сорокалетних смотрел как на стариков. А сейчас самому сорок и кажется, что ничего не изменилось, и главное, — Брянцев понизил голос до шепота, потому что на скамью рядом кто-то сел, — не чувствую, что поумнел.

— Какой пароход! — восхищенно сказала Елена, увидев белый гигантский корпус «России», и вскочила с места. — Пойдем в порт!

Они подошли к причалу, когда трехпалубный красавец-лайнер уже швартовался. Изо всех его репродукторов лилась музыка, на палубе толпились люди. Едва опустили трапы, как на асфальт набережной хлынула пестрая толпа туристов, большей частью молодежи. Легкие платья, спортивные костюмы, узкие брюки на девушках, яркие блузки, модные прически. Люди не задерживались на набережной, спешили уйти в город.



Брянцев усадил Елену на чугунную тумбу, взял из ее рук сумочку, достал книжку.

— Помнишь, что по этому поводу писал Чехов?

Перелистал несколько страниц и стал читать:

— «...Анна Сергеевна смотрела в лорнетку на пароход и на пассажиров, как бы отыскивая знакомых, и когда обращалась к Гурову, то глаза у нее блестели... Нарядная толпа расходилась, уже не было видно лиц, ветер стих совсем, а Гуров и Анна Сергеевна стояли, точно ожидая, не сойдет ли еще кто с парохода. Анна Сергеевна уже молчала и нюхала цветы, не глядя на Гурова»... Нарядная толпа разошлась, а Брянцев и Елена Евгеньевна все еще сидели и читали книгу,— стараясь выдержать чеховскую интонацию, продолжал Брянцев.— Глаза у Елены Евгеньевны блестели, но она не нюхала цветов по той простой причине, что ее спутник не догадался их купить, потому что и в свои сорок был так же недогадлив, как в юности...

— Пойдем отсюда,— сказала Елена.— А цветы ты все же купишь!

Брянцев увидел стоявшую на углу улицы женщину с охапкой великолепных гладиолусов и забрал у нее все цветы. Подошел к оторопевшей от такого великолепия Елене.

— Желаю, чтобы все твои желания исполнялись так же быстро! — сказал он и только тогда заметил какого-то человека, который фотографировал их. Но не придал этому никакого значения. Мало ли охотников снимать уличные сценки?

Для Елены не было внове, что Брянцев — человек с размахом, что он всегда готов и умеет сделать приятное. Но получив букет, она сразу преобразилась: легче стала походка, горделивее осанка и вся она как-то помолодела.

Шли под обстрелом взглядов гуляющих. Елене доставляло тщеславное удовольствие читать в глазах людей восхищение, любопытство, даже зависть.

— Куда пойдем ужинать? — спросил Брянцев.

Ему не хотелось есть — хотелось вырваться из толпы, разглядывавшей их.

Поднялись на второй этаж ресторана — привлек полотноный полог над головами, создававший иллюзию прохлады, и открытая терраса с видом на море.

Вечерело. И небо и море гасли, меняли краски. По воде, как по остывшему металлу, скользили «цвета побежалости» — фиолетовый, синий, багровый, розовый. Даже чайки меняли свою окраску. В полосе тени они были белыми, а попадая в зону, доступную солнечным лучам, мгновенно перекрашивались, становились розовыми и розовыми улетали вдаль.

Елена первая заметила эту удивительную метаморфозу и теперь уже не отводила глаз от моря. Когда стая чаек, встревоженная мчавшимся на них катером, взмыла вверх, она схватила Брянцева за руку, и он успел увидеть, как чайки залпом вспыхнули и тотчас погасли, снова ушли в тень.

Потеряв сразу интерес к морю, Елена повернулась к Брянцеву.

— Ну что, опять обратимся к классике?

Она перелистала книгу и, закрыв глаза, наугад ткнула пальцем в страницу. Взглянула, заколебалась, стала читать с явным усилием: «Анна Сергеевна и он любили друг друга, как очень близкие, родные люди, как муж и жена, как нежные друзья; им казалось, что сама судьба предназначила их друг для друга, и было непонятно, для чего он женат... Точно это были две перелетные птицы, самец и самка, которых поймали и заставили жить в отдельных клетках. Они простили друг другу то,

чего стыдились в своем прошлом, прощали все в настоящем и чувствовали, что эта их любовь изменила их обоих...»

Она замолчала, низко наклонила голову над книгой, будто всматривалась в текст, а на самом деле для того, чтобы скрыть предательские слезы. Взяла гладиолус, поднесла к лицу, опять-таки чтобы скрыть свое смятение.

Ели молча. Брянцев не сводил взгляда с лица Елены. Фотографии, которые он хранил у себя в кабинете в сейфе, не передавали его очарования. Всякий раз он находил в нем новое, неожиданное, непознанное, и всякий раз убеждался, что оно лучше, значимее, чем представляет себе, когда они в разлуке. С грустью подумал о том, как виноват перед ней, как истрепал ей нервы. Всегда уравновешенная, она вдруг стала плохо управлять собой.

Он робко дотронулся до ее руки и негромко сказал:

— У нас с тобой все иначе, Леноч. У нас все впереди...

— Будет иначе, Алеша,— поправила Елена.— А пока...

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

К Брянцеву долго не приходил сон. Совсем неподалеку, через несколько комнат, была Елена, и все мысли его были с ней. Но ослушаться ее он не решился,— прощаясь, она попросила не нарушать «правил внутреннего распорядка гостиницы». Не давали покоя и соседи по общей комнате, в которой его поместили из-за отсутствия свободных номеров. Сосед слева ворочался так, словно его поджаривали на сковороде, сосед справа лежал неподвижно на спине, но чудовищно храпел.

Странное отупение овладело Брянцевым. До сих пор Елена терпеливо ждала, когда он сам разрубит этот гордиев узел. А сегодня... Сегодня не сдержалась. Даже запрещение войти в ее комнату он воспринял как попытку ускорить развязку. Он прекрасно понимал, что есть предел всякому терпению и осуждать ее он не имеет права. Сколько раз она брала себя в руки, настраивалась на мажорный лад, оберегала его от всяких царапин. И вот сорвалась. Он знал, что она тоже сейчас не спит, мучается, боясь, что он может истолковать ее поведение как заранее обдуманый маневр.

Было уже совсем светло, когда он заснул. Проснулся от прикосновения чьей-то руки к своему лицу. Открыл глаза — и просиял, увидев склонившуюся над ним Елену. Подумал было, что она пришла звать его к себе, но тотчас заметил, что на ней синий рабочий комбинезон.

— Пора вставать,— сказала она и объяснила, как добраться до автохозяйства.

Не оглянувшись, не посмотрев, видит их кто-нибудь или нет, она поцеловала Брянцева в лоб и ушла, постукивая по доскам пола высокими каблуками.

А он долго еще лежал, испытывая непонятную опустошенность, пытаясь разобраться в том, что с ним происходит. Возникла вдруг страшная мысль: будут ли они нужны друг другу так, как нужны были все эти годы, останется ли их союз жгучей необходимостью и не подменит ли приятное сосуществование радость больших, подлинных чувств?..

На автобазу Брянцев приехал, когда Елена заканчивала обмер шин последней машины. Увидев ее, он испытал робость. Они должны встретиться как мало знакомые, чужие люди. Это всегда было мучительно, даже в самые безоблачные времена.

Елена вытерла ладонь о штанину комбинезона, пожала ему руку и представила шоферам:

— Ваш учитель, директор сибирского шинного.

Не ожидая расспросов, шоферы стали показывать шины, делать свои заключения. Вот эти хорошо ходят и много пройдут — один миллиметр износа на пять тысяч километров. А вот эти (Брянцев сразу узнал шины без антистарителя по трещинам на боковинах, по выкрошившимся шашкам на протекторе) и до гарантийного не дотянут. И те и другие шины Целин выдерживал на крыше целый год, и разница между ними видна на глаз.

Настроение Брянцева сразу улучшилось. Он тепло взглянул на Елену, но она ответила спокойным, безразличным взглядом. И на душе у него снова стало тускло. Он еще немного потолковал с шоферами, попросил не превышать заданной скорости.

— По коням! — скомандовала Елена.

Водители разошлись по машинам. Заворчали моторы, «Волги» одна за другой стали выезжать за ворота. Когда последняя машина проходила мимо Елены, она остановила ее, села и уехала.

«Что ж, поезжай, прокатись», — с глухой досадой подумал Брянцев и тотчас увидел профессора Дубровина. Тот шел к нему, приветливо улыбаясь. В белом чесучовом костюме, в берете, который совершенно не шел к его круглому, доброму, простоватому лицу с глазами слегка навывкате, он почему-то напомнил Брянцеву марсельского докера с обложки «Огонька».

Как ни обескуражен был Брянцев внезапным отъездом Елены, не зная, как его истолковать, — то ли как вызов, то ли как бегство, он обрадовался встрече с Дубровиным.

— Побеждаете, Алексей Алексеевич? — сказал Дубровин, протягивая руку. — До окончательного разгрома противника еще далеко, но финал сражения ясен. Меня очень интересует, какие контрмеры будет предпринимать Хлебников.

— Неужели он еще станет артачиться?

— А вы как полагаете? Сдастся на милость победителя? Такого с ним не бывало. К тому же, под ним закачалось директорское кресло, и он безусловно решится на самые отчаянные меры.

— Ну что он может придумать?

— О, в таких случаях проявляют дьявольскую изобретательность! Положение у него конфузное, мягко говоря. И знаете, очень может быть, что именно теперь его институт приложит все силы, чтобы найти антистаритель, который будет лучше вашего.

— Я буду только рад этому, — Брянцев улыбнулся. — Значит, наш институт побудил к серьезным научным поискам. Тоже заслуга немалая.

Они стояли посреди огромного двора автобазы — директор и ученый. Их обоих привела сюда страсть к новому. Оба они могли заниматься своими делами, не трогаясь с места, получая сообщения о ходе испытаний по телефону, и оба предпочли посмотреть все своими глазами.

Симпатизировать друг другу они стали после того грозного дня в Комитете, когда старый ученый вступился за молодого директора, который пошел на производственный риск. И когда Дубровин предложил Брянцеву поехать в город позавтракать, тот охотно согласился.

В ресторане было пусто, прохладно, по-домашнему уютно. Живые цветы на окнах, на столах, по-южному радушные официантки.

— Вы когда-нибудь пробовали осмыслить значимость института? — спросил Дубровин.

— Нашего или вашего?

— Вашего, вашего! Я о нем немало думал. И наткнулся на новые философские категории. Да, да! Родилось среднее звено между практикой и отвлеченной наукой. И к тому же — звено двойного действия. Оно может и поставлять материал высокой науке, и делать достижения высокой науки практически полезными. Но не в этом новизна. Второй

вывод для меня самого был неожиданным: принципиальное различие между трудом платным и бесплатным.

— К этому выводу я давно пришел,— сказал Брянцев.— Платный исследовательский труд может быть и честным, и нечестным, и замедленным, и форсированным. Бесплатный труд всегда честен и форсирован. Не найти такого человека, который бесплатно делал бы бесполезную работу, да еще стремился бы протянуть ее как можно дольше.

— Именно, именно,— обрадовавшись, что нашел единомышленника, подтвердил Дубровин.— За плату, да еще за высокую, можно заниматься бесполезным трудом и не спешить с ним расстаться. Вот в чем причина того, что дельцы от науки годами толкут воду в ступе.

— Но нельзя же от всех требовать быстрой отдачи,— возразил Брянцев.— Не помню, кто из академиков говорил, что одно крупное открытие ученого оправдывает существование всей Академии наук.

— Оправдывает и с лихвой,— согласился Дубровин.— Но нельзя, всем остальным прятаться за спину этого одного! — Дубровин возмущенно взмахнул рукой и чуть было не выбил поднос из рук официантки, принесшей еду.

Он извинился и с вождением посмотрел на щедрый украинский салат из помидоров, сдобренный чесноком и подсолнечным маслом, на мозаичный излом холодца. Разлил по бокалам пенящееся пиво и сказал:

— В командировке я позволяю себе все, что не позволено дома. Даже папиросу после еды. А знаете, Алексей Алексеевич, в провинции нет посредственных ресторанов. Либо очень плохие, либо очень хорошие. Этот очень хороший. Рекомендую.

Брянцев грустно улыбнулся.

— Спасибо. Но завтра утром я улетаю.

— Я о вашем институте все читаю,— возвратился Дубровин к прерванному разговору.— Даже заводскую газету «Сибирский шинник». Хотел сам в печати выступить, поделиться своими мыслями. Но... суждены нам благие порывы. Меня не на шутку заинтересовала эта новая форма организации творчества трудящихся. Теперь уже неоспоримо, что творческая деятельность рабочего дает значительно больший экономический эффект, чем просто выполнение обычных функций на своем рабочем месте. Не возражаете, надеюсь?

— Нет. Но я отдаю себе полный отчет в том, что обобщения, которые делают рабочие, имеют все же эмпирический характер, в то время как инженеры, а особенно ученые, делают главным образом теоретические обобщения. До такой штуки, как вулканизация шин методом радиации, рабочий сейчас едва ли додумается, а если бы и додумался, то подобные эксперименты ему не по плечу.

— И слава богу! Оставьте это нам,— рассмеялся Дубровин.— А вы помните, академик Семенов говорил, что недалеко то время, когда общественный сектор науки будет определять ее развитие не в меньшей степени, чем государственные институты и лаборатории.

Брянцев признался Дубровину, что растерялся, узнав, что результаты радиационной вулканизации шин обнадеживают. Вся возня с антистарителем могла бы оказаться ни к чему.

Профессор дружески похлопал его по плечу.

— Массовое облучение шин — дело будущего, правда, я полагаю, не такого уж далекого. А ваше снадобье — это сегодняшней день. В общем, я бы сказал так: наука с большой буквы работает в основном с дальним прицелом, а заводская — с ближним. Нам с вами забот хватит вот так, по самые ноздри!

Брянцев взглянул на часы. Пора возвращаться на базу, просмотреть журналы, в которые регулярно заносились данные по каждой шине в отдельности.

Уже когда подъезжали к автобазе, Дубровин спросил его:

— Вы не обратили внимание на нашу единственную в группе женщину?

— На Ракитину? Обратил... Очень милая особа.

— Милая? Обворожительная! Эх, где мои хотя бы пятьдесят пять! — Дубровин вздохнул.— И, представьте себе, как это бывает: одинока. Какие дубы мужчины!

Не скрывая улыбки, Брянцев с любопытством посмотрел на Дубровина. «Ишь разошелся. Так вас, Алексей Алексеевич, по мордам. И справа, и слева!»

Побыть с Еленой наедине Брянцеву не удалось. Когда вечером он пришел к ней, Дубровин был уже тут как тут. Потешный старик, не снявший даже в комнате берета по той простой причине, что скрывал лысину, оживленно рассказывал истории своих студенческих лет. Рассказывал по старинке, не торопясь к развязке, уснащая повествование множеством подробностей.

В другую пору и при другом настроении такая ситуация могла бы показаться Брянцеву забавной, а сейчас он бесился и с нетерпением ждал, когда Дубровин уйдет.

Получилось все наоборот. Как только Елена вышла из комнаты, чтобы купить талон для разговора по телефону с сыном и матерью, Дубровин без обиняков сказал Брянцеву:

— Алексей Алексеевич, вы же воспитанный человек. У меня к Елене Евгеньевне самые высокие и самые платонические чувства, но мне хочется побыть с ней наедине. Задушевные беседы втроем не получаются. Будьте джентльменом, исчезните.

Брянцев поклонился и тотчас вышел, чтобы встретить Елену и договориться, как им отделаться от навязчивого собеседника. Но она не сочла это удобным. А поговорить? Что ж, они поговорят в другой раз. У них все будущее впереди...

Брянцева больно уязвила ее ирония, но он все же не оставил надежды встретиться с ней наедине. Долго вышагивал перед гостиницей и каждый раз, когда проходил мимо окна, на котором красовался просвечиваемый огнем настольной лампы букет гладиолусов, слышал опротивевший ему вдруг голос человека, разрешавшего себе в силу почтенного возраста не считаться с некоторыми условностями. В конце концов он потерял терпение и ушел в общежитие на свое ложе пыток, попросив дежурную заказать ему такси на четыре утра.

В аэропорту Брянцев почувствовал, что так уехать не сможет, что надо что-то сделать срочно, сейчас же.

Когда уже объявили посадку в самолет, он забежал на телеграф и написал на бланке первые пришедшие на ум слова: «Родная моя, сводит ума неопределенность встречи тчк Телеграфируй хоть что-нибудь тчк Очень люблю очень целую очень жду».

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Дни, небогатые событиями, похожи один на другой, и трудно бывает восстановить в памяти, чем отличалась минувшая среда от четверга, а пятница — от понедельника. Но этот день Брянцеву запомнился надолго. Он начался с неожиданностей и неожиданностями закончился.

Первым с торжественно-загадочным выражением лица в кабинете появился Целин.

«Что-то новое принес. И очень интересное,— подумал Брянцев, делая вид, что углубился в бумаги.— Но пусть сам начнет, а то привык, что одно его появление уже возбуждает интерес».

Целин покружил по кабинету, приглядываясь к Брянцеву,— ждал привычных вопросов — что нового, как дела, изучая настроение. Но терпения у него хватило не больше чем на минуту.

— Собираюсь вас в одну авантюру втравить,— сказал он, усаживаясь в кресло.

— Еще из этой не выпутались.

— А как бы вы хотели? В творческом коллективе ступенчатости быть не может,— возразил Целин.— По-вашему, значит, сначала нужно одну проблему решить, потом другую. А если проблем множество?

Брянцеву было не до проблем. Пошел девятый день, как он вернулся из Симферополя, а от Елены — ни звука, и это безмерно угнетало его.

— Так что же — проблема или авантюра? — довольно равнодушно спросил он.

— Авантюрная проблема. Но со смыслом. И — вопреки многим установившимся представлениям.

— О, это уже интересно! — Брянцев захлопнул папку с бумагами.— Выкладываете.

Однако Целин не торопился. Сердито посапывал, оглядывался по сторонам, словно проверял, не подслушивает ли их кто, и начал говорить лишь тогда, когда увидел, что Брянцев теряет терпение.

— Я тут одну шину запустил на стендовые испытания. На принципиально новой основе.

— Без резины, что ли? — спросил Брянцев, раздраженный медлительностью Целина.

Целин вдруг помрачнел. Очевидно, ему и так не очень хотелось рассказывать о новом эксперименте до его завершения, а теперь и подавно прошло всякое желание.

— Опять секретничаете? Дорого нам обошлись ваши секреты, Илья Михайлович! Ярославцы давно испытали бы «ИРИС-1», если бы знали его состав.

Целин будто и не услышал этого.

— Мы здесь с Кристичем втихую одну опытную шину изготовили,— сказал он.— Но состав ее держим в секрете, пока не запатентуем. На стенд поставили. Сколько обычно на стенде шины держатся, Алексей Алексеевич?

— Пять-шесть суток.

— А наша — десять.

— Что-о?!

— Десять! И еще не думает разрушаться.

— Ну, а зачем вам я?

— Средства на дорожные испытания нужны.

— Средства? Что ж, отпущу,— пообещал Брянцев. Новый эксперимент его заинтересовал.

Почувствовав, что директор на этот раз особо податлив, Целин сказал, что давно разослал «ИРИС-1» на ряд заводов, чтобы всесторонне испытали, и просит дать ему командировку. Письма — письмами, а личные контакты гораздо действеннее.

Брянцев разрешил поехать, только спросил, как он может отлучиться, когда испытывается новая шина?

— А кому известно, сколько она еще пробегает? — с безразличным видом, за которым с трудом пряталась гордость, бросил Целин.— На испытательной станции уже взвыли. Прозвали ее знаете как? «Чертовым колесом». У них ведь тоже свой план в штуках. Пора уже ставить третью, а она все вертится и вертится.

Днем пришел Василий Афанасьевич, положил на стол письмо от Елены, которое Брянцев уже не чаял получить.

Короткое письмо, но нежное и бодрое. Нежности он поверил, а в бодрости усомнился. В письмах Елена умела бодриться. Внизу — трогательная приписка: «Прости за то, что испортила встречу, за долгое молчание. Сдали нервы. Они, оказывается, и у меня есть».

Брянцев долго шагал по кабинету. Столько раз представлял он себе разговор с женой, со всеми подробностями, с вопросами и ответами, со слезами и утешениями, что ему казалось, будто этот разговор уже состоялся. И все же в те минуты, когда он думал о будущем объяснении, он внутренне холодел. Как на грех, Таисия Устиновна с каждым днем была все внимательнее, заботливее, и Брянцеву становилось не по себе при одной мысли, что рано или поздно придется сразить ее беспощадным сообщением. Глупо было заводить этот разговор задолго до разрыва — совместная жизнь в одной комнате стала бы тогда обоюдной пыткой, — но и тянуть не менее мучительно. Спасало только то, что виделись они очень мало. Утром, когда он торопился на работу, и поздно вечером, когда возвращался с завода. Даже в воскресенье не оставались подолгу с глазу на глаз. Он не изменял своему обыкновению проверять, как идет ремонт агрегатов, и присутствовать при запуске цехов в ночь на понедельник. Хорошо организованный запуск решает судьбу не только первого дня недели, но и всей недели.

Вечером, когда Брянцев возвращался домой, шофер спросил его:

— У вас эта, что в Москве, как: для приятного времяпрепровождения или... с расчетом на будущее?

Брянцев с удивлением взглянул на Василия Афанасьевича. От него, скромнейшего человека, он такого вопроса не ожидал и не сразу нашелся, что ответить.

— Почему это вас обеспокоило?

— Да так, по-человечески, — уклончиво ответил Василий Афанасьевич и добавил уже определеннее: — Нельзя всю жизнь между двух берегов плавать... — Он долго ожидал, что же ответит Брянцев, но так и не дождался. — Вы подберите другого человека, чтобы письма получал, — сказал он сердито, но тут же, устыдившись своей резкости, добавил миролюбиво: — Кто-то пронюхал, что я для вас письма получаю. Одно письмо у нас выдернули. Мне на почте девушки сказали, что выдали по доверенности какому-то Харахардину.

— Харахардину? Когда? — встревоженно спросил Брянцев.

— Незадолго до вашей поездки в Симферополь.

Брянцев понял, что это было то самое письмо, в котором Елена общала о переходе в другой институт и о предстоящей поездке на юг. Мучительно было думать, что кто-то чужой читал ее письмо. И сделано это неспроста, не из пустого любопытства, за этим что-то кроется. Но что и для чего?..

А дома — новая неожиданность: празднично накрытый стол. Салат, марокканские сардины, морской гребешок, пухлый пирог с капустой, графинчик с водкой, настоенной на апельсиновых корочках, бутылка вина. И в центре стола две астры.

Таисия Устиновна улыбалась, довольная тем, что муж даже не догадывается, какому торжеству все это посвящено.

— Сегодня день твоего рождения, — объяснила она. — Что ни говори, сорок лет бывает раз в жизни!

Это было тоже неожиданно. Никогда день его рождения не отмечался, напоминал о нем поздравительной телеграммой только отец.

Последнее время Таисия Устиновна не переставала удивлять Брянцева. Не так давно он уходил на работу, когда она еще спала, и возвращался, когда уже спала. Завтракал тем, что оставалось от ужина, и ужинал тем, что оставалось от обеда. А теперь ее словно подменили. Она вставала раньше мужа, ложилась позднее, готовила разносолы и

смотрела на него, когда он поглощал пищу, почему-то виноватыми глазами. Больше того. Расспрашивала о том, что происходит на заводе, о результатах испытаний антистарителя, об освоении новых вулканизаторов, впервые проявляя заинтересованность в его делах и элементарную осведомленность. Она больше не упрекала его в том, что приходится ютиться в одной комнате, и перестала злить всякими ходатайствами и заступничеством. Даже в голосе ее, низком, грубоватом, прорезывались ласковые нотки. Брянцев не мог разобраться в причинах такой метаморфозы.

Наблюдать это непонятное перерождение, принимать ее заботы, ловить ее жалостливые взгляды становилось с каждым днем все труднее. Мучительно жить с человеком в ожидании той минуты, когда нанесешь такой удар. А как переживет она разрыв, как воспримет потерю привилегий, которые дает положение жены директора? И чем будет жить? И не ляжет ли этот грех, который он возьмет на душу, тяжелым, неснимаемым грузом, не омрачит ли счастья с Еленой?

Таисия Устиновна никогда не покупала к столу вина, считала это ненужным расточительством. Вот почему Брянцева особенно заинтересовало именно вино. Взял бутылку. Раздорское, разлива новочеркасских подвалов.

Предупредительность жены сыграла неожиданно роковую роль. Брянцев выпил стакан вина, слабенького, кисленького, которое они так любили с Еленкой, и в голове завертелся хаос из обрывков воспоминаний, далеких и близких, вызвав такую сумятицу чувств, что за несколько мгновений он испытал и злость на себя, и стыд перед Еленой, и боль за Таисию. Глядя в глаза жены, которые смотрели на него как никогда ласково и в то же время виновато, он сказал:

— Тася, нам придется расстаться.

— Придется, — спокойно ответила она, потупив взгляд.

Незамедлительность ответа и невозмутимость тона сразили его. Что она знает? Откуда знает? Давно ли знает? По всей видимости — давно и уже привыкла к этой мысли, смирилась с ней. Неужели Василий Афанасьевич предал?

Но она предупредила его вопросы:

— Года три уже собираюсь я уходить и все не соберусь с духом. То одно у тебя, то другое... Дня такого выбрать не могла, чтоб поговорить. И жалко тебя было... Нельзя человеку наносить удар в спину, когда у него такое... Вот и тянула...

Брянцев слушал и ушам не верил. Что происходит? Он жалел ее, она жалела его. А выходит — оба они заслуживают жалости. Никому не нужная жертвенность, глупо растроченные годы. По крайней мере последние пять лет. Это немного для юности, когда все еще впереди, когда есть время исправлять ошибки, но как много для его возраста! И грустно, что приходится вторую половину жизни тратить на то, чтобы исправлять ошибки первой.

— Ты что же... решила преподнести такой подарок в день рождения?

— Нет, я отложила разговор на завтра. Но сколько уже таких завтра было... — Таисия Устиновна опасливо поглядывала на мужа, ожидая вспышки гнева. Но вспышки не было, и это ее задело. — Странно бывает в жизни, Алеша, — сказала она. — Идут люди вроде по одной дороге, не оглядываются. А спохватятся вдруг — и видят: по разным дорогам идут... Уже зови — не дозовешься, кричи — не докричишься. Но ведь одному-то тоскливо. Да и живая я в конце концов, не бревно... А ты... ты вроде и не муж...

Брянцев не слушал ее. Он думал о том, как нелепо устроен человек. Порой создает препятствия, которых нет, усложняет то, что в действительности просто.



— И как ты будешь один? — словно издали донесся голос Таисии Устиновны. — Ты ведь беспомощный — ни приготовить себе, ни постирать... Другие все умеют, а ты кроме дела своего ничего. Но я поговорю с Заварыкиной — может, возьмется убирать тебе и готовить.

— Постой, а ты куда? — спросил Брянцев.

Таисия Устиновна снова отвела глаза в сторону, долго собиралась с силами и наконец выдохнула:

— К Василию Афанасьевичу...

Это было самой большой неожиданностью. Брянцев не усидел на месте. Вскочил, забегал по комнате. Нет, рано назначили его директором завода — в людях-то он еще не научился разбираться. Честнейший, тишайший, а сработал по всем законам подлости. Выдать мужа для того, чтобы увести его жену... Но почему она ни звука о Еленке? Даже не заикнулась.

Не пытаясь решить эту задачу, Брянцев спросил Таисию Устиновну:

— А где жить собираетесь? Оставить тебе эту комнату или...

— Уедем мы отсюда, Алеша, — умиротворенным тоном человека, обретшего наконец душевный покой, ответила Таисия Устиновна. — Василий Афанасьевич свой домик продаст, «москвич» купит, и поедем в Темрюк. К теплу тянет. Да и родители старые стали, трудно матери одной управляться.

Он слушал ее, и постепенно им овладевало такое состояние, будто выбрался он из омута и достиг берега. Только острое сожаление о том, что так долго пришлось плавать в этом омуте, разъедало душу.

Вскоре Таисия Устиновна заснула. Брянцев позвонил на завод и закурил последнюю папиросу. Он никак не ожидал, что все сложится наилучшим образом. И трудно было ему предположить, как повернутся события в дальнейшем.

## ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

На собраниях и совещаниях Брянцев выступал редко, но всегда с чем-нибудь существенным — с новыми мыслями, предложениями. Он не был мастером говорить ради того, чтобы говорить. Его удивляли штатные ораторы, умеющие из одних и тех же примеров и положений, изрядно всем надоевших, строить разные выступления. Речь такого не перескажешь — все давным-давно известно, все давным-давно переговорено, и произносится она только затем, чтобы напомнить о себе и увидеть потом свое имя в газете в списке выступавших. Эти ораторы напоминали Брянцеву детей, которые из одних и тех же брусочков составляют несложную мозаику.

На районной партийной конференции в центре внимания вдруг оказалась... Таисия Устиновна. Ее вытащили как козырной туз, когда речь зашла о внимательном отношении к людям, о проявлении чуткости. История с предоставлением квартиры Заварыкину была подана самым неожиданным образом. Выходило так, что директор обманул, обошел рабочего, а жена директора проявила высокую степень сознательности, исправила ошибку, отдала обиженному человеку две своих лучших комнаты.

Брянцев не стал развеивать миф о прекраснодушии своей жены. Всякое его оправдание прозвучало бы сейчас фальшиво. К тому же признать в том, что Таисии за его спиной удавалось провернуть свои дела, было унижительно. Можно, разумеется, вскрыть истинную роль Карыгина в этой истории, но руководителя в подобных случаях не украшает ссылка на действия своих подчиненных. Каждый вправе был спросить его: «А ты куда смотрел? А тебя для чего поставили?» Происходило бы

это на заводском партийном собрании, он дал бы несколько справок, не ограничивая себя никакими соображениями. Но присутствующие здесь знают его гораздо меньше. И как-то уж так принято: что бы ни говорили в пику начальству, это считается критикой и одобряется.

Обвинение в задержке пуска новых вулканизаторов, выдвинутое против него, тоже трудно было опровергнуть. Предусмотрительный Гапочка постарался нейтрализовать возможные возражения, заявив, что директор, конечно, сошлется на плохое качество агрегатов. Но куда он смотрел, принимая их, и за что платил деньги? Гапочка даже привел сочную украинскую поговорку: «Бачили очи, шо купували, ишьтэ хоч повылазтэ». И аудитория поддержала его смехом и аплодисментами.

Настроение в зале к тому моменту, когда Брянцеву дали слово, было далеко не в его пользу. Но он решил высказать все, что считал нужным и полезным.

— Меня беспокоят три вопроса,— начал он.— Прежде всего,— это помощь шинному заводу. Удельный вес его в промышленности города очень велик, потому что он выпускает ценную продукцию, и, естественно, стоит заводу чуть-чуть зашататься, как нам начинают усиленно помогать. Чем? Как? Направляют на завод целый поток самых различных комиссий. Причем делают это обычно в конце месяца, когда минута дорога. И каждой комиссии обязательно нужен директор или в крайнем случае главный инженер. Так вместо помощи создаются помехи. Никто не хочет вникнуть, в какой именно помощи мы нуждаемся. Вот мне и хотелось довести до вашего сведения следующее: в основном все наши беды происходят по вине поставщиков — сажевого завода и «СК» — завода синтетического каучука. На них я и прошу райком и горком партии обратить особое внимание. Я понимаю, конечно,— продолжал Брянцев,— что выступление мое не самокритично. Но что толку бить себя в грудь и каяться: у меня это плохо, у меня то нехорошо. Знаешь, что плохо,— устраняй, а не плачься. А вот внешние беды мы сами устранить не можем и потому просим вашей помощи. Теперь второе. Как нам поднять качество нашей продукции? Никакие временные комиссии тут не спасут. Нужен постоянно действующий фактор — организованное и направленное творчество масс. Нужны такие общественные институты, как наш.

Брянцев подробно рассказал о поисках и находках рабочих-исследователей, назвал фамилии лучших, привел цифры достигнутой ими экономии. Немного цифр, но они были впечатляющие.

Его слушали с напряженным вниманием. Многие думали, что он будет отвечать на нападки, оправдываться, но он обманул ожидания.

— Вдумайтесь,— говорил Брянцев.— Сотни общественных институтов возникли в разных концах страны, а здесь, в городе, где родилось это замечательное движение,— только один институт. Наш. Почему? Лавров первооткрывателей другим не достанется? Да разве в лаврах дело?

Тихо в зале. Только нет-нет перегляднутся люди. На самом деле: почему в их городе никто не подхватывает этот почин?

— Я считаю, что необходимо создать общественные институты на крупнейших предприятиях города. Насаждать в приказном порядке не стоит. Если у людей есть вера в свои творческие силы, рабочая гордость, желание искать новое — сами создадут. А тем, кто ждет указаний сверху, могу открыть секрет: есть такие указания.

— Кем они даны? Когда?

— Двадцать вторым съездом партии, принявшим новую Программу. Брянцев взял стакан с водой, стал пить мелкими глотками.

В президиуме перешептывались, до слуха Брянцева донеслось:

— Хитер. Ишь как повернул... Вместо обороны в наступление пошел.— И похвала: — Хорошо повернул, по большому счету!

— Но самое главное, из-за чего я поднялся на трибуну,— продолжал Брянцев,— это и самое грустное: мы допустили диспропорцию в развитии зависимых друг от друга предприятий. Нефтеперегонный завод дает мало газа каучуковому, тот, в свою очередь, мало каучука шинному. Цепь рвется по звеньям. И как ее поскорее соединить — никто не знает. У меня создалось впечатление, что в горкоме ждут, пока этим займутся те, кто повыше. Но верхам тоже нужно подсказать снизу — снизу кое-что виднее. А мы с вами сейчас ничего подсказать не можем, потому что большими проблемами большой химии в нашем городе не занимались. Пора городскому комитету партии мобилизовать инженерно-техническую общественность на решение этой узловой проблемы. И если не удастся найти выход, то надо по крайней мере бить тревогу. Мы же знаем, что производство шин к семидесятому году должно возрасти вдвое, и к решению этой задачи надо приступить немедленно.

Секретарь горкома все-таки всыпал Брянцеву за отсутствие самокритики, добавил еще и за то, что на заводе только один коллектив коммунистического труда и то не цех, а общественный институт. Но выступление его было сдержанным: он учел, что всякая горячность может быть истолкована как личная обида. А в конце выступления перечеркнул все свои нападки, сказав:

— У Брянцева стало правилом постоянно расширять круг своих забот. Он всегда думает и беспокоится о большем, чем это определено его служебными обязанностями. Работал начальником смены, а думал о реконструкции цеха, работал начальником цеха, а воевал за автоматизацию всего завода. Сейчас на посту директора завода его беспокоят проблемы всего промышленного узла. Вот этому, по-моему, у него нужно учиться.

В перерыве к Брянцеву подошел Гапочка. Он был встревожен тем, что отношение делегатов к директору изменилось после его выступления и особенно после заключительных слов секретаря горкома.

— Ты на меня не сердись, Алексей Алексеевич,— тоном осознавшего свою вину человека сказал он.— Это я так, для оживления, чтобы не сказали, что на шинном зажим критики, что все под директором ходят.

Гапочка был в обычной своей роли: нападал при людях, а один на один вилял хвостом. Даже если понимал, что обвинение несправедливо, удержаться от того, чтобы не блеснуть своей смелостью, не мог — ценил и поддерживал репутацию человека независимого. Но смелости у него хватало лишь на выступление. Потом он начинал зализывать нанесенные им царапины.

Брянцев ценил Гапочку как работника педантичного, напористого, неутомимого, но как человека не терпел.

— Для оживления аудитории я тоже мог бы многое о вас рассказать, ничего не преувеличивая,— ответил Брянцев.— Хотя бы о том, как вы палки в колеса ставили рабочим-исследователям. Однако я к шутовским приемам не прибегаю — щажу авторитет людей, с которыми работаю рядом. А вас кто за язык дергает? Знаете прекрасно, что принимали мы эти агрегаты в ящиках согласно акту авторитетной комиссии и иначе принять не могли.

Гапочка выдал из себя подобие улыбки.

— Обиделись, Алексей Алексеевич?

— А почему бы и нет? Лягнул бы справедливо — другое дело. Но для чего так, потехи ради? Нехай, мол, и он мое копыто знает!

Гапочка надулся, распушил усы и собрался ретироваться, но не получилось. К нему стремительно подошел Крестич.

— Знаете, как вас за глаза называют? — спросил он.

— Не интересуюсь.

— Королем пустословия.

— Как ты смеешь!

Кристик прикинулся простачком.

— Не я смею, Павло Иванович,— люди. Говорят, окаянные, что вы это сегодня в полную меру доказали.

— Ладно, поговорим в цехе,— угрожающе произнес Гапочка и отошел.

Когда перерыв кончился, Брянцев увидел Карыгина. Он, как обычно, появился в зале, когда все уже были на местах. Прошел по проходу к сцене, горделиво неся убеленную сединами голову, отмечая каждый свой шаг стуком палки, и уселся в первом ряду, где всегда были свободные места.

Огласили список рекомендуемых в состав районного комитета партии. Председатель спросил, есть ли отводы. Брянцев встал и дал себе самоотвод.

У него тотчас потребовали объяснить причины. Но что он мог сказать, да еще после такого панегирика в адрес Таисии? Что расхочется с ней? И он сказал самые обычные слова, которые говорят люди, не умеющие или не желающие мотивировать свой отвод:

— Чувствую себя неподготовленным...

Едва он опустился на стул, показывая этим, что больше ни о чем говорить не собирается, как поднялся Карыгин.

— Я очень уважаю товарища Брянцева за целый ряд несомненных достоинств, которыми он обладает,— начал он густым, нарочито приглушенным голосом,— и я лично всячески поддерживал его авторитет, зная, что идеальных руководителей нет, что мы оцениваем человека в зависимости от того, что в нем преобладает — плюсы или минусы. Я, признаюсь, не собирался прийти сюда — у меня разболелась нога, и я отсиживался в кабинете, не будучи в силах подняться.

«Опять куда-то гнет», — подумал Брянцев.

— Пожалуйста, поменьше о себе и о своей ноге,— нарушая прерогативы председателя собрания, раздраженно сказал секретарь райкома Тулупов.

— Я буду краток,— повысил голос Карыгин, но продолжал не спеша развивать свои мысли.— У нас установились разные критерии оценки руководителей хозяйственных и партийных. К партийным требования повышенные. Исходя из этого, считаю, что товарищ Брянцев до роли члена райкома КПСС не дорос. Во-первых, по политическим признакам. На заводе, которым он руководит, нет цехов коммунистического труда. И не потому, что нет достойных. Нет удостоенных. Директор завода не дает партийной и профсоюзной организациям присвоить это почетное звание цеху, которым руководит товарищ Гапочка. Почему? Гапочка человек принципиальный, он всегда резко, но неизменно справедливо критикует директора и потому любовью у него не пользуется. Вот Брянцев и вставляет палки в колеса и ему, и всему коллективу. Не достоин Брянцев чести быть членом райкома и по признакам моральным. Он не научился держать слово, данное рабочим. Пример? Пожалуйста. Он обещал на собрании дать квартиру великолепному каландровожатому фронтовику Заварыкину, который жил в землянке, а отдал ее другому человеку, хотя тот дважды проштрафился. Вот на основании всего этого я отвожу кандидатуру товарища Брянцева.

Брянцев поднял руку, чтобы дать справку, но председатель жестом остановил его и предоставил слово Василию Афанасьевичу.

«Этот сейчас разделает меня под орех...», — подумал Брянцев и ощутил, как по спине пробежал холодок.

— Не знаю, как там насчет цехов коммунистического труда — в этом пусть райком разбирается, а вот насчет моральных качеств нашего директора могу сказать,— Василий Афанасьевич откашлялся, как показа-

лось Брянцеву, многозначительно.— Нет человека на заводе, который тверже держал бы слово, данное рабочему, чем Брянцев. А Заварыкина оставил без квартиры не Брянцев, а его помощники в его отсутствие, и за это он дал им нахлобучку. Я своими ушами слышал.

— Так чего ж он в рот воды набрал? — крикнул кто-то.

— Не привык прятаться за своих подчиненных,— ответил Брянцев и признательно посмотрел на Василия Афанасьевича.

Поддержал Брянцева и Пилипченко.

— Мы хорошо сделали, что не спешили присваивать цехам это высокое звание,— сказал он.— Мне кажется, мы стоим на более правильном пути, чем те, кто легко присваивает это звание и дискредитирует его.

Тем временем в зале поднимался шумок. Брянцев видел, что из ряда в ряд в сторону президиума передавали какие-то фотографии. Передавали, предварительно просмотрев, и каждый, вручив фотографии впереди сидящему, искал Брянцева глазами. Удивление, смущение, гнев, иногда злорадство читал он на лицах. Постепенно любопытство сменилось у него тревогой.

Наконец фотографии добрались до первого ряда, и человек, сидевший неподалеку от Карыгина, передал их в президиум.

У членов президиума — та же смена выражений на лицах.

— Пусть Брянцев объяснит, что это значит! — потребовали из последнего ряда.

Поднялся Тулупов.

— У меня есть предложение,— сказал он,— самоотвод товарища Брянцева принять. Поручить заводскому партийному комитету разобраться в этой ерунде,— он указал на фотографии, лежавшие на столе.

— Пусть сейчас объяснит! — закричали в зале.

Брянцев встал, готовый выполнить это требование, но Тулупов остановил его.

— Товарищи, вы лучше других должны знать, что любые персональные дела прежде всего рассматриваются первичной партийной организацией. Что же мы будем устраивать тут спектакль?

Брянцев ловил на себе любопытные взгляды и ничего не понимал, кроме того, что ему нанесен удар. Но кем? Какой?

Когда счетная комиссия стала подсчитывать голоса, а участники партийной конференции смотрели кинофильм, Брянцев отыскал в фойе Тулупова. Секретарь райкома взял его под руку, и они долго ходили по коридорам Дворца культуры, пока не нашли свободную комнату. Заперев дверь, Тулупов вручил фотографии Брянцеву.

У входа в симферопольскую гостиницу он и Елена целуются. В ялтинском порту он преподносит Елене гладиолусы. Он с Еленой в ресторане. Под этой фотографией надпись: «Директор шинного завода испытывает свои шины». К фотографиям прикреплено скрепкой письмо. Посмотрел первые строчки. «Родной мой, у меня произошли большие события...» Заглянул в конец письма: «Несмотря ни на что, у меня такое ощущение, будто я нашла свое призвание. «Не поздно ли?» — скажешь ты. По-моему, найти себя никогда не поздно».

— Ну? — спросил Тулупов.

Брянцев беспомощно развел руками.

— Вот что, Алексей Алексеевич, я тебе мораль читать не собираюсь. В письмо я заглянул и понял, что, во-первых, это давно, во-вторых, это прочно. Ошибся?

— Нет...

— Что собираешься делать?

Брянцев коротко рассказал обо всем. Помолчав, добавил:

— Жена завтра уходит от меня... Случись это послезавтра, выстрел с фотографиями прозвучал бы вхолостую.

— Теперь будет сложнее. Все станут говорить, что жена ушла потому, что муж уличен в измене. А руководителям мало быть правыми. Надо еще и казаться правыми.

— Все так,— согласился Брянцев.— Но кто организовал слежку?

— Это рука Карыгина. Знаешь, что мне нефтяники сказали? У них фотографом работает племянник Карыгина Харахардин. Десять дней назад он выпросил командировку в Ялту, чтобы собрать материал об отдыхе нефтяников на взморье.

— Харахардин? — переспросил Брянцев.— Ах вот оно что...

— Сработал-таки Карыгин.

— При вашем попустительстве...

— Вот это ловко! С большой головы на здоровую. Выходит, я виноват? В чем?

— В том, что, получив от меня сведения об этом человеке, вы были обязаны проверить, так это или не так. Если не так, то набить мне морду, а если так, вырвать у него жало.

— Вы плохо обо мне думаете, Алексей Алексеевич. Я сделал запрос. Но в архиве его дела не оказалось.

Закурили. Кто-то постучал в дверь, они не отозвались.

— Тертый мужик,— задумчиво произнес Тулупов.— Преподнес-таки пилюлю... Надо же додуматься: по рядам пустил! Теперь этого не зажмешь.

— А для чего зажимать? — устало спросил Брянцев.

— Для того, чтобы Брянцев мог остаться директором завода. Потерять опытного директора — это, знаете ли... И потом — кто будет расхлебывать кашу, которую вы заварили с антистарителями? А с «чертовым колесом»? Так что — никаких демобилизационных настроений. Ну а что положено, получите сполна. Тут уж не взыщите.

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Две недели ездил Целин по заводам, и когда вернулся, «чертово колесо» все еще мчалось по поверхности маховика с насаженными на него плицами, имитирующими неровности дороги. Сотрудники испытательной станции смотрели на эту шину с суеверным страхом — ничего подобного они до сих пор не видели. Шесть, семь, максимум семь с половиной суток выдерживали обычные шины на стенде. Потом они начинали разрушаться, их снимали, и на этом считали эксперимент законченным. Люди понимали, что шина, которая прошла на стенде в четыре раза больше нормы, не пройдет столько же по дороге. Но понимали также, что ходимость ее намного превысит ходимость серийной. На сколько — стендовые испытания на это ответа не дают.

О появлении Целина тотчас доложили начальнику испытательного цеха, молодому инженеру, и тот долго тряс руку Илье Михайловичу, поздравляя с неожиданными результатами.

— Да я тут ни при чем,— повторял Целин, расплываясь в довольной улыбке.— Это коллективное детище.

— Илья Михайлович, вы хоть нам расскажите, в чем ее секрет,— взмолился инженер.

Целин снисходительно улыбнулся.

— Вы же, дорогой мой юноша, механик, а механики воспринимают все явления поверхностно. Тут — химия, к вашему сведению, самая глупобая из наук. И шинное производство по сути химическое производство.

Всякому, кто встречал Целина, бросались в глаза происшедшие в нем изменения. Это был уже не тот Целин, с замедленными движениями, с грустно-задумчивым взглядом. Он быстро двигался, браво разговаривал. Даже галстук был на нем какой-то сверхпраздничный, яркий, для очень молодых и франтоватых.

В ответ на приветствия вместо традиционного «здравствуйтесь» он задорно бросал:

— Вертится!

Так ответил он и директору завода, когда нашел его в цехе форматоров-вулканизаторов.

Брянцев положил руку Целину на плечо и вывел его из цеха. Уселись в сквере на скамье, осыпанной опавшими листьями. Алексей Алексеевич не спешил с расспросами. Закинув голову, смотрел куда-то вверх крыши, и было видно, что он устал.

— Что вы насовали в «чертово колесо»? — спросил наконец он Целина.

— О, это целая история, — оживился тот. — Собрался как-то в институте после работы народ. Начались разговоры о том о сем, — не только ведь о резине говорят, возникают и приватные разговоры. Вот и на этот раз зашла беседа о совершенстве творчества природы. Вы видели, когда-нибудь под микроскопом острие иглы и жало осы?

— Чего не видел — того не видел.

— Острие иглы при сильном увеличении — это плохо затесанное бревно, а жало — совершенное, бесподобное острие. Потом перешли к сравнению электронно-вычислительных машин и мозга. Опять природа далеко впереди. В машине миллионы запоминающих устройств, в мозгу — более десяти миллиардов клеток. Саша Кристич принялся разбирать устройство более простой части человеческого тела — колена. Почему оно так свободно движется? Ни трения не испытывает, ни перегрева. Да потому что прекрасно смазывается. А вы знаете, почему велосипедные гонщики чаще всего сходят с трассы?

— Не знаю.

— Исчезает смазка в коленных суставах. Это и навело нас на некоторые мысли. Занялись мы с Кристичем вопросами трения в технике и в биологии и решили кое-что позаимствовать от природы. Шины от внутреннего трения перегреваются, даже бреккер иногда обугливается. А что, если сделать шину на внутренней смазке?

Брянцев с доброй завистью смотрел на этого человека, постоянно ищущего, постоянно думающего.

— Ее, конечно, долго дорабатывать придется, подыскивая оптимальный состав резины, — продолжал Целин. — Но направление поиска определено. И ребята сейчас рвутся в бой — опять нашли задачу, решение которой сулит многое.

Целин замолчал. Молчал и Брянцев. Он думал о том, что не напрасно прожил последние годы. Победят они со своим антистарителем или лучший антистаритель предложит НИИРИК, останется он директором завода или нет, но он сделал главное: пробудил в коллективе жажду творчества. А это процесс необратимый, он будет все время развиваться.

— А почему вы не интересуетесь результатами моей поездки? — спросил Целин.

— Ах да, я об этом и забыл.

Целин раскрыл свою папку. Он терпеть не мог портфелей. Предрасудки живучи, а у него с комсомольских времен антипатия к портфелям — считал их признаком бюрократа.

— На Днепропетровском шинном наши антистарители не испытывали, — рассказывал Целин. — Там работают на импортных материалах

и говорят, что от добра добра не ищут. Вот когда их прижмут — тогда возьмутся.

— Блестящее начало, — сказал Брянцев.

— На заводе у Перфильева испытали антистаритель, но глазам своим не верят и потому результаты скрывают. Говорят, что надо вторично проверить, а это еще на год. И потом, мне кажется, они боятся против НИИРИКа выступать.

— Продолжение не лучше.

— А на Ярославском проверили. Хорошие результаты. Они уже написали письмо в Комитет химии, просят всего-навсего... две тысячи тонн нашего антистарителя. Представляете? Две тысячи тонн! Хотят заменить им дорогостоящий парафин.

— Ничего не пойму, — прервал его Брянцев. — Когда они успели испытать? Мне, правда, Честноков обещал. Но для этих испытаний на светопогодное старение нужно сто двадцать — сто восемьдесят солнечных дней.

— А-а! — досадливо отмахнулся Целин. — Вы разве ярославцев не знаете? Они же хитрецы.

— У вас научились, Илья Михайлович! Вы с ними хитрили, теперь они с вами.

Целин сделал вид, что не услышал этих слов.

— Говорят они одно, а делают другое. Они стали испытывать «ИРИС-1» сразу же, как только я послал его. К моменту совещания в партгосконтроле испытания были в разгаре, и они ничего не могли сказать по этому поводу. Они тоже глазам своим не поверили. За те сто восемьдесят дней, что продержали образцы на солнце, резина не только не состарилась, но улучшила свои прочностные показатели. Вышло так же парадоксально, как с бетоном: прочнеет со временем.

— Таких результатов и у нас не было, — недоверчиво сказал Брянцев.

— Эх, Алексей Алексеевич, были! Да мы уж не захотели гусей дразнить. И, чтобы никого не смущать, показали в отчете коэффициент старения ноль девяносто, будто на десять процентов резина все же постарела. А на самом деле она улучшила прочность на пятнадцать процентов. У ярославцев тот же результат, и они решили тоже применить у себя «ИРИС-1».

— Вот черти! А меня как мальчишку разыгрывали, — возмутился Брянцев. — Не знаем, не пробовали, потому что Целин все засекретил, продавал нам kota в мешке!

— Честноков не знал. А Кузин вел эксперименты, но к вашему приезду и он еще не имел окончательных результатов. Надо было еще месяца два выдержать образцы на крыше на светопогодное старение.

— Что дальше? — нетерпеливо спросил Брянцев, поняв, что самое значительное Целин приберет на конец.

— Дальше — побывал в Киеве.

— Когда же вы успели?

— Я самолетом. Бухгалтер, конечно, выдал деньги на проезд в жестком плацкартном. Но, думаю, вы мне самолет утвердите?

— Давайте дальше.

— Завод «Красный резинщик» подтвердил наши данные с превышением.

— Ну это не фирма в таком споре.

— А завод «Томкабель» в Томске? А научно-исследовательский институт кабельной промышленности вас устраивает?

— О, это звучит! Дальше, дальше. Что за манера тянуть жилы!

— У них основное требование к препарату — повышение озоностойкости, потому что на кабелях высокого напряжения образуется повы-



шенное содержание озона. Испытания показали, что резина, защищенная «ИРИСом-1», в три с половиной раза повышает сопротивляемость озону, и они приняли решение рекомендовать наш препарат всей кабельной промышленности страны.

Сегодня Брянцев почувствовал себя вправе уехать с завода раньше обычного. Вызвал машину. Шофер у него теперь другой. Молодой парень, разбитной, веселый.

— Вези на свое усмотрение,— сказал Брянцев.

Он положил голову на спинку сиденья, и старался ни о чем не думать. Только ощутив тонкий, почти неуловимый запах степи, открыл глаза, осмотрелся.

— Куда?

— На излучину.

«Заботливый человек Василий Афанасьевич,— подумал Брянцев.— Сдавая свой пост, поведал преемнику не только об особенностях машины, но и о привычках ее хозяина».

Шофер свернул с шоссе. «Волга» затряслась по плохо укатанной дороге мимо густых зарослей кустарника. Впереди сверкнула лучащимся серебром река, исчезла за поворотом и вновь появилась во всей своей красе. Могучие сосны обступили ее на противоположном берегу и тихо и пристально смотрели в воду.

У самого края обрыва машина остановилась, Брянцев вышел. Расправил плечи, вздохнул всей грудью свежий, чистый воздух и повалился на спину в траву.

Высоко в небе, чинно, никуда не спеша, плыли облака, небольшие, редкие, не заслонявшие неба. Они были нестерпимо белыми и даже обжигали глаза, будто исторгали невидимые, но острые лучи. От земли уже холодило, но солнце еще старательно грело, торопясь отдать свое тепло погожему осеннему дню.

И мысли Брянцева поплыли, как эти облака, не спеша, не обгоняя одна другую, не наползая одна на другую, и между ними лежали пространства бездумья, когда казалось, что нет ничего в мире кроме ясного неба, облаков и солнечного тепла.

Вечером, словно устыдясь своей расслабленности и сожалея о потерянном времени, Брянцев торопится на завод. Как всегда, ровный ритм работы его радует, а короткие встречи с людьми согревают душу теплом, которого так не хватало дома. И он невольно думает о том, что скоро и у него будет свой дом, радостный и теплый.

На испытательной станции он долго стоит у бегущего по маховику «чертова колеса». И за это новшество придется бороться, но сейчас ему ничто не страшно, сил у него прибыло.

К одиннадцати он возвращается в свою пустую, неубранную комнату. Теперь они с Еленой не переписываются, но почти ежедневно разговаривают по телефону. Обычно за день ничего нового не случается, они наперед знают все, что скажут друг другу, но без этого разговора обойтись не могут.



## В ОБОРОНЕ

Томительно сиденье в обороне...  
Эскарп для кухни роешь у реки.  
Картошку чистишь.

Возишь на пароме  
для блиндажей сырые кругляки.

Заметишь вдруг:

ботинки прохудились,  
прогоркло сало,  
пахнет дымом суп,  
разведчики-абхазцы простудились,  
душа-начпрод стал на махорку  
скуп.

Над огневой все чаще виснут  
«рамы».  
И немцы, ошалев, ракеты жгут.

И медленнее заживают раны  
у тех, кто в ближнем госпитале тут.

Сильней тоска по дому.

Мама снится...

Кот лезет к фаршу...

Получил пинка...

Вот бы сейчас на лифте прокатиться,  
вмять пятерню пуговку звонка...

Томительно сиденье в обороне...  
Но что-то ротный весел,

хоть молчит,  
как порох, сжатый до поры в  
патроне,  
и пальцем хитро о планшет стучит.

## ПЕРЕД БОЕМ

Я мерзну.

И дышу на пальцы левой  
руки моей,  
что выдернет чеку:  
за танками пехота ошалело  
прет в полный рост, стреляя на  
бегу.

В окопе мокрый снег.

Переобуться б!  
Как холодно багров накат зари.  
Я жмусь к стене.

Я чувствую, как трутся  
в противогазной сумке сухари.

В ложок кладу гранаты.

Все готово!

А танки ближе.

Тянутся жнивьем.  
В запасе что?

Сухарь.

Патроны.

Слово.

Пусть мерзнем.

Домерзаем.

Но живем!

И потому тут ни к чему вопросы.  
И пусть еще не ясно:

кто — кого...

Но все же взводный делит

папиросы:

одну — сейчас,

а две — после в сего!

## СОН

Я весь проявлен на снегу —  
темнею странною одеждой,  
и будто бы бегу, бегу,  
далекой позванный надеждой.

Но чувствую, что отстаю,  
как гонщик, проколовший шину;  
как на обочине стою,  
чтоб сесть в попутную машину.

А что-то мимо мчится прочь.  
Вот чистым светом полоснуло.

Вот грязь, тяжелая, как ночь,  
из-под колес в лицо плеснула.

И я назад  
в окоп бреду.  
Он двадцать лет как был покинут.  
И в нем таких, как я, найду,  
что, кутаясь в шинели, стынут.

Или вповалку тесно спят,  
к огню придвинув зябко ноги...  
Там обогнать не норовят  
и не покинут на дороге.

## МЕЛОДИЯ

Я знаю ту мелодию!  
Несмело  
я пробовал мычать ее.  
Беда!  
Она во мне, живучая, немела,  
не подступая к горлу никогда.

Хотя б далась начальная та фраза,  
где притаился ритма произвол!  
А там пошло б...  
Но, мучаясь, ни разу  
мелодию я не воспроизвел.

Внутри меня за что-то зацепилось  
ее начало, нотами звеня,  
рвалось наружу,  
будто бы стремилось  
своим напором вывернуть меня.

И все ж исторгну я ее когда-то.  
То ли за чаем,  
то ли на ходу,  
то ли увидев во поле солдата,  
то ль — девушек, стирающих  
в пруду.



# КАК СТРОИТЬ?

## ГОВОРЯТ АРХИТЕКТОРЫ

*Многое роднит произведения архитектора и литератора. И прежде всего — их влияние на духовный мир человека. Бессловесная повесть иного здания, чувства и ассоциации, им рождаемые, сравнимы с тем, что дает читателю хорошая, содержательная книга. То и другое творение в равной степени может обогатить, обрадовать, а может и разочаровать нас. Архитекторы, как и писатели, участвуют в формировании нашего сознания. Истину эту доказывать нет надобности.*

*Что касается аудиторши, то она у архитектора, пожалуй, еще шире, чем у писателя: к тому же и «читатель» у его произведений, можно сказать, подневольный. Здание или ансамбль не отложишь в сторону как скучную книгу, не пропустишь как неинтересные страницы романа. У города — каменные страницы, вписываются они в «контекст» насолго — на десятилетия, если не на века.*

*Хороши или плохи возводимые ныне дома, улицы, кварталы — их все равно придется «перелистывать» и детям и внукам, а то и правнукам авторов и строителей. Отсюда и особая мера ответственности, лежащая на зодчих.*

*И московские зодчие полностью ее сознают.*

*Совсем не просто поставить на московские улицы новое здание. А они возникают сотнями: сейчас ведь по существу идет работа над новым «изданием» столицы. Понятно, насколько исключительна и сложна задача, решаемая московскими архитекторами.*

*Однако путь от синьки и макета до готового здания не прям и далеко не гладок. Градостроительные работы, развернувшиеся в Москве, по своему масштабу не имеют себе равных. Нет здесь готовых решений, их приходится искать. И эти поиски архитекторы Москвы ведут настойчиво, критически анализируя прошлый опыт и, в меру своих возможностей, добиваясь наибольшего соответствия между архитектурным замыслом и его реальным воплощением. В этом убеждают в частности те творческие дискуссии, которые ведет архитектурная общественность.*

*Наши корреспонденты Б. Дунаевский, М. Кикоть и М. Подляшук побывали на предсъездовской конференции архитекторов столицы и на состоявшемся в конце прошлого года IV Всесоюзном съезде архитекторов и записали наиболее интересные выступления. С этими выступлениями мы и знакомим наших читателей.*

## Главное — качество

X конференция московских архитекторов состоялась в дни, предшествовавшие IV Всесоюзному съезду зодчих. Повестка дня ее была сформулирована по-деловому коротко: «О повышении качества архитектуры и задачах московских архитекторов». Однако один лишь перечень затронутых в ходе горячего обсуждения вопросов занял бы немало места.

Темпы строительства в Москве высоки. Триста московских семей ежедневно справляют новоселье. А всегда ли оно приносит им полную радость? И сразу внимание об-

ращается на качество архитектурных проектов. Как повысить их уровень, устранить те пороки, от которых еще далеко не свободна работа московских зодчих? Как добиться того, чтобы проект, положенный в основу сооружения, не искажался бы в процессе строительства?

Заместитель председателя правления Московского отделения Союза архитекторов В. Нестеров в докладе своем прежде всего воздал должное труду строителей. Три с половиной миллиона квадратных метров жилья в год! Цифра говорит сама за себя. Тем более обидно, что качество строительства пока еще отстает от количественных показателей.

Отчего это происходит?

Докладчик возлагает значительную долю вины на них же — строителей. Они порой делают неузнаваемым даже хороший архитектурный проект. Небрежное благоустройство, провалившиеся дороги, грубые швы на фасадах домов да еще балконы с самодельными экранами.

Сложите все это — и перед вами предстанет стандартная картина многих жилых районов. Бывают случаи, когда после завершения строительства тотчас же начинается ремонт дома. Что и говорить — для претензий к строителям есть основания.

Однако за кардинальные градостроительные решения несут ответственность архитекторы. Многие недостатки заложены уже в самом проекте — однообразие общего силуэта застройки, штамп в размещении однотипных зданий. Авторы таких сооружений и ансамблей вряд ли испытывают то чувство удовлетворенности, каким вознаграждает творческого работника хорошо выполненное произведение. Но еще хуже то, что недовольство высказывают широкие круги москвичей...

Доклад приводит к мысли, что многое из сделанного недостойно Москвы, несовместимо с представлением о ее будущем облике.

— Нельзя не досадовать на ошибки, допущенные нами в строительстве родного города, — говорит В. Нестеров. — Но будет куда хуже, если архитекторы не сумеют сделать нужные выводы из прошлого, далеко не всегда удачного опыта. Им известно, что надо делать, — это определено решениями партии и правительства. Зодчим

Москвы следует точно определить, как и как делать.

Качество архитектуры следует понимать в самом широком смысле. Это не только внешний облик, художественное совершенство зданий, не только красота улиц и, в конечном счете, всего города. Это и удобство домов, квартир, благоустройство территории, совершенство объектов так называемой малой архитектуры — оград, фонарей, павильонов и других деталей оформления городских артерий.

Труд градостроителей, как известно, не избежал той излишней и чрезмерной регламентации, которая вообще была характерна для периода пресловутых «волевых решений». Один из плодов волюнтаризма в зодчестве — принятое без достаточных экономических и эстетических оснований ограничение этажности застройки.

— Беда не в том, что массовым типом дома стал пятиэтажный, а в том, что такой вид постройки был установлен как единственный и чуть ли не на все времена, — говорит В. Нестеров. — В градостроении, как и в других областях человеческой деятельности, вредно следовать мертвой, непреклонной догме. И здесь нельзя не напомнить архитекторам, осуществлявшим эти решения, о принципиальности, о чувстве профессионального достоинства, об ответственности при решении проблем, касающихся родного города.

Общее направление в реконструкции столицы избрано правильно, и ошибки, которые совершены, да и сейчас не изжиты, не должны этого заслонять. Это направление — массовое строительство, основанное на принципах широкой индустриализации



Москва. Комсомольский проспект

работ, экономичности и удобстве построек, их органической связи с природой. Эта архитектура проста, чужда ложной красоты и вычурности. Современные масштабы строительства немислимы без типового проектирования, позволяющего достичь наилучшего эффекта с наименьшими затратами. Типовое строительство экономит время, однако выгоды его могут сказаться лишь в том случае, если оно приведет и к уменьшению числа типовых размеров строительных деталей, которые позволяют — при творческом подходе к делу, известной фантазии — возводить не только здания, но и целые районы самого разнообразного характера. Правильно сочетая дома, умело размещая их на местности, грамотно используя предлагаемые промышленностью детали, можно добиться большого эффекта.

Разумеется, нужно особенно строго отбирать типовые проекты. Лишь лучшее имеет право на типизацию. Однако практика часто нарушает это правило. Новые типовые проекты появляются ежедневно. Их количество сейчас исчисляется двух-, трехзначными цифрами. При этом хорошо известно, как однолики, несмотря на это, многие новые районы. Меж тем, ограниченное число типовых зданий дает архитектору полную возможность создать индивидуальную, своеобразную композицию. Это убедительно показал в своем выступлении архитектор Л. Дюбек.

— Во Франции, — сказал он, — архитекторы, применяя всего три-четыре типа домов, добиваются индивидуальности и художественности архитектурного облика района. Нет надобности доказывать, как усложняет работу планировщика, архитектора, строителя чрезмерное число типовых проектов. Правда, при малом их числе от архитектора требуется больше умения и вкуса. Но их нашим архитекторам, думается, не занимать стать. Однако нужно обязательно учитывать современные требования. К сожалению, строительство нередко ведется по типовым проектам, не изменявшимся с 1957 года. А они рассчитаны на устаревшие материалы, методику и технику строительства. Канонизация таких морально и технически устаревших проектов город, конечно, не украсит.

Нашим зодчим совсем не легко. Масштабы реконструкции, отсутствие прецедента требуют настойчивых поисков средств и методов строительства. Понятно, какое значение имеет в этих условиях экспериментальное строительство. Оно предусмотрено планами градостроителей. Под «опытный полигон» был отведен известный Десятый квартал в Новых Черемушках, где работы ведутся уже несколько лет. Что выдержало проверку и утвердилось и что отвергнуто в ходе этого эксперимента?

Как говорилось на конференции, при существующей организации экспериментального строительства проектные предложения не успевают пройти научную про-

верку. Так, часть проектов, осуществляемых в Десятом квартале Новых Черемушек, одновременно была внедрена в массовое строительство. Другая часть ни в каком эксперименте вообще не нуждалась, так как морально устарела, едва появившись на свет.

Такая строгая и нелюбимая оценка прежних ошибок предшествовала разговору о настоящем. И прежде всего — о научных исследованиях, которые должны стать основой нового в строительстве. Архитектор К. Карташов говорил о необходимости восстановить ликвидированную несколько лет назад Академию архитектуры и строительства. Именно такой научный центр должен быть заказчиком и хозяином всего экспериментального строительства. Оратор сослался на опытное строительство, виденное им в Берлине. Именно Академия архитектуры занималась там экспериментами. Добиваясь исчерпывающего результата, руководители опыта могут с уверенностью принимать рекомендации для массовой застройки.

А. Зайцев, директор Всесоюзного научно-исследовательского института новых строительных материалов, говорил о том, как развивается крупнопанельное строительство в Москве. Столице в этом деле принадлежит ведущая роль. Здесь примерно шестьдесят пять процентов домов возводятся из сборных конструкций. Опыт убеждает, что домостроительные заводы позволяют достигнуть высокого качества строительства. К сожалению, это не наш, не московский опыт. Не только за границей — в Скопле, в ГДР, в Чехословакии, но и в наших прибалтийских республиках результаты крупнопанельного строительства куда лучше, чем в столице. А ведь там действуют заводы московской конструкции. Принята московская технология. Где же причина?

Некоторые ораторы видят ее в недостаточном авторском надзоре. У московского архитектора, по существу, нет средств добиться точного соответствия здания авторскому замыслу. Будь автор достаточно правомочен, он, конечно, не допустил бы приблизительного выполнения архитектурного проекта. Не принес бы своего замысла в жертву календарному плану, ради которого дома нередко принимаются со множеством недоделок.

Облик зданий в большой мере зависит от отделочных материалов. Об этом говорили многие участники конференции.

В отделке фасадов большинства домов в Москве используются красители. А качество наших красителей пока еще оставляет желать лучшего. Удешевление, которое при этом достигается, — кажущееся, эфемерное: ведь такая отделка требует частого возобновления. В то же время цветные бетон и растворы — материалы прогрессивные и, в конечном счете, более экономичные — применяются лишь в... трех процентах сооружаемых зданий.

Мало используются в строительстве

технические новшества, без которых невозможны более совершенные архитектурные решения. Облицовка тонкими плитами ценных минералов — долговечна, привлекательна и, в конечном счете, более дешева, чем нынешняя отделка. Полимеры позволяют герметизировать стыки, что, как известно, до сих пор трудно дается нашим строителям. Но на пути широкого внедрения прогрессивных технических новинок — ряд препятствий. Одно из них, по мнению архитектора Г. Макаревича, — высокая стоимость новых материалов. Между тем применение их следует стимулировать, в частности и соответствующей политикой цен.

Из всего многообразия вопросов, вызвавших горячие споры на конференции, можно выделить главный. Это — генеральный план застройки Москвы. Значение такого плана в реконструкции города объяснять нет надобности. Вполне естественно, что именно такой план и должен быть исходным, начальным документом при решении любой градостроительной проблемы. Если же признать, что результатом всей реконструкции должен быть город единого, цельного облика и характера, то трудно вообще представить себе, как можно вести строительство без генерального плана.

А генерального плана Москвы нет как нет. На это с полным основанием сетовали и В. Нестеров, и те, кто выступал в прениях по его докладу.

Не слишком ли неторопливо ведется эта нужнейшая работа? Два с лишним года назад были определены технико-экономические основы генерального плана. Они стоили огромного труда многих архитекторов, экономистов, строителей. Не время ли завершить дело, получить отдачу от затраченных средств и усилий? Да и как объяснить отставание Москвы в этом деле от других городов? Ленинград, Киев, Минск строят уже в соответствии с генеральными планами. А Москва все еще ждет.

Время между тем торопит. Ведь начата уже реконструкция центра. В границах Садового кольца к 1970 году должно быть построено немало жилья, много общественных и административных зданий. Их уже проектируют. Можно представить себе, насколько гадательна судьба этой работы при отсутствии общего, генерального архитектурно-планировочного решения.

Каковы же перспективы? Вот что сообщает на этот счет директор Института генерального плана Москвы Н. Евстратов:

— Очевидно, генеральный план будет сверстан в 1966 году, но я еще не могу поручиться за эту дату...

Слов нет: задача, стоящая перед авторами генплана — сложна и трудоемка. Территория, которую он должен охватить, обширна и густо заселена. Дело касается города с 6,5 миллиона жителей и площадью свыше 87 тысяч гектаров. Но эти многозначные числа говорят не только о трудоемкости составления генплана, но и ясно показывают, сколь неотложна надобность в нем.

То, что в нашем рассказе главное место уделено ошибкам и несовершенствам градостроительства в Москве, не должно привести читателя к мысли об отсутствии иных, положительных примеров. Они есть и были названы в ходе конференции. Так, заслужил высокую оценку проект застраиваемого ныне района Химки-Ховрино. Хороши как в архитектурно-художественном, так и в функциональном отношении здания Дворца съездов, гостиницы «Юность», Дворца пионеров, аэропорта «Шереметьево» и некоторые другие. Но одно то, что такие сооружения перечислить не столь уж трудно, говорит само за себя. А задача дня в том и заключается, чтобы предотвратить появление в нашей столице плохих и посредственных зданий, улиц, районов. Поэтому наш долг — суровая нетерпимость к серости, ремесленничеству, небрежности и в проектировании и в воплощении проектов. Вскрывая допущенные ошибки, устранить самую возможность их повторения, а не услаждать себя достигнутыми успехами — этой здоровой и обнадеживающей нетерпимостью к недостаткам и была проникнута вся атмосфера конференции московских архитекторов.

Конечно, собрание такого рода не могло привести к императивным решениям, которые тут же немедленно ликвидировали бы все помехи. Но надо надеяться, что к прямому, откровенному и безусловно полезному обмену мнений, который происходил на этой встрече, прислушаются те, кто вправе и обязан такие решения принимать.

## Архитектура = техника

### + искусство

IV Всесоюзный съезд архитекторов был посвящен проблемам качества советской архитектуры — качества в самом широком смысле слова, синтезирующего социальный, экономический, технический и художественный прогресс зодчества.

Работу съезда отмечал сугубо деловой, самокритический стиль. Ораторам было что сказать, и каждый из них раскрывал еще один аспект, добавлял еще один штрих к общей картине, имя которой — Сегодня и Завтра советской архитектуры.

Вот о чем говорил в своем докладе первый секретарь правления Союза архитекторов СССР Г. Орлов.

— Современным зданиям свойственны строгие и простые формы, гладкие поверхности. Поэтому значение качества строительства ныне неизмеримо возрастает. Больше того, плохое качество работ и материалов дискредитирует новую направленность советской архитектуры и прогрессивные индустриальные методы строительства, снижает архитектурно-художественную вы-

разительность наших городов и поселков, вредит экономике эксплуатации зданий, резко ухудшает условия жизни людей, их быт, самочувствие, настроение.

Вместе с тем строительное качество многих уникальных зданий достаточно высоко. Понятно, что эстетическое воздействие таких зданий весьма глубоко.

Сегодня, после решений сентябрьского Пленума ЦК КПСС, любой строительный брак особенно нетерпим. Мы должны резко поднять качество массового строительства жилых, общественных и промышленных сооружений, довести его до уровня лучших мировых стандартов.

Создано Министерство промышленности стройматериалов, и оно обязано, наконец, обеспечить архитекторов и строителей стойкими строительными и отделочными материалами в нужном количестве и в должном ассортименте, в том числе — высокопрочным, быстротвердеющим и декоративным цементом, легкими заполнителями, герметиками, пластиками и красителями.

Важен вопрос о взаимосвязи архитектуры, экономики и техники. Давайте глубоко разберемся в том, например, что следует понимать под экономичностью в архитектуре, как добиться наиболее органического слияния архитектуры и техники, какие направления техники следует развивать, исходя из насущных требований архитектуры.

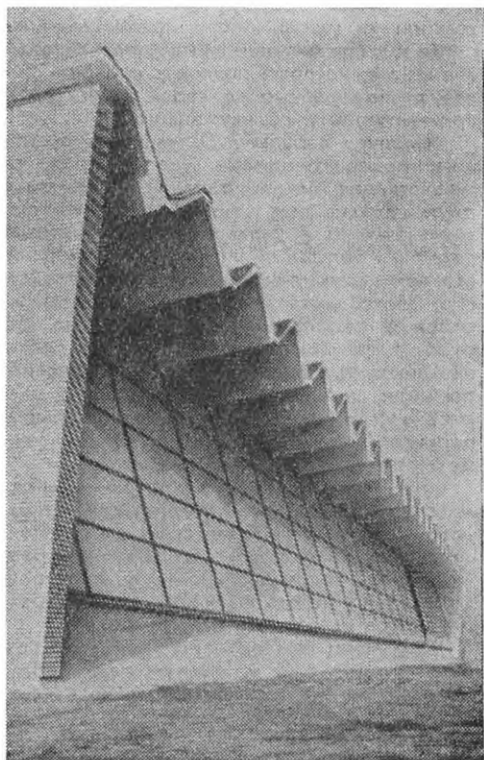
Очень часто забывают, что дешево не всегда означает выгодно. Надо исходить из одного: из конечной общегосударственной выгоды, которую в конкретных условиях даст та или иная идея.

Так, в Москве расходы на устранение строительных дефектов доходят до 3,5 процента от сметной стоимости строительства. Эти суммы (миллионы рублей!) могли бы покрыть значительную часть затрат на улучшение качества работ и применение более долговечных материалов.

И архитекторы, и утверждающие инстанции должны по-настоящему вникать в существо экономических проблем. Попытка «подогнать» экономику под уже принятые решения, как было с этажностью, приводит к серьезным ошибкам, за которые нам приходится платить как в прямом, так и в переносном смысле. Вместе с другими специалистами нам надо детально разобраться в сложном комплексе различных факторов, которые определяют экономичность тех или иных приемов реконструкции и строительства городов, создания удобств для населения.

Не будет преувеличением, если мы скажем, что прогресс нашей строительной техники за последние годы огромен и влияние техники на архитектуру, на ее формирование совершенно бесспорно. Но ведь и архитектурная практика также должна оказывать существенное воздействие на новую технику.

Крупнопанельное домостроение развернулось в стране широко. Вместе с тем архитекторам и инженерам следует и



*Москва. Крытый каток в Лужниках*

дальше разрабатывать типы зданий из объемных элементов, а если иметь в виду «стратегию», то нам предстоит искать новые, еще более совершенные виды полносборных домов.

Архитектурное творчество в условиях индустриального строительного производства непосредственно связано с проблемой типизации и стандартизации. Основа массового строительства — типовые проекты жилых и культурно-бытовых зданий, разработанные применительно к разнообразным местным и климатическим условиям страны. Сегодня это безусловно наиболее разумный и правильный путь быстрого решения жилищной проблемы.

Но, к сожалению, бывают случаи, когда мы, вместо того чтобы из одинаковых деталей строить разные здания, из разных деталей строим одинаковые дома. Это уже парадокс! В Москве, например, в Новых Черемушках возводятся два девятиэтажных крупнопанельных дома серии И-49 и И-57. Внешне и по планировке их не различить, хотя у них разный конструктивный шаг, и следовательно, детали не взаимозаменяемы.

В перспективе, по мере освоения новой технологии, улучшения организации заводского домостроения, развития проектного дела и, конечно, при необходимых эконо-



мических предпосылках, предприятия строительной индустрии смогут постепенно перейти к выпуску таких стандартных типовых элементов, которые позволят собирать более разнообразные по своей структуре и архитектурному облику здания.

Следует серьезно подумать о разумном пределе типизации. Надо ли стандартизовать для Москвы, Ленинграда, Киева и других крупнейших городов дома в шестнадцать этажей? А в двадцать четыре этажа? Ведь чем больше сооружение, тем сильнее его архитектурно-эмоциональное воздействие. Плохо, когда мы попадаем в безликий район с пятиэтажной застройкой, но что будет, когда вокруг центра появятся десятки одинаковых высотных домов?! Целесообразно ли, скажем, многоэтажные дома, разработанные для Нового Арбата, целиком переносить и на какую-нибудь другую улицу Москвы? По-видимому — нет.

Да, типовое проектирование — основа массового жилищного строительства. Но отдельные, наиболее значительные в архитектурном отношении объекты допустимо проектировать индивидуально — однако с обязательным использованием строительных элементов заводского изготовления.

Мы мало думаем о взаимосвязи архитектуры и природы. Многие градостроители разучились использовать рельеф местности, «вписывать» архитектуру в ландшафт.

А вместе с тем у нас есть хорошие примеры сохранения естественного ландшафта: жилой район «Агенскалские сос-

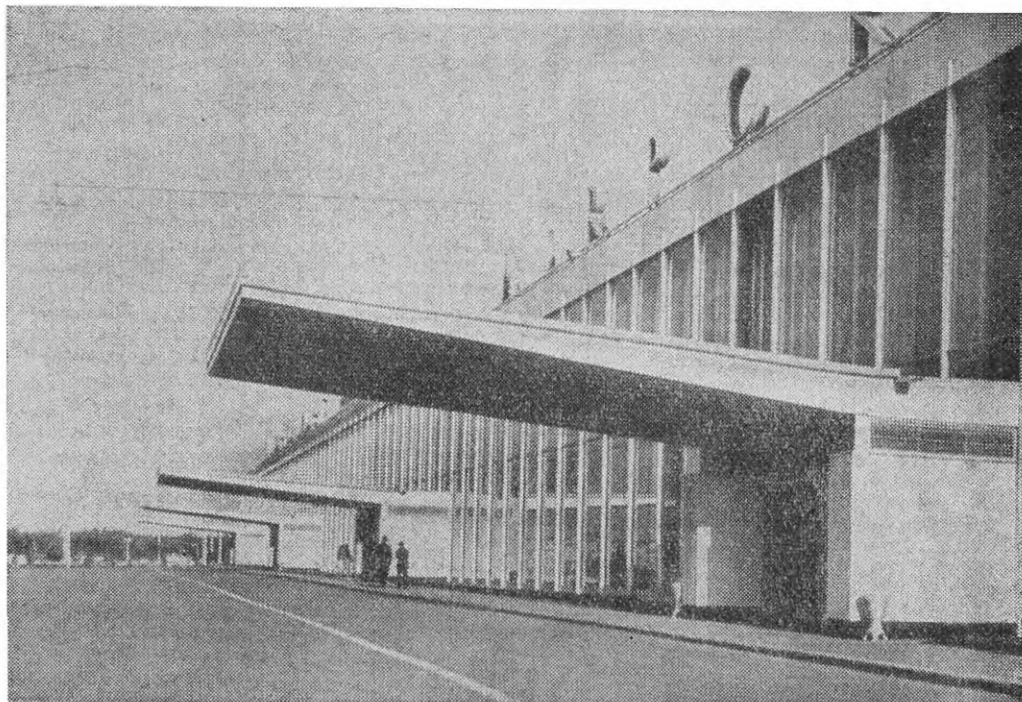
ны» в Риге (архитекторы Н. Рендель, Е. Якобсон), Артек в Крыму (архитекторы А. Полянский, Д. Витухин), научный городок под Новосибирском (архитекторы М. Белый, А. Михайлов, И. Орлов) и др.

Проектировщик, который не принимает во внимание особенности природного окружения и не использует их для создания лучших условий жизни человека, для архитектурной выразительности, — плохой архитектор, так же как плох тот строитель, который не может возвести здание, не превратив прилегающую к постройке территорию в перекопанный и захламленный пустырь.

Природные богатства страны сплошь и рядом уничтожаются в результате нашей недальновидности, небрежности и, можно сказать, недостаточной архитектурной, строительной и особенно хозяйственной культуры. При строительстве крупных промышленных предприятий и тем более при их эксплуатации нередко загрязняются водоемы, почва и воздушный бассейн. С этим нельзя больше мириться!

В настоящее время синтез архитектуры, монументального и декоративно-прикладного искусства в новых городских ансамблях и жилых комплексах, в интерьерах жилых, общественных и промышленных зданий становится одним из важнейших средств идейно-художественной выразительности.

Проблема синтеза искусств в советской архитектуре связана с острой идеологической борьбой против формально-декора-



*Москва. Шереметьевский аэровокзал*

тивных и абстрактных тенденций буржуазного искусства.

За последние годы спроектировано и построено немало зданий и сооружений, в которых монументально-декоративному элементу отведена значительная роль в общем композиционном решении. Такое направление находит поддержку у общественности, и синтез искусств перестают отождествлять с бесполезным украшательством. Это очень важно.

Органический синтез архитектуры с монументальной росписью или скульптурой, синтез, обусловленный логикой развития архитектурного организма, требует огромного труда и неустанных поисков. Перед нами давно уже стоит задача формирования эстетически совершенной жизненной среды социалистического общества, в которой все было бы художественно осмыслено, взаимосвязано и направлено на удовлетворение эстетических потребностей советского человека.

— Наши друзья и коллеги в социалистических странах,— сказал заместитель директора Института истории искусств Министерства культуры СССР О. Швидковский,— упорно работают над решением тех же, что и наши, или очень близких к нашим задач. Обмен опытом, объединение творческих усилий безусловно способны принести огромную взаимную пользу. Приведу несколько примеров.

Может быть, не все это знают, но когда в Чехословакии возник вопрос о том, какие типы жилых домов следует строить в текущем семилетии, была проведена общегосударственная дискуссия о жилье. В этой дискуссии, длившейся около года на страницах печати, на собраниях, по радио и телевидению, приняло участие более четырехсот тысяч человек: не только архитекторы, врачи, инженеры, социологи, философы и другие специалисты, но и великое множество домохозяек, молодежи, людей самых различных профессий — непосредственных потребителей жилья. Вначале детально обсуждали достоинства и недостатки действующих типовых проектов. Затем архитекторы обобщили замечания и создали новые типы квартир. Эталоны этих квартир открыли во всех крупных городах для всеобщего обозрения. И только после всего этого были разработаны перспективные типы квартир для массового строительства.

Вероятно, многое из этого опыта могли бы использовать и мы.

Другой вопрос. Всех нас беспокоит сложившаяся в практике обезличка архитектурного творчества. Ведь даже специалисты сплошь и рядом затрудняются назвать хотя бы коллектив (не говоря уже об отдельных авторах проекта), который спроектировал те или иные здания, кварталы, парки. Такая обезличка приносит несомненный вред. Хорошие здания, настоящую архитектуру могут создавать лишь истинные мастера, талантливые зодчие, и они имеют право на то, чтобы их имена были широко известны.

В Польше, Югославии, Венгрии система-

тически устраиваются творческие отчеты и открытые публичные выставки работ отдельных архитекторов, творческих групп, коллективов, издаются каталоги, проспекты. Было бы полезно подобный опыт сделать нормой работы и нашего Союза архитекторов.

Можно извлечь много ценного и полезного и из других творческих и организационных приемов наших друзей. Я понимаю, как трудно проводить конкурсы. Но, может быть, следует поглубже изучить опыт Чехословакии, где во всем важнейшим архитектурным и градостроительным объектам проводятся открытые конкурсы и победитель, независимо от того, где он работает, получает возможность реализовать свой проект.

Далеко не однозначно наше отношение к архитектуре развитых капиталистических стран. В ее практике безусловно есть много такого, что заслуживает внимательного изучения. В первую очередь — это высокое развитие техники строительства и строительных конструкций. Причем важно, что развитие это идет сразу по нескольким перспективным направлениям.

Успехи архитекторов во многих странах опираются на абсолютно точное и безусловное выполнение проектов строителями. Нам совершенно необходимо не только знакомиться с этим положительным опытом, а в самые кратчайшие сроки по-деловому внедрять его в собственную практику. Именно к этому призывал В. И. Ленин, когда писал: «Чтобы победа была полная и окончательная, надо взять все то, что есть в капитализме ценного».

Однако нельзя не видеть в буржуазной архитектуре и тех откровенно негативных, враждебных нам тенденций, которые выявляются со все возрастающей ясностью. Правящие круги капиталистических стран уже давно взяли архитектуру на вооружение как мощнейшее средство идеологической пропаганды «свободного предпринимательства» и капиталистического образа жизни. Пресловутому рационализму и техницизму, с которыми еще недавно мы отождествляли архитектуру капиталистического Запада, пришлось ныне сильно потесниться. На первый план выдвинулись не массовые, а уникальные здания. Их архитектура уже далеко не проста и не лаконична. Все больше начинают господствовать, особенно в административных зданиях, в посольствах, выставочных сооружениях,— пышность и помпезность, вычурность форм, обилие орнаментального декора, позолоты, дорогой отделки, световых эффектов. Когда сталкиваешься с такого рода работами даже крупных зодчих, порой бывает трудно отделаться от ощущения, что они находятся под влиянием показной моды, далекой в общем от настоящего вкуса.

Такое переплетение рекламы и идеологии мы особенно отчетливо увидели на выставке «Архитектура США». Притом эта выставка меньше всего была рассчитана на профессионалов. На ней почти полностью

отсутствовали планы, разрезы и конструктивные схемы.

Отмечая чуждые нам тенденции, мы должны сделать для себя самые серьезные выводы. Прежде всего нетерпимо еще встречающееся у нас пренебрежение к идеологическим проблемам архитектуры. Нетерпимо и слепое следование поверхностной моде, стилизация «в современном духе». Архитектура, этот, по словам В. Гюго, «осадоочный пласт любого общества», всегда конкретна. Она служит определенным целям, отливается в форме определенной социальной среды.

Сегодня очень важно по-настоящему глубоко, без всякой предвзятости, но и без излишнего прекраснотушия изучать зарубежную архитектуру. Для этого необходимо широко публиковать работы крупных зарубежных зодчих и ученых, а мы делаем это пока плохо и мало.

Но одновременно мы ждем и серьезных работ наших авторов с анализом различных тенденций в зарубежной архитектуре, с подлинно научным разбором и критикой всех негативных явлений и четкой формулировкой нашего архитектурного кредо.

В нашей практике можно найти немало примеров новой стилизации, чисто внешнего усвоения архитектурной «моды». Большим подарком для москвичек было открытие во всех районах города «салонов красоты». А нужно ли было, отдавая дань «стеклянной» моде, заставлять женщин причесываться и мыть голову фактически на улице, под удивленными взглядами прохожих? А стоило ли облицовывать стеклом глухой барабан Панорамы Бородинской битвы?

Большую тревогу высказывает наша общественность за состояние неповторимых памятников древнего зодчества. Заместитель председателя Оргкомитета Всероссийского добровольного общества охраны памятников истории и культуры Л. Петров говорил на съезде о том, что, решая задачи грандиозного массового строительства, мы все свои силы направили на ликвидацию накопившейся десятилетиями жилищной нужды. Но при этом забыли, упустили другое. Архитекторы, как государственные деятели, должны были думать не только о сегодняшнем дне. Сейчас идет серьезный разговор о том, как сделать выразительным архитектурный облик городов, преодолеть распространяющую повсеместно гнетущую монотонность. Чтобы сделать прекраснее, выразительнее наши города, зодчие обязаны при реконструкции старых городов не только сохранять памятники архитектуры, но и оставлять в старом городе все лучшее, характерное для него, все, что составляло его своеобразие, напластовываясь веками, что делало Курск непохожим на Орел, Новгород — на Псков и т. д.

Памятник архитектуры — не экспонат под стеклянным колпаком в музейной витрине. Он стоит на улицах городов и других

населенных пунктов и вместе с другими зданиями формирует их облик. Архитекторы должны предусмотреть его место в генеральных планах, проектах детальной планировки городов и кварталов, определить выгодное художественное соотношение с окружающей застройкой. Памятники архитектуры — не только элементы украшения городов, демонстрация мастерства наших предков — они могут служить, как в других странах, щедрым источником дохода, и сохранение памятников архитектуры — священная обязанность советских архитекторов.

Ансамбль современного города не мыслится без монументальной живописи. Казалось, совершенно необходим тесный творческий контакт архитекторов и художников. А что получается в жизни? Секретарь Союза художников СССР Е. Белашева говорила о тех нерешенных организационных вопросах, которые мешают укреплению этого творческого содружества.

— Широко применяя типовое проектирование, индустриальные методы строительства, новые строительные материалы, осуществляя новую планировку городов, — говорила Е. Белашева, — мы хотим видеть советскую архитектуру простой и ясной, хотим видеть ее обаятельной. Я говорю «обаятельной», потому что красота архитектуры всегда обращена непосредственно к человеческому чувству. Она должна быть такой, чтобы человек чувствовал себя легко, чтобы архитектура утверждала, а не подавляла человеческое достоинство. В создании такой архитектуры должны участвовать и мы, художники.

Но что случилось у нас за последние годы в области синтеза архитектуры и искусства? Известны случаи, когда под флагом устранения действительных излишеств в архитектуре мы шли по пути полного отказа от монументального искусства даже там, где оно было насущно необходимо. И вот результат — серьезный ущерб воспитанию трудящихся, их духовному развитию.

Вольное толкование постановлений об излишествах в некоторых республиках приводит к тому, что и станковое искусство изгоняется из общественного интерьера, вводится запрет на установку декоративной скульптуры, на художественное оформление интерьера.

Необходимо узаконить совместную работу художника и архитектора с самого начала проектирования до завершения строительства. Пусть фантазия художника и фантазия архитектора рождаются вместе! Только тогда возникнет синтез. А не тогда, когда художник приходит на готовое место и в короткий срок что-то пытается сделать. Допустимы ли в монументальном искусстве эти бесплановость, случайность и поспешность, отсутствие контроля со стороны авторитетных художественных организаций?

Страна располагает квалифицированными кадрами художников-монументалистов, получивших специальное образование в восьми художественных вузах нашей

страны: московском, ленинградском, таллинском, вильнюсском, рижском, харьковском, тбилисском и львовском. Между тем эти кадры из-за отсутствия государственного планирования художественно-монументальных работ не используются. Не полностью используются и кадры художников декоративного и промышленного искусства.

Искусство нашей страны многонационально. Наше стремление к интернациональному ничуть не исключает национальное начало, а, напротив, расширяет его, способствуя взаимообогащению национальных культур. Следует отрешиться от нивелировки в архитектуре городов разных республик. Использовать все богатство пластического и образного выражения национальной культуры.

Красота города зависит и от того, как он вписан в природу. Профессор Московского архитектурного института Л. Залеская обратила внимание делегатов на значение ландшафтной архитектуры.

Монотонность и однообразие застройки — это результат полного игнорирования ландшафта. Учитывая ландшафты целых городов, районов и даже микрорайоны дворов, архитекторы, опытные художники или скульпторы должны оперировать пластикой рельефа, водной глади, зелени, придавая им человеческую теплоту и масштабность. Тогда это становится искусством.

Нельзя строить город, не принимая во внимание его природную среду. Нам особенно запоминаются города, в которых удается сохранить природу. Между тем мы часто наносим непоправимые раны природе, уничтожая леса, луга, водоемы.

Особенно велика роль ландшафтных архитекторов в планировке промышленных районов и зон отдыха. Мы знаем, что многие такие зоны, скажем, районы озера Байкал, озера Селигер, Пушкинский заповедник, Ясная Поляна, пострадали от неправильного планирования и организации территории.

Ландшафтная архитектура часто подменяется понятием «озеленение». Подобное отождествление неграмотно, невежественно.

Если мы обратимся к зарубежному опыту, то увидим, какое огромное значение придается во многих странах ландшафтной архитектуре. В Англии, например, не осталось некультивируемой природы: там созданы парки, которые конкурируют с

природным ландшафтом. Ландшафтная архитектура процветает в Болгарии. Тщательно работают над ландшафтом в ГДР — там озеленяют все пустыри и превращают мертвые карьеры в места отдыха.

Мы совсем забыли о садово-парковой архитектуре, не сохраняем произведения садово-паркового искусства. Никому в голову не придет, например, устраивать танцплощадку в Эрмитаже. Но почему-то в Петергофе, в историческом парке, строят закусочные, рестораны, ставят карусели. Отчего увеселительные заведения не расположить в другом, более подходящем для этого месте? Такой памятник архитектуры как Горки Ленинские уродуется: недалеко расположен коксогазовый завод, и его вредные газы губят здесь деревья.

Во всем мире существуют ландшафтные институты. Создаются они и в странах социализма. Нам также надо организовать такой институт. Мы должны решительно бороться с неприглядной монотонностью и серым однообразием в застройке городов.

\* \*  
\*

Советские архитекторы сознают свою огромную ответственность перед народом. Они призваны создавать удобные, экономичные и красивые города и села, промышленные сооружения, жилые и общественные здания. Страна вверяет архитекторам и строителям огромные средства, и от того, каковы будут проекты, каково будет качество строительства, зависит эффективность использования этих средств.

Мы строим не только из стали, бетона и кирпича. Город — это воплощение духа и культуры народа. Зодчие — это творцы архитектурного облика нашей Отчизны. Им отведена важная роль в развитии общества. Поэтому от зодчих, наряду с профессиональным мастерством, требуется еще и высокая гражданственность, принципиальность, идейная закалка, непримиримость к ремесленничеству, бесстрастности и равнодушию. И то, что советские зодчие нелюбят и смело ведут сегодня разговор о своих недостатках, о «болезнях роста», свидетельствует о серьезном творческом подъеме в их работе. Надо надеяться, что мы будем свидетелями нового этапа в развитии советской архитектуры. Наш народ хочет гордиться своей архитектурой так же, как он гордится многими великими завоеваниями социалистического строя.



## ПОЕЗД С ЦВЕТОЧНОЙ

### Платформа на питерской окраине

На южной окраине Петрограда, за Московскими триумфальными воротами, влево от них, среди лабиринта глухих улиц была железнодорожная платформа «Цветочная площадка». Цветочная площадка имела выход на главную магистраль, ведущую к Москве, притом — минуя столичные вокзалы. И еще одно обстоятельство делало Цветочную площадку удобной для сосредоточения и негласной отправки отсюда главного поезда Совнаркома. «Бычьей платформе», где уже стояли три состава пассажирских вагонов, находилась невдалеке. В день отъезда Ленина и народных комиссаров можно было быстро подать на Цветочную один из составов, принять там пассажиров, багаж и скрытно отправить на Москву.

Мысль о Цветочной площадке подал Бонч-Бруевичу «один совершенно верный, преданный революции товарищ-коммунист, бывший в то время одним из комиссаров Николаевской железной дороги», — свидетельствовал Владимир Дмитриевич в своих воспоминаниях «Переезд Советского правительства в Москву». Но фамилию этого комиссара Бонч-Бруевич запомнил (он писал и об этом). Судя по архивным документам, этим комиссаром был, видимо, Петр Григорьевич Лебит. Он держал в своих руках все тайные нити, касающиеся путевой, технической стороны дела, и обеспечивал как скрытность операции, так и своевременность исполнения ее.

Примерно за неделю до отъезда Совнаркома Бонч-Бруевич поехал на Цветочную, чтобы самому осмотреть платформу и местность вокруг. С Владимиром Дмит-

риевичем поехал его бессменный адъютант комиссар Семьдесят пятой Михаил Цыганков.

Место понравилось — окраинное, среди глухих улиц, где преимущественно живет работающий питерский народ. И вместе с тем подъезд хороший: рукой подать от Забалканского проспекта и шоссе. (В то время Забалканский проспект — ныне Московский — оканчивался у Московских ворот; дальше шло шоссе).

Возвращаясь в Смольный, Бонч-Бруевич сказал Цыганкову:

— Надо поручить нескольким нашим товарищам, чтобы они наведывались сюда. Вся местность осветить... Почятно?

— Ясно, Владимир Дмитриевич!

Пару дней спустя Я. Д. Бонч-Бруевич вместе с Н. П. Горбуновым и комендантом Смольного П. Д. Мальковым определили состав охраны поезда и охраны правительства после размещения его в Московском Кремле. Решили взять не только латышских стрелков (сводный коммунистический батальон, состоявший из лучших бойцов латышских стрелковых дивизий), но и автоброневую часть и некоторые другие подразделения. Взяли также команду и имущество радиостанции Таврического дворца, которая обслуживала ВЦИК и Совнарком (преимущественно информацией иностранных агентств печати).

Тогда же был уточнен список служащих, подлежащих эвакуации. В. Д. Бонч-Бруевич и Н. П. Горбунов обсуждали каждую кандидатуру. Но пока никому не объявляли, кто едет, а кто остается. Это — в целях безопасности, чтобы информацией располагал возможно более узкий круг лиц.

На стол управляющего делами Совнаркома лег рапорт:

«7 марта 1918 г  
г. Петроград

Товарищу БОНЧ-БРУЕВИЧУ  
от комиссаров комнаты № 75

Коллегия комиссаров, обсудив сего числа о своем положении в связи с создавшимися обстоятельствами времени, единогласно постановила:

Окончание. Начало — в № 1

1) Просить Совет Народных Комиссаров обеспечить выезд из Петрограда семейств, выдав на это установленное разрешение на выезд вне очереди с представлением соответствующих вагонов и помещений для багажа. Место выезда и количество членов семьи будут указаны каждым из комиссаров.

2) Запросить, кто из товарищей комиссаров намечен к выезду в Москву и кто остается в Петрограде...

Сообщая об этом, просим немедленно рассмотреть наше заявление и поставить нас в известность заблаговременно, чтобы иметь возможность заранее подготовиться и определить путь следования членов семей».

Была ли нужда в таком «послании», трудно сказать. Вероятнее всего, нужды не было. Те, кто готовил переезд правительства, никого не забывали. Доказательство тому — список, составленный 3 марта. И конечно, не могли быть забыты комиссары Семьдесят пятой. Но дело требовало строжайшей конспирации; никто, даже комиссары Семьдесят пятой, не могли быть информированы раньше времени. Что касается формы доклада «коллегии комиссаров», то нужно иметь в виду, что тогда все и по каждому поводу писали резолюции.

Назавтра коллегия комиссаров получила разъяснения по всем вопросам...

Мясца полтора назад в Семьдесят пятой насчитывалось человек сто пятьдесят. А осталось немного. Одни разъехались по стране — дела позвали, другие перешли на работу в ВЧК, третьим приказали оставаться в Петрограде, в Смольном. И вот он, документ, на тех, кому предстояло собираться в Москву:

#### «СПИСОК КОМИССАРОВ 75-й КОМНАТЫ

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Цыганков    | 8. Артемьев   |
| 2. Мартынов    | 9. Игнатов    |
| 3. Пискунов    | 10. Сухов     |
| 4. Маторин     | 11. Юргенсон  |
| 5. Воронин     | 12. Гальсюк   |
| 6. Матулевич   | 13. Мельников |
| 7. Квятковский | 14. Соловьев» |

Всего 14 фамилий... Михаил Дмитриевич Цыганков — во главе. И это не случайно. Он был одним из наиболее бесстрашных и деятельных. С середины февраля он не помнил ни одной ночи, когда мог поспать спокойно. Где только не побывал он за эти дни! Ему довелось сыграть не последнюю роль и в той операции, которая готовилась сейчас...

Мартынов, Матулевич, Сухов, Игнатов... Это те, кто и в дождь, и в пургу мчался с пакетами Ленина, кто в закоулках петроградского лабиринта выслеживал врага; те, кто, уходя из Смольного в ночь, в бой, никогда не знал, возвратится ли в Семьдесят пятую, не разделит ли судьбу Ивана Чугунихина, сраженного кинжалными ударами на Васильевском.

Комиссар Квятковский хотя и значился в списке «москвичей», но ему в день отъезда Совнаркома пришлось выехать совсем в другую сторону... 7 марта в Гатчине был арестован великий князь Михаил Романов и члены его свиты, готовившие антисоветский заговор. 9 марта Совет Народных Комиссаров постановил отправить Романова и его сообщников в Пермскую губернию под надзор местного Совета. Назавтра

Квятковскому вручили предписание: приехать на себя обязанности комиссара конвоя и вместе с латышскими стрелками товарищами Гринбергом, Эликом, Менгелем, Шварцем, Энглитом и Ленгардтом препроводить до Перми особо опасных государственных преступников. В Москву Квятковский приехал уже из Перми.

...Едут ли — не едут, а покуда, в те же последние дни пребывания в Питере, комиссары Семьдесят пятой, проинструктированные В. Д. Бонч-Бруевичем, ходили-блуждали вокруг Цветочной площадки, обеспечивая одну из самых конспиративных операций, зорко наблюдали «за тем, что там делается, не появляются ли в этом районе лица, не проживающие здесь постоянно», не заинтересовался ли кто прибытием вагонов на Цветочную. Ходили комиссары небритые, оборванные, ни дать, ни взять — безработные.

После каждого очередного обхода «безработные» являлись к Бонч-Бруевичу и докладывали, что видели и слышали. А он, чтобы исключить какое-либо случайное подслушивание — кем бы то ни было! — стал принимать «безработных» даже не в Семьдесят пятой, а в других местах, в том числе у себя дома, «назначая для этого каждой группе товарищей разные часы в разные дни».

8 марта всем начали выдавать жалование за февраль и подъемные на дорогу. В делах секретариата Совнаркома сохранились документы о выплаченных суммах. Комиссарам Семьдесят пятой Матулевичу, Маторину, Квятковскому — по 250 рублей... Председателю Совета Народных Комиссаров Владимиру Ильичу Ленину — 500 рублей. Всем дополнительно — подъемные; В. И. Ленину — 200 рублей, «на общих основаниях».

Но в Смольном не только упаковывали ящики. В адрес Совета Народных Комиссаров, в адрес В. И. Ленина шли и шли телеграммы и письма. Их нужно было готовить для доклада Владимиру Ильичу. Вся революционная Россия была с Лениным, своим вождем... В таежном далеком Ишиме собрался первый уездный съезд Советов. Только сейчас там установилась пролетарская власть, и сибиряки торопились доложить Ильичу: «Доводим до Вашего сведения — власть в руках совдепов. Наш уголок Сибири присоединяется к общей семье Советской социалистической республики»... Горячий привет донес телеграф из Тамбовской губернии. И заверение: «Верьте, дорогие товарищи, что не допустим контрреволюционной гидре капиталистов справлять кровавую тризну по Советской власти. Во всякое время с оружием в руках готовы все

по Вашему зову выступить в защиту социализма... Телеграммы из Смоленска, Евпатории, с Алтая — полное одобрение политики Совнаркома, В. И. Ленина, ведущих страну к миру...

6—8 марта Владимир Ильич большую часть времени провел в Таврическом, на съезде партии. Но в часы перерывов, рано утром или поздно вечером, он приходил в свой кабинет, читал подготовленные для него бумаги, выслушивал устные доклады, принимал наркомов, нашел время, чтобы побеседовать с американцем Рэймондом Робинсом, ставшим посредником между Советским правительством и послом Френсисом по вопросам дипломатических отношений между Советской Россией и Соединенными Штатами Америки. Поздно ночью Ленин оставался один, но продолжал работать, готовя документы к заседаниям съезда, для печати, для очередных заседаний Совнаркома.

Машинистки Смольного работали круглые сутки. Обессиленные, склонялись на машинки, засыпали. И были случаи — о том рассказала переписчица Совнаркома В. П. Екимова, — Ленин, выходя из своего кабинета в секретариат, заставал такую картину: две превозмогают сон, а две спят. Владимир Ильич, чтобы не разбудить уставших, на цыпочках подходил к работающей машинистке и вполголоса диктовал неотложно срочные бумаги.

Анне Моисеевой, машинистке Смольного, было лет девятнадцать. Жалованье получала такое же, как и другие конторские служащие. Паек — не больше, хлеб — тот же, с мякиной. Пальтишко у нее было старенькое, на все сезоны. На работу приходила почти всегда в одном платье — другого не было. Но работая в Смольном, Анна видела больше, чем многие ее сверстницы. Вокруг были люди, одержимые одной страстью — переустроить мир, коммунисты... 7 марта Анна Моисеева, смущенная и взволнованная, прежде чем сесть за машинку, написала от руки несколько коротких фраз: хочет вступить в партию коммунистов. «А вы готовы к этому?» — спросили Анну. «Готова»... С Анной не раз говорила о том Елена Дмитриевна Стасова, секретарь Центрального Комитета партии. Рассказывала о своей жизни, о том, как она сделала выбор. Давала читать брошюры товарища Ленина. «Да, готова»... Елена Дмитриевна человек прямой, она говорила, что быть коммунисткой — значит взять на себя многое; время такое, что партийный долг может позвать под огонь; «может враги нас вешать будут»... «Ты готова, Анна?»... — «Да, готова!»

7 марта в Смольном Анна Моисеева стала коммунисткой.

## Едет ВЦИК...

В 12 часов 20 минут ночи с 8-го на 9 марта, закрыв последнее заседание партийного съезда, Яков Михайлович Свердлов попрощался с Владимиром Ильичем, с чле-

нами ЦК и вскоре покинул Таврический дворец.

Свердлов должен был торопиться в Москву... На 12 марта там назначен IV Всероссийский съезд Советов. За ним последнее слово: утвердить или отвергнуть Брест. В Таврическом большевистский партийный съезд сказал «да!» А как будет в Москве, на съезде Советов? Там, кроме делегатов-большевиков, будут и левые эсеры, и меньшевики. Их позиция ясна... Не исключено, что и «шляхтичи»-фразеры, шумевшие в Таврическом, тоже захотят снова «обнажить шпаги». Надо приехать в Москву как можно раньше, подготовить съезд так, чтобы линия, намеченная в Таврическом, победила и в Москве.

...Накануне, исполняя задуманный план, В. Д. Бонч-Бруевич позвонил в секретариат ВЦИК и попросил доставить ему полный список членов Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета. Полный! И обязательно по фракциям: большевики, левые эсеры, меньшевики... Список оказался большим — триста шесть фамилий. Владимир Дмитриевич против каждой фамилии проставил какие-то цифры.

Ночью 8 марта на Николаевский вокзал подали два пассажирских поезда. Один — из синих царских вагонов, второй — из обычных. О назначении этих поездов на вокзале говорилось открыто. Даже красногвардейцы, дежурившие при входе на платформы, на этот раз оказались словоохотливыми. Спрашивали их вокзальные старожилы-солдаты, дожидавшиеся эшелонов: «Это кто ж в царских поедет?» Красногвардейцы отвечали: «Высшая рабоче-крестьянская власть, члены ВЦИК». Услышав такое, смирились даже самые напористые. А потом на вокзале появились члены ВЦИК — рабочие в картузах, крестьяне в овчинных полушубках и зипунах, в яловых сапогах или валенках. Прибыли и левозэсерские и меньшевистские лидеры. Те выделялись и одеждой, и всем своим видом — большей частью длинноволосые, в черных широкополых шляпах. Они прохаживались по платформе нарочито приметно.

Члены ВЦИК всех фракций имели на руках пропуска; в каждом был проставлен номер вагона и номер места.

Когда посадка окончилась, выяснилось, что в каждом вагоне сидят представители всех фракций: и большевики, и левые эсеры, и меньшевики. Притом в первом вагоне — преимущественно лидеры оппозиционных партий.

Вот, оказывается, для чего В. Д. Бонч-Бруевич «колдовал» над списком членов ВЦИК! Теперь Бонч-Бруевич был уверен, что правозэсерские террористы не станут взрывать поезд, в котором вперемешку с большевиками едут представители партий, находящихся в оппозиции к большевистской Советской власти!

Второй поезд был предназначен для служащих различных наркоматов и других правительственных учреждений. В. Д. Бонч-Бруевич приказал отправить оба поезда с



интервалом в двадцать минут. И это тоже имело свое значение...

Перед отходом первого поезда к Николаевскому вокзалу подъехал крытый автомобиль. Вышел матрос, потом комиссар Михаил Цыганков, за ним В. Д. Бонч-Бруевич, последним — Я. М. Свердлов. Толпившиеся перед вокзалом военные и гражданские, люди случайные и неслучайные, узнавали:

— Свердлов!

— Стало быть, ВЦИК в полном составе едет...

В сопровождении охраны Свердлов и Бонч-Бруевич миновали красновардейскую заставу, прошли в вокзал, потом на платформу. Свердлов был узан и здесь. Вдвоем поднялись в первый вагон первого поезда. Поздоровались с депутатами. Поинтересовались, как устроились. Потом прошли во второй, третий вагоны, до конца поезда. Все вагоны светились огнями. Еще бы — царские! Впрочем, самый последний вагон почему-то оказался неосвещенным. Багажный? Свердлов и Бонч-Бруевич зашли и в этот вагон. Но не задерживаясь вышли. Только с обратной стороны. Там, где было совсем темно. И на платформе не было ни единого агента!

Заранее намеченной дорогой Бонч-Бруевич провел Якова Михайловича Свердлова во второй поезд. На всякий случай, для безопасности...

Распрощались.

С интервалом в двадцать минут оба поезда ушли в Москву. В Исполкоме дороги с каждой крупной станции получали донесения: «Следуют по расписанию». Тут же звонили в Смольный, Владимиру Дмитриевичу Бонч-Бруевичу: «Идут по расписанию».

## «...А когда поедет Ленин?»

...В Смольном пожар... Горит Семьдесят пятая комната... В гостинице «Монрепо», выбежав из своего номера, скончался на лестнице, судя по найденным документам, председатель Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией Дзержинский. Смерть произошла из-за того, что по ошибке вместо морфия Дзержинский принял какой-то другой порошок. Яд был сильнодействующим, и смерть наступила через десять минут... Демобилизованные солдаты задержали на станции Любань эшелон со служащими и ценностями правительственных учреждений, следовавший в Москву. Служащие высажены, ценности разграблены... Бегство... Петроград пустует... Тысячи несчастных и наивных все еще стоят у Пассажа, ожидая, когда откроются заветные двери. Тысячи и тысячи, как и в предыдущие дни, уходят пешком, едут на перекладных, бегут без оглядки... С Николаевского вокзала в бывших царских поездах удаляются вышние советские депутаты, министры и министерства, большевистские редакторы и цекисты профсоюзов. Новая власть спешит в новую столицу. Но можно с уверенностью сказать, что на новом ме-

сте питерская власть не будет спать на рожах. В Москве нет чиновников, нет интеллигенции, готовой служить большевикам. Москва — самый буржуазный город России. Там трудно будет творить ленинские декреты. Всякий, кто знает Москву, с трудом представит себе Иверскую и канцелярии советских комиссаров, московское купечество, насквозь пропитанное истинно русским духом, и интернациональный большевизм, древний Кремль и красный флаг...

Все это — из газет, выходявших в те дни в Петрограде, из газет буржуазных, «беспартийных» и даже «социалистических». Ложь, клевета, сладостное «успокоительное» для гостинодворцев, лежавших в холодном поту, для бывших статских советников с супругами и вместе с тем — дурманящее, возбуждающее вспрыскивание для гвардейских поручиков, правозсеровских ротмистров, анархизирующих деклассированных солдат: «Действуйте!»

В Смольном и в других правительственных зданиях появились подозрительные личности, старавшиеся под разными предлогами выпытать, когда поедет Совнарком, Ленин. Одна из сотрудниц Смольного стала настойчиво хлопотать, чтобы вместе с ней в правительственном поезде мог уехать в Москву ее родственник. В. Д. Бонч-Бруевич заинтересовался, кто же этот родственник.

— Он репортер...

— Ах, репортер...

Владимир Дмитриевич распорядился, чтобы агенты Семьдесят пятой точнее узнали, кто он. Оказалось — эсер! Бонч-Бруевич приказал: чтоб ноги этого репортера не было в Смольном!

Тем временем на вокзалах продолжалась кутерьма. К председателю Исполкома Осипову явились четверо. На лицах — что-то недоброе, вызывающее:

— Мы пришли, чтобы получить от вас хотя бы десяток тысяч рублей.

В другое время Осипов принял бы это за шутку. Но сейчас было не до того. Строго спросил, в чем дело. Пришедшие называли себя «делегатами от стрелочников станции Петроград-Пассажи́рская». Им, оказывается, «точно известно, что Исполком получил от Смольного 18 миллионов рублей — из тех, которые немцы дали Ленину за продажу Питера». И вот ультиматум: «будет всякое содействие при «эвакуации Смольного», если Исполком поделится полученными деньгами, или поезда будут «свалены», если Исполком денег не даст.

Осипов позвонил Калюкину. Всех четверых задержали. В тот же день на станции Петроград-Пассажи́рская состоялась митинг. Всем собравшимся показали «делегатов-стрелочников». Тут же на людях допросили: от кого пришли, кто научил. Признались: чиновники, которые при царе служили, подослали. Всем четверым указали дорогу за дверь и приказали, чтобы никогда больше их среди железнодорожников не видели.

9 марта на Николаевском вокзале вновь произошли крупные стычки с демо-

близованными, не желавшими сдавать оружие и соблюдать порядок.

В тот же день на Николаевском вокзале появилось объявление Исполкома дороги — предупреждение тем, кто оказывал сопротивление красногвардейцам:

**«Все такие попытки... будут и впредь пресекаться самым решительным образом — преданием революционному суду и силой оружия. Пусть помнят все чинящие препятствия, что этим они приносят пользу нашему жестокому врагу, а потому со стороны честной революционной демократии они не встретят никакой защиты!».**

В сумятице, в крутой буче, в схватках на Знаменской площади и на вокзале демобилизованным солдатам и матросам все же нередко удавалось проникнуть к эшелонам, сохранив при этом оружие. Эти, как и в прежние дни, врывались к комиссару вокзала, в Исполком, к дежурному по станции, требуя немедленной отправки впереди других поездов, даже правительственных.

— Нельзя так, товарищи,— пробовал утешать Осипов.— Надо вывозить прежде всего заводы, ценности, эвакуировать рабочие семьи — детей, женщин. Поезда нужны для рабоче-крестьянского правительства.

Но слова не доходили. Особенно, если среди ворвавшихся оказывались анархистские заводилы. Те были вооружены до зубов: револьверы, гранаты, бомбы, привязанные к поясу веревками или проволокой, шашки, кортики, палашки... Те угрожали, кричали, перебивая друг друга. Выхватывали револьверы, приставляли Осипову к груди, прижимали к вискам, до боли... Захлебываясь, глотая слюну, заматывали гранатой.

— Не отправьшь, тут же и останешься! Кишки по проводам развесим...

Павел Осипов, осунувшийся, бледный, но предельно собранный, отвечал:

— Хорошо, вы мои кишки по проводам развесите.. А дальше что? От этого все равно раньше времени не уедете. Вам меня надо убить или уехать? Придет черед — отправим.

Презрение к угрозам, иной раз ответная крепкая ругань, но больше всего железное самообладание человека, у которого не могло быть страха уже по одному тому, что он без сна находился на ногах пятые сутки; в висках стучало от переутомления, от непрерывных звонков, от дел, которых хватало бы на десятерых, а в мозгу гвоздем сидела единственная мысль: «Все во имя революции!» — только это спасало. И отступали самые возбужденные.

Был однажды и такой случай, показавший, кто больше всего заинтересован в сумятице и кутерьме.

На одном из путей вокзала стоял уже готовый к отправлению эшелон с демобилизованными. Почти в самый момент отправки люди Николая Калюкина проведали, что в поезде — юнкера. Едут к Деникину. Под шумок проскочили! Комиссар

Лебит приказал эшелон задержать. «Нам удалось быстро окружить поезд и напасть на след, в каких вагонах расположились юнкера,— рассказывал впоследствии Петр Лебит.— Юнкеров мы арестовали, отняли у них оружие».

Случай этот заставил многих матросов и солдат по-иному взглянуть на вещи, понять, к чему ведет та каша, которую они заварили.

«Демобилизованные, в особенности матросы,— продолжал Петр Лебит,— оказали нам здесь большое содействие. Мы известили о случае с юнкерами других демобилизованных, находившихся на территории вокзала, указали на необходимость фильтровки при впуске на перрон солдат и организованной отправки их. Демобилизованные разделили нашу точку зрения и начали нам помогать... В проведении всех этих мер много энергии, находчивости и тактичности проявил т. Калюкин... Он сумел собрать вокруг этого дела лучших организаторов рабочих и вместе с ними добивался порядка...»

Не всегда, однако, даже такая «фильтовка» была успешной. В частности, 10 марта, в день отправки поездов Совнаркома, она оказалась явно не на высоте...

## Секретно...

9 марта В. Д. Бонч-Бруевич приказал подать на Николаевский вокзал два пассажирских состава — совнаркомовских. Срок отправления — завтра в 9 часов 45 минут вечера. Поедут работники ряда комиссариатов, будет погружено имущество управления делами Совнаркома. В этих же поездах отправятся бойцы Первого коммунистического отряда латышских стрелков (охрана Смольного — Кремля)... В Смольном и по городу в тот же день распространились слухи, со ссылкой на «достоверные источники», что отъезд высших руководителей большевистской партии и правительства уже определенно назначен. На Николаевском вокзале уже готовят поезда... Такие же сообщения появились и в некоторых газетах. Петроградская печать опубликовала интервью с «видным членом Совета Народных Комиссаров» (фамилия не называлась). Судя по содержанию этого интервью, можно предположить, что в несоветских газетах оно появилось не без стараний отдела печати Совнаркома (официальные сообщения были обязательны для всех газет).

«Видному члену» Советского правительства был задан вопрос:

— Еще недавно ВЦИК официально заявлял, что Совнарком уедет из Петрограда только в том случае, если Петрограду будет угрожать непосредственная опасность. Теперь такой опасности нет. И все же правительство переезжает. Чем это объяснить?

Последовал ответ:

— Заявление ВЦИК было сделано в момент, когда немецкие войска наступали

на Петроград. Советское правительство считало необходимым оставаться в Петрограде, чтобы организовать решительное сопротивление врагу. Теперь подписан мир. Но если германские войска даже будут соблюдать брестские соглашения и остановятся на установленной демаркационной линии, столица Республики все равно не может находиться на ее окраине.

В руководящих сферах Советской власти, говорилось далее в сообщении, указывают на то, что оставление Петрограда правительством в момент ожесточенных сражений с внешним врагом исключалось, ибо в то время это могло бы быть истолковано как капитуляция сил революции перед империализмом, как признание слабости Советской власти. Теперь, по мнению руководящих сфер, Советская власть настолько утвердилась, что ей не грозит никакая опасность, если даже центральные учреждения будут перенесены в Москву.

Это был ответ злопыхателям и демагогам, на все лады болтавшим в антисоветских газетах о «трусливой непоследовательности правителей Смольного».

10—12 марта подробные разъяснения — для трудового Питера — сделали «Правда» и «Известия». В передовой статье «Москва — столица» газета «Правда» писала о том, что войска немецкого империализма все еще стоят на расстоянии трех перехо-

дов от Петрограда. Правительство, если оно останется в Петрограде, по-прежнему будет во власти любого нового германского ультиматума, который может последовать в любой момент. Уезжая из Петрограда, правительство защищает и позицию революционной власти — оно покидает сферу, слишком подверженную немецкой военной угрозе, и одновременно тем самым защищает Петроград, который в значительной степени перестает быть мишенью немецкого удара. Перенесение столицы в Москву покажет, что Советская власть одинаково прочна по всей стране. «Известия» и другие советские газеты указывали на то, что Москва — географически, пространственно, физически лучше связана со страной. Известна доблестная революционность московского пролетариата. Он гостеприимно примет свое родное рабоче-крестьянское правительство. В Петрограде Советская власть так же незыблема. Питер по-прежнему будет оплотом революции, тесно связанным со всей страной.

\* \* \*

Во второй половине дня 9 марта товарищи, отъезжавшие с правительственными поездами, стали получать специальные пропуска-удостоверения. Бойцам охраны выдавали такие документы:

«Управление делами  
КРЕСТЬЯНСКОГО И РАБОЧЕГО  
ПРАВИТЕЛЬСТВА  
Республики России  
Петроград  
9 марта 1918 г.

#### УДОСТОВЕРЕНИЕ

Предъявитель сего . . . . . должен ехать в поезде, в котором едет Первый Коммунистический отряд латышей. Поезд отходит от Николаевского вокзала в 9 часов 45 минут вечера.

Разрешить посадку людей и погрузку багажа.

Управляющий делами СНК — Вл. Бонч-Бруевич».

Товарищи, отправляющиеся с Цветочной, получали в запечатанных конвертах оповещения:

«Управление делами  
КРЕСТЬЯНСКОГО И РАБОЧЕГО  
ПРАВИТЕЛЬСТВА  
Республики России  
Петроград  
9 марта 1918 г.

**Секретно**

Товарищу . . . . .

- 1) Отъезд в Москву состоится 10 марта с. г., в воскресенье, ровно в 10 часов вечера, с Цветочной площадки.
- 2) Цветочная площадка помещается за Московскими воротами (Московская застава). Через один квартал за воротами надо свернуть по Заставской улице налево и доехать до забора, ограждающего полотно, повернуть направо. Здесь близко от поворота находится платформа «Цветочная площадка», у которой стоит поезд.
- 3) Грузить багаж начнут с 10 часов утра. Для перевозки багажа, если нет своих перевозочных средств, надо звонить по телефону 1-19, чтобы вызвать грузовой автомобиль.
- 4) К отходу поезда стараться по возможности доставиться на вокзал своими средствами, в крайнем случае заблаговременно по телеф. 1-19 просить выслать легковой автомобиль.
- 5) Вещи должны быть к приезду грузового автомобиля совершенно упакованы, завязаны, чтобы ни минуты не задерживать автомобиль, на каждой вещи должна быть сделана надпись фамилии владельца, так как квитанция на багаж выдаваться не будет.

6) Поезд отойдет ровно в 10 часов вечера, почему прошу приезжать на вокзал заблаговременно,— не опаздывать.

Управляющий делами Совета Народных Комиссаров Влад. Бонч-Бруевич».

Коменданту Смольного П. Д. Малькову было приказано сдать свои обязанности назначенному преемнику, а самому завтра к 10 часам утра прибыть на Цветочную площадку, где вступить «в отправление обязанностей коменданта поезда».

«Поезд охраняется караулом из Петропавловской крепости. Этот караул должен быть заменен караулом латышских стрелков, которые по особому приказу в числе 30-ти человек должны будут выступить из Смольного с двумя пулеметами в 8 час. утра. В Петропавловской крепости сделано распоряжение о передаче караула после принятия караула латышскими стрелками.

Вы должны,— говорилось далее в приказе,— охранять весь поезд с паровозом, на тендере которого должен быть поставлен караул.

Кругом поезда все подходы к нему должны охраняться. Никто из посторонних не должен быть допущаем в поезд. Багаж будет грузиться с 11 час. утра. Принимайте багаж, грузите от каждого отдельного лица в одном месте и охраняйте его. С этим поездом поедет 100 чел. латышей, которые должны будут нести охрану поезда во время движения.

70 латышей прибудут на станцию часам к 7-ми вечера. Остальные латыши 1-го Коммунистического отряда поедут в Москву завтра же с Николаевского вокзала... Озаботьтесь, чтобы всем латышам было отпущено надлежащее довольствие в дороге».

Под приказом стояла подпись В. Д. Бонч-Бруевича.

П. Д. Мальков стал готовиться к отъезду. Но не прошло и часа, как коменданта Смольного вызвал к себе М. С. Урицкий.

С отъездом ЦК партии и Совнаркома в прежней столице создавалась Петроградская трудовая коммуна с Советом Народных Комиссаров Петрокоммуны — исполнительным органом, подотчетным Петроградскому Совету. Комитет революционной обороны упразднился. Охрана общественной безопасности в Петрограде возлагалась на Военно-Революционный комиссариат (с 25 марта — Комиссариат внутренних дел) Петроградской трудовой коммуны и на Петроградскую Чрезвычайную Комиссию по борьбе с контрреволюцией (ее формирование началось 8 марта, Всероссийская ЧК уехала в Москву 9 марта). М. С. Урицкому, кандидату в члены ЦК партии, остававшемуся в Петрограде, было поручено возглавить работу по организации новой системы охраны города.

Павел Дмитриевич Мальков застал Урицкого в тот момент, когда тот, встревоженный, читал какую-то бумагу. Мальков, высокий, худой, с крупной родинкой на

носу, в старой матросской форменке, доложил о своем прибытии.

— Получены сведения, что в двух стрелковых полках гарнизона затевается скверная история,— сказал Урицкий.— Пробрались туда юнкера, кое-кого обработали и готовят контрреволюционное выступление. Необходимо немедленно принять меры.

Комендант понимал: надо действовать. Но как быть с приказом, полученным ранее? Павел Дмитриевич сказал о распоряжении Бонч-Бруевича...

В это время в кабинет вошел обеспокоенный В. Володарский, нарком по делам печати.

— Вот вы где, товарищ Мальков... Ответственные работники, остающиеся в Петрограде, протестуют против вашего отъезда. Именно вы, как знающий человек, должны передать охрану Смольного новым воинским частям, ввести их в курс дела.

Вопрос решился утром 10 марта, в кабинете В. И. Ленина. П. Д. Мальков временно оставался в Петрограде. В то же утро по приказу коменданта несколько латышских стрелков посмышленнее, под видом шатающихся по городу демобилизованных, отправились в подозрительные полки — разузнать, что там слышно, присмотреться к входам и выходам из казарм, запомнить, где стоит наружная охрана, где расположены полковые склады оружия. Разведчикам было приказано после «приглядки» возвратиться в Смольный...

## Блондин с перстнями

В ночь на 10 марта, последнюю ночь пребывания В. И. Ленина в Смольном, командир латышских стрелков Оскар Берзинь не спал ни минуты. Рослый, большеногий, в длинной офицерской шинели и высокой папахе, с маузером в деревянной кобуре на ремешке, перекинутом через плечо, он вышагивал от караульного к караульному, напоминал: «Глядите, товарищи, в оба! За Невой в двух полках что-то затевается недоброе... Может, этой ночью контра решила прощупать нас. Мол, сидим на чемаданах, и взять нас будет пустяковое дело... Может, те полки хотят двинуть к Смольному, к вокзалу. А там и без того кутерьма...»

Допоздна светились огни на третьем этаже в кабинете Ленина. Потом огонек зажегся в знакомых окнах ленинского жилья на втором этаже. И в эту ночь, перед отъездом, Ленин работал как обычно.

Берзинь вышел за ограду Смольного. Ночь над Лафонской площадью была тихая, мгlistая. И ветер уже не такой, как в феврале, а мартовский подобревший бродяга, вестник уже приближающейся вес-

ны... И вдруг небо вдали посветлело, облака снизу порозовели, занялось огромное зарево. Берзинь забеспокоился. Пожар? Где? Заторопился в Смольный. Оттуда стали звонить в районные совдепы. «Где пожар? Что горит?» Оказалось — на Обводном канале горели дома и склады... Кому-то это понадобилось в ту ночь!..

И снова Берзинь пошел к часовым. От поста к посту: «Глядите, ребята, в оба!»

...Утром П. Д. Мальков получил предписание:

«КОМЕНДАНТУ СМОЛЬНОГО  
ИНСТИТУТА

Объявляю Вам и предлагаю немедленно объявить всем караулам, что сегодня, 10 марта, к 3 часам дня к Смольному институту придут наши броневики, почему предписывается не принимать эти броневики за белогвардейские и германские и не производить по ним стрельбы.

Секретарь Комитета революционной  
обороны Петрограда С. ГУСЕВ».

С первых же дней революции броневики на улицах Петрограда были совсем не редкостью. Нетрудно представить, какая обстановка была в Петрограде утром 10 марта, если о подходе броневиков к Смольному понадобилось особо предупредить коменданта!

В предписании С. И. Гусева нет прямых указаний, для чего шли броневики. Но вспомним, что в это самое время в двух стрелковых полках было опасное брожение, что в самом Смольном в эти часы происходила «смена власти» и смена охраны, что десятки вражеских лазутчиков рыскали по Петрограду, выведывая, откуда и когда поедет Ленин. Вспомним — было точно известно, что правые эсеры готовят взрыв поезда предсовнаркома... Поэтому и принимались дополнительные меры к охране Ленина, Смольного.

10 марта на вокзалах продолжались налеты демобилизованных. Двести вооруженных бойцов с четырьмя пулеметами были вызваны в помощь красногвардейцам Николаевского вокзала — «для разоружения трехсот матросов»; сто бойцов при шести пулеметах были вызваны на Варшавский.

Вечером 10 марта с Николаевского вокзала на Москву ушел эшелон демобилизованных. Почти все они оказались с оружием. Эшелон «выталкивали» в спешке. Мало кто заметил, что с тем эшелоном уехал высокого роста блондин — не то матрос, не то солдат — с заливчатыми подкрученными усами, в перешитой шинели с красными кантами на воротнике и обшлагах, в шевровых штиблетах с коричневыми крагами-бутылками, с золотыми кольцами почти на всех пальцах, с наганом-самовзводом, спрятанным в кармане.

## Все готово

Утром 10 марта правительственные «Известия» вышли с объявлением на первой странице:

«ВСЛЕДСТВИЕ МНОГОЧИСЛЕННЫХ ОБРАЩЕНИЙ НАСТОЯЩИМ ОБЪЯВЛЯЕТСЯ, ЧТО СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ПРЕДПОЛАГАЕТ ВЫЕХАТЬ В МОСКВУ В ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАРТА, ВЕЧЕРОМ».

Только те немногие, которые в запечатанных конвертах получили секретные пропуска на поезд к Цветочной, знали, почему газета напечатала неправду: она предназначалась для тех, кто рыскал по Петрограду в поисках поезда Ленина.

А к Цветочной тем временем уже подъезжали автомобили с багажом. Шоферы были подобраны надежные, и они исполняли приказ в точности — прежде чем ехать к Цветочной, колесили по всему городу. А в районе разгрузки комиссары Семьдесят пятой помогли всяким любопытствующим узнавать: «На фронт под Псков уезжают доктора, вот и грузят их имущество».

В те же часы исполнялись и другие пункты плана Бонч-Бруевича. Из Смольного к Цветочной прибывали латышские стрелки и незаметно, без формальностей, сменяли караул петропавловцев. Всем этим с утра десятого командовал Михаил Цыганков.

\* \* \*

Парню было семнадцать лет. Дороги революции привели его в Смольный. Там Юлия Соловьева причислили к комиссарам Семьдесят пятой и назначили в личную охрану В. И. Ленина. 10 марта в четыре часа дня Соловьев вместе с латышским стрелком Эдуардом Смилга заступил на пост у знакомой двери ленинского кабинета. Вокруг все собирались в дорогу. А Ленин все еще работал...

К часовым подошел комендант Павел Мальков и приказал Смилга оставить пост, собираться в дорогу: «Поедете в Москву».

— А мы с тобой, товарищ Соловьев, пока остаемся в Питере, поедем позже, — пояснил комендант.

«Позже»... Для семнадцатилетнего это обίδα. Юлий — часовой товарища Ленина и должен быть там, где находится товарищ Ленин. А товарищ Ленин сегодня уезжает. «Позже»... Может, это сказано только в утешение. И еще: в Москву уже уехал отец Юлия — старый партиец, лично известный Ильичу, работник Высшего Совета Народного Хозяйства. «Отец в Москве, а я тут...» Беспокоило и другое: все уедут, а у него на руках винтовка и никакого документа. Придет пора отправляться — задержат на первом же перекрестке. Вспомнился приказ, объявленный по Петрограду: «Всякий задержанный с оружием без документа объявляется контрреволюционером и мародером»... Дел! Сегодня — часовой товарища Ленина, а завтра...

Поблизости еще стоял Эдуард Смилга.

Готовились в дорогу и другие бойцы охраны. Соловьев ревниво поглядывал на них, смущение и озабоченность были на его лице.

Послышались шаги за дверь. Показался Ленин. Он куда-то торопился, но возле часовых приостановился.

— Сегодня отбываем? Все готовы?

— Отбываем, точно...

— Но не все, товарищ Ленин...

— Вы не едете? А почему?

Юлий выпалил все сразу. И про то, что

СОВЕТ НАРОДНЫХ  
КОМИССАРОВ  
Петроград  
10/III—1918  
№

Разрешается Юлию Николаевичу Соловьеву иметь с собой и вывезти из Петрограда принадлежащую ему винтовку за № 52604, помеченную 1915 годом.

Председатель Совета Народных  
Комиссаров В. УЛЬЯНОВ (ЛЕНИН)

Товарищам Юлий пояснил:

— Про номер бумаги товарищ Ленин сказал: «Номера не будет. Канцелярия уже на вокзале. А какой-нибудь ставить не будем. Полагаю, поверят и так. А насчет того, когда вам ехать — коменданту видней. Не будем отменять его приказа. Так?»

Десятого марта восемнадцатого года, в день необычайный, в часы необыкновеннейшие, Владимир Ильич Ленин, глава правительства, нашел время и счел нужным заняться и заботами семнадцатилетнего комиссара-солдата, у которого оставалась винтовка без надлежащего документа.

(Юлий Соловьев приехал в Москву... Год спустя он был красным курсантом-артиллеристом и готовился стать красным командиром).

## Лимузин выходит из Смольного

Два свидетельства очевидцев.

Владимира Дмитриевича Бонч-Бруевича:

«Погрузка багажа (на Цветочной)... окончилась к 6 часам вечера. Когда совершенно смеркло, мы стали подвозить народных комиссаров и их семьи, а также и тех, кто должен был ехать по особому списку. С нами ехал и наш поэт Демьян Бедный, который поместился в купе с моей семьей.

Автомобиль за автомобилем подкатывали к стоящему в темноте поезду. Здесь приехавших встречали товарищи из Семьдесят пятой комнаты и немедленно рассаживали их по уже намеченным местам.

Часам к семи мною был отправлен отборный смольненский отряд наших товарищей-латышей с пулеметами, которые, погрузившись в несколько минут, заняли посты и приняли охрану поезда.

В 8 часов вечера прибыла бригада железнодорожных рабочих и самым тщательным образом осмотрела весь поезд во всех отношениях. Невидимая рука нашего комиссара, товарища-коммуниста, фамилию которого я, к сожалению, запомнил, действовала всюду, действовала верно и четко.

В 8 часов 30 минут товарищи из Семьдесят пятой комнаты Смольного вместе с

он не хуже других, и про отца, и про то, что могут отобрать винтовку и «контрой» объявить.

— Понимаю, товарищ... Тревога ваша законная. Винтовку без надлежащего документа в самом деле могут отобрать. Порядок есть порядок. Советская власть должна знать, в чьих руках оружие.— Ленин повернулся.— Заходите, товарищ.

Юлий вошел в кабинет вслед за Лениным. Вернулся он вскорости. Сияющий, с бумагой в руках:

некоторыми железнодорожными рабочими осмотрели путь от Цветочной площадки до главных путей Николаевской железной дороги...»

Павла Осиповича Осипова:

«В самом городе было уже очень тревожное настроение... Для того чтобы помешать поезду [Ленина], была произведена попытка взорвать железнодорожный «Американский» мост, но нашей охраной были своевременно обнаружены на мосту взрывчатые вещества...»

Нет точных указаний, был ли это динамит, приготовленный террористом Тисленко. Но точно известно, что «Американский» мост мог взлететь на воздух, если бы не бдительность людей из отрядов, которыми командовал Николай Калюкин.

(В 1922 году, когда на судебном процессе партии правых эсеров были восстановлены все подробности заговора 1918 года, в показаниях обвиняемых и в выводах государственного обвинения отмечалось, что покушение не удалось «по независящим от воли обвиняемых обстоятельствам», потому что у заговорщиков не оказалось достаточно «технических средств» и потому что «поезд Совнаркома вышел ранее назначенного срока» (не 11 марта, как было объявлено в «Известиях»).

\* \* \*

Поздно вечером 10 марта два отряда латышских стрелков под командованием П. Д. Малькова и тов. Озоля покинули Смольный. Они отправились на грузовиках и нагрянули в полки, затевавшие «скверную историю», в самое верное и нужное время...

\* \* \*

В 9 часов 30 минут вечера черный лимузин миновал ворота Смольного и, разбрасывая снежную пыль, врезался в темноту Лафонской площади. Смольный, оставшийся позади, был залит огнями. Они светились во всех окнах, на всех этажах, даже там, где обычно в эту пору огней уже не бывало. Люди, выехавшие из Смольного, словно сговорившись, оглянулись, и сквозь стекла автомобиля им долго виделись уходящие огни. Потом огни скрылись, и осталось только оранжевое зарево.

Сторонний наблюдатель, приблизив-

шись сейчас к Смольному и встретив столько огней в окнах, наверняка заключил бы, что там, за окнами, идет обычная жизнь. И понятно — сказано же в газетах: Совнарком уезжает завтра. Но, пожалуй, именно для таких «сторонних» и было зажжено сейчас столько электрических ламп.

В автомобиле ехали В. И. Ленин, Н. К. Крупская, М. И. Ульянова, В. Д. Бонч-Бруевич. Их провожала В. М. Величкина (Бонч-Бруевич) — утром она отправлялась на фронт: жена Владимира Дмитриевича была врачом.

С разной мерой ноши, возложенной на них историей, вошли они четыре с половиной месяца назад в Смольный. Разная мера ответственности лежала на их плечах. Но для всех месяцы, прожитые в Смольном, были неповторимо и безмерно значительными: страна за эти месяцы открыла новый счет времени.

Автомобиль уже бежал по безлюдной Шпалерной, до края наполненной синей мглой ночи.

«— Заканчивается петроградский период деятельности нашей центральной власти. Что-то скажет нам московский? — тихо произнес Владимир Ильич...

Все молчали. Чувствовалось общее понимание важности момента. Столица государства, через двести лет, вновь переносилась в Москву».

Так запомнился этот разговор В. Д. Бонч-Бруевичу.

Владимир Ильич спросил, все ли удалось подготовить, как было намечено. Все... На Николаевском вокзале заканчивается погрузка двух поездов. Внешним видом они ничем не отличаются от того, который пойдет с Цветочной. «Так лучше, безопасней», — пояснил Бонч-Бруевич.

На Литейном проспекте тоже не было огней и ни единого звука. Только гудел мотор лимузина и светились длинные яркие снопы, вырывающиеся из зеркальных глазниц машины.

Ленин откинулся на спинку сиденья и теплыми пальцами сжал веки. Спутники тихо переговаривались. Владимир Ильич над чем-то задумался... Он отвечал, когда его спрашивали, иногда включался в разговор, но видно было — его занимает что-то другое. (Несколько часов спустя то, о чем думал Ильич, легло из-под его пера на бумагу).

Черный лимузин пересек Невский, проехал по Загородному проспекту, повернул на Забалканский, просочил под огромной аркой Московских триумфальных ворот и вылетел на заснеженное Московское шоссе.

Вот и Заставская улица. Поворот налево. Фары погасли. Стало совсем темно... Сейчас должны появиться товарищи из Семьдесят пятой — встретить, показать дорогу, охранять... Так и есть! Вот они появились одновременно с обеих сторон дороги, перекрыли ее, подняв высоко над головами винтовки. Машина остановилась. Комиссары вскочили на подножки, осветили электрическими фонариками лица пас-

сажиров, узнали Владимира Ильича и сказали шоферу ехать дальше.

Подкатили к какому-то забору, повернули направо, вскоре ехать уже было некуда — впереди железнодорожное полотно.

Из темноты вырос Михаил Цыганков, исполнявший обязанности коменданта поезда. Он был в ладно пригнанной шинели, в наплечных ремнях и выглядел сейчас особенно молодцевато.

— Все готово, — доложил Цыганков.

Из машины вышел В. Д. Бонч-Бруевич, потом Владимир Ильич; оба помогли женщинам, и все направились к платформе. Впереди, освещая путь фонариками, шли Михаил Цыганков и его товарищи по Семьдесят пятой.

(В воспоминаниях В. Д. Бонч-Бруевича нет указаний на то, что автомобиль В. И. Ленина кем-либо сопровождался по пути из Смольного к Цветочной площадке. Но учитывая тогдашнюю обстановку в Петрограде, представляется сомнительным, чтобы В. И. Ленину было разрешено без охраны отправиться в такой путь. Можно предположить, что броневики, вызванные к Смольному утром, вечером курсировали по маршруту следования машин наркомов и В. И. Ленина к Цветочной).

...Перед площадками, при входе в вагоны, стояли проводники в синей суконной форме. В руках проводников были керосиновые фонари с зелеными, красными и желтыми стеклами. Внутри вагонов кое-где мигали свечи. То же — в салон-вагоне, отведенном для Владимира Ильича...

\* \* \*

...Павел Мальков понимал: его союзники — внезапность и дерзкая решимость действовать без оглядки. В обоих отрядах не больше восьмидесяти человек, а против них — целых два полка. Но даже и численно превосходящей силой, пожалуй, не так просто достичь цели. Лжи и провокации юнкеров надо противопоставить правду революции и приказ революции.

Без особого шума обезоружили часового, стоявшего у ворот казармы. Так же без шума захватили полковые склады оружия. А потом явились в полковые комитеты и именем Смольного подняли солдат по боевой тревоге. Когда те выстроились, Мальков и агитаторы обратились к солдатам с речью. О революции, о скором мире, о лжи юнкеров и белогвардейских офицеров, о небылицах, распространяемых в связи с переизданием правительства... Дело кончилось тем, что сами солдаты стали помогать товарищам из Смольного грузить на подошедшие автомобили полковые пулеметы, винтовки, патроны...

## Без гудка

В. Д. Бонч-Бруевич, прибыв на Цветочную площадку, принял рапорт коменданта латышских стрелков Оскара Берзиня. Тот тоже доложил, что у него все готово. На

тендере паровоза поставлен караул с пулеметами. В тамбурах вагонов — стрелки и пулеметчики. В последнем вагоне находится в резерве около ста бойцов.

А как дела у железнодорожников? Испокон Николаевской дороги поручил Николаю Матвеевичу Саарману, старому большевику, руководить поездной бригадой и сопровождать поезд В. И. Ленина до Москвы. Николай Саарман сообщил, что паровоз стоит под парами, вся поездная прислуга на месте. Можно ехать. Бонч-Бруевич все же счел нужным самому пройти по составу. Отправился в сопровождении Цыганкова и Саармана. Убедился — все сделано, как предписывалось.

— Узнайте, пожалуйста, что слышно на Николаевском.

Николай Саарман зашел в будку железнодорожного поста, позвонил на вокзал. Оттуда ответили: первый поезд отошел в 21.45.

— Мы должны пойти вслед, — сказал Бонч-Бруевич. — За нами отправится второй с Николаевского.

Поезд Ленина значился у железнодорожников под номером 4001.

Ровно в 22.00 Николай Саарман вновь позвонил на вокзал:

— Я сорок ноль один. Запрашиваю отправление...

Получив ответ, Саарман побежал к паровозу, поднялся к машинисту, и поезд без гудка, без огней плавно отошел от платформы.

## Ленин в пути

— Что ж, так и будем сидеть во тьме? — спросил Владимир Ильич, когда в салон-вагон вошел Бонч-Бруевич.

— Нам бы только выйти на главные пути... А вообще-то у нас электричество есть, — ответил Бонч-Бруевич и тут же зажег лампочку на столике, за которым сидел Ленин.

«— Вот это хорошо! — воскликнул он. — Можно будет почитать».

Владимир Ильич так обрадовался свету, что я не решился закрутить лампочку, задернул плотную занавески на окнах, и так со светом в салон-вагоне, правда, вряд ли проникавшим через шторы, мы двигались далее.

Как только мы вышли на главные пути и пошли, усиливая ход, на Любань, тотчас же поезд осветился...

У Владимира Ильича собрались товарищи, и мы принялись пить чай. Весело шла наша беседа. Владимир Ильич шутил, смеялся и, видимо, был доволен строгой, чисто военной организацией, дисциплиной латышского отряда, начальник которого как из-под земли вырастал после каждой станции, с рапортом, что поезд прошел такую-то станцию и что на станции и в поезде все благополучно. Караулы сменялись, как полагается, через каждые два часа. Все делалось по-военному.

Владимир Ильич утомился и решил идти спать в отдельное купе, ему приготовленное».

\* \* \*

Спать?..

То, о чем Ленин думал еще в автомобиле, когда машина бежала навстречу ночи и ее тревожному безмолвию, то, что пришло тогда на память, легло сейчас в правом верхнем углу небольшого листка бумаги:

Ты и убогая, ты и обильная,  
Ты и могучая, ты и бессильная  
— Матушка-Русь!

Ленин, почти не останавливаясь, стал писать дальше. Вероятно, он все уже продумал, и рука шла размашисто. Ленин писал, склонившись над маленьким столиком, освещаемым лампочкой под абажуром. Стучали колеса, за окном свистел ветер, иногда слышались гудки паровоза.

Мысль Ленина была о России, ее минувшем, настоящем, будущем. Не той России, которую лицемерно хоронили наемные плакальщицы. О России борющейся, творящей, совершавшей в те дни один из самых великих, самых трудных поворотов истории — «от войны к миру»; «из бездн страданий, мучений, голода, одиночания к светлому будущему коммунистического общества, всеобщего благосостояния и прочного мира»... Ленин писал о всемирно-освободительном значении подвига революционной России. В несколько дней она разрушила одну из самых старых, мощных, варварских и зверских монархий. В несколько недель она свергла буржуазию. Большевизм в несколько месяцев прошел победным триумфальным шествием из конца в конец громадной страны и начал широко задуманную систему социалистических преобразований. Новая Россия пробудила веру в свои силы и зажгла огонь энтузиазма в сердцах миллионов рабочих всех континентов, бросила вызов империалистским хищникам всех стран; подняла знамя мира и социализма над всей планетой. Ленин писал о сложностях обстановки тех дней и употреблял самые беспощадные эпитеты, чтобы охарактеризовать тяжесть Брестского мира, но показывал не только неизбежность и вынужденность уступок, но и ту перспективу, которая открывалась для страны, вырывающейся из пучины войны.

В ночной тиши вагонного купе Ленин вновь спорил с теми, у кого на крутых поворотах истории «кружилась голова», кем «овладевало отчаяние», кто «искал спасения... под сенью красивой увлекательной фразы». Он призывал беречься от самообманов, необоснованных восторгов, не хорориться и вместе с тем не предаваться унынию, расслабляющей тоске; он звал к борьбе, к труду, к творчеству. Он указывал на то, что есть прекрасное и великое в уже пройденном, уже созданном и развертывал картину будущего. Он говорил: страна наша гигантски богата — и природными богатствами и запасами человеческих сил; великий размах дала народному твор-



честву великая революция! У Российской Советской Социалистической Республики есть все для того, чтобы наша великая Русь навсегда перестала быть убогой и бес- сильной, чтобы она бесповоротно стала и могучей и обильной! И Русь станет такой!..

Страна еще лежала в руинах войны, разруха проникла во все поры хозяйственного организма, старое с треском и шумом надламывалось, рушилось; новое нарож- далось в муках; Россия еще только всту- пала на дорогу мира — да и он еще был непрочным, — а Ленин уже видел, верил: новая Россия будет действительно могучей и обильной.

Но тогда же он говорил — это не при- дет само. Нужно отбросить всякую фразу, а стиснув зубы, собрав все свои силы, на- прягая каждый нерв и каждый мускул, «собрать камень за камушком прочный фундамент социалистического общества, работать не покладая рук над созданием дисциплины и самодисциплины, над укреп- лением везде и всюду организованности, порядка, деловитости, стройного сотрудни- чества всенародных сил...» Только тогда придет и могущество и обильность!

Поезд мчался все вперед, разрезая светом прожектора синюю мглу, разрывая тишину грохотом колес. Во всех вагонах уже давно спали — наркомы, курьеры, секре- тари, машинистки... Бодрствовали только часовые на паровозном тендере — на ле- денящем, прожигающем насквозь ветру — и часовые в тамбурах вагонов. И работал Ленин. Один в ночной тиши...

Статья, которую В. И. Ленин написал по дороге в Москву, называлась «Главная за- дача наших дней». Это одно из самых поэ- тических созданий Ленина-публициста. Оно писалось «одним дыханием». Разом схва- ченное в самых крайних точках предмета, оно потребовало концентрированной оцен- ки — и не только умом государственного деятеля, а и сердцем поэта. Может, имен- но поэтому Ленину пришли на память не- красовские строки, и — именно эти стро- ки, так отвечавшие настроенности Ильича, духу и биению пульса жизни, тому, что ви- делось в последние недели в Питере и во- круг.

Под статьей Ленин поставил дату: 11 марта 1918 года. Он закончил ее писать, видимо, утром. Ленин подводил итог «пи- терскому периоду» деятельности Совет- ской власти, в муках и подвигах завоевав- шей мир, на пороге «московского пери- ода», когда, став на дорогу мира, Советская Россия отправлялась в новый гигантский поход.

## Малая Вишера

А ночь продолжалась.

На одной из станций В. Д. Бонч-Бруе- вич получил секретную депешу о том, что после отправки первого поезда с Никола- евского вокзала там с товарных путей про- скок эшелон теплушек, весь заполнен- ный вооруженными матросами, он идет

впереди «4001-го», и в том эшелоне неспо- койно. К тому же он поотстал и задержи- вает правительственные поезда. Бонч-Бруе- вич приказал задержать эшелон, поставив его на запасные пути ближайшей станции, а совнаркомовские пропустить вперед.

К утру «4001-й», окутанный паром, по- дошел к Малой Вишере...

Эшелон с демобилизованными уже бо- лее получаса стоял на запасных путях. Над теплушками клубились дымки от «буржу- ек», валил пар из полуоткрытых дверей. Перед эшелонном стояли люди — кто в мат- росских бушлатах, шинелях, кто в узких венгерках, перехваченных у талии ремнями, а кто в пальто с бархатными воротниками. Почти у каждого на поясе — по нескольку ручных гранат, за плечами винтовки и ка- рабины. Большая группа вооруженных стояла на перроне, возбужденно толкуя о том, почему задерживают поезд.

Еще раньше, как только матросы узна- ли, что их ставят на запасные пути, человек десять — двенадцать с предводителем — высоченного роста блондином в перешитой шинели и шевровых штиблетах с кожаны- ми крагами — ворвались к дежурному по станции и подняли шум: «Всех перестре- ляем, если подадите паровозы для комис- сарских поездов».

Комиссар станции Малая Вишера Ва- силий Васильевич Яковлев уже около четы- рех часов утра был извещен, что «матросы угрожают задержать правительственные по- езда и учинить расправу». Яковлев успел вызвать из депо вооруженных рабочих (там был небольшой отряд Красной гвардии), снять с постов и собрать на вокзал дежу- ривших по линии милиционеров, приказал вооружиться рабочим при багажной кассе. Начальнику станции сказал: дать телеграм- му коменданту поезда «4001», чтобы тот знал об опасности. Сам незаметно в тени вагонов пошел вдоль эшелона...

Яковлев был человеком опытным. Солдат-фронтовик, в дни Октября вызван- ный в Смольный, он прошел там комсар- скую школу. Из Смольного его послали на железную дорогу — укреплять революцию. Впоследствии Яковлев во всех подробнос- тях рассказал обо всем, что случилось в то памятное утро.

Матросы, стоявшие у теплушек, заме- тили его, но кто он, не знали. Строго до- просили:

— А тебе чего здесь надо?

— Осматриваю буксы, не видишь?! — И двинулся дальше, делая вид, что щупает буксы — не перегрелись ли? Но слух его был обострен. Яковлев, прежде чем дей- ствовать, решил в точности узнать, что за- теваются.

Голоса в теплушках:

— Надо посмотреть, кто там едет. Мы их прощупаем.

— Мы первые приехали, нам первым и паровоз!

— Наверняка везут коньяк и спирт...

— Тут главное ручной гранатой дейст- вовать...

ГАЛЕРЕЯ  
"МОСКВЫ"



«Батя»

ФРОНТОВЫЕ РИСУНКИ  
БОРИСА НЕМЕНСКОГО



Сестра

С колеи на колею





Вязьма

Пришла почта



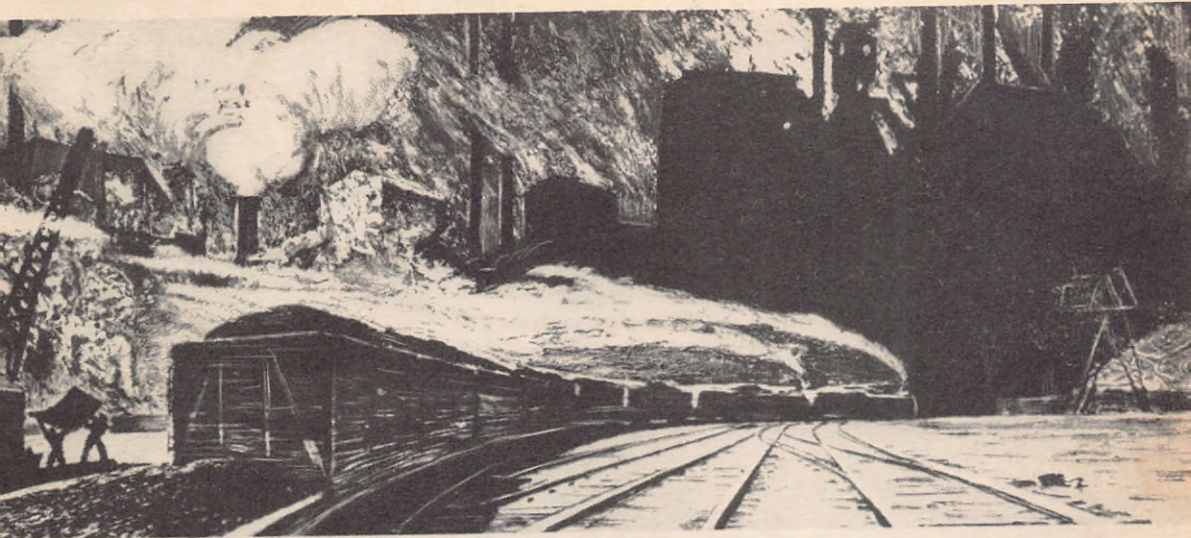


С. Зеленская

Утро

**С ВЫСТАВКИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  
МОСКОВСКИХ ХУДОЖНИКОВ**

1965 г.

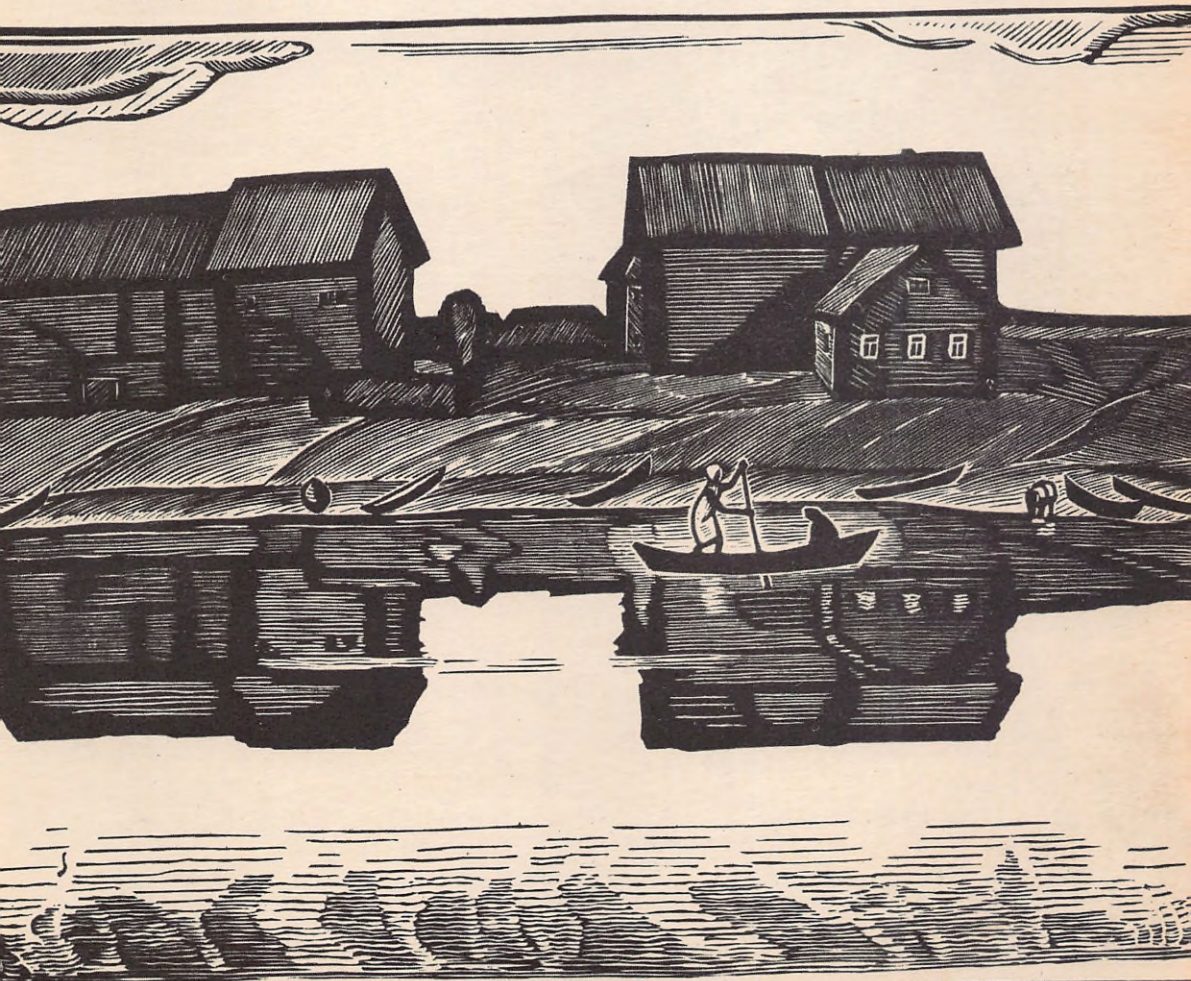


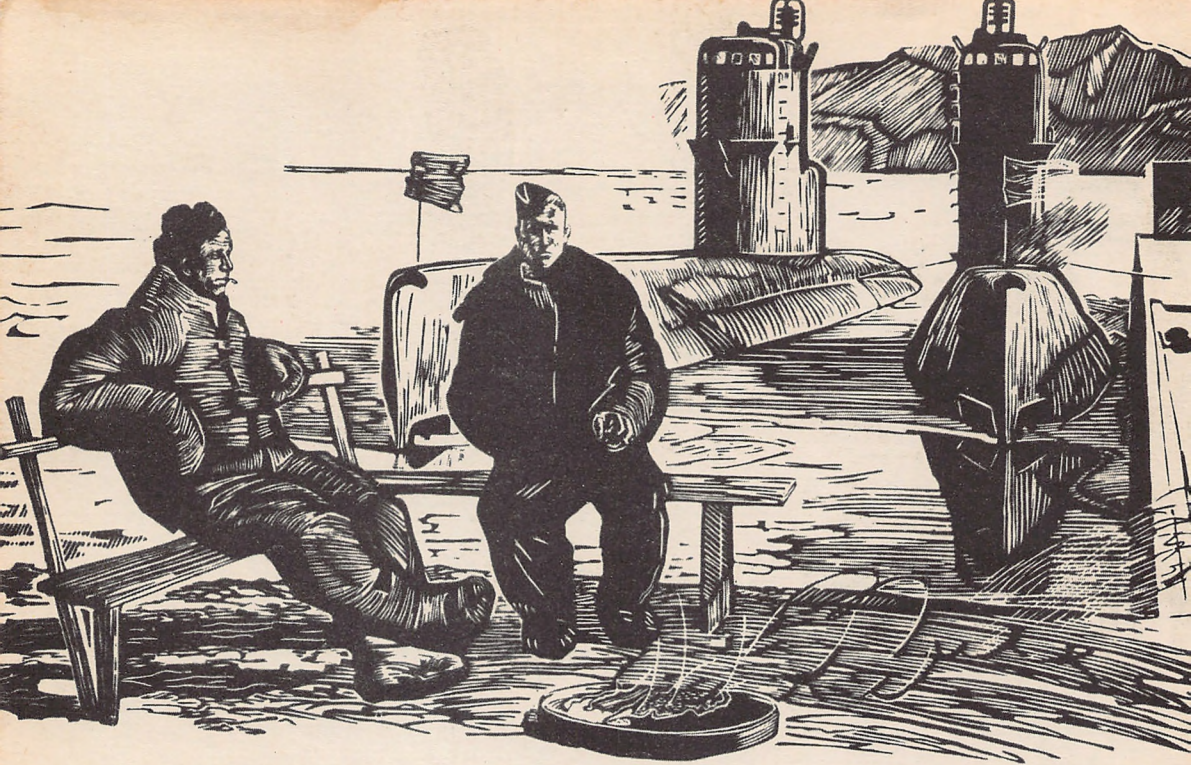
Ю. Апланов

Индустриальный пейзаж

А. Бородин

Вечер в северной деревне





Л. Дурасов

Отдых подводников



В. Дувидов

Портрет художника В. Попкова



Г. Захаров

У самовара

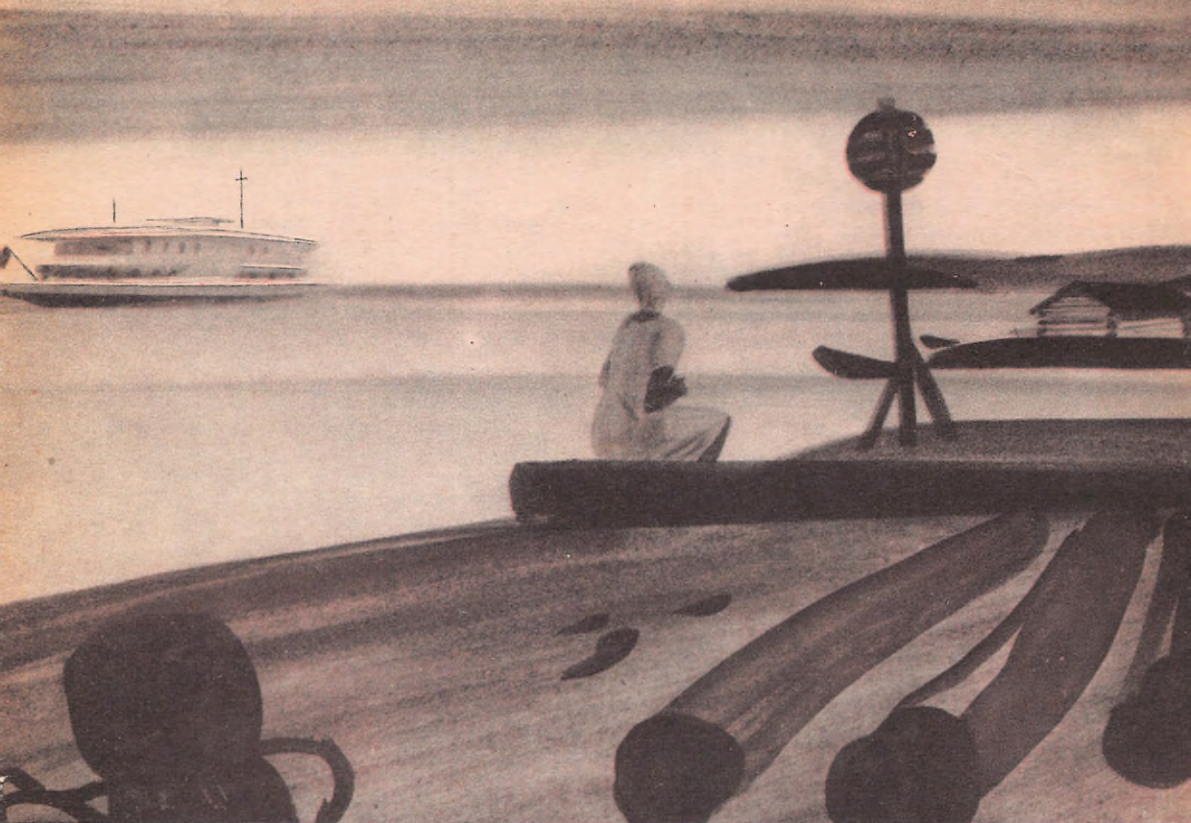
У САМОВАРА Я И МОЯ МАША

Г. Захаров

Телефонный разговор



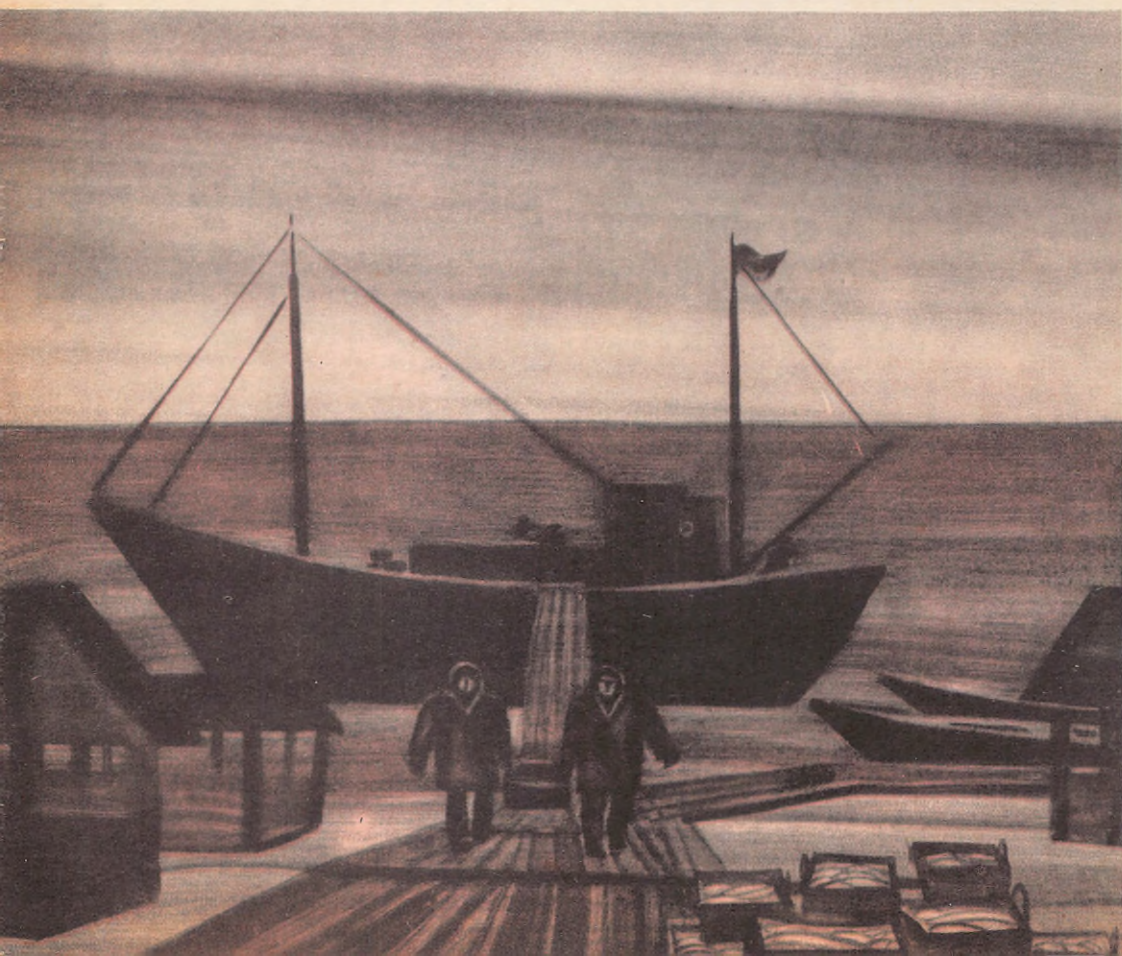




И. Обросов

Белые ночи на Онеге

Волго-Балтийск. Село Дегатины



— Золотишко тоже, наверное, везут...  
— Золотишко, коньяк... Дальше носа не видишь! Россию продали — вот в чем суть!

Гам, ругань, толчея...

Многие признаки указывали на то, что среди эшелонных — народ разношерстный. Одни спешат домой, другие — мародеры, у третьих, которые верховодят, — обдуманый план. Не исключено, что в этот вооруженный муравейник затесались (из-за нарушения механизма «фильтровки») бело-гвардейские и эсеровские боевики-террористы, посланные заговорщиками из Петрограда. Да и вообще непонятно, почему отправили эшелон в перерез совнаркомовским поездом.

Яковлев не знал всех подробностей питерской обстановки, но чутьем угадывал — беда. Возвращаясь к вокзалу, он подсчитывал, какими силами располагает, — дватри десятка вооруженных людей! — и решал, как действовать... С эшелонными самими не справиться. Значит, надо всячески тянуть до подхода «4001-го», а там — латышские стрелки.

К моменту подхода ленинского поезда на платформе собралось еще больше матросов и солдат. Другие толпились на вокзале. Как только «4001-й» прошел входные стрелки, предводитель эшелонных махнул рукой и крикнул:

— Шли!

Это был, очевидно, сигнал. Матросы и солдаты, стоявшие на платформе, миглом разделились на две группы, человек по сорок, и стали в начале и в конце перрона. С приближением поезда принялись вставлять запалы в ручные гранаты. Другие побежали к товарному эшелону, чтобы вызвать подкрепление.

Вооруженные железнодорожники, вызванные Яковлевым, сосредоточились у вокзала. Яковлев приказал им оставаться на месте. Сам побежал к поезду, который уже тормозил.

— Срочно позовите коменданта...

Солдат из латышских стрелков юркнул в глубину вагона. Тотчас появился В. Д. Бонч-Бруевич. Предупрежденный телеграммой, он давно уже не спал. Рядом выросли Берзинь и Цыганков.

Яковлев доложил о случившемся. В ответ от услышал слова Бонч-Бруевича, которые хорошо запомнились:

— Нам можно тридцать раз умереть, а Совет Народных Комиссаров обязаны защитить!

Яковлев, все еще возбужденный, спросил, не вызвать ли из вагона товарища Ленина — может, он успокоит матросов. Бонч-Бруевич ответил, что Владимир Ильич только что уснул. «Будить не буду. Сами пойдем, попробуем...»

Между тем в голове поезда затрещали пулеметы. Это — с тендера. Видимо, эшелонные пытались захватить паровоз. Берзинь выхватил из кобуры маузер и дважды выстрелил вверх. Тотчас отозвались пулеметы с крыши совнаркомовского поезда — пулеметные очереди и красноватые

вспышки возникли в середине и в хвосте состава. Но и отсюда стрельба велась тоже вверх, только для острстки.

(Латышские стрелки, охранявшие поезд, были подняты по тревоге еще на подходе к Малой Вишере. Тогда же они втащили пулеметы на крыши вагонов).

План действий созрел мгновенно. Одна группа стрелков с двумя пулеметами побежала к вокзалу, на помощь железнодорожникам; другая с несколькими пулеметами высадилась на перроне и с ходу стала очищать его от матросов, явно растерявшихся под пулеметным огнем и при виде латышских стрелков, рассыпавшихся по платформе. Никто из них, видимо, не ожидал столь решительных действий, они стали разбегаться — кто в стороны, падая в сугробы, кто — к своему эшелону.

Между тем обнаружилось: другие матросы пытаются прорваться в вагоны совнаркомовского поезда, действуя с тыловой стороны — лезут на ступеньки площадок; караульные отбиваются прикладами.

Бонч-Бруевич, Берзинь и Цыганков перешли на другую сторону поезда. Туда же направили главные силы латышских стрелков с пулеметами. В несколько минут все ступеньки вагонов были очищены. Теперь оставалось последнее — разоружить эшелонных. Берзинь двинул своих стрелков к товарному поезду. Метрах в ста от него расположил отряд цепью, на снегу...

Эшелонные с тревогой выглядывали из дверей теплушек, ожидая, что будет, другие стали прятаться под вагонами, третьи небольшими группками выстроились на путях, перед поездом... Блондина-вожака здесь уже не было; очевидно понял, что дело проиграно.

— Сдать всем оружие! — стоя во весь рост, громко, чтобы все слышали, сказал Бонч-Бруевич. — Не сдадите добровольно, прикажу стрелять!

Двери ближайших вагонов мгновенно закрылись. В других вагонах началось движение, потом оттуда показались стволы винтовок и карабинов. Матросы, стоявшие на путях, ближе сошлись друг к другу и так демонстративно застыли.

Бонч-Бруевич, однако, команды стрелять не подал. Да это и не входило в его намерения.

— Вы должны меня знать, — сказал он. — Я Бонч-Бруевич. Сзади за нашим поездом следует еще полк латышских стрелков и два эскадрона кавалерии. Если оружие не сдадите, все вы будете арестованы и преданы суду революционного трибунала.

И полк и эскадрон были придуманы. Но и эта угроза не подействовала. Тогда Бонч-Бруевич повернулся к Берзиню и сказал:

— Именем рабоче-крестьянского правительства приказываю разоружить анархистов!

О том, что произошло дальше, рассказывал латышский стрелок А. П. Жилинский. ...Берзинь выдвинулся вперед, по-военному командовал:

— По вагонам! Даю десять минут!

— Насилие! К чертовой матери... В гранаты их, братва! — взбурлили ответные голоса.

Берзинь сохранял спокойствие. Он вынул из глубины шинели часы, посмотрел, крикнул:

— Осталось шесть минут. Граждане, поторапливайтесь!

Оттуда вновь:

— Не дрейфь, не посмеют латыши колоть штыками.

— Осталось четыре минуты...

— Готовься! — скомандовал решительно Берзинь.

«Пулеметчики мгновенно прижались к земле, широко разбросав ноги, крепко стиснув рукоятки, медленно стали разворачивать тупые рыла пулеметов в сторону разрозненных групп вооруженных людей. Это решило все. Вооруженный сброд, словно завороченный, медленно передвигая отяжелевшие внезапно ноги, с яростными возгласами и руганью, стал разбредаться, сопровождаемый со всех сторон наשמешками латышских стрелков. Толпа, избегая их, все быстрее пятилась к своим вагонам. Когда пути были очищены, Берзинь подал новую команду: «Закройте вагоны!»

Михаил Цыганков, все время находившийся при Бонч-Бруевиче, бросился к теплушкам. Стучал рукоятку револьвера по вагонным дверям. Те открывались. Цыганков быстро влезал вовнутрь и оттуда рапортовал:

— Так что здесь все вооруженные...

Подходили стрелки и повторяли приказ: сдать оружие!.. Перед вагонами выросли груды винтовок, гранат, патронов. Их убирали железнодорожники и относили в последний вагон поезда.

Все матросы были разоружены. По их просьбе Бонч-Бруевич разрешил оставить на весь эшелон две винтовки и по три патрона на каждую.

## **«Всем, всем, всем...»**

Около восьми часов вечера «4001-й» пришел в Москву. Поезд приняли на первую платформу Николаевского (ныне Ленинградского) вокзала. В. И. Ленина и его спутников ожидали автомобили, присланные Московским Советом по условной телеграмме В. Д. Бонч-Бруевича. Никакой официальной встречи не было, ибо никто не знал, когда придет поезд. Владимир Ильич прошел в вокзальный двор, сел в автомо-

биль и отправился в гостиницу «Националь». Ленин провел весь вечер в кругу московских товарищей, старых партийцев. Говорили о новой столице, о предстоящем съезде Советов, о неотложных делах правительства.

Тем временем Михаил Цыганков, исполняя распоряжение В. Д. Бонч-Бруевича, расставил у комнат В. И. Ленина караулы — своих товарищей по Семьдесят пятой. Один из комиссаров отправился в редакцию «Известий». Он повез ленинскую статью «Главная задача наших дней». Статью немедленно сдали в набор. Утром следующего дня она появилась в газете.

Утро было солнечное, совсем не похожее на еще холодные утра, которые стояли в Петрограде... Таял снег. На Москве-реке всплывали льдины.

Около двенадцати часов дня В. И. Ленин, Я. М. Свердлов, Н. К. Крупская и В. Д. Бонч-Бруевич подъехали к Троицким воротам Кремля. Там стояли часовые, но еще не латышские стрелки (по приезду в Москву те первоначально расположились в одной из московских казарм), а из караула воинских частей, которые были расквартированы в Кремле после штурма его в дни октябрьских боев 1917 года.

Начальник караула остановил машину.

— Кто едет? — спросил он. (В то время портреты В. И. Ленина еще были мало распространены).

— Председатель Совета Народных Комиссаров Владимир Ильич Ленин, — громко сказал Бонч-Бруевич и показал пропуска.

Начальник караула сделал два шага назад, отдал честь. То же сделали часовые. Владимир Ильич приветливо улыбнулся, сделал «под козырек».

Автомобиль въехал в Кремль. Там еще виднелись следы октябрьских боев — шрамы и выбоины на стенах и башнях. Во дворах по углам валялись развороченные повозки, фуры, брошенные пушки. Машина остановилась у здания, где когда-то помещалась Судебная палата и Межевое присутствие. Владимир Ильич и его спутники вошли в подъезд...

...В этом здании разместились Совет Народных Комиссаров и ВЦИК. В тот же день сюда вошли комиссары Семьдесят пятой. Михаил Цыганков, назначенный командантом резиденции правительства, принялся осматривать чердаки, подвалы, налаживать охрану.

В тот же день было передано по радио за границу и по телеграфу для совдепов Республики:

«Париж. Лондон. София. Берлин. Нью-Йорк. Вена. Рим. Константинополь. Христиания. Стокгольм. Гельсингфорс. Копенгаген. Амстердам. Женева. Цюрих. Токио. Пекин. Мадрид. Лиссабон. Брюссель. Белград. Всем совдепам. Всем. Всем. Всем.»

Правительство Федеративной Советской Республики — Совет Народных Комиссаров и высший орган власти в стране — Центральный Исполнительный Комитет Советов Рабочих, Солдатских, Крестьянских и Казачьих Депутатов прибыли в Москву.

Адрес для сношений: Москва, Кремль...»

## ВСТРЕЧА

Полтораста верст иль двести  
До села, где друг грузин.  
С ним на Крымском фронте вместе  
Груз солдатских бед грузил.

Для него в поездке к морю  
Приберег денек-другой,—  
«Москвича» мой друг пришпорил  
И увез меня домой.

Он не стал украдкой прятать  
Мой потертый чемодан,  
А сказал:  
— Солдату-брату  
Через день уйти не дам.

Покажу Бельбек охотно.  
На Ай-Петри встретить грозу.

Отвезу куда угодно —  
На вокзал не отвезу.

Сулугуни, и ткемали,  
И сациви вдосталь ешь,  
Но на бегство, генацвали,  
Не питай пустых надежд.

Мы с тобой обид не делим,  
Дружбу делим, как в войну.  
Пусть не месяц —  
Пусть неделю  
Подержу тебя в плену.

Значит, хмель не застоялся,  
Парус дружбы не дал крен.  
Я с признательностью сдался  
Фронтowому другу в плен.

## МОРЕ ГОСТЕПРИИМНОЕ

Морем Гостеприимным  
Его называли греки,  
За то, что победным гимном  
Их приняло в оном веке.

Многих встречало штормом,  
Пыталo девятым валом,  
И за коварство  
Черным  
Люди его назвали.

Друг мой,  
А нам с тобою  
Виделось море всяким:

Синим —  
в начале боя,  
Бурым —  
в конце атаки.

В щедрость его хочу я  
Верить, подобно грекам:  
Раны твои врачует  
Скоро уж четверть века.

...Меня ты осыпал ливнем  
Забот, что не убывают.  
В честь тебя называю  
Море  
Гостеприимным.

# НЕЗАБЫВАЕМОЕ — НЕДОСКАЗАННОЕ

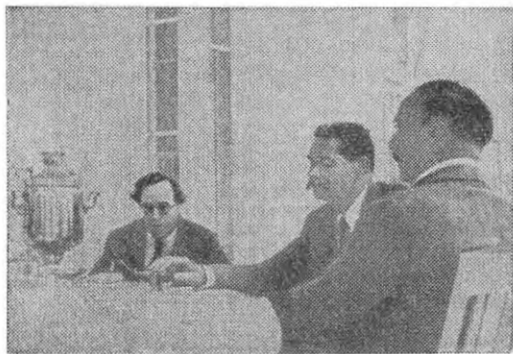
(ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О А. М. ГОРЬКОМ)

Прошло почти тридцать лет с того дня, как не стало Алексея Максимовича. Образ его не отдалился от нас, а стал еще ближе, еще значительнее. Особенно для тех, кто знал Горького не в облике отлитого из бронзы монумента, а живого, с его легкой, бесшумной походкой, неторопливыми движениями, глуховатым голосом и пронзительным взглядом, как бы читающим мысли собеседника...

Перечитывая свои мемуары о Горьком, написанные вскоре после его кончины, я убедился в том, что писал их под свежим впечатлением невосполнимой утраты, и многое, что мне теперь кажется важным, недосказано. К тому же время, которое мы пережили, долго не позволяло писать о многом, чему мы были свидетелями, что знали, о чем догадывались. Вот почему у меня созрело решение вернуться к этим страницам.

\* \* \*

В Москве, на улице Качалова, в доме, где жил Горький в последние годы его жизни, открылся мемориальный музей. В хорошо знакомые нам комнаты пришли люди, они принесли с собой глубокой и оправданный интерес к жизни и деятельности, столь изумительной и благородной.



А. М. Горький, Г. Уэллс (справа)  
и Л. В. Никулин. (Снимок 1934 г.)

Мы, бывавшие здесь раньше, видим все, что окружало Горького, для нас каждая вещь, каждый предмет не бездушен. Вновь является нам образ того, кто жил в этом доме. Такова уж духовная сила этого человека, что горьковские места, даже обжитые другими людьми, по-прежнему волнуют нас, как будто присутствует здесь тот, кто ушел от нас тридцать лет назад. Эти размышления овладевают нами и в доме на Кронверкском, теперь проспекте Горького в Ленинграде, и в Италии, в Сорренто, в вилле «Il Sorito», и в Москве, на улице Чапыгина, в квартире Екатерины Павловны Пешковой, где останавливался Горький в 1920 и в 1928 годах, вернувшись из Италии, и на подмосковной даче, где кончил свои дни Горький.

Трудно передать чувства, которые волновали меня, когда в 1920 году я подходил в Петрограде к дому на Кронверкском. Было это зимой. До того я видел Алексея Максимовича трижды. В первый раз летом, 19 июля 1920 года. Число запомнилось точно, это был день открытия II конгресса Коммунистического Интернационала в Таврическом дворце.

Кто не знает снимка, где изображены Ленин и Горький на фоне колоннады в Таврическом саду! Случилось так, что я оказался свидетелем того, как был сделан этот известный всем снимок, не только я один, разумеется, но все те, кто в эти минуты, в перерыве заседания конгресса, вышли в сад.

Ленин только что окончил свой доклад. Овации, которыми он был встречен, он сам и поразительное воздействие его слов на слушателей очень верно описаны Константином Александровичем Фединым в его воспоминаниях «Живой Ленин». Федин упоминает о том, что Ленин и Горький вместе вышли в толпе делегатов в сад, и тут фотограф сделал знаменитый портрет — Ленин и Горький у колонны дворца.

Я стоял рядом с фотографом, видел все его приготовления. В то время фотографические аппараты были громоздкие, фотограф долго устанавливал треножник, укреплял аппарат, потом, накрывшись черным сукном, возился с объективом. Шли минуты,

Владимир Ильич выразил нетерпение. Горький тоже. Сбоку и позади стояли люди, которым было очень приятно попасть на эту фотографию. На первом плане, чуть правее, стоял мой товарищ по Политическому управлению Балтийского флота, военный моряк Терехов. Он попал на снимок, воспроизведенный в журналах того времени. Позднее на этой фотографии остались только Ленин и Горький.

В моей памяти отчетливо сохранился прекрасный июльский день. За оградой дворца с развешивающимися знаменами проходили отряды питерских пролетариев, приветствовавшие конгресс. И все это — музыка военных оркестров и приветственные возгласы, и Ленин, и Горький, беседующие на крыльце (что-то очень товарищеское, дружеское было в этой встрече), — все это никогда не забудешь...

Потом был ноябрь 1920 года, Горький приехал на одну из генеральных репетиций в Театре политической сатиры (театр назывался «Вольная комедия», и там шли две моих пьески). Конечно, я воображал, что Алексей Максимович непременно скажет: «Кто сочинил эти забавные пьески? Представьте мне автора». И я буду застенчиво улыбаться, и вот тут и придет слава. Ничего этого не было. Впрочем, об одной пьеске Горький сказал: «Это страшно». Но относились эти слова к сюжету, взятому мной у Эдгара По.

Однако знакомство состоялось. Представила меня Горькому Мария Федоровна Андреева — комиссар зрелищ Петрограда, и разговор вышел деловой. Тогда я был начальником Политпросветительной части Политического управления Балтийского флота. Чин длинный и ответственный: начальник ведал клубами, студиями, театрами Балтийского флота и к тому же имел право снабжать продовольственными пайками литераторов, ученых, лекторов, обслуживающих флот, и, разумеется, артистов. В то голодное время это имело для творческих работников немалое значение. На мне лежала забота о духовной пище; командование флотом и Политическое управление предложили посоветоваться с Горьким по поводу просветительной работы среди военных моряков.

Так получилось, что Алексей Максимович пригласил меня к себе. С тех пор прошло сорок пять лет, но это первое посещение Горького невозможно забыть, и это понятно, если подумать о том, каким уважением пользовался Горький.

В те дни почти во всех домах Петрограда так называемый парадный ход был закрыт, и в квартиры попадали с черного хода, через кухню. Таким точно образом я попал в квартиру Горького, из коридора — сразу в длинную, узкую комнату. Некоторое время я здесь оставался один и огляделся. Передо мной был письменный стол, на столе груда рукописей, книг и несколько прелестных, резанных из кости китайских фигурок. Одну стену занимали книжные полки. Это был рабочий кабинет Горького и

спальня: за ширмой стояла кровать и маленький столик.

Это была скромная квартира, и в ней было холодно, как во всех петроградских домах в то время.

Горький вошел быстро, почти неожиданно, протянул руку, другой рукой он придерживал накинутое на плечи пальто.

Я стал объяснять цель визита. Он очень внимательно слушал мой сбивчивый рассказ о том, что делается для матросов по части просветительной. Когда я попросил его назвать литераторов, которых он мог бы рекомендовать как лекторов, он взял карандаш и написал несколько фамилий, потом придвинул мне листок.

Я позволил себе возразить против двух кандидатур. У меня вызвало сомнение имя Акима Вольнского — критика реакционного направления. И я сказал:

— Он махровый реакционер.

— Ну, это в прошлом. Старый человек, эпоху Возрождения знает отлично. Матросам полезно его послушать.

Я уступил, но против одного поэта возразил более энергично.

— Он еще разведет контрреволюцию, и ему же за это попадет от матросов. Это в лучшем случае, а может быть и хуже.

Алексей Максимович посмотрел на меня в упор.

— Думаете? Тогда не надо.

Я взял список и собрался уходить, и тут Алексей Максимович добродушно сказал:

— Заходите, пожалуйста. У меня собираются товарищи... Вам будет интересно.

Я шел через Троицкий мост, кажется, была метель, но я этого точно не помню. Можно представить себе чувства молодого человека: у Горького побывал и даже приглашен бывать.

Был я в Петрограде у Алексея Максимовича еще только один раз. Это произошло так: в Петроград с Северного фронта прибыл член Реввоенсовета фронта Николай Николаевич Кузмин. В прошлом он был комиссаром Балтийского флота, а в более далеком прошлом учителем одной петербургской гимназии. Я встречал Николая Николаевича у одного моего питерского родственника, потом, когда он редактировал после Северного фронта «Красную газету», носил ему статьи и даже стихи. Однажды вечером он предложил мне сопровождать его к Горькому. Он привез Алексею Максимовичу некоторые дефицитные медикаменты, главным образом кофеин, и немного консервов — трофеи, захваченные у интервентов.

Пришли мы к Алексею Максимовичу в десятом часу вечера. У него были гости — нижегородцы. Николай Николаевич рассказывал о Северном фронте. И вдруг соблазнил меня прочитать Алексею Максимовичу мой поэтический опыт — стихи о Парижской коммуне. Уговаривать меня не было нужды: какой молодой поэт откажется читать стихи в присутствии Горького!

Я читал, стихи были довольно длинные. Алексей Максимович слушал, иногда одобрительно кивая, может быть в ответ своим

мыслям. Николай Николаевич поглаживал свою бородку оперного Мефистофеля.

Стихи кончались эффектно:

Они вошли, солдаты Галифе  
Еще стреляли в инсургентской зоне,  
Но были переполнены кафе  
И дамы говорили о сезоне.

— Здорово читаете...— сказал Алексей Максимович. — А «инсургентская» зона откуда у вас появилась?.. Не обижайтесь, правильнее сказать в «коммунарской». Но это я придираюсь.

Тут Николай Николаевич переменял тему разговора, снова заговорил о боях с интервентами на севере и всех заинтересовал. О стихах никто не вспомнил. Я был огорчен. Впрочем, ненадолго. Алексей Максимович снова приглашал меня к себе.

Но увидел я его только через десять лет. Вот тогда-то и началось то, что я считаю горьковским периодом моей жизни.

Очень тяжелыми были зимние месяцы 1920—1921 года, в особенности для жителей Петрограда. Алексей Максимович переживал это время так же, как и все мы, много сил отнимала у него работа по организации «спасательных станций», как назвал Уэллс Дом ученых, Дом искусств и издательства «Всемирная литература».

С тех пор прошло почти пятьдесят лет, и нынешнее молодое поколение не представляет себе, какая путаница, неразбериха царит в мозгах людей, очутившихся в кипящем котле революции. Со дня на день они ожидали конца «эксперимента». Люди, считавшие себя до революции «народолюбцами» и демократами, ждали белого генерала, который наведет порядок. Они злобствовали, даже получив приют в Доме искусств, где им дали кров и хлеб. Они яростно осуждали Горького. Его благородную миссию до сих пор чернят доживающие свой век зубры эмиграции.

Мне некоторым образом повезло: в те два моих посещения я не застал у Горького ищущих сочувствия обывателей, «внутренних эмигрантов», которые позднее за границей превратились в белых эмигрантов и там во всеуслышание начали клеветать на Советскую страну, особенно же отличались в нападках на Горького. А тогда, в 1918—1920 годах, они атаковали Горького просьбами, жалобами. Недаром Владимир Ильич Ленин, приглашая Горького пожить в деревне, отдохнуть, писал ему: «Немножечко переменить воздух, ей-ей, Вам надо».

«Переменить воздух» — в этих словах не только забота о здоровье Горького, но и понимание той атмосферы, которую создавали обиженные «аристократы духа». Они спекулировали отзывчивостью Алексея Максимовича, особенно по отношению к деятелям культуры, рассказывали ему об «ужасах», не брезгуя ложными слухами, чернили революцию, рисовали мрачные картины будущего.

Таким ложным слухом была упоминаемая в «Записных книжках» Александра Блока выдумка о том, что будто бы его и некоторых других литераторов предполагают

отправить в Москву в качестве заложников.

Читая и перечитывая «Записные книжки» поэта, его заметки, относящиеся к первым годам революции, часто встречаешь упоминание о Горьком и видишь, какой важной, необходимой была работа писателя, его забота о деятелях культуры. В те годы во главе Петрограда, Петрокоммуны, как тогда говорили, стоял Зиновьев, властолюбивый и жесткий человек. Он не хотел понять важности миссии, которую взял на себя писатель. Алексею Максимовичу приходилось ездить в Москву, к Владимиру Ильичу, там он встречал внимательное отношение к своим просьбам и содействию. Здесь следует привести свидетельство самого Горького: «...Я не помню случая, когда бы Ильич отказал в моей просьбе. Если же случалось, что они не исполнялись, это было не по его вине, а, вероятно, по силе тех «недостатков механизма», которыми всегда изобилвала неуклюжая машина русской государственности. Допустимо и чье-то злое нежелание облегчить судьбу ценных людей, спасти их жизнь».

Обращение в подобных случаях к Владимиру Ильичу еще больше раздражало Зиновьева. Обращаться же к нему, Зиновьеву, не имело смысла. Это даже могло повредить. И, разумеется, Горький имел основание, мягко говоря, не любить этого человека.

Спустя тринадцать лет я имел случай убедиться в этом.

В 1933 году, в Сорренто, я показал Горькому мой рассказ о событиях, происходивших зимой 1920 года в Петрограде. Алексей Максимович справедливо и строго критиковал этот рассказ (рукопись с его пометками хранится в Москве, в архиве Горького). В этой беседе с Горьким возник разговор о петроградской зиме 1920—1921 года, и Алексей Максимович очень сдержанно, но внушительно высказался относительно Зиновьева.

О Зиновьеве мне стал известен один небезынтересный факт. Получилось так, что в дни Кронштадтского мятежа по особым внутренним сводкам я знал, что происходило в Кронштадте.

Многим тогда казалось непонятным бездействие петроградских властей в начале мятежа. Чувствовалась растерянность Комитета обороны Петрограда (председателем его был Зиновьев). В первых числах марта он собрал у себя совещание командиров и комиссаров флота и армии. Собралось человек шестьдесят, они долго шли по коридорам, никого не встречая, дошли до открытых настежь дверей кабинета Зиновьева. И остановились в изумлении. За письменным столом, освещенным настольной лампой, сидел Зиновьев, запустив пальцы в густую шевелюру. Сбоку от него стоял граммофон, вертелась пластинка и слышался бархатный, почти баритональный голос Вари Паниной, исполнявшей известный цыганский романс «Лебединая песнь»:

Иль мне правду сказали, что будто моя  
Лебединая песня пропета...

Неважное настроение было у председателя Комитета обороны Петрограда... Он остановил пластинку, сначала заговорил против обыкновения неуверенно, потом разошелся, его пронзительный, крикливый голос временами срывался на фальцет; это была скорее митинговая речь, хотя агитировать было некого — все понимали опасность создавшегося положения. Кончилось совещание тем, что из опасения десанта мятежников штабу предложено было из здания на Дворцовой площади перебраться в Петропавловскую крепость (это еще больше усилило нашу тревогу). Позднее назначенный командармом 7-й армии М. Н. Тухачевский вернул штабных работников на старое место.

Я не предполагал, что этот эпизод произведет такое гнетущее впечатление на Горького. Он вышел на террасу и некоторое время молчал, затем обронил фразу:

— А сколько крови испортил людям Григорий Овсеевич... Мастером паники был этот человек.

«Мастер паники»... Умел определить характер Алексей Максимович. Что называется, «припечатал».

В Петрограде Горький вместе с городом, с его рабочим классом пережил суровые испытания. Он был здесь в Кровавое воскресенье 9 января 1905 года. Здесь, в камере Петропавловской крепости, писал он «Дети солнца». После Октября, в годы гражданской войны, когда наступали белые полки генерала Юденича, он оставался в Петрограде. Он слышал гул орудий, доносившийся из Кронштадта: орудия стреляли по форту «Красная горка», которым овладела предатели и белогвардейцы. Он не уезжал никуда, хотел разделить судьбу защитников красного Питера. Конечно, если бы белые ворвались в город, Горький стал бы одной из первых жертв белого террора.

Приказ позаботиться о Горьком последовал не из Смольного, а из Москвы. Об этом мне рассказал Николай Николаевич Кузмин. В дни Кронштадтского мятежа, в начале марта 1921 года, он был назначен комиссаром Балтийского флота, но был задержан кронштадтскими мятежниками. Физически он не пострадал, но слава любимца матросов, которую он снискал, несколько поблекла.

Это был мужественный человек, революционер-большевик, храбрый командир.

\* \* \*

До революции корзины редакций газет и журналов никогда не пустели, они постоянно были полны рукописями начинающих поэтов, и кто знает, может быть, среди этого «самотека» (тогда еще так не говорили) попадались и хорошие стихи. После революции жажда творчества пробудилась у множества полуграмотных людей. Дошло до того, что в одном из мартовских номеров «Красной газеты» за 1918 год в разделе «Почтовый ящик» было напечатано следующее: «Авторы безнадежно плохих стихов не должны обижаться на суровую

оценку их труда, ибо писание стихов, когда у человека нет таланта, своего рода болезнь (графомания), а с болезнями следует беспощадно бороться. Не принятые безнадежно плохие стихи уничтожаются сейчас же по их прочтении».

Горький недаром шутил: «Я уже не лицо, а учреждение» — его почта превосходила даже редакционную. В Сорренто эту почту разбирал Максим Пешков. Как человек веселый и остроумный, он иногда демонстрировал нам курьезы. Кстати сказать, Алексей Максимович не одобрял эту демонстрацию, сам он неустанно выискивал жемчужные зерна и однажды так ответил на письмо писателя Зазубрина: «...по поводу Ваших слов о «назойливости», с которой ко мне лезут «литературные младенцы»... Знали бы Вы... сколько на путях моих я встретил замечательно талантливых людей, которые погибли лишь потому, что в момент высшего напряжения их стремлений они не встретили опоры, поддержки».

Горький получал произведения не только от страдающих сомнением «литературных младенцев». Он получал стихи и прозаические произведения и от людей, сомневающих в своих литературных способностях, — таких Алексей Максимович старался воодушевить, обнадежить. Вот что писал он, отвечая одному своему сомневающемуся корреспонденту: «Особенно значительна в В(ашем) письме фраза: "Может быть, напечатать рассказ лишь потому, что его написал свой парень..."»

Дальше следует фраза-афоризм Горького, который относится не только к «младенцам», но и к пожилым и маститым: «Сомнение — для художника прекрасное свойство, а вот сомнение — пагуба». И далее: «...Именно вам — «своим парням» — и надобно брать в свои руки всю жизнь, весь труд, все творчество. Вы — та новая сила, которая призвана историей создавать новую жизнь».

Но не только от «своих парней» получал произведения Горький. Он писал одному из своих корреспондентов: «Очерк — ехидно сделан, но возбуждает сомнения, так ли это, верно ли?»

Даже когда рукопись вызвала в Горьком чувство, близкое к брезгливости, он ограничивался сухим замечанием: «...Здесь встает вопрос о политической тактичности и уместности очерков такого типа».

Когда 28 мая 1928 года Горький из Италии приехал в Москву, кроме друзей литераторов и тех, с кем он поддерживал переписку, к нему устремились недовольные, ущемленные обыватели, рассчитывавшие найти в нем своего защитника. Они уходили разочарованными: «Это настоящий большевик!»

— А кого же, собственно, они хотели встретить? — говорил по этому поводу Всеволод Иванов.

Горький имел право с полным основанием ответить «механическим гражданам» («Правда», 7 октября 1928 года): «Большевики «владеют» мной уже лет двадцать пять...»



В свой приезд из Италии в 1928 году Алексей Максимович остановился в квартире Екатерины Павловны Пешковой, по улице Чаплыгина, в бывшем Машковом переулке.

Не раз мне случалось бывать в этой квартире уже после того, как не стало Алексея Максимовича. Поднимаясь в стареньком дребезжащем лифте, я каждый раз вспоминал, что лифт этот бездействовал в первые годы революции и был пущен в 1920 году по прямому указанию Владимира Ильича Ленина. Время было такое, что для ремонта и пуска лифта потребовалось указание Председателя Совета Народных Комиссаров.

В шестидесятием годах нашего века я всегда с волнением входил в комнату Екатерины Павловны, где стоял рояль, тот самый, на котором играл «Аппассионату» пианист Добровейн. В кругах музыкантов его прозвали «Зайчик», его считали талантливым даже в то давнее время, когда в концертных залах можно было услышать исполнительское мастерство таких титанов фортепьянной музыки, как композиторы Рахманинов, Скрябин. Исайд Добровейн, маленький, худощавый молодой человек, был известен главным образом в музыкальных и литературных кругах, его считали не только талантливым музыкантом, но и интересным собеседником. Надо сказать, он и сам тянулся к людям литературы, искусства. Увы, его унесла за границу волна эмиграции, там он себя ничем замечательным не проявил. И если имя его останется в памяти, то только потому, что Добровейн однажды играл «Аппассионату» Бетховена и его слушали Владимир Ильич Ленин и Горький, рассказавший об этом вечере в воспоминаниях о Ленине.

Может быть, пианист был в особенном ударе в тот вечер, мне же раньше случалось слушать Добровейна в Малом зале консерватории. Для проникнутой страстной силой «Аппассионаты», мне думается, у этого пианиста не хватало именно силы, бурной, огненной энергии, но по тому, что писал Горький о впечатлении, которое произвела на Ленина соната Бетховена, надо думать, исполнение было превосходным.

Когда вышел фильм «Аппассионата» — о памятном музыкальном вечере, Екатерина Павловна довольно сурово критиковала актера, исполнявшего роль Горького. Может быть, она и была права, но известно, что нет актера, который вполне мог бы удовлетворить своей игрой тех, кто был близок к изображаемому историческому лицу.

Слушая Екатерину Павловну, ее тихую речь, прерываемую паузами, когда речь сменялась раздумьем, я всегда узнавал что-то новое и значительное. Как-то Екатерина Павловна рассказывала о своей встрече за границей с Иваном Алексеевичем Бунинным. Было это еще до второй мировой войны, где-то вблизи Канн, во Франции.

Екатерина Павловна встретила с Верой Николаевной Буниной, женой Ивана Алексеевича, своей старой знакомой. Но она поставила ей условие, чтобы при их встрече не было Ивана Алексеевича. И вдруг, в середине их разговора, вошел Бунин.

— Я очень хотел вас видеть,— сказал он.

— А я не хотела вас видеть,— сказала Екатерина Павловна,— после того, что вы написали об Алексее Максимовиче.

— А что я написал дурного?

Здесь Бунин разыграл наивность. Он отлично помнил, что злое и неумное писал он в своих воспоминаниях о Горьком, и притом знал, что даже после этого Алексей Максимович продолжал признавать его замечательным художником слова и советовал молодежи у него учиться.

Говорили мы с Екатериной Павловной и о первых годах революции, главным образом о Дзержинском. (В то время я работал над романом «Мертвая зыбь», где есть страницы, посвященные председателю ВЧК — ОГПУ). Екатерина Павловна охотно рассказывала о Дзержинском. Она по просьбе Дзержинского исполняла тогда обязанности представителя Политического Красного Креста и часто бывала у председателя ВЧК — ОГПУ и его заместителя. Она говорила о доверии Дзержинского к людям — он никогда не подходил к человеку, находящемуся в заключении, с предвзятым мнением, он хотел верить людям. Говорила о том, как отзывчиво относился председатель ВЧК к просьбам Горького в том случае, если людям угрожала суровая кара и при этом возникали смягчающие вину обстоятельства. Если бы враги Советского государства прекратили террористические покушения, шпионаж, диверсии, не было бы нужды в учреждении, которое парализует и предупреждает эти действия. Написал же Дзержинский в одном из своих приказов, что лишение свободы виновных людей есть зло, к которому мы вынуждены прибегать, чтобы в будущем восторжествовало добро и правда.

От Екатерины Павловны я впервые услышал о концерте Шалаяпина в Бутырской тюрьме для заключенных. Это было в 1920 году. Сам Шалаяпин с радостным изумлением рассказывал об этом концерте Горькому. Екатерина Павловна говорила мне, что концерт был устроен с разрешения одного из начальников тюрьмы, и когда кому-то это показалось недопустимой вольностью и те об этом сообщили Дзержинскому, Феликс Эдмундович попросил не отнимать у него времени...

Конечно, меня интересовало, пишет ли воспоминания Екатерина Павловна. Она ответила:

— Я еще напишу.

А было ей уже за восемьдесят, и я подумал, успеет ли... С грустью думаю: «А что, если не успела»...

Пребывание Горького в Москве в 1928 году и поездка по Союзу Советов имели огромное значение для него: теперь он своими глазами увидел то, о чем знал до этого по письмам и беседам со своими друзьями, навещавшими его на чужбине, — увидел, как расцвела его Родина.

После кончины Ленина Горький все свое уважение к «вождю всемирного трудового народа», «большому человеку мира сего», как он называл Владимира Ильича, перенес на созданную Лениным партию, он видел в ней ту могучую силу, которая выполнит ленинский завет — построить социализм. Единство партии он считал залогом победы, поэтому осуждал «оппозицию» во всех ее обличьях. Горький восторженно принял индустриализацию. Журнал «Наши достижения» был одним из его любимых начинаний, «СССР на стройке» и особенно неосуществленное издание «Две пятилетки» должны были отразить героический труд пролетариата Советской страны.

Сложнее для Горького был вопрос о колхозном строительстве. В начале революции он критически относился к «свинцовой крестьянской России». В воспоминаниях о В. И. Ленине он писал:

«Когда в 17 году Ленин, приехав в Россию, опубликовал свои «тезисы», я подумал, что этими тезисами он принесит всю ничтожную количественно, героическую качественно рать политически воспитанных рабочих и всю искреннюю революционную интеллигенцию в жертву русскому крестьянству». «...Меня всю жизнь угнетал факт подавляющего преобладания безграмотной деревни над городом, зоологический индивидуализм крестьянства и почти полное отсутствие в нем социальных эмоций», — так писал Горький в этих своих воспоминаниях, под которыми поставлена дата 1924—1930 годы.

В начале революции Горький воспринимал крестьянство как нечто однородное; в 1930 году он уже ясно представлял себе, что крестьянство — это и бедняки, и середняки, и кулаки, следовательно, неоднородная масса, и ясно видел сопротивление кулаков коллективизации деревни. Умевший искренне признавать свои ошибки, он понял значение ликвидации кулачества как класса на основе сплошной коллективизации... В тридцатых годах у него уже не было сомнений по основному вопросу политики партии.

Горький создал журнал «Колхозник» и отдавал ему много своего драгоценного времени. Его интересовало то, что происходило в новой колхозной деревне. Он знал и о перегибах в процессе коллективизации, люди, несправедливо объявленные кулаками и подкулачниками, искали защиты у писателя.

Секретарь Горького пересылал ему в Италию почту из Москвы, передавал нам его письма и некоторые материалы — вырезки из газет. Я подячил несколько паке-

тов с такими вырезками и советами, как их использовать для полемики с нашими недругами по вопросам советской политики. Однажды я видел, как секретарь разбирал письма, присланные Горькому со всех концов страны. Адреса были написаны кривым почерком, иногда каракулями на клочках оберточной бумаги, на обороте кусочка обоев. Секретарь делал на моих глазах отбор, думаю, что не все эти письма попадали в руки писателя. Те же, что попадали к нему, непременно пересылались в соответствующие инстанции.

Горького несомненно воодушевляло то, что каждая написанная им статья приобретала неслыханно огромную аудиторию. В то время я много ездил по стране и видел, с каким интересом читались его статьи. Они были своего рода лакмусовой бумагой для проявления читательских чувств. Большинство верило Горькому. Были, конечно, и такие, кто не мог без злобы слышать о нем. Они тоже писали Горькому, выражая эти свои чувства.

Почта Горького, и без того большая в двадцатые годы, в тридцатые стала просто огромной. Кто только не писал ему — поэты и прозаики, астрономы и зубные врачи, а больше всего люди физического труда. Писали о самом сокровенном и требовали ответа. Почтой писателя занимались не только его секретарь — П. П. Крючков, но и сын Горького Максим, и редакции созданных Горьким журналов...

Юбилей Горького, сорокалетие его литературной деятельности, превратился во всенародное торжество, до сего времени невиданное. Он был отмечен переименованием Нижнего Новгорода в город Горький, присвоением театрам, культурным учреждениям имени писателя. Его же именем во многих городах были названы улицы. Это смущало Горького, он на самом деле не любил pompезных торжеств в свою честь. Его, конечно, тронуло выражение народной любви к нему как писателю, но, мне кажется, больше всего его радовал триумф пьесы «Егор Булычев и другие», написанной со всем блеском неуязвимого горьковского таланта. Люди, присутствовавшие на общественном просмотре этой пьесы в театре им. Евгения Вахтангова, не могут до сих пор забыть поразительного воздействия этой прехосходно разыгранной и поставленной пьесы на ее зрителей.

С того времени прошло много лет, пьесу эту играют и по сей день, создалась целая литература о «Егоре Булычеве...» В мою задачу не входит разбор художественных достоинств этого произведения, написанного Горьким, как говорится, на склоне лет, но всякий раз, когда мне доводилось видеть эту пьесу, притом в исполнении разных актеров, я не мог не изумляться свежести, молодой силе автора, который вполне серьезно и искренне говорил о себе: «Ну какой я драматург!..»

Это было в послевоенные годы. В Москву, если не ошибаюсь, в первый раз приехал французский писатель Жан-Поль Сартр. Ему решили показать один из луч-

ших московских спектаклей. Остановились на «Горе Булычеве...» Мы, конечно, знали творчество Сартра, и то, что он имел мужество отрешиться от реакционного, эгоистичного, нигилистического течения «экзистенциализма», начинателем которого он был. Мыслящего, ищущего писателя-психолога, конечно, должна была заинтересовать «пессимистическая комедия» Горького. Мне пришлось в тот вечер быть переводчиком, и, признаться, я очень дурно исполнял свои обязанности — то, что я видел на сцене (в который раз!), увлекло меня. И все-таки Сартр понял эту пьесу, и совсем не как бытовую или историческую: свое внимание он сосредоточил на переживаниях человека, который всю жизнь прожил «не на той улице», на характере и переживаниях сильного, умного человека, борющегося со смертью.

Горький говорил, что успех пьесы о Булычеве зависел от исполнителя заглавной роли — актера Щукина. Но разве нас не захватила игра С. Лукьянова, достойного преемника Щукина в этой роли! Кстати сказать, некоторые актеры называют такие отлично выписанные роли «самоигральными», в том смысле, что герой производит впечатление даже в посредственном исполнении.

Думается, что это неверно, такая роль — как раз экзамен, труднейший экзамен для актера.

Писатель также утверждал, что успех инсценировки «В людях» и особенно эпизодов из рассказа «Хозяин» в Художественном театре зависел от исполнения роли булочника Семенова артистом Тархановым. И даже спрашивал Тарханова — не знал ли он лично живого прототипа этого своего персонажа.

Много людей приходило в дом Горького на Малой Никитской, об этом известно, но мало кто знает, что однажды сюда пришел невзрачный старик с седой бородкой. Я увидел его во дворе дома, он о чем-то толковал с Максимом Пешковым. К сожалению, я не обратил внимания на старика. Потом Максим сказал мне, что это и был «хозяин» — булочник Семенов, вздумавший спустя много лет навестить своего работника. Максим Пешков рассказал об этом визите отцу, но Горький не пожелал видеть Семенова — слишком много жестокого, темного предстало бы перед ним в образе потрепанного жизнью бывшего «хозяина».

О Семенове прошел слух, будто он был убит в годы революции, но тот, кто знал этого человека, помнит, что после революции он не один раз сам распускал слух о своей смерти, чтобы избавиться от своих заимодавцев. Такой же слух он распустил после революции, опасаясь, что с ним может свести счеты кто-нибудь из пекарей, а сосчитаться с Семеновым обещали многие. «Воскрес» же он и появился у Горького в надежде получить прощенье, и еще в надежде, что ему что-то да перепадет от бывшего пекаря...

Как интересны были беседы за столом у Алексея Максимовича! Он умел тактично, мягко поправить любого из нас, по молодости лет несправедливо обрушивавшихся на кого-нибудь из «стариков»; однажды, например, он заступился за Якова Полонского. Еще я запомнил случай, когда ныне покойный критик Иван Макарьев, иногда рубливший с плеча, обозвал славянофилов черносотенцами, вернее — приравнял их к черной сотне. Горький нахмурился и, запрокинув голову, прочитал вслух: «В судах черна неправдой черной и игом рабства клеймена, безбожной лести, лжи тлетворной, и лени мертвой и позорной, и всякой мерзости полна...»

Мы в недоумении молчали.

— К сведению вашему, — продолжал Горький, — это злое стихотворение принадлежит перу Алексея Хомякова, одного из столпов славянофилов, которых вы приравнили к черносотенцам. И обращено оно к России Николая Первого...

Когда мы уходили, на Тверском бульваре Макарьев еще не мог прийти в себя.

— Ну, умыл... Ничего не поделаешь, придется перечитать этих чертовых славянофилов.

Однажды во время одной из бесед Горького с нами вошел Максим и, наклонившись к отцу, сказал:

— Алексей, тебя Коба к телефону.

Мы, конечно, знали, что Коба — партийное имя Сталина.

Алексей Максимович не торопясь закурил сигарету, встал и, извинившись, вышел. Вернулся, вероятно, минут через двадцать. Наша беседа продолжалась. Такие телефонные разговоры происходили, когда Сталин, обещав встретиться, почему-либо не мог приехать к Горькому. Приезжал он часто, оставался с Горьким наедине довольно долго. Это была пора их очень близких, дружественных отношений.

При жизни Ленина Горький относился к Сталину уважительно, так же, как и к другим видным деятелям партии. Естественно, он не мог предвидеть, как Сталин проявит себя через несколько лет после кончины Ленина. Вернувшись из Италии на Родину в первый раз, Горький увидел, с какой энергией партия, ее Центральный Комитет строит социализм в некогда отсталой России. Горький всегда ценил людей сильной воли, вот почему он однажды с восхищением писал о стране, освещенной гением Владимира Ильича Ленина, где работает железная воля Иосифа Сталина. Воля, именно в о л я, но не гений. Гений — сказано о Ленине.

Это было время, когда Горький продолжал свою титаническую работу по созданию советской литературы, такой литературы, которая служила бы народу, была бы верной помощницей партии. Потому он считал необходимым объединение на равных правах (без гегемонии какой-либо одной литературной группы) всех литературных сил в едином Союзе советских писателей.

Естественно, что желание Горького нашло поддержку в Центральном Комитете партии. Произошел роспуск литературных организаций. Оргкомитету будущего Союза советских писателей было поручено создание этого Союза. Причем в Оргкомитет первоначально не были введены наиболее активные деятели РАППа — Авербах, Киршон и другие.

Чтобы придать большую авторитетность будущему Союзу, Горький устроил у себя, в доме на Малой Никитской, встречу довольно большой группы писателей с руководителями партии. И все-таки для нас было неожиданным появление Сталина с товарищами.

С того вечера прошло больше тридцати лет. Помнится, говорили о том, что надо дружно работать, создать в будущем Союзе творческую обстановку. Выступления иногда прерывались репликами Сталина, подбадривающего ораторов. Мы видели уважительное отношение Сталина к Алексею Максимовичу, этим как бы подчеркивалось, что хозяин здесь — Горький, а все остальные — его гости.

Сталин охотно беседовал с писателями, если и возражал, то мягко и иронически. Тогда, в обстановке товарищеской встречи, застойной беседы, мы не заметили характерные для него черты капризности и грубости.

Был только 1932 год...

Известно, что Сталин, если он этого хотел, умел располагать к себе людей. В 1934 году около трех часов с ним беседовал Герберт Уэллс, человек независимый и довольно злой на язык. Известно также, как отозвался о Сталине Фейхтвангер.

Мы, собравшиеся в тот вечер у Горького, видели государственного деятеля очень большого масштаба, осуществлявшего по ленинским заветам руководство строительством социализма. В то время он еще не вызывал в нас того чувства тревоги и страха, которое возникало у людей, встречавшихся с ним впоследствии, несколькими годами позже.

Тогда же между прочим зашел разговор о приезде в Москву Бернарда Шоу, лорда и леди Астор, о приеме их Сталиным. С усмешкой Сталин говорил о том, что лорд Астор пытался ханжески говорить о «божественном», возводя очи к потолку, а леди Астор, которой очень не нравился советский строй, старалась завязать дискуссию (эта дама, американка по рождению, впоследствии стала одной из рьяных почитательниц Гитлера). О Бернарде Шоу Сталин заметил, что он и в этой беседе стремился поразить оригинальностью и парадоксальностью своих суждений.

Разошлись мы поздно и, чего скрывать, были взволнованы этой встречей. И кто бы мог подумать, что некоторые из присутствовавших на встрече со временем, в годы культа личности Сталина, станут жертвами произвола, в том числе Авербах и Киршон, введенные в Оргкомитет с одобрения Сталина. Многого мы не могли предвидеть в тот вечер 1932 года.

В 1933 году Горький навсегда переселился в Москву.

Тогда же мы собрались на Малой Никитской по случаю дня рождения Алексея Максимовича.

В этот раз, пользуясь присутствием членов Политбюро, Алексей Николаевич Толстой, с полного одобрения Горького, поднял вопрос о судьбах Сухаревой башни. Она была обречена на снос. Мы пытались отстоять этот памятник архитектуры. Человек, который занимался вопросами реконструкции Москвы и от которого непосредственно зависела судьба этого памятника архитектуры, приятно улыбался. Ему говорили о плане сохранения этого памятника, о тоннеле под башней, — он отвечал уклончиво. Башня была снесена.

Одно время в Москве, да и не в одной Москве, много говорили о предстоящем возвращении Шалапина на Родину. Говорили даже о том, что в Большом театре уже намечены выступления Шалапина. Некоторые основания для подобных слухов были.

Мы знаем многое об отношениях Горького и Шалапина, знаем по тем воспоминаниям о Горьком, которые написал Шалапин после смерти писателя. Он писал, что Горький звал его на Родину. «Это был голос любви ко мне и к России». Так понимал Шалапин призывы Алексея Максимовича. Как бы размолвки ни происходили между ними, но мечтой писателя было убедить гениального певца вернуться в свой театр, в Россию. Сделать это Шалапину мешали серьезные причины личного характера, которые он так и не преодолел.

В двухтомнике, посвященном жизни и творчеству Шалапина, есть упоминание о том, что в середине двадцатых годов, в Берлине, автор этих страниц говорил с Шалапиным о его возвращении в СССР. Шалапин слушал внимательно, не возражал, но сказал, что он ждет приезда в Берлин управляющего театрами Ленинграда Экскузовича, и тогда все решится.

Прошел еще добрый десяток лет. Алексей Максимович, как видно, не потерял надежды на возвращение Шалапина, предполагалось, что уезжавший за границу для лечения Владимир Иванович Немирович-Данченко официально пригласит певца в Москву. Но официального приглашения не последовало, и это дело — благие начинания и хлопоты Горького, — как говорится, «ушло в песок»...

Не стану повторять того, о чем много писали современники Горького: не было сколько-нибудь значительного события или общественного движения в стране, которое не привлекло бы внимания писателя. Он не только увлекался новыми идеями, но увлекал и нас. Одной из благородных идей, захвативших его, была идея перевоспитания уголовных преступников трудом — то, что тогда называли «перековкой» правонарушителей. Но, как это бывает в жизни, к хорошему делу нередко примазываются

карьеристы. Мы об этом догадались уже после того, как вернулись из поездки на Беломорско-Балтийский канал. Много было в этой поездке, устроенной по почину Горького, того, что народ обозначил острым словом «показуха». Но канал был построен, это было главное, построен людьми с уголовным прошлым. Возможно, что так называемая перековка для некоторых из них действительно состоялась. Однако некоторые начальники всячески раздували свои заслуги в этом деле.

Еще припоминаю нашу поездку в Дмитров, на строительство канала Москва-Волга. В этот раз с нами ездил и Алексей Максимович.

В клубе строителей выступали заключенные, герои ударных бригад. Некоторые речи этих людей были проникнуты искренним чувством и произвели на Горького потрясающее впечатление. Об Алексее Максимовиче часто говорили, что он сентиментален, даже слезлив. Это неверно, но в иных случаях то, что он видел, вызывало в нем воспоминания, сопоставления с далеким прошлым, и он не мог сдержать глубокого волнения, не мог скрыть от чужого взгляда своих переживаний.

Горького очень радовала работа трудовых коммун — Болшевской, Люберецкой. Это детище Дзержинского было действительно благим делом. Бригада писателей, ездившая в колонию беспризорных под Харьков, была восхищена тем, как они отлично работали. Алексей Максимович держал в руках привезенный ему подарок, фотоаппарат «ФЭД» («Феликс Эдмундович Дзержинский»), сделанный руками бывших беспризорных, и надо было видеть, с какой нежностью он поглаживал аппарат.

1934 год был годом особенно значительным для Горького, для советской литературы. Это был год Первого съезда советских писателей. Накануне съезда мне случилось довольно часто бывать на подмосковной даче, где жил Алексей Максимович. Это был живописный уголок на высоком берегу Москвы-реки, в парке. Здесь, в большом доме, впрочем, как и везде, где жил Горький, была ключом литературная жизнь. Сколько здесь было произнесено речей, когда гостем был Ромэн Роллан, сколько было споров, серьезных и шуточных, какие забавные мистификации, «розыгрыши» придумывал Максим Пешков! И удивительно, как умел хозяин дома не только не стеснять развеселившуюся молодежь, но даже участвовать в ее шутках.

\* \* \*

Как ни любил Алексей Максимович юг Италии, восхитительный пейзаж «Пьяно ди Сорренто», видимый с балкона виллы «Иль Сорито», но пейзаж средней полосы России — прелесть подмосковного летнего утра, когда лес и поля на другом берегу реки еще в дымке утреннего тумана, — был ему всего ближе, родней...

Горький стоял неподвижно, в глубоком раздумье, и над его головой пронеслись

в стремительном полете ласточки. О чем мог думать этот удивительный человек, жизнь которого можно назвать героической поэмой, сказаньем о том, как, познав в молодые годы жестокие испытания, поднявшись из низов, человек стал писателем с мировой славой, как до последнего дыхания оставался он верным сыном своего народа. О чем мог он думать? Может быть, о своем последнем, так и незавершенном творении — «Климе Самгине»? (Ведь работа писателя не кончается за письменным столом, мысли сопутствуют ему постоянно). Или, может быть, о том, что называем мы личной жизнью — о близких ему людях, о спутниках жизни?

Личная жизнь почти всегда связана с творчеством, мимо нее не пройдешь, она всегда интересует, ибо во многом объясняет человека. Горький же входил в биографии близких ему женщин навсегда, до их последних дней.

Мы видели уважительное отношение Горького к Екатерине Павловне Пешковой — матери его сына. После кончины Алексея Максимовича Екатерина Павловна, уже в преклонных годах, все свои силы отдавала служению памяти писателя: занималась его архивом, встречалась с его читателями...

Тысячи людей знают портрет Горького и Марии Федоровны Андреевой работы Репина — один из шедевров русской портретной живописи. И когда смотришь на этот портрет, думаешь о ней — спутнице писателя.

Она была рядом с ним в бурные дни революции, в 1905 году, в путешествии по Соединенным Штатам, в городе «желтого дьявола» Нью-Йорке, в эмиграции, на острове Капри. Это была необыкновенная женщина, «феномен», как ее называл Владимир Ильич Ленин, что и стало партийной кличкой талантливой актрисы...

Когда нас спрашивают, кому посвящен «Клим Самгин», кто такая Мария Игнатьевна Закревская, мы думаем о том, что портрет ее до его последних дней стоял на столе у Горького. Она прилетела из далекой страны и была при нем в последние часы его жизни...

Кончилась жизнь Человека, необыкновенная, изумительная жизнь. Были в ней и лишения, и голод, и «свинцовые мерзости», Петропавловская крепость, Метехский тюремный замок... Но была и радость — дружба с Лениным, встречи со Львом Толстым и Чеховым и сознание того, что ты нужен народу и любим им.

\* \* \*

Нужно ли говорить о том, какое значение имел для развития не только нашей, но и мировой прогрессивной литературы Первый съезд советских писателей.

Случилось так, что накануне открытия съезда я провел ночь на подмосковной даче «Горки». Вечером Алексей Максимович все еще работал. Утром я увидел его в нетерпении проходящимся перед домом.

Как обычно, он сел рядом с Максимом, который вел машину, впрочем, не так быстро, как всегда. Алексей Максимович всю дорогу молчал, поглядывая на часы. Подъехали к Дому Союзов. Алексей Максимович вошел в подъезд. Увидели мы его только на трибуне в Большом зале.

Появление Горького вызвало долгие овации. Нахмурившись, зажмурив глаза под ослепительным светом юпитеров, Горький, в нетерпении подергивая плечом, ждал, когда стихнут рукоплескания. Ему пришлось выслушать в свой адрес много лестных эпитетов и обращений, это и вызвало его сердитую реплику в середине заседания съезда.

Из-за того, что Алексей Максимович не терпел этих «дьявольских свечек», то-есть юпитеров, весь доклад его не был записан на пленку звукового кино, осталось только несколько кадров, сохранивших для потомства голос Горького, отдельные фразы доклада.

То, что во главе съезда стоял Горький, придавало особую важность и серьезность этому событию. Алексей Максимович почти все время, пока шли заседания, находился в зале. С особенным вниманием слушал он блестящую по форме и оригинальную по мыслям речь Юрия Олеши. Горький повторил в заключительном слове то, что было сказано Леонидом Соболевым о партии, которая дала писателям все права, за исключением права писать плохо. И твердо и значительно Горький сказал о том, что писатели не смеют командовать друг другом.

Я сказал, что съезд имел значение для мировой прогрессивной литературы. Мы видели среди гостей наших друзей — писателей Запада — Луи Арагона и Эльзу Триоле, Рафаэля Альберти. Всеобщее любопытство возбуждал Оскар Мария Граф, грузный мужчина в костюме баварского горца — коротких кожаных штанах, открывающих голые колени. Вдохновенно, темпераментно прозвучала с трибуны речь Жана-Ришара Блока.

Протекло лишь несколько месяцев с тех пор, как германский нацизм захватил власть в Германии. Во Франции «мюнхенцы», в будущем лакеи оккупантов — коллаборационисты и французские фашисты готовили предательство, которое спустя шесть лет привело к оккупации Франции гитлеровским вермахтом. Жан-Ришар Блок говорил о тех силах, которые могут противодействовать фашизму, о будущих героях Сопротивления. Иоганнес Бехер выступил от имени германского народа, от лица мужественных противников фашизма. Дважды на съезде звучала речь французского писателя Анри Мальро, которого мы знали по его прогремевшему в то время роману о китайской революции — «Условия человеческого существования». (Удивительно порой складываются судьбы людей. Бехер стал впоследствии министром культуры Германской Демократической Республики. Анри Мальро — министром культуры правительства генерала де Голля).

Находившийся на съезде в качестве го-

стя известный турецкий писатель Якуб Кадри не собирався выступать, но увлеченный общей кипучей атмосферой, произнес речь, которая дала представление о развитии турецкой литературы.

Все эти выступления гостей были ответом на вопрос Горького: «С кем вы, мастера культуры?»

Съезд писателей действительно стал выдающимся событием и привлек внимание всей страны, естественно, и Москвы. Когда кончались заседания, у Дома Союзов собирався народ, главным образом молодежь. Конечно, ждали Горького, который старался приехать и уехать незаметно. Не всегда ему это удавалось — при жизни он стал живой легендой, люди хотели его видеть, чтобы потом говорить детям и внукам: «Я видел Горького». Это не преувеличение: волнение охватывало людей, когда среди них появлялась знакомая по миллионам снимков фигура Горького. Так было всюду: у летчиков, на заводах, на стройках, в Ленинграде на судостроительных верфях и просто на улице.

В перерывах заседаний делегаты и их гости переходили через площадь и собирались на террасе кафе «Метрополь». Там продолжались споры и дружеские беседы, там можно было услышать разговоры чуть ли не на всех языках братских республик нашей страны, звучала и речь французская, немецкая, итальянская. Это толковал с земляком Джиговани Джерманетто, политический эмигрант, антифашист, которому суждено было недолго прожить в Италии, освобожденной от ига фашизма.

На Первом съезде советских писателей почти не было тягучих и нудных речей, притом аудитория была очень чуткой, она сразу определяла значительность выступления: оценивая его, зал был полон или мгновенно пустел.

Во время съезда у Горького происходили встречи советских делегатов, прибывших со всех концов страны, и это было очень важно. По существу, на Первом съезде писателей утвердились основы творческой работы братских национальных литератур Советского Союза. Там же, у Горького, произошла встреча с гостями, приехавшими из-за границы. Характерным для этих встреч было выявившееся общее стремление к утверждению и завоеваниям гуманизма, борьба с набирающим силу фашизмом.

Прошло немного времени, и итальянские фашисты начали агрессию против Эфиопии, а фашисты Испании с помощью Гитлера и Муссолини подняли мятеж против республиканской Испании.

Своевременно прозвучали на съезде слова Горького о защите Родины как «одной из существенных обязанностей литературы».

Эту святую обязанность, святую долг выполнили в рядах наших Вооруженных Сил на фронтах второй мировой войны советские писатели. Разглядывая фотоснимки Первого съезда писателей, мы с грустью видим, как мало осталось в живых делега-

тов этого съезда: одни пали смертью храбрых на полях сражений, другие пали жертвой клеветы в те мрачные годы, когда грубо нарушалась революционная законность.

На съезде образовался Союз советских писателей, его руководство. Горький стал во главе Союза. Встречаясь с Алексеем Максимовичем в это время, никто из нас не мог и подумать о том, что ему осталось жить среди нас менее двух лет, а его сыну, Максиму,—еще меньше.

Максима Алексеевича Пешкова я знал еще с петроградских времен, с 1920 года. Он был членом партии большевиков с 1916 года; в начале революции и накануне ее, когда у его отца возникали сомнения в победе социалистической революции, между отцом и сыном вспыхивали споры, со стороны казавшиеся шутивными, на самом же деле суть этих споров была глубоко принципиальной. Впоследствии эти разногласия исчезли бесследно.

В начале революции Максим Пешков был дипломатическим курьером, эта служба требовала смелости, бдительности и твердости убеждений. Сознывая, что он самый близкий человек Горькому, Максим Алексеевич целиком посвятил ему свою жизнь. Жизнерадостный по природе, остроумный, склонный к шутке, он, однако, становился серьезным, когда речь заходила о том, как уберечь отца от назойливых и склонных к интригам людей. Однажды в разговоре он жаловался на то, что деятели бывшего РАППа пытаются втянуть Алексея Максимовича в свои литературные склоки, настраивают его против Фадеева, а после долгих разговоров на эти темы Алексей Максимович чувствовал себя совсем больным.

Были и другие причины для тревоги. Не все удавалось проводить Горькому в руководстве литературой. Известно, например, что ему пришлось пережить волнения, связанные с атаками на «Конармию» Бабеля, которого он считал одним из одареннейших советских писателей. Не удалось добиться разрешения постановки в театре Мейерхольда пьесы Николая Эрдмана «Самоубийца». Как-то по поводу одного литературного дела Горький сказал:

— У меня от этих дел вся голова в шишках...

Вообще в последние год-два перед кончиной Горький ощущал некоторую отчужденность — ему все труднее и труднее было говорить со Сталиным.

Советы и рекомендации Алексея Максимовича не всегда принимались во внимание, почти игнорировались. Вот пример. Горький, в свое время возражавший против постановки «Бесов» Достоевского в Художественном театре, полагал, что роман «Бесы» теперь, то-есть в тридцатых годах, может быть издан и от этого не будет вреда. В одной из центральных газет ему возразили, и было ясно, что это возражение не является инициативой автора статьи. Все это, конечно же, огорчало Горького: подвергался сомнению его авторитет в литературной политике.

Мне и лично пришлось убедиться в том, что иногда вмешательство Горького не было эффективным. В дни войны в Испании, когда Испанская республика сражалась с фашистами и интервентами, Алексей Максимович, помня мою книгу «Письма об Испании», вышедшую в свет в 1931 году, не раз говорил мне:

— Вам же надо в Испанию. Поезжайте. Напишите продолжение вашей книги.

Я получил от Горького тогда письмо к П. П. Постышеву (он был тогда одним из секретарей ЦК), был им принят, но письмо Горького и эта беседа оказались безрезультатными.

\* \* \*

Смерть Максима, единственного сына Горького, была тяжелейшей утратой для него. Максим был человеком прямым, искренним и абсолютно бесстрашным, и за это тоже любил его Горький, ценивший людей, не знавших страха. Приятно и в то же время тревожно было смотреть на Максима, когда сидел он за рулем машины, выжимая из нее максимальную скорость. В том, как прочно сидел он за рулем, в его плечах, затылке, в руках, лежавших на руле, чувствовалось абсолютное спокойствие и уверенность в себе. Он мечтал стать профессиональным гонщиком, и ради того, чтобы пережить ощущения гонщиков, искал случая промчатся по опасной дороге. Любил он путешествия, уезжал на Крайний Север, в Арктику, бродил с товарищами в тундре.

Максим старательно исполнял обязанности секретаря, разбирая письма к отцу, но утаивая такие, которые могли волновать Горького...

Алексей Максимович утверждал: превосходная должность быть на земле человеком. Но быть сыном великого человека и при этом самому оставаться человеком — не легкая должность: она требует скромности, тактичности, ума.

Что-то изменилось, ушло из дома Горького... Мы это почувствовали несколько дней спустя, собравшись у него.

С тех пор мы редко видели Горького, он уехал на зиму в Крым, в Тессели, откуда его в июне 1936 года привезли в Москву смертельно больным.

\* \* \*

Весной прошлого года я посетил подмосковный дом, где жил и окончил свои дни Горький.

Я обошел знакомые комнаты, где раньше все было по-другому, вышел на крыльцо и спустился в парк. В ясном апрельском небе летали стрижи. На траве лежала мертвая ласточка. Я думал о том, какую печаль пробудила бы в Алексее Максимовиче эта мертвая птичка,—он так любил следить за стремительным полетом ласточек в сумеречном небе.

Но Горького давно уже не было. Дом был тихим, а парк — пустынным и чужим.

**МАСТЕР ЖИВОЙ ПЛАСТИКИ**

«У вас слишком сильная индивидуальность, и вы потратили бы много времени напрасно в борьбе с другой индивидуальностью. Пусть вашим метром будет сама природа», — так сказал Огюст Роден скульптору Иннокентию Жукову, приехавшему к нему в Париж в 1912 году, чтобы учиться. И подкрепил эти слова следующим отзывом о его творчестве: «Какая мощь! Какая экспрессия! Это сильно, это очень сильно. Это талант исключительный и глубокий, как их Достоевский!»

Получить такой отказ мечтал бы любой художник. Однако блестящий отзыв Родена не был неожиданным. К тому времени, когда Жуков приехал в Париж, он уже был известен в России своими оригинальными скульптурами, которые ежегодно, начиная с 1906 года, экспонировались на осенних выставках в Петербурге.

Большой успех не вскружил ему голову. По профессии педагог, в искусство он пришел уже зрелым человеком.

Жуков понимал, что ему не хватало «формы», он недостаточно знал анатомию. Желание овладеть профессиональным мастерством заставило его поступить в студию лучшего ученика Родена — Бурделя.

В 1914 году, в канун первой мировой войны, Иннокентий Николаевич возвратился на родину.

Стилизованная интерпретация обнаженного тела, с которой столкнулся Жуков во Франции, была чужда духу его творчества. Этот дух глубоко понял и оценил Максим Горький. Он писал Жукову:

«Дорогой Иннокентий Николаевич!

Получил я открытки — снимки с Ваших работ. Сердечное спасибо за любезность.

Смотрю на Ваши вещи — радуюсь: талантливо, жизненно, нравится и трогает за сердце.

Во всем есть что-то глубоко верное, русское: смущенная неуклюжесть, звериная добродушие и человечья русская тоска. За грубыми формами едва оживленной глины — чувствуется тихий, робкий огонек, просвечивает та милая сила, кою зовут душой.

Иногда карикатурно, но как вся русская жизнь — запутанная, неясная, неуверенная в своих силах.

Спасибо Вам! Желаю здоровья, счастья, бодрости духа, так необходимой всем нам. Крепко жму руку.

А. Пешков.

Капри, 9/II—1910 г.»

Так написать мог только Горький. А выразить это непередаваемо тонкое сочетание эмоций в скульптуре мог, пожалуй, только Жуков, с первых дней своего творчества отвергавший формальную эстетскую скульптуру и вставший на путь скульптуры эмоциональной, сюжеты которой он черпал из окружающей действительности.

Это была острая сатира, полная динамики воинствующая пластика, когда она бичевала царский строй и мещанский быт; глубоко лирическая, трогательная и интимная, когда встречалась с душой чистой и не тронутой тлением; резкая и беспощадная, когда обличала людскую пошлость; нежная и радостная, когда находила в человеке его чудесную суть.

\* \* \*

Еще будучи студентом Петербургского университета, в 1895—1900 гг., Жуков принимал участие в студенческих выступлениях, его преследовала охранка, два месяца он сидел в предварительном заключении. Учась в Париже, Жуков, по свидетельству Луначарского, «дружил исключительно с революционной эмиграцией и, насколько позволяла ему его художественная сущность, он тяготел к самому левому и самому революционному крылу».

Неудивительно поэтому, что Иннокентию Жукову принадлежат такие вещи, как «1905 год» (Расстрел повстанцев Риманом и Мином), «Проклятый город», «Тайна ко-



Рассказ о Перекопе



ролей», «Нет хлеба, нет работы...», «Губернатор».

Одного взгляда на эти выразительные работы достаточно, чтобы понять, каким грозным оружием владел художник. Ведь открытки-репродукции его произведений в сотнях тысяч экземпляров расходились по всей стране. Они будоражили людей, пробуждали мысль, вызывая протест против социальной несправедливости.

В обличение мешанства немалую лепту внесла бытовая скульптура Иннокентия Жукова: «С кем это она там гуляет?», «Тары-бары», «Перелетная птица», «Приказная строка», «Назююкался Карл Иванович» и др.

От простого показа грязной сплетни, хитрости, ехидства, подхалимства художник переходит к философскому обобщению пошлости, отравляющей мысль и сознание человека («Мысль и жизни пошлость»). За негодованием старика ощущается жизнеутверждающее начало, владеющее Жуковым, его оптимизм, его любовь к людям, его вера в светлое будущее.

Будучи педагогом, он всегда дружил с детьми, которые были частыми гостями в его мастерской, и не случайно тема детства и тема материнской любви занимали в его творчестве большое место. Исключительно экспрессивен созданный художником образ матери, то трепетно обхватившей руками свое дитя и готовой защитить его от любой беды и невзгоды («Мать»), то погруженной в «Тяжелые думы» у постели больного ребенка, то ценою своих забот и лишений сохранившей светлую, беззаботную улыбку ребенка («Утро и вечер»). Замечательно показаны скульптором дети — списывающий ученик («Последний и первый» — вещь, которая особенно нравилась Л. Н. Толстому); мальчуганы, мечтательно глядящие в небо, где летают счастливые взрослые («Люди, которые полетят»), — эта скульптура навеяна появлением первых аэропланов.

Наряду с реалистическими, жизнеутверждающими произведениями Жуков в первый, дореволюционный период творчества сделал некоторые вещи, которые свидетельствуют о том, что ему не удалось до конца освободиться от символизма. Прав был Горький: «...Вся русская жизнь — запутанная, неясная, неуверенная в своих



*Утро и вечер*

силах» наложила отпечаток на творчество Жукова. У него рождались иногда на свет странные, причудливые, мистические существа, напоминающие химер из собора Нотр Дам и, по мысли скульптора, воплощающие различные человеческие эмоции.

\* \* \*

Великая Октябрьская социалистическая революция означала для Жукова второе его рождение как художника и как педагога. Она внесла новый смысл и новую цель в его творчество, художником целиком завладел окружающий мир. Жукова-педагога она сделала одним из родоначальников пионерского движения. ЦК РКСМ ввел его в Центральное бюро детских коммунистических групп и присвоил ему звание «Старшего пионера РСФСР».

Перед Жуковым-художником возникла задача воплотить в глине, по его выражению, «самое прекрасное, что есть на земле и в искусстве, — это душу освобождающегося трудящегося человека, строящего социализм».

В автобиографии он провозгласил: «Пусть эстеты любят эстетику стилизованной формы, мертвую поверхность лица и тела в скульптуре, — я до конца дней моих, как могу, буду отражать живую жизнь наших героических дней».

Одно из первых пореволюционных произведений скульптора — проект памятника Октябрьской революции. Затем Жуков создает «Рассказ о Перекопе», «Привет Октябрю», «На страже СССР», полные революционного пафоса образы «Дружинника» и «Трактористки». «Пионера» и «Пионерки», «Деревенских школьничков», всех «Тех, которые не видели живого городского». Его скульптурные работы украшают в 30-х годах зал заседаний МК партии, музей Наркомпроса, Музей Революции и Антирелигиозный музей, Дом Ильича, клуб старых большевиков. Тогда же они выходят на скверы и площади Москвы: Москоммунхоз приобретает у Жукова «Рассказ о Перекопе», который в течение четверти века находился в Нескучном саду ЦПКиО им. Горького (а копия — в сквере возле завода «Динамо» им. Кирова). В сквере на площади Восстания стоял его «Октябренок». Где эти скульптуры теперь? Неизвестно...



*Гаммы души*



*Из загса*

\* \* \*

Росла популярность скульптора. Похвальные слова его произведениям и его таланту произнесли Л. Н. Толстой, М. Горький, Ромен Роллан, Огюст Роден, А. В. Луначарский. Не было недостатка и в восторгах зрителей.

Чем же все-таки покоряет творчество Жукова?

Роден в письме молодым художникам завещал реалистические традиции лучшего периода своего творчества. «Никаких вывертов для привлечения публики. Простота. Естественность. Прекраснейшие мотивы живут у вас перед глазами. Это люди, которых вы больше всего знаете».

Жуков овеществлял эти заветы. Просто и естественно показал он своих современников, творцов и строителей новой жизни. Он понимал и любил их.

И еще вспоминаются слова нашего выдающегося современника скульптора Сергея Тимофеевича Коненкова, как бы целиком относящиеся к творческому пути Жукова: «...Перед нами не гладенькая дорожка. Не всегда нас ждут только аплодисменты. Художник должен быть мужественным и прямым и в дни тревожений и неудач. Путь искусства подобен восхождению на гору. Надо преодолевать кручи. Не теряться при обвалах. Заново устремляться к вершинам».

Таким мужественным и прямым человеком был Жуков. Он до конца отстаивал свои позиции, когда некоторые его собратья по искусству не хотели его понять, отвергали его манеру, его новаторство, его зрячую скульптуру. Иногда его уводили в сторону заблуждения формалистического характера, но он всегда оставался сыном своего народа, он всегда искал истину, стремился к ней.

Если искусство идет от народа, создается для народа, служит народу, близко ему и понятно, — оно прекрасно. Всегда счастлив художник, несущий людям правду и красоту. Это счастье испытал Жуков.

Мы обязаны восстановить память об этом удивительном, самобытном скульп-

торе, всего себя посвятившем народу и до конца преданном ему. Большой патриот, Жуков завещал людям: «Любите Родину, боритесь за нее и будьте первыми в труде» Эти его слова написаны на его надгробном памятнике.

Умер Иннокентий Жуков в 1948 году и похоронен в Москве на Введенском кладбище.

\* \* \*

В октябре 1965 года исполнилось девяносто лет со дня рождения скульптора. Настало время осуществить предложение С. Т. Коненкова, считающего Иннокентия Жукова оригинальным и талантливым скульптором, — создать выставку лучших произведений Жукова и издать монографию о его творчестве. Надо отыскать его произведения. В музеях сохранилось сравнительно небольшое их число. Большинство либо погребено, либо находится у частных лиц.

Дочь покойного скульптора Ирина Иннокентьевна Жукова-Плотникова сообщила автору этих строк, что она обнаружила пятьдесят семь произведений отца, хранящихся в музеях и частных собраниях. Поиски их продолжаются. Ирине Иннокентьевне помогает общественность, каждая публикация приносит новые находки, новые сообщения, и все более укрепляется уверенность, что в скором времени — быть может, даже в этом году — мы посетим выставку талантливого и незаслуженно забытого скульптора.



*Люди, которые полетят*

## МОЙ ФРОНТОВОЙ УНИВЕРСИТЕТ

(К ГАЛЕРЕЕ «МОСКВЫ»)

...Целый день я рисовал, сидя в глубоком, мягком кожаном кресле, стоявшем почему-то посреди одной из дорог-улиц, ведущих к центру Берлина. На перекрестке шел бой. Солнце было почти в зените и висело тусклым красным шаром. Обе стороны улицы горели, образуя непробиваемый шатер огня и дыма...

По мере того как наши войска продвигались вперед, а дома, догорая, обрушивались, солдаты подтаскивали мое кресло вперед.

— Давай зарисовывай, как горит гитлеровское логово, чтобы дети наши знали...

Но это было значительно позже. А первая моя фронтовая дорога вела к городу Великие Луки. Город... От него, собственно, ничего не осталось. Ни одного дома, ни одного человека. Стена с обоями в цветочках и качающейся от ветра семейной фотографией, игрушки, тарелки с недоеденной пищей... На втором этаже висит, зацепившись за балку, детская кроватка. Письма. Рояль, чудом уцелевший в половине комнаты, открытой, как сцена. Следы человеческой жизни, труда, уюта, любви, заботы... И только ветер и снег... Город был мертв, и не верилось, что он когда-либо вернется к жизни.

Но сразу же за нашими солдатами шли женщины, старики и дети. Люди возвращались на родную землю, и на пепелище возрождалась жизнь.

Особенно остро почувствовал я это в Вязьме и на Смоленском направлении, где наши части двигались вперед вместе с весной. Люди собирали жалкие остатки имущества и сооружали из них жилища. Что это были за жилища! Но даже в невероятных, нечеловеческих условиях люди смеялись, радовались, растили детей — радовались жизни, миру, птицам. Труба — голая, обгорелая печная труба, и к ней прикреплен шест со скворечником! А иногда их вокруг землянки или лачуги целый лес... Люди

после перенесенных несчастий стали добрее или заботливее, а может быть, им просто необходима была эта музыка жизни как символ счастья и семьи?

У каждого человека в жизни бывает свой Университет. Великие Луки стали для меня первым курсом моего Университета, моей школой жизни и искусства. Моими учителями была не только натура, но и требовательность моих первых зрителей. От меня ждали правды и убедительности.

— Эх, как ты его изобразил, прямо как героя! А он же, братец, трусоват и лодыр. Ты в корень смотри, не то, что морда у него гладкая! Ты вот лучше Батю нашего срисуй. Вот это человек! Путиловец! На заводе оставляли — сам ушел на фронт. Уважает Батя людей. И его уважают и любят. Вот кабы все у нас такие были! Обязательно срисуй!

— Вот, вот, срисуй меня и конуру мою, да так, чтобы все поняли, какой этот Гитлер изверг. Чтобы солдаты, как увидят, так уж спуску ему не дают!

— Давай, давай, разрисовывай ихний Берлин, такой, как он есть, в полыме, в пепле! Давай, парень, подвинем тебя, чтоб не зашибло — вон дом-то уж рушиться начинает. Да ты шибче, шибче огонь-то покажи, чтобы как в аду, чтобы неповадно было бандитам в другой раз к нам соваться!

Учителя были требовательны. Работать становилось все труднее. Все больше времени уходило на обобщение, на осмысливание фронтового материала. О многом я стал задумываться, сомневаться в достигнутом, искать... Так кончился мой первый фронтовой курс. И сам того не подозревая, я вступил на новый, старший курс своего Университета и от преждевременных поисков «почерка», от увлечения внешними эффектами и жизни и искусства обратился к раскрытию внутреннего мира человека.

# ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ

(ПИСЬМА ИЗ МОЛДАВИИ)

## I. Пушкин и Земфира

*Еще твоей молвой наполнен сей предел.  
Ты живо впечатлел в моем воображеньи  
Пустыню мрачную, поэта заточенье,  
Туманный свод небес...*

(«К Овидию»)

Стоял конец июля, но жара внезапно спала, и утро, на которое был назначен отъезд, выдалось прохладным. Кишинев провозжал путников бляеями коз, бегущих по тесным переулкам, скрипом неповоротливых каруц и той утренней дремой, которая, казалось бы, навсегда поселилась в обывательских садах.

Старый город, тесно сбившийся на берегах речки Бык, в самом деле заслуживал свое прозвище — кишля, что по-молдавски означает овчарня, зимний загон. Было в его мазанках, прилепившихся друг к другу, в низких лавочках, в грязных и шумных базарах, во всей турецкой скученности и тесноте что-то от овчарни. И когда вместительная коляска наконец выехала за окраину города, когда утренний свежак закрытил под колесами дорожную пыль — дышать стало легче.

Казалось, не только Кишинев, но и все, что в нем томило, угнетало, раздражало поэта, — все это осталось позади за некой невидимой чертой.

Более двух лет минуло с той поры, как Пушкин был направлен в бессарабскую ссылку<sup>1</sup>. Прожив некоторое время на заезжем дворе Наумова, он после поездки в Каменку поселился в доме заместника Инзова. Этот дом — скучный, двухэтажный особняк — одиноко возвышался на пустыре, и самый вид его поначалу возбуждал в поэте глухую тоску. Сохранился пушкинский рисунок пером: взгорок, несколько тополей, неотчетливая даль. Уныл и неприветлив этот кишиневский пейзаж, набросанный в минуту горестного раздумья.

<sup>1</sup> Среди пушкинистов до сих пор ведутся споры о точной дате поездки А. С. Пушкина в Долину. Мы принимаем как наиболее вероятный 1822 год.

Пушкину отвели две небольшие комнаты в нижнем этаже: одну занимал он, в другой — прихожей — жил дворовый дядька Никита Козлов. Постепенно поэт привык к своей обители, к ее голубым стенам, испещренным восковыми пулями (следами упражнений в стрельбе из пистолета), привык к столу с неизменной спутницей скитаний — чернильницей, в которой он не раз находил «то едкой шутки соль, то правды слог суровый, то странность рифмы новой, неслыханной дотоль». Он привык к немного небрежному холостяцкому обиходу, к книгам, заброшенным на диван, клочкам бумаги, белеющим на столе, на которые он заносил мелькнувшую строку или профиль кишиневского знакомого.

Но что неизменно тяготило его и раздражало, так это окна с железными решетками. И хотя окна выходили в сад и решетки служили только мерой предосторожности от ночных грабителей, они непрестанно напоминали о собственной участи поэта.

В 1822 году он написал своего знаменитого «Узника». Родилось ли это стихотворение после посещения кишиневского острога, как утверждают современники, или его первые строки возникли здесь, в нижнем этаже Инзова дома, — никто с точностью сказать не может. Известно одно, что генерал Инзов не однажды подвергал поэта домашнему аресту, что у дверей его в такие дни стоял часовой, и тогда «келья отшельника» воистину превращалась для него в домашний острог. Пушкин писал меланхолические послания друзьям, часто встречался с бади Тодором — дворецким заместника, у которого он учился молдавскому языку, и особенно нетерпеливо ждал писем из далекого Петербурга. Но почта приходила редко, и сам поэт слал на север письма, запросы и «бессарабские бредни», как он иронически называл новые стихи. В 1823 году в «Литературных листках» появилось одно из таких новых стихотворений. Называлось оно «Птичка». Поэт был счастлив, что при «светлом празднике весны» он мог даровать свободу хотя бы одному творенью — выпустить на волю птицу. Издатели постарались зашифровать явный автобиографический и политический смысл стихов коротким примечанием, а пе-

тербургские друзья поэта могли только посочувствовать ему: ни царский двор, ни сам император Александр ничего не простили Александру Пушкину и даже не мыслили даровать ему свободу. Пушкин как был, так и оставался вольнодумцем. Тайный агент из Кишинева доносил «по начальству», что «Пушкин ругает публично и даже в кофейных домах не только военное начальство, но даже и правительство».

Можно представить, как обрадовало Пушкина предложение его приятеля Константина Ралли поехать в кодры, в молдавские леса, в село Долну, которое принадлежало отцу Константина — помещику Замфираки Ралли.

\* \*  
\*

Дорожную коляску мягко покачивало на выбоинах: лошади бежали ходко. День никак не разгуливался, и было такое ощущение, что вот-вот начнет накрапывать дождь, а он никак не начинался, и поэтому в природе все притихло, притаилось в ожидании.

Далеко впереди, на широкой, пустынной обочине, возникло что-то пыльное, медленно нарастающее; завиднелись верха повозок, стал внятнее лай собак, донесся нестройный гул, какой возникает в степи от скопища людей и животных. Оборачиваясь на коляску, с дороги сошла старая цыганка. Она отогнала в сторону ослика, из переметных корзин которого таращили любопытные глаза цыганята. Женщины шли за фургонами нестройной толпой; они сильно жестикулировали, переговариваясь между собою. Мелькнула ослепительная улыбка одной из них. Старик в рваных, измазанных дегтем портах согнулся в низком поклоне; хрипя, закосился коренник, — и снова зачастили пыльные орешники, снова дорогу окружила всхолмленная пустынная равнина. Но не было в ней уже ожидания и томления. Солнце прорвало густую завесу облаков, и, обернувшись назад, можно было видеть, как вольно и неторопливо шел по степи табор, как яркие были ковры на передках телег.

Разговор зашел о цыганах. Их походные кибитки тянулись по берегам Днестра и Прута, белели возле стен Аккермана, окутывались облаками пыли в буджакской степи.

В самом Кишиневе цыгане ставили свои шатры на склонах «Инзовой горы», возле дома полковника Салева.

Пушкин хорошо знал историю происхождения цыган; он читал записки английских путешественников, которые первыми в Европе доказали, что цыгане принадлежали к отверженной касте индийцев, называемых париа, что их язык и то, что можно назвать их верою, — даже черты лица и образ жизни — верные тому доказательству. Перед их приверженностью к дикой вольности были бессильны меры, которые в разное время предпринимались

правительствами европейских стран: они кочевали в России, как и в Англии.

Однако Константин Ралли рассказал своему другу, что в Молдавии именно эти приверженцы первобытной свободы закрепощены, что они обязаны платить со своих подаяний и сборов дань супруге господаря. Во владениях его отца, Замфираки, было несколько таборов лесных цыган; они ведут более оседлый образ жизни, чем их степные собратья.

— А впрочем, — добавил он, — мы можем побывать у них по дороге из Долны в Юрчену.

В Юрчене у Ралли было что-то вроде охотничьего домика или лесной дачи, и здесь же по пути в Долну приятели условились, что непременно проедут в Юрчену, и если понравится, проживут там несколько дней.

\* \*  
\*

...Уже который вечер, едва густели сумерки, едва начинали светиться огни костров, поэт неудержимо тянуло вниз — туда, где у проселочной дороги, за крайними хатками Юрчен, раскинулся табор Булибаши<sup>1</sup>. Сам Булибаша — величавый, степенный старик — встречал его неизменным «Просим!» Он немного говорил по-русски и был приветлив к молодому Пушкину той искренней, простой приветливостью, в которой угадывается ум и немалый жизненный опыт. Но не беседы старика, не песни, не пляски обитателей табора влекли Александра. Влекла его Земфира — цыганка, дочь Булибаши.

Озаренные пламенем костра, в небольшом кольце взрослых, боролись маленькие цыганята. Они пытались осилить один другого с такой серьезностью, с таким усердием, что невозможно было не расхохотаться. И Пушкин хохотал от души. Он вспоминал, как и они, маленькие личицы, боролись на лугу и как слезы обиды и огорчения выступали у него на глазах. Какие это были славные, сладкие слезы! Может быть, с тех самых лицейских времен и не было у него на душе так вольготно, так легко, как сейчас в этом таборе, среди простодушной, говорливой толпы.

Александр быстро взглянул на девушку — и она поразила его, — нет, не красотой лица, хотя Земфира и была красива, а каким-то врожденным изяществом.

В том, как она закинула руки за голову и рукава ее кофты свободно упали на плечи, как она с улыбкой, искоса посмотрела на него, он уловил главное в ней — естественность всей ее природы, каждого ее жеста и движения. Эту естественность она унаследовала от самой матери-природы, такой щедрой и величавой в этих краях.

\* \*  
\*

Все разошлись. В продыmlенном котле побулькивало пшено. Земфира подкидывала в костер сухие ветки, и тогда, при вне-

<sup>1</sup> Булибаша — старейшина табора.

запных вспышках света, медно-красно отливали тяжелые монеты на ее груди, гуще падала тень от волос на смуглое, задумчивое лицо.

Табор затаихал. Сквозь полотно ближайшей палатки желтело пятно светильника. Резко качнулся силуэт женщины: она успокаивала ребенка, а тот все никак не мог уgomониться. Внезапно цыганка запела, и голос ее, доносившийся из-за полога, был глух:

Арде-мэ фриже-мэ,<sup>1</sup> —

пела цыганка.

Пушкин и раньше слышал эту песню, и всегда она захватывала его дикой силой, затаенной страстностью. Но здесь, в таборе, над колыбелью ребенка, она была какой-то иной — в ней не было вызова и ослепляющей ненависти, а была лишь одна любовь.

Песня смолкла внезапно, как и началась. Но ее отзвук долго жил в настроенной тишине, не гас, не таяла в густом ночном мраке.

\* \*  
\*

Луна сияла в полную меру, и, казалось, весь мир был напоен ее мерно льющимся, сухим звоном; это неумолчно, до головокружения напряженно звенели цикады. Бездну неба, поблескивающую звездами, теснили черные кущи садов, которые вплотную подступили к табору, окружили его безмолвным хороводом. По влажной от росы траве, то пропадая в тени деревьев, то снова возникая на полянах, далеко-далеко протянулся двойной след.

Пушкин не уехал из Юрчен ни через два, ни через три дня, как они договаривались с Константином Ралли. Не уехал он и через неделю. Обеспокоенный старик Замфираки дважды присылал нарочного из Кишинева: не случилось ли чего с молодыми людьми. Но Константин отписал отцу, что ничего с ними не случилось, — «Александр Сергеевич просто-напросто сходит с ума по цыганке Земфире». Возвратившись наконец-то в Кишинева, Константин в кругу семьи рассказывал, что Александр Сергеевич бросил его и поселился в шатре Булибаши. По целым дням он и Земфира бродили в стороне от табора, и Константин видел их держащимися за руки и молча сидящими среди поля.

Сам Александр, обычно словоохотливый и откровенный, по приезде из деревни не обмолвился ни единым словом. Константин да и все семейство Ралли объяснили эту замкнутость Пушкина довольно просто: не иначе как цыганка бросила своего вдохновенного поклонника и Пушкин мучился ревностью и тоской. Одно было достоверно известно, что Земфира неожиданно исчезла из табора, и Пушкин напрасно искал ее по всей округе, ездил даже в Варза-

решти. Однако и там ее не оказалось, благодаря, конечно, цыганам, которые успели предупредить своих соплеменников.

Через год Константин Ралли писал Пушкину в Одессу, что Земфиру зарезал ее возлюбленный-цыган.

\* \*  
\*

Еще в бытность Пушкина в Кишинева его пребывание в цыганском таборе стало предметом пылких толков и пересудов. Степенное чиновничество не могло, конечно, простить ему независимости суждений, его вольномыслия, даже небрежности его наряда. В материалах к биографии поэта П. А. Бартенев пишет, что «досадно им было смотреть, как он разгуливает с генералами в своем архалуке, в бархатных шароварах... и размахивает железною дубинкою. Вдобавок не попадайся ему, обрвет как раз...»

Куконицы — жены куконов, местных «бояринов», — без конца делились друг с другом догадками, предположениями и самими невероятными сведениями про «эскапад Пушкина с цыганкой». А когда появилась поэма «Цыганы», без разговора о прелестной дикарке и поэте не обходилось ни одно чаепитие. Немало было язвительных сплетен, но уже при жизни Пушкина возникли легенды о нем, и даже современникам нелегко было отделить вымысел от правды.

В конце века самые фантастические рассказы стали попадать в печать. Так, Л. С. Мацеевич собрал воспоминания кишиневских старожилов о Пушкине. Большинство этих воспоминаний не подымалось выше обывательских анекдотов о великом поэте. Мацеевич записал, к примеру, рассказ некоего М. Шонина. Вот как выглядит предыстория «Цыган» в его изложении. Однажды, повествовал Шонин, Пушкин гулял в окрестностях Кишинева. Наперерез ему бросилось несколько взрослых цыган или мальчишек с целью ограбить или выпросить себе что-нибудь, что, впрочем, безразлично, — меланхолически замечает Шонин.

Из дальнейшего сообщения следовало, что Пушкин якобы испугался этой встречи, повернул к городу, а дошедши до дома Стамати, вбежал к нему и быстро произнес: «Пера и чернил!» И здесь-то, торжествуя, заключает повествователь, были написаны первые стихи «Цыган».

Но своеобразный рекорд среди всех этих «историй» побил все-таки Елизавета Францева, опубликовав в трех номерах журнала «Русское обозрение» за 1897 год «семейные предания» — «А. С. Пушкин в Бессарабии». Под этим суховатым, деловым названием скрывается пухлая, многостраничная повесть.

По «семейным преданиям» Е. Францевой следовало, что не кто иной, как именно ее отец, г-н Кириенко-Волошинов, чиновник канцелярии наместника Инзова, записал одно «истинное» происшествие, случив-

<sup>1</sup> Жгя меня, испеки меня (молдавск.).

шеся в цыганском таборе под Кишиневом. Пушкин же, прочитав эту рукопись, сделал поэтическое изложение ее — «Бессарабские кочующие цыгане». Это изложение и сохранилось в памяти Е. Францевой, его она и считает «первым вариантом» поэмы «Цыганы».

Думается, г-жа Францева не постеснялась выдать за вновь открытую рукопись великого поэта собственные упражнения в стихах и прозе.

Только записки З. К. Ралли-Арборе, в отличие от других свидетельств кишиневских старожилов, вызывают полное доверие. Эти записки мы и положили в основу нашего рассказа о поездке Пушкина в Долну.

Сам автор этих записок был весьма примечательной личностью. Писатель, крупный революционный деятель, ближайший сподвижник Бакунина, Замфир Константинович Ралли-Арборе рано осиротел. Поэтому он составил запись семейных рассказов о Пушкине не со слов отца Константина Ралли, а со слов тетки Екатерины Захаровны Стамо, хорошо знавшей, как впрочем и все семейство Ралли, высланного в Кишинев поэта.

Маленького роста, с выразительным смуглым лицом, прекрасными большими глазами, Екатерина Захаровна была умна и начитанна.

На одном из черновиков поэмы «Цыганы» есть рисунок табора: шатер, силуэт женщины, кормящей грудью, телега, бродячая собака. И, как ни странно, здесь же профиль нахмуренного, насупленного мужчины восточного типа. По словам Блока, Пушкин чувствовал «какую-то освободительность рисунка», машинально чертил то, чем был занят в данное время. Исследователи установили, что профиль на рукописи «Цыган» принадлежит Апостолу Стамо, мужу Екатерины Захаровны.

Тетка Ралли-Арборе была несчастлива в браке. Ее муж, кишиневский чиновник, был намного старше своей молодой жены. Пушкин прозвал его «бараньей физиономией» (точнее в переводе с французского «баран-вожак»). В письме, адресованном кишиневскому приятелю Н. С. Алексееву и помеченном тридцатым годом, поэт с большой теплотой отзывался о самой Екатерине Захаровне как о женщине «милой воспоминанию». Все эти факты показывают, что, с одной стороны, творческая история «Цыган» более сложна, чем это принято думать, а с другой, что в период создания поэмы — в январе — октябре 1824 года — Пушкин думал о семействе Ралли, думал о тех непростых отношениях, какие сложились между ним и этим семейством.

Вот почему исследователь жизни и творчества А. С. Пушкина Петр Щеголев заметил, что «изо всех известных рассказов о том, как Пушкин бродил среди цыган, только от рассказа Е. З. Стамо веет жизненной правдой».

Б. Трубецкой — автор книги «Пушкин в Молдавии», выдержавшей несколько изданий, присоединяется к суждению П. Щего-

лева и добавляет, что эти вполне правдоподобные жизненные факты в биографии Пушкина легли в основу поэмы «Цыганы».

Со слов Е. З. Стамо излагается поездка Пушкина и Константина Ралли в Долну М. А. Цявловским в его подвижнической «Летописи жизни и творчества А. С. Пушкина». Другое дело, что к толкованию фактов и к некоторым подробностям в рассказе Е. З. Стамо следует подойти с большой осторожностью. Например, Екатерина Захаровна говорит своему племяннику, что даже спустя много лет, она хорошо помнит Земфиру. Вместе с тем, лично она едва ли могла видеть цыганку, потому что после пребывания Пушкина в таборе Земфира исчезла, а до ее встречи с Пушкиным на нее вряд ли обращали внимание кишиневские господа.

Кроме того, Екатерина Захаровна, вольно или невольно, придала портрету Земфиры черты экзотической красавицы, дикарки («Одевалась Земфира по-мужски, носила цветные шаровары, баранью шапку, вышитую молдавскую рубаху и курила трубку»), что вполне соответствовало представлениям Е. З. Стамо о девушке из табора.

Неслучайно, после того как Пушкин прислал своих «Цыган», — «все мы, — рассказывает тетушка Ралли-Арборе, — много смеялись над пылкой фантазией поэта, создавшего из насшей (подчеркнуто мною. — В. Д.) Земфиры свою свободолюбивую героиню». Неприязненно отнеслась Е. З. Стамо и к «неисправимому эгоисту» Алеко, которому, по ее мнению, вряд ли следовало идти в табор «наших бедных юрченских дикарей».

Вообще в воспоминаниях Екатерины Захаровны Земфира представляется этойкой *amourette*, а история взаимоотношений Пушкина с нею «шалостью», забавным приключением молодых людей, приехавших рассеяться в родовом поместье.

Факты говорят о другом. Сам Пушкин — и это дважды подчеркивает Е. З. Стамо — не обмолвился ни единым словом о поездке в Долну и Юрчины. Зато в эпилоге к «Цыганам» можно встретить автобиографическое признание:

...Встречал я посреди степей  
Над рубежами древних станом  
Телеги мирные цыганов,  
Смиренной вольности детей.  
За их ленивыми толпами  
В пустынях часто я бродил,  
Простую пищу их делил  
И засыпал пред их огнями,  
В походах медленных любил  
Их песен радостные гулы —  
И долго милой Марнулы  
Я имя нежное твердил.

Пусть читателей не смущает имя Мариулы — такова была литературная традиция пушкинской эпохи. В духе этой традиции Пушкин себя называл Эмилием. Под условным именем Мариулы он мог скрыть и подлинное имя той цыганской девушки, которую он встретил в таборе Булибаши и которую мы, следуя за З. К. Ралли-Арборе, называем Земфирой.

Ее имя важно было скрыть еще и потому, что Пушкин знал, не мог не знать о том снисходительно-ироническом отношении, которое вызывала его нежная, пылкая привязанность к Земфире со стороны близких ему людей. А ведь такими людьми в Кишиневе были Екатерина Стамо и Константин Ралли. Но поэт промолчал: слишком нелепой, невысказанной выглядела бы эта любовь в их глазах, слишком бы она не соответствовала их образованным, но в существе своем сословно-ограниченным взглядам и понятиям. Екатерину Захаровну — и это видно по ее воспоминаниям — задела любовь Пушкина к Земфире, крепостной цыганке ее матери. Вот почему она и постаралась не только принизить образ Земфиры, но и изложить всю историю как одно из легких увлечений, шалостей поэта-повесы.

Так ли это?

Без внимательного прочтения «Цыган» невозможно проникнуть в душевный мир двадцатипятилетнего поэта, понять главное в его мироощущении и мироощущении.

\* \*  
\*

По выражению А. Слонимского, в «Цыганах» совершается драматический переход «от счастья к несчастью», как в греческой трагедии по знаменитому определению Аристотеля. Этот переход подчеркивается не только судьбами Алеко и Земфиры, но и звуковой инструментовкой поэмы, ее общим музыкальным звучанием. Посмотрите, сколько веселого оживления, пестроты, красочности в первых главах поэмы, описывающих сборы табора в недалекий путь, как разнообразна звукопись поэта.

Крик, шум, цыганские припевы,  
Медведя рев, его цепей  
Нетерпеливое бряцанье,  
Дохмотьев ярких пестрота,  
Детей и старцев нагота,  
Собак и лай и завыванье,  
Волюнки говор, скрип телег,  
Все скудно, дико, все нестройно;  
Но все так живо-непокойно,  
Так чуждо мертвых наших нег...

Но как приглушены, как скорбны тона в последней главке: «...Поднялся табор кочевой с долины страшного ночлега. И скоро все в дали степной сокрылось...» Создается ощущение, что табор бесшумно исчез, как исчезает станица перелетных птиц в бескрайней голубизне неба. Не случайно возникает в воображении поэта образ смертельно раненной птицы: одинокая кибитка, крытая убогими коврами, действительно издала напоминает птицу с перебитым, опущенным долу крылом.

Таков, по сути дела, и Алеко.

Если бы Пушкин только «развенчивал байронического героя», как и поныне толкуют «Цыган» школьные учебники и программы, то этого образа — образа птицы, «пронзенной гибельным свинцом», — в поэме не было бы, а все произведение имело бы лишь историко-литературный, познавательный характер.

Но поэма задумана как произведение о современном человеке и для современного человека (Б. Томашевский).

Напрасно Алеко тешил себя иллюзиями, что только в опрощении, только в пренебрежении благами цивилизации и «просвящения» он обретет самого себя. Он так же чужд городской толпе, где его сограждане «любви стыдятся, мысли гонят», как и толпе нищих цыган.

В таборе Алеко изменился, но изменился он внешне, усвоив привычки окружающих, применившись к новым условиям жизни. Ему кажется, что он уже стал «вольным жителем мира». Но сущность его осталась неизменной — он был и остается воплощением духовного одиночества.

Любовь Земфиры для него — это путь к восстановлению кровных, неразрывных связей с людьми, с обществом, пусть даже в такой его примитивной формации, как цыганский табор.

Земфиру же любовь вскоре начинает тяготить, она скучает с человеком, который сложен, непонятен ей. И как только любовь становится ей в тягость, не доставляет радости одарения, — она покидает своего возлюбленного.

Так стремительно и неотвратимо нарастает в поэме трагическая развязка. Но иллюзии нравственного обновления, перерождения личности под влиянием патриархальной среды были устойчивы. Вот почему Пушкин, когда поэма была уже завершена, в эпилоге счел необходимым еще раз подчеркнуть главную мысль:

Но счастья нет и между вами,  
Природы бедные сыны!  
И под издранными шатрами  
Живут мучительные сны,  
И ваши сени кочевые  
В пустынях не спаслись от бед,  
И всюду страсти роковые,  
И от судеб защиты нет.

Только в тревогах жизни бурной, только в жажде деяния, достойного его самого, может обрести человек желаемое обновление, — таков философский вывод «Цыган», этой лучшей романтической поэмы А. С. Пушкина.

## II. Еще твоей молвой...

Я не знаю, кто из людей, причастных к литературе, удержался бы от соблазна побывать в местах, где Пушкин встречался с цыганкой Земфирой, где он познал любовь и долгую, неутолимую печаль? Я от такого соблазна не удержался. И наша поездка в Долну навсегда останется живейшим и ярчайшим воспоминанием в моей памяти.

Помогли мне в этой поездке и составили компанию журналист Василий Широкий, поэт Виктор Кочетков, кстати сказать, пешком исходивший памятные пушкинские места, и наш друг Алеша. Почти полтора года лет минуло с той поры, как дорожная коляска с двумя молодыми людьми вы-



ехала за окраину Кишинева. Но и нам было отрадно покинуть раскаленный город, его грохочущий от нескончаемого потока грузовиков, самосвалов, троллейбусов проспект Молодежи и повернуть на северо-запад — туда, где скрывалось таинственное для меня селение Долна.

Вот когда наконец-то я увидел настоящую Молдавию. По мере того как под колеса редакционной «Волги» бросались все новые и новые километры шоссе, один вид живописнее другого открывался нашему взору. Иногда казалось, что машина стоит на месте, а вся округа с полями подсолнечника и кукурузы, с дальними холмами и облаками медленно поворачивается вокруг своей оси, а в центре этой оси находишься ты, радостный, просто по-человечески удивленный красотой Молдавии.

У всех у нас было такое возбужденное, приподнятое состояние. Я назвал бы его счастьем дороги. Когда ветер врывается в кабину и яростно треплет волосы, когда мимо со свистом проносятся автобусы и грузовики, начинаешь особенно оживленно говорить, но не слушаешь ни себя, ни других, потому что все время замираешь от ожидания чего-то неизъяснимо прекрасного, что ждет тебя в конце пути. На память мне пришла строчка, и эта строчка неумолчно звучала во мне: «У них было много дороги и счастья». Я забыл название книги и автора этих слов, но они так полно передавали мое тогдашнее состояние, что я без усталости повторял их.

— Вообще-то Молдавия — страна линий, а не красок, — неожиданно сказал Вася Широкий.

И как ни парадоксально было это опре-

деление солнечной, зеленой Молдовы, приглядевшись, нельзя было не согласиться с ним. Линии, плавные и мягкие, то сливались друг с другом, то разъединялись, образуя прихотливые узоры виноградников, садов, пастбищ, склонов водохранилищ. Позднее мне довелось повидать в республиканском музее пейзажи П. А. Шиллинговского, и я обратил внимание, что именно в замысловатых линиях, в непрерывном узорном ритме, а не в коричневых «жженных» тонах художник передал свое ощущение Бессарабии.

Внезапно кружение холмистых склонов замедлилось — машина свернула с шоссе на проселочную дорогу и стала взбираться вверх по откосу: Долна!

Машина остановилась возле белого здания, бывшей помещичьей усадьбы, и мы огляделись вокруг.

Если уподобить девственные кодры океану, то село Долна похоже на рыбачий поселок, что приютился в глубине небольшой бухты. Вправо и влево от нас, вплоть до самого горизонта, застыли валы зеленых холмов, а перед нами краснели черепичные крыши хаток. Селение было рассыпано в том живописном беспорядке, который всегда поражает людей, выросших на равнинах. А над всем этим великолепием — гигантский купол тишины и покоя.

Мне довелось побывать во многих районах нашей страны, связанных с именем Пушкина, и у меня создалось впечатление, что отпечаток гениальности лежит на самой природе, на ее величавости и простоте, что отнюдь не случайно именно в таких краях земли, как долнянские кодры, рождались великие творения ума и таланта.



Суперобложка к поэме «Цыганы» А. С. Пушкина работы народного художника СССР И. Т. Богдеско

\* \* \*

Бывшая усадьба Ралли была превращена в музей в 1949 году, в дни празднования 150-летия со дня рождения А. С. Пушкина. Тогда же на фронтоне здания была установлена мемориальная доска, а несколько позже — в скверике перед музеем — бюст поэта, к сожалению, не очень выразительный. В дни празднования состоялся торжественный митинг, на котором был оглашен указ Президиума Верховного Совета Молдавской ССР о переименовании села Долна в село Пушкино.

Осмотр экспозиций музея занял немного времени. Среди музейных экспонатов, фотокопий рукописей поэта, прижизненных изданий, картин местных художников наше внимание привлекли изумительные иллюстрации к «Цыганам» народного художника СССР И. Т. Богдеско. Иллюстратор не только нигде не погрешил против исторической правды и не только избежал слащавой («цыганщины»), например, в портрете Земфиры, но и, следуя вольнолюбивому духу поэмы, вынес действие на бескрайние просторы Молдавии. Природа в его рисунках — не фон, а активный соучастник событий, та стихия, в которой нашли недолгое счастье и гибель Алеко и Земфира.

\* \* \*

Мы вышли из музея. После полумрака и прохлады комнат особенно ярко блестела зелень, густо синели напоенные зноем лесные дали. Окруженные тишиной и величавым покоем, мы не сразу заметили гранитный обелиск, притененный старым каштаном. И, не будь с нами Виктора Кочеткова, мы прошли бы, вероятно, мимо него, допустив горькую ошибку!

Этот серый гранит имел прямое отношение к памяти А. С. Пушкина.

...Напрасно румынские оккупанты, незаконно захватившие Бессарабию в восемнадцатом году, пытались вычеркнуть имя Пушкина из сознания молдавского народа. Напрасно изрубили они топором надпись на памятнике поэту в Кишиневе и заменили ее румынской. Напрасно сожгли Пушкинский народный театр, открытый к столетию со дня рождения поэта и известный под названием «Пушкинской аудитории».

Светлый облик Пушкина не померк в сердце народном. Воистину его «молвой наполнен сей предел». Друг К. Стамати, К. Негруци, А. Доница, А. Руссо и других писателей-реалистов, зачинателей новой литературы, он был близок молдавской интеллигенции. Поэт, подаривший миру «Цыган», «Братьев-разбойников», молдавскую песню «Черная шаль», песню Земфиры («Старый муж, грозный муж»), он был близок и дорог простым сельчанам, которые распевали его песни, пересказывали его поэмы. Вольнодумец, сосланный русским царем в южные степи, сочувственно изу-

чавший историю, быт, нравы порубежных народов, он вошел в сказания и легенды.

Когда-то Пушкин искал следы пребывания Овидия Назона на берегах Днестра и Дуная, искал и записывал молдавские и цыганские предания об этом «странном», «необыкновенном», «святом» изгнаннике, не раз обращался к нему в своих стихах и поэмах.

Сравнивая судьбу римского поэта с собственной изгнаннической участью, молодой Пушкин в порыве горечи и самоотречения воскликнул:

Увы, среди толпы затерянный певец,  
Безвестен буду я для новых поколений...

Время рассудило иначе.

Тимофей Брандабура, старожил Долны, со слов отца и деда рассказывал предание об одном русском, жившем некогда в их селении. Он заходил в крестьянские хаты, беседовал с крестьянами, слушал их песни. Этот русский с добрым сердцем и светлым умом был великим писателем и звали его Пушкин.

Крестьяне воссоздали образ Пушкина, в отличие от кишиневских обывателей, охочих до пересудов и досужих толков, в традициях народных дум и старинных песен. В их сказаниях он не только великий поэт, но и провидец судеб народных. Вот почему осенью 1940 года, после освобождения Бессарабии, жители ниспоренской округи первую свою артель назвали именем Пушкина.

Но 2 апреля 1942 года румынско-фашистские каратели здесь, в Долне, расстреляли председателя Пушкинского сельсовета Дорошкевича И. А., председателя Миклушского сельсовета Булигу Н. А., деревенских активистов Дорошкевича Е. А., Пырэу К. И. и Урсу К. К. Их могильный холм присыпан землей, которую полюбил поэт в долгом изгнании, по которой он ходил легкой и стремительной походкой.

...Мы стоим возле скромного обелиска. Узловат ствол старого каштана, развесист его зеленый шатер — благодатна земля, взрастившая его. Щедро полита она ветеными дождями и кровью людскою. Тихо и солнечно вокруг. Так тихо, что на какое-то мгновение можно услышать въевь голос поэта, который немного нараспев, на старинный лад читает бессмертные строфы:

Но если обо мне потомок поздний мой,  
Узнав, придет искать в стране сей отдаленной  
Близ праха славного мой след уединенный,—  
Брегов забвенья оставя хладну сень,  
К нему слетит моя признательная тень,  
И будет мило мне его воспоминанье...

### III. В Юрченых

В Юрченых — большом молдавском селе, утонувшем по гребни крыш в садах и виноградниках, мы долго разыскивали Павла Петровича Андриеша — директора местной школы и краеведа. В любом из нас жила тайная мысль: а не расскажет ли нам

Павел Петрович что-нибудь новое о Пушкине и Земфире, не поведает ли какую-нибудь легенду, существующую среди местных жителей до сих пор?

Кто-то из бывших учеников школы показал нам дом Андриеша. Павел Петрович был болен, и поэтому роль гостеприимной хозяйки взяла на себя его теща А. Ф. Палади. Мы поднялись по ступеням крыльца и прошли в одну из комнат. Толстенные балки низкого потолка, маленькие оконца, да и все полугородское, полудеревенское убранство комнаты, которое характерно для квартир сельских учителей, настраивало на неторопливый, сердечный разговор.

Вот здесь-то нам по-настоящему и повезло.

— Вы знаете, а ведь по этим половицам ступал Александр Сергеевич Пушкин, сюда к нему из табора приходила Земфира,— сказала нам А. Ф. Палади.

Можно представить, каким радостным и неожиданным для нас было это известие. В него не просто хотелось верить, в него невозможно было не поверить. «Наша память хранит с малолетства веселое имя: Пушкин» (Блок),— и приобщиться к этому веселому и светлому имени — счастье для любого. И это счастье мы находим не только во все большей и большей глубине постижения поэтического гения Пушкина, но и в личных, субъективных переживаниях, которые доставляют нам памятные пушкинские места. А здесь мы в некотором роде становимся первооткрывателями, мы узнаем какой-то новый штрих, какую-то новую деталь в биографии поэта. Здесь мы можем вволю помечтать, зримо представить себе, как вот на этой скамье сидел Пушкин, как он нетерпеливо ожидал Земфиру, как она входила в эти комнаты...

Но хотелось новых подтверждений, новых доказательств, что именно здесь жил А. С. Пушкин сто сорок четыре года тому назад.

— Когда-то Юрчены были небольшим хутором,— продолжала А. Ф. Палади,— и сюда летом приезжали господа помещики — отдохнуть, поохотиться в окрестных лесах. Наш дом был чем-то вроде охотничьей сторожки. Он — старый, очень старый: однажды мы затеяли ремонт, потребовалось продолбить балки — и дерево не могли взять железом: от старости оно стало крепким, как кость. В нашем доме жил Александр Сергеевич, когда он приехал в Юрчены...

Позднее мне довелось узнать новые подробности из истории дома Андриеша.

«Дом, в котором мы живем,— писала мне в Москву А. Ф. Палади,— я унаследовала от своей прабабушки, которой в 1918 году, когда я прибыла в Юрчены, было сто лет. По ее рассказам, этот дом когда-то принадлежал помещику Ралли. В 1922—1923 годах в Бессарабии издавалась газета «Бессарабское слово» на русском языке. В этой газете мы с мужем прочли статью о том, что А. С. Пушкин был на хуторе у Ралли и ступал в нашем доме...»

Вот оно, «милое» поэту воспоминание

о нем! Вот оно, живое предание, передаваемое из рода в род!

...Мы едем в Ниспорены, а потом обратно в Кишинев. Но у каждого такое чувство, словно здесь, под этой камышовой кровлей, мы оставили частицу собственной души.

Среди быстро сменяющихся впечатлений, которые дала мне поездка по Молдавии и придунайским районам Одессщины, пребывание в селе Пушкино и в Юрченах было едва ли не самым сильным и глубоким. Однако цель моей поездки вовсе не заключалась только в сборе материалов к такой, например, теме, как «Пушкин в южной ссылке». Нет, все вышло, как говорится, само собой. Смутная мечта, жившая во мне давно,— посетить земные уголки, города и веси, где некогда жил А. С. Пушкин, привела меня в Кишинев. Оттуда я проехал в село Пушкино и в Юрчены, почти по пушкинскому маршруту,— в Белгород-Днестровский (Аккерман), в Измаил, в городок Вилкова, в те места, в которых по преданию окончил свой век Овидий Назон. Краткие дорожные встречи, беседы с деятелями культуры, знакомство с самобытным молдавским искусством, с природой юга,— та пестрая, случайная смесь путевых наблюдений, без которой не обходится ни одно путешествие,— все это заносилось мною в черновики моих писем. Мне хотелось воссоздать пусть мозаичный, пусть неполный, но, по мере сил и возможностей, живой образ современной Молдавии. Вернувшись в Москву, я стал приводить в порядок свои записи и был настолько захвачен увиденным и пережитым в долненских кодрах, что с головой ушел в изучение старинных документов, воспоминаний современников, книг пушкинovedов. Короче говоря, опыт Ираклия Андроникова в какой-то мере послужил для меня примером. Зная, как сухо, малоинтересно подчас преподается поэзия А. С. Пушкина в наших школах, я попытался оживить рассказ о молодом Пушкине и цыганке Земфире, не отступая однако ни в чем от архивных первоисточников и свидетельств современников. Думаю, что большой беды в этом нет. Но мои молдавские письма были бы неполны, если бы я не рассказал о других памятных встречах, с другими людьми, одержимыми любовью к искусству, к поэзии. Таких людей не счастье на нашей земле, и знакомство с ними обогащает, возвышает жизнь каждого из нас.

## IV. Расти, акация

*Расти, акация,  
Стройна и высока,  
Достань акация,  
Вершиной облака  
Следи за девужкой,  
Что в тишине  
Придет грустить  
С тобой наедине*

*Д. М. Карачобан*

У каждого народа есть любимые поэты, у поэтов — любимые песни, а в песнях — излюбленные образы, приметы родной земли.

«Сломанные сосны» Яна Райниса живут и долго будут жить в сердцах латышей, как «Одинокие тополя» Михаила Эминеску в сердцах молдаван. И хотя Пушкин не оставил нам ни стихов, ни песен про русскую березоньку, встречать это белоствольное диво было ему отраднее в долгих скитаниях по России. В письме из Крыма, тогдашней Таврии, можно найти такое щемящее душу признание: «Мы переехали горы, и первый предмет, поразивший меня, была береза, северная береза! Сердце мое сжалось: я начал уж тосковать о милом полудне...»

Любой народ, как бы он ни был малочислен и неприметен, ищет в песне исход лучшим чаяньям и думам, ищет свой символ околнения в отчей земле, идеал песенности и красоты.

Что и говорить, южная акация не получила столь громкой песенной славы, как украинская ветла или русская березка, но поезжайте в Буджакскую степь, покочуйте по селам южной Молдавии, и вы увидите, что это дерево равно им по выносливости и силе, по популярности среди местных жителей.

Когда суховеи гуляют по Заднепровью, когда только чернобыльник торчит на бурых склонах балок, акация зеленеет возле беленых хат, бросает легкую узорную тень на выжженную землю.

Вот почему в гагаузских селах можно услышать короткие песенки — «маани» — про акацию, как в северных деревнях частушки про березу и горькую рябину. Это — непривычно жителю других краев и земель, но мало ли непривычного в обычаях и нравах гагаузов? Да и вообще, многие ли знают гагаузов, слышали об этой народности, живущей на юге Молдавии и в Одесской области?

Словно низкорослая, с перекрученным железным стволом акация, выдержавшая напор степных ураганов и бурь, устоял этот народ против испытаний и бед, выпавших на его долю. У гагаузов — тюркский язык, их духовная культура, их обычаи, их фольклор — ближе всего славянским народам, в особенности болгарам. Вместе с тем в их быту, в их одежде немало черт, присущих турецкому Востоку.

Вообще гагаузские села имеют свой колорит, отличный от колорита соседних украинских или молдавских сел, хотя не следует думать, что все, что там ни увидишь, — будет в диковинку, все будет нести печать исключительности и обособленности. В 1944 году Советская власть окончательно утвердилась на этих землях, и жизнь гагаузов за двадцать лет изменилась стремительнее, чем за два столетия.

Но, возвращаясь к истории этой малой народности, нельзя не отметить, что наряду с болгарами и другими народами Балканского полуострова гагаузы подвергались жестоким гонениям и истреблению со стороны турецких захватчиков.

«От Олега и Святослава до Румянцева и Суворова она была театром наших войн», — писал о Бессарабии Пушкин. В стихотворном отрывке «В степях зеленых Буд-

жака» поэт вновь вернулся к этой мысли: он говорит о болгарских поселенцах, которые стали свидетелями того, как «ратоборствуют державы и грузно правят их судьбой». Такими поселенцами были и гагаузы: они частью переселились в Бессарабию в 1808 году по приглашению командующего русской армией на Балканах М. И. Кутузова.

Еще и теперь можно встретить в Буджаке семьи, где дед служил Осману, отец — русскому царю, сын — румынскому королю, а внук родился уже при Советской власти. Сквозь эту бытовую деталь просвечивает сложная, полная противоречий история гагаузов. Эта деталь подмечена Виктором Кочетковым, который в очерке «Буджакская степь» привел один весьма примечательный разговор со старым гагаузом Николаем Георгиевичем Танасогло.

На старости лет Танасогло занялся за составление гагаузско-русского словаря и гагаузской грамматики. Он имел весьма слабое представление о научной стороне дела, так как не являлся ученым-лингвистом, но все-таки настойчиво заполнял одну тетрадь за другой гагаузскими словами и их русскими эквивалентами. Этот подвижнический труд старый человек добровольно взял на себя. На вопрос автора, зачем же он все это делает, Николай Георгиевич ответил так:

— Завтра нас спросят, готовы ли мы получить письменность. Мы ответим: готовы, вот наши словари, грамматика, фольклор.

— А вы уверены, что об этом спросят? — поинтересовался В. Кочетков.

— Не сомневаюсь. Прошло время, когда нас путали то с арнаутами, то с болгарями, то с турками. Советская власть поможет нам встать на ноги. Я читал Ленина и уверен, что так будет.

Так уже становится, — хотел бы я дополнить старика, — и завтра, о котором он говорил уверенно и неколебимо, уже наступает. В этом убедили меня некоторые личные воспоминания. О них-то я и хочу рассказать в этом письме.

\* \*  
\*

...Был он неприметен на нашем горластом поэтическом семинаре. Его неизменный потертый костюм, купленный в сельмаге, его молчаливость, наконец его упорное стремление сидеть в аудитории позади всех — заставляли меня частенько забывать о нем. А подстрочники его стихов с лежащими на поверхности сюжетами навели на меня уныние и, покаюсь, заставляли думать о бесцельной трате времени, о бесполезности моих семинарских занятий.

Лишь однажды он, широко улыбаясь, подал мне толстую книгу с аляповатым рисунком на обложке и сказал, что здесь напечатаны его стихи. Книга эта вышла на родном поэту языке, и я смог среди выходных данных по-русски прочитать только, что называется она «Буджакские голоса» и что вышла книга в Кишиневе.

Мог ли я знать тогда, что это один из первых литературно-фольклорных сборников гагаузов, а стихи в нем — стихи первого поэта-профессионала Дмитрия Карачобана.

Я и раньше слышал, как студенты подшучивали над Карачобаном, называли его «классиком», но эти шутки не достигали цели: Карачобан сохранял невозмутимость и замкнутость, а классиками ребята по доброте душевной называли всякого, кто привел их в восторг парой хорошо зарифмованных строк. Но все оказалось серьезнее, чем мне думалось тогда. Гагаузская литература действительно одна из самых молодых братских литератур нашей необъятной страны. Началом ее развития следует считать только 1957 год, когда гагаузы, живущие в южной Молдавии, получили свою письменность и стали публиковать стихи и рассказы на родном языке. И Дмитрий Карачобан был действительно автором стихотворений, включенных в учебники и школьные программы. По его стихам учились дети и читали по складам строчки, о существовании которых я и не подозревал. Произошло это потому, что я забыл в случае с Карачобаном изречение мудреца: «Великое дело — способность удивляться». Тем удивительнее, неожиданнее раскрылся этот селский учитель на последних курсах института.

Однажды он пригласил меня в общежитие. У окна тесной студенческой комнатки стоял кинопроектор. На противоположной стороне была приколота простыня. Оказалось, что Карачобан уже несколько лет гонорары и большую часть заработка тратит на киноаппарату, химикалии, запчасти к киноаппарату, на многое другое, без чего немислимо кинолюбительство, что ночи напролет он с двумя-тремя учениками обрабатывает отснятый материал, что он и оператор, и монтажер, и ведущий актер, и, наконец, директор студии «Бешалма-фильм», выпустившей с десяток художественных картин. Несколько киноновелл было показано и мне. Не скрою, меня захватили эти самодельные, во многом наивные и уж, конечно, несовершенные ленты какой-то своей глубокой искренностью и правдивостью. Вот когда я по-настоящему увидел пустынные степи вокруг гагаузских сел, одинокие акации, беленькие хатки, пыльные, широкие большаки, увидел все это так, как не могли мне показать опытные и профессиональные кинохроникеры.

Нельзя было не залюбоваться, как этот низкорослый, замкнутый студент загорался, когда рассказывал о новых планах и новых замыслах, как он был преисполнен вдохновенной любви к землякам, готов был им служить денно и ночью.

Вот почему, получив верстку первого поэтического сборника Дмитрия Карачобана, так и названного «Первое слово», я не поморщился от такого, казалось бы, стереотипного названия, а наоборот, во всей полноте и свежести ощутил слово «первое». В бесписьменной многие века истории гагаузов это был один из первых сборников стихотворений и песен.

За пять лет пребывания в институте гагаузский поэт отказался от наивных представлений о том, что такое современность в поэзии, он впитал в себя, выбрал стихию народной, поэтической речи и обогатил эту речь профессиональным вкусом и внутренней дисциплиной. В его коротких заповедках, написанных в жанре «маани», чувствуется и лукавство, и ирония, и душевная щедрость, и доброта. Почти каждая такая заповедка — колоритная жанровая сценка, своего рода крохотная «пьеска» со своим диалогом, со своими действующими лицами. Вечная поэзия любовных встреч и расставаний у Карачобана лишена какого-либо налета литературщины и романсовости; в этой поэзии всегда присутствует элемент игры, элемент легкого лукавства и озорства. Но ведь именно этим отличаются подлинно народные произведения, не стилизованные под народность, а выплеснувшиеся из души поэта.

В духе народной баллады написано Карачобаном стихотворение «Ляк-тык». Едут солдаты по степи, поскрипывают под ними седла «ляк-тык, ляк-тык», в лад скрипу седла и цокоту копыт покачиваются солдаты, думают горестно и трудно, что разорительна война, что несут они в чуждые им края и пределы только смерть и разрушение. Все стихотворение — взволнованный призыв поэта к миру, это его страстная вера, что никогда на родную землю больше не ступит нога чужеземного солдата.

В стихотворении «Праздничная пляска» рефреном служит звукоподражание стуку барабана: «дум-чик-чик, дум-чик-чик». И все стихотворение по ритмическому рисунку напоминает вихревые пляски гагаузов. Когда эти стихи читал по-гагаузски сам Карачобан, то он весь загорался, оживлялся, притоптывал, прищелкивал пальцами, был в упоении ритмами стиха.

...Защита дипломной работы — сборника стихотворений «Первое слово» — прошла успешно. Д. Карачобан уехал к себе в село Бешалмы.

Недавно, просматривая старые подшивки журнала «Днестр» за 1957 год, я наткнулся на стихи Д. Карачобана. Одно из стихотворений называлось «Расти, акация», и я вспомнил не только придорожные акации в буджакской степи, но и самого поэта, который посвятил этому неприметному, скромно зеленоющему деревцу убежденные строки:

Расти, акация,  
Стройна и высока,  
Достань, акация,  
Вершиной облака.

## V. Встреча с Постолаки

*Восхищение — это хорошее вино  
для благородных умов.*

*Роден*

Нас шумно приветствовал плотный, седой человек с синими-синими глазами, непривычными у молдаванина. Заговорил он

быстро и охотно, как будто давно ждал гостей. Это был художник Иахим Николаевич Постолаки. В его мастерскую мы зашли, как говорится, на огонек. Однако было у нас и другое желание — познакомиться с такими сторонами художественной жизни Кишинева, каких мы не могли знать и не знали раньше и, конечно, в первую очередь понять, вникнуть в сокровенную суть народных ремесел, народного искусства вообще.

Мастерская художника прикладного искусства больше всего похожа на мастерскую, на рабочее помещение, а не на парадную студию модного ваятеля или живописца.

Художник-прикладник — вечный экспериментатор, а его мастерская — лаборатория, в которой проводятся опыты, сравниваются отдельные образцы, отбрасываются одни, принимаются другие, удовлетворяющие взыскательным требованиям их создателя. На полках вдоль стен стояли в довольно-таки хаотическом нагромождении фигурки из глины, из дерева, из древесных корней: кувшины, украшенные геометрическим орнаментом; плоские (молдавские плоские фляги для вина) с цветными ангобами; изделия потечной глазури и глазури восстановительного огня...

От оформления городских парков, от монументальных панно и цветных витражей до изящных безделушек, до памятных сувениров — во всем должна быть выдумка художника-прикладника, высокий эстетический вкус и, главное, чуткость к веяниям современности, верность национальным традициям родного народа.

Взять молдавское ковроделие.

Старинный молдавский ковер отличается большой текучестью, ажурностью рисунка, а также изысканностью цветных фонов: от лазурно-голубого и синего до коричневого, золотисто-охристого, малинового, красного цвета — таков фон в молдавском ковре, довольно свободный, редко заполненный орнаментом. Активную сюжетную роль в ковре-килиме играет широкая кайма, заполненная геометрическим, реже — сильно стилизованным растительным орнаментом. Современному художнику необходимо обладать большим вкусом и тактом, чтобы не нарушить этих устоявшихся принципов, этих традиционных ритмов молдавского ковра. Иахим Николаевич Постолаки осторожно и художественно обоснованно ввел в эскизы мотивы, которых не знали ткачи прежних лет: для ковра «Кормовые травы» он взял стилизованные элементы кормовых трав — листья, стебли, соцветья — и создал ковровое изделие, которое, оставаясь верным народным канонам, было его оригинальным творением, его вкладом в народно-прикладное искусство наших дней.

А сколько было раздумий, поисков, откровений, когда создавались эскизы национальных костюмов для молдавского ансамбля «Жок»!

— Костюм — это наш язык, — все более и более воодушевляясь, рассказывал

Иахим Николаевич. — Мы можем им говорить, можем высказывать свои чувства, как балерина высказывает их танцем, музыкант — мелодией. Национальное молдавское убранство сдержанно и собранно: в нем преобладают белые тона, даже вышивка на белой сорочке может быть выведена белым шелком. И только безрукавка, которую вышивает девушка своему возлюбленному, — богата орнаментами и ярко расцвечена. Ведь девушка вкладывает в этот как будто бы «немой» язык узоров свою любовь, нежность, преданность и страстность. И после этого мне говорят, чтобы я учил народ красоте, живописной выразительности?! Да мне, немолодому уже человеку, век свой ходить у народа в подмастерьях, век свой изучать творенья простых сельских мастеров и мастериц.

Постолаки помолчал. Его синие глаза горели прежним воодушевлением, а все мы, присутствующие в этой мастерской, были не только полностью согласны с его речами, но и разделяли его заботы и огорчения. Мне же лично старый художник все больше и больше нравился своей одержимостью и чистосердечностью, добродушием и полной откровенностью. Чтобы как-то скрасить минутную заминку, я обратил внимание на майоликовые статуэтки. Среди них выделялся «Древогиб» («Стрымбэ лемне») — богатырь из народного сказания «Андриеш», отмеченный критикой на московской выставке 1960 года. Изумителен был малыш-молдаванин в остроконечной бараньей шапке, такой забавный и серьезный, что на эту крохотную фигурку невозможно было смотреть без легкой улыбки.

Вообще многие майолики Иахима Николаевича заражают добродушной веселостью, лукавством, без которого скучнее было бы жить на свете. Насколько я успел заметить — это в характере художника. Да и сам Постолаки говорил, что одна из задач скульптора малых форм — доставлять людям радость, согревать их сердечной теплотой. Лишь бы, конечно, эти изящные статуэтки, памятные сувениры были произведениями искусства, развивали эстетический вкус людей, а не портили, не снижали его.

— А майолики у нас делают по точному методу — и молдаванку с виноградом трудно отличить от украинки со снопом пшеницы, а все вместе далеко, очень далеко от того идеала, который я вижу в одной работе Веры Мухиной. Хотите знать в какой? — Мы промолчали. — Когда-то, еще будучи молодым человеком, я жил в Бухаресте. В 1937 году мне довелось принять участие в оформлении румынского павильона на Всемирной выставке в Париже. По условиям того времени мы мало знали о Советском Союзе — румынская реакционная печать писала неправду о великой стране. И вот я никогда не забуду неожиданного, окрыляющего впечатления, которое на меня произвел Советский павильон, и прежде всего вознесенная ввысь, напряженная, стремительная скульптура Мухиной «Рабочий и колхозница». Там же на

выставке мне пришлось встретиться с Иваном Мештровичем. Он видел изваяние Мухиной на павильоне СССР, и позже мне передавали его слова, которые звучали примерно так: «Друзья мои, верьте мне,—будущее за этим искусством!» — Здесь Иаким Николаевич как будто спохватился, он широко улыбнулся и добавил: — Да знаете ли вы Мештровича? — Мы были вынуждены признаться, что мы ничего толком не знаем об этом художнике. Тогда Постолаки полез куда-то в шкаф, порылся там и через некоторое время извлек большой альбом фоторепродукций Ивана Мештровича, изданный в Загребе в 1961 году. — Теперь нам легче будет говорить с вами, — сказал старый художник, раскрывая альбом.

Мы присели к столу, предчувствуя, что сейчас нам будет открыто нечто важное и памятное. И мы не ошиблись в этом предчувствии. За каждым словом Постолаки — выношенные мысли, долгие раздумья и конечно же мечты. Да, и мечты художника, которым не всегда суждено сбываться, но они озаряют его повседневный быт, заставляют снова и снова мучительно оценивать все сделанное, бросать начатое, возвращаться к нему, снова задыхаться от жажды, от желания совершить что-то такое, что никогда прежде ему не было по силам совершить.

— Дело не в библейских сюжетах, — начал Иаким Николаевич, — не только в образах мучеников и апостолов православной церкви. Дело в том, что скорбь, страдание — источник поэзии Ивана Мештровича. Однако он же, Мештрович, как мало кто другой, передал материнскую ласку, всепоглощающую материнскую любовь, выразил святость материнства. Взгляните на портрет его матери, вчитайтесь в эти сдержанные и строгие линии, в эту скупую лепку — и вы ощутите прилив необычайной нежности к простой крестьянке в простом низко повязанном платке. Или вот мрамор «Мать оберегает дитя». Взгляд, устремленный вверх, исполненный мольбы, надежды, ожидания, испуга, — взгляд матери, на коленях которой распростерто беспомощное, обнаженное тельце ребенка. Таким человек вступает в жизнь, таким беспомощным и беззащитным он будет казаться матери всегда. Поэтому-то и вложил сложнейшую гамму переживаний Мештрович в поворот головы молодой женщины, в ее глаза, устремленные вверх. Таким, по-моему, и должен быть язык современной пластики: не поучать, не наставлять должен ваятель, а кричать обо всем горе человечества и всей радости его. Сейчас я открою репродукцию его знаменитого «Распятыя». Вот они — эти чудовищно распухшие ступни Христа, эти тяжелые болты, вбитые в ладони, это изможденное, исстрадавшееся тело — оно вопиет о физической боли, оно живой упрек всем нам. Иван Мештрович не раз и не два обращался к образу Христа и всегда говорил не о его духовной, а о его телесной муке. Здесь, в деревянной скульптуре, Мештрович остался верен самому себе. Теперь вы понимаете, почему Иван Мештрович ска-

зал о скульптуре Мухиной, что за этим искусством — будущее. Такой, как у Мухиной, открытости, стремления шагнуть широко и смело в этот завтрашний день он не находил ни в самом себе, ни в окружающем его мире. Но он верил, что за ними — грядущие времена.

...До полночи продолжался разговор об искусстве в мастерской Иакима Николаевича Постолаки. И когда я теперь думаю об облике молдавского мастера, я обращаюсь к учителю современных ваятелей — к Родену: «Мир будет счастлив только тогда, — писал Роден в «Завещании», — когда у каждого человека будет душа художника, иначе говоря, когда каждый будет находить радость в своем труде».

## VI. Дунай ты мой, Дунай

Всю жизнь меня тянет к водному простору — будь это родное Кубеноозерье, ненасытная для глаз голубизна Байкала, медлительная Сухона или бурная Ангара. В дальних и близких командировках я стараюсь как можно быстрее выбраться из городской суеты, пройти к воде, к пристаням, лодкам, теплоходам, баржам, плотам, к свежему понизовому ветру, к тому особому миру, который всегда бодрит и радует бесконечным разнообразием и ширию.

«Я никогда не чувствовал себя одиноким у реки», — заметил как-то Хемингуэй, и с юношеских лет я познал на себе истинность этих слов. Каменные строения без реки, без водной глади кажутся мне какими-то однообразными, скучными. Они не остаются в памяти, вернее, не оставляют в душе столь сильный отпечаток, как города и селенья, в которых есть какая-никакая набережная, какой-никакой причал, какая-никакая рыбацкая лодка и которых, к счастью, не счесть на нашей земле. Но сильнее и неотвратимее всего меня влекут, конечно, великие водные пути России и Сибири. Ожидание встречи с ними доставляет не меньше переживаний, чем встреча с чем-то давным-давно загаданным, заочно любимым, но знакомым лишь понаслышке.

Как славно за меня, за него, за всех нас, с молоком матери впитавших любовь к матушке-Волге, сказал Александр Твардовский:

И пыл волнейя необычный  
Всех сразу сблизил меж собой,  
Как перед аркой пограничной  
Иль в первый раз перед Москвой.

В передаче этого необычного волнения, этой светлой потрясенности поэт достигает исключительного мастерства, он ловит и закрепляет в слове мимолетное движение души, ту смесь радости и опасения, которая возникает в сердце долго любившего и долго ожидавшего человека.

— Она!  
— И тихо засмеялся,  
Как будто Волгу он, сосед,

Мне обещал, а сам боялся,  
Что вдруг ее на месте нет.

Но среди всех рек нашей Отчизны едва ли не самой зазывной, сладостно-ожидаемой для меня была встреча с Дунаем.

«Ах, Дунай мой, Дунай», — пела деревенская застольница в моем приозерном северном селе. Песня подмывала встать из-за стола, топнуть так, чтобы зазвенела посуда в «горке», чтобы закачалась семилинейная лампа под потолком. И хотя значение слов песни давно стерлось, потеряло прелесть новизны, было в этом сочетании «Дунай мой, Дунай» что-то разгульное, размашистое, что по душе русскому человеку, что живет в нем искони и неизменно тянет его в чуждеальную сторонушку.

Там, за синими лесами, за широкими степями, протекал этот Дунай. Мало кому из моих земляков-кубеноозеров доводилось поглядеть на его вольные воды, испить его воды. Только мой дед, бывший ополченец, раненный на самом шипкинском перевале, смутно помнил переправу через Дунай, который всю жизнь он называл на старинный манер «Дунаеви».

Это слово позднее я услышал на берегах Дуная, в Вилково, а еще позднее прочитал в исторических хрониках, где говорилось, что славянское племя угличей — жителей угла — «сеяху по Днестру, приседаху к Дунаеви».

С тех незапамятных времен и летит молва о Дунае — реке вольной, рыбной и благодатной.

\* \*

Пассажиры ночного поезда Кишинев — Рени ожидала «Ракета». С остановкой в Измаиле она следовала до устья Дуная, до городка Вилково, о котором я был немало слышан в Кишиневе. Говорили мне, что это «дунайская Венеция», что весь городок изрезан каналами, по которым, наподобие венецианских гондол, снуют рыбацьи лодки. В воображении сразу же возникало нечто пышное, диковинное, похожее на декорации к комической опере Оффенбаха «Сказки Гофмана» или оперетте Штрауса «Ночь в Венеции».

А Дунай работал буднично и неторопливо, он подымал на плечах караваны барж и самоходок, гнал вниз по течению речные трамвайчики, пенил усы впереди быстроходных катеров.

Не был он ни светлым, ни голубым, ни оперным, ни опереточным, а был серым от ила, прогретым солнцем, и таким реальным, каким и положено быть земным рекам.

Берега его обросли зеленой кипенью ветел, и кроме этих ветел да редких пограничных вышек ничто не останавливало взора. Временами «Ракета» начинала подпрыгивать, как будто с ходу налетала на кочкастое поле, вода гулко ударяла о днище, но через мгновение мерный рокот дизелей снова заполнял пассажирский салон, а берега текли с обеих сторон все так же однообразно и неостановимо.

Перед двухэтажным дебаркадером с приметной надписью «Вилково» крылатое судно сделало широкий, щегольской разворот и встало к причалу.

Вместе с толпой пассажиров я вышел на портовую площадь.

\* \*

По преданию, первыми поселенцами Вилково, обживавшими плавни и непроходимые камыши, были запорожские казаки. Ушли они на Дунай после того, как Екатерина II разорила Запорожскую сечь, построили здесь куреней, стали промышленлять охотой и рыбачеством. Потом в запорожских куренях и хатках-мазанках стали селиться пришлые люди — кто бежал от барщины, кто от рекрутчины, кто от религиозных притеснений. Особенно много было староверов. Они-то и придали Вилково тот характерный русский облик, который сохранился здесь по настоящее время.

В прошлом веке вилковский посад не раз выгорал дотла, не раз местные жители спасались от наводнения на лодках и челноках все в тех же плавнях. Но хуже пожаров и наводнений были для вилковцев царские чиновники, которые добрались-таки до дунайских гирл из Аккермана и Килии.

Судебные архивы хранят одну горькую повесть о безвестной сироте Анне, которая бежала от крепостной неволи откуда-то из Малороссии. Здесь, в Вилково, ее приютили местные жители братья Мариновы. Вилковец Иван Гуляев, знакомый Мариновых, женился на Анне. У них уже были дети, был свой дом, когда в 1849 году, через восемь лет после всех этих событий, возникло дело «О скрывающейся в бегах девице-сироте Анне». Иван Гуляев с женой и детьми бежал за Дунай, в ненавистную Туретчину, дом Мариновых за соучастие в преступлении был продан, а сами они выселены из посада.

Но приток беглых не уменьшался, и легенда о земле обетованной, затерянной где-то в устье Дуная, долго жила среди крестьян.

...24 августа 1944 года наступающие части Советской Армии освободили город Вилково и, наведя переправу через Дунай, ушли дальше, на юго-запад. Над Вилково взвился красный флаг.

\* \*

Первое, что я решил про себя в Вилково, никогда не поддаваться избитым сравнениям и не именовать этот тихий городок Килийского района Одесской области «дунайской Венецией». В таких сравнениях есть пышность и претенциозность, а Вилково хорош сам по себе, он хорош как раз скромностью, даже домашностью: каждый клочок земли здесь отвоеван у плавней, обработан поколениями вилковцев. И теперь можно часами бродить по узким — в две доски — кладкам, сидеть под тенью серебристых ветел, образующих над кана-



лами сплошной коридор, переходить с одного горбатого мостика на другой, обгонять медленно плывущие лодки, груженные ракушечником и камышом, и в конце концов выйти прямо в густые камыши или к Дунаю, вдоль которого растут все те же серебристые ветлы и вправо и влево тянутся деревянные тротуары. Каждый твой шаг будет сопровождать шлепанье лягушек, мерное поскрипывание кладок на высоких опорах, любопытные взгляды прохожих. И только рыбаки, которых здесь великое множество, не будут обращать на тебя никакого внимания. В этом маленьком городке ловят все. Здесь не увидишь девчонок, которые бы играли в классы или прыгали через веревочку: девчонки нянчат младших братишек и сестреночек своеобразно — дают им в руки камышовую удочку и с такой же удочкой садятся сами на кладках, на свайных причалах, на пороге своего дома. Мальчишки не расстаются с бреднем. Старухи ставят паруса, плывут осматривать переметы. Взрослые рыбаки уходят в море, служат мотористами, работают на местном рыбзаводе. Особенно страдная пора в Вилково — весна, когда идет по Дунаю знаменитая дунайская сельдь. В этом отлове сельди есть что-то праздничное, как бывает праздничным первый день сенокоса в деревнях.

Когда я проходил по центральной улице Вилково, частью мощеной, частью асфальтированной, я обратил внимание на небольшие группы рыбаков. Было воскресенье, и местные жители, следуя давней-давней традиции, вышли на гулянье «в город». Шумел маленький базарчик. К автобусной станции подходили рейсовые автобусы. Городок жил своей размеренной, спокойной жизнью, и в этой его размеренности и в этом спокойствии было хорошо чувствовать себя своим, уже успевшим оглядеться и даже как-то привыкшим ко всему человеком.

\* \*  
\*

Хорошо просыпаться от сирены речного трамвайчика, выглядывать в окно номера, похожего на корабельную каюту, и видеть далекий, заросший кустарниками берег. Хорошо еще и еще раз напоминать себе, что ты на Дунае и что тот, другой, берег — румынский.

Хорошо мастерить нехитрую снасть, называемую «закидушкой», доставать у механика катера железную гайку, прилаживать крючки, копать червей, а потом деньдешней сидеть возле старой ветлы, закатав брюки, опустив ноги в теплую, мутную воду.

Хорошо думать, что ты уже разделался со всеми делами, нанес официальные визиты, побывал у председателя райисполкома Тюмина Геннадия Ивановича, записал беседу с ним, узнал, что в ближайшие годы Вилково преобразится, что будут здесь построены бетонные набережные, воздвигнут стадион, упорядочена застройка, завезен строительный материал.

Хорошо, наконец, просто почувствовать себя человеком, отпусником, как тот приезжий, что сидит в десяти шагах от тебя на кладках и время от времени таскает желтых сомят.

Ты представлен теперь самому себе, и тебе вовсе не обязательно отмечать почти машинально, как он нетерпеливо смотрит вдоль кладок, как он, видимо, ждет прихода женщины, которая запаздывает, как она садится рядом с ним и улыбается его неловким движениям, когда он выбирает леску. Нет, она не повисает на его плече, не заглядывает пристально в глаза, а просто сидит рядом с ним.

И напрасно ты успокаиваешь самого себя, напрасно твердишь про себя как заклинанье, что, мол, «какое дело мне до радостей и бедствий человеческих, мне, странствующему офицеру, да еще с подорожной по казенной надобности!..»

Твоя книжная премудрость мало помогает тебе.

Когда она, лучисто улыбаясь, оглядывается вокруг, больше всего тебе хочется, чтобы в этот момент леса тонко зазвенела от поклевки крупной рыбы, чтобы женщина подбежала к тебе и подивилась твоей невиданной удаче.

Но соседи встанут и уходят, улыбочивые, оживленные, им, как и всем влюбленным, нужно одиночество.

Ты будешь видеть их силуэты на далеком песчаном откосе, в сухом и алом блеске заходящего солнца. Ты будешь видеть их забредшими по колено в воду, стоящими рядом, неразлучными, не расторгжимыми никакими силами на свете.

А Дунай, как будто даже выпуклый от половодья, будет катить волны мимо них, мимо тебя, мимо вилковского дебаркадера, как-то разом опостылевшего тебе, и медленно терять золотистый блеск, густеть возле низко наклоненных ветел, отливать тусклой вороненой сталью, чтобы потом, глубокой ночью, разлиться безбрежной черной зарею. И когда крупные звезды разом высыпают на небосклон, когда по черной заре поплывут красные, зеленые, синие огоньки кораблей, тебе откроется теплая, сокровенная красота Вселенной.

## ПОИСК

(К 60-летию со дня рождения Мусы Джалиля)

Я получил завешание поэта. Это не было неожиданностью, мы и раньше переписывались. Я заверял его, что и без завешания сделал бы все, что в моих силах. В письме его были слова: «кругом идут бои», трагический смысл которых со всей глубиной дошел до меня позже, когда вдруг оборвалась наша переписка..

Муса и смерть — несовместимо. Страстный и жизнедеятельный Джалиль — воплощение атлетической красоты и здоровья — не мог уйти бесследно.

Шли годы. Окончилась война. Восторженные дни победы принесли и печальную весть: Муса Джалиль казнен фашистами за политическую деятельность в Германии... Потом вернулись его «Моабитские тетради», написанные кровью сердца.

Однако не приходилось встречаться с теми, кто видел Джалиля в плену, в фашистских застенках, в концлагерях. Попытки разыскать его друзей не увенчались успехом, и первые выступления о героизме поэта опирались на сказанное им самим:

Как волшебный клубок из сказки.  
Песни — на всем моем пути...  
Идите по следу до самой последней,  
Коль захотите меня найти!

А нам всем хотелось «найти его», разыскать его друзей и соратников. Ведь Муса был не один в своей подпольной деятельности, ведь он — не герой из сказки, хотя дела и подвиги его сильнее легенд...

К кому обращены слова, написанные в тюрьме Моабит —

О нашей трудной, длительной борьбе  
Живую быль расскажем детям...

Кто мог бы рассказать эту «живую» быль?

Мы прочли в «Моабитской тетради» фамилии двенадцати подпольщиков. Среди них и фамилия Мусы. Руками Мусы Джалиля была сделана приписка: «Они обвиняются в разложении татарского легиона, в распространении советской пропаганды, в организации коллективных побегов». Но нам были знакомы лишь фамилии Мусы Джалиля, детского писателя Абдуллы



Алиша и еще Абдуллы Батталова — брата нашего поэта Салиха Баттала. Какова была их жизнь в Берлине? Как удалось им создать организацию, которая вела бесстрашную борьбу с фашизмом в Польше, Чехословакии, Германии, во Франции? Кто входил в нее? Эти и многие другие вопросы интересовали всех нас.

В 1954 году я получил из Печоры письмо от Гали Курбанова. Он писал, что знает Мусу Джалиля и его организацию. Когда же я начал расспрашивать его, то он лаконично ответил, что сейчас он устал, уезжает в Среднюю Азию, после возвращения напишет обо всем. Но в Печору он не возвращался. Начались поиски. Через два года удалось установить приблизительное местонахождение Курбанова. Мне тогда еще не было известно, что он — один из двенадцати обвиненных фашистами

джалильцев, тот, которого Муса записал в свою тетрадь под фамилией Минчурин.

Я писал Курбанову, но ответа не было. Партийная организация одного из предприятий города Ангрен в Узбекистане помогла мне, и Курбанов дал о себе знать.

Но это уже был 1957 год. Писательская организация Татарии к тому времени располагала кое-какими отрывочными данными о героической борьбе Мусы Джалиля, Абдуллы Алиша, Ахмеда Симаева, Фуада Булатова...

В 1956 году я получаю письмо от Гарафа Фахрутдинова, который прочитал «Моабитские тетради» Мусы Джалиля (выпущенные под моей редакцией) и сообщал мне, что у него есть некоторые стихотворения поэта-героя. Я просил Фахрутдинова выслать мне их, подробно расспрашивал его о встречах с Джалилем, просил написать воспоминания... Гараф прислал мне два стихотворения, оказавшиеся вариантами стихов «К Двине» и «Поэт». Да, они принадлежали перу Мусы Джалиля. Следовательно, Фахрутдинов должен знать о жизни Джалиля в плену, должен знать и о его борьбе. Однако Гараф не спешил рассказывать. А ведь он так заманчиво писал о том, что был другом Мусы и тот дважды диктовал ему свои стихи...

Многие вопросы ждали ответа, а Фахрутдинов даже не указал свой постоянный адрес: я писал ему «до востребования».

3 февраля 1956 года в «Литературной газете» были опубликованы путевые заметки Ю. Королькова со стихами, которые приписывались Мусе Джалилю и которые якобы спас некий Талгат Гимранов. Через несколько дней мне посчастливилось встретиться с Гимрановым. Однако рассказ его сильно разочаровал: он не знал работу подпольной организации, не знал участников антифашистской борьбы. Его же утверждение о том, что Муса курил и даже просил изготовить ему портсигар, — и вовсе настораживало: никто из нас не видел Мусу курящим. Знавшие его по лагерям утверждали то же.

Кому же принадлежат стихи из записной книжки Гимранова? И до сих пор с уверенностью это сказать нельзя.

А бесплодная переписка с Фахрутдиновым продолжается. Наконец я получаю от него:

«Брат! Зачем вы своими письмами допрашиваете меня... Обману я вас или не обману — вы все продолжаете. Я понимаю, что нужные материалы для вас находятся у меня. Может быть, вы не понимаете сложности этого вопроса... больше не спрашивайте, я не могу отвечать...»

Я, конечно, понимал «сложность этого вопроса».

Несколько позже я узнал, что Фахрутдинов тщательно скрывал свою принадлежность к подпольной организации Мусы Джалиля, чтобы избежать участи некоторых своих друзей-подпольщиков, подвергшихся необоснованным репрессиям.

Может, внесет какую-либо ясность встреча с ним? Нельзя же останавливаться на полпути!.. Я решаю ехать в Алмалык, решаю разыскать Фахрутдинова во что бы то ни стало.

И вот я в Ташкенте. К. Узakov и Я. Мирзаев — работники газеты «Кзыл Узбекистан» — охотно взяли мне помочь. В Алмалыке сложными путями выясняем, что Фахрутдинов живет в Соцгородке (один из районов города). Находим его дом — небольшой, светлый, с двумя комнатными шкафами. Чистота и опрятность — все говорит о семейном уюте, благополучии.

Ждем хозяина. И вот я вижу высокого мужчину средних лет — он, в брезентовом рабочем комбинезоне, легкой походкой шагает по двору и с кем-то разговаривает. Вошел в дом, и мы познакомились. Несколько смущенный и в то же время веселый мужчина. Лицо его было слегка рябоватым, но эта мелкая рябь даже шла ему. Правый глаз смотрел как-то странно, очевидно — следы войны. Заговорили о его семье, доме, работе (Гараф — арматурщик).

Наконец-то я был щедро вознагражден: удалось очень многое выяснить, уточнить детали из биографии поэта. Передо мной ожил Муса, такой светлый, страстный в борьбе, близкий и сказочно далекий...

Однако это было лишь началом работы. Чтобы получить воспоминания Гарафа о подпольной организации, выяснить авторство стихов, находящихся у меня, понадобилась еще долгая переписка и еще одна поездка.

И хотя Фахрутдинов при первой встрече рассказал много — по его словам, «все, что мог...», — тем не менее это было не все. Он еще скрывал свою работу в подпольной организации, не рассказывал и о том, как впоследствии джалильцы боролись вместе с участниками французского Сопротивления. Но клубок неизвестности, загадок, тайн, связанных с героической борьбой Мусы Джалиля, начал распутываться. И уже полной неожиданностью для меня прозвучало утверждение Гарафа, что из двенадцати человек, названных в «Моабитской тетради», некоторые живы.

Минчурин и вообще не сидел в тюрьме, рассказывал Гараф. Через несколько дней он вернулся к нам в легион. Весною 1944 года во Францию, в лагерь Ле-пюи, был перевезен из тюрьмы Хисамутдинов. Он был руководителем нашей капеллы и возглавлял одну из групп джалиловской организации.

— В таком случае — где же он? Вы пытались его найти потом?

— Нет, я даже и не мыслил об этом, — сознался Гараф. — Хисамутдинов уже тогда был тяжело больным человеком. Устроив его в лазарет, мы совершили побег к французским партизанам... Как искать его? — продолжал задумчиво Гараф. — Мы называли его Хисамутдиновым, но может, его подлинная фамилия другая: я ведь тоже не был Фахрутдиновым, меня называли Дим Алишем.

В свое время Хисамутдинов рассказал Фахрутдинову о тяжелом положении джалильцев, о тюремном режиме и продиктовал стихотворения Мусы Джалиля, которые он заучил в тюрьме и вынес как его последнее завещание. Да, это были новые стихи, созданные, по всей вероятности, уже в 1944 году, после дрезденского суда. Назывались они: «Ночь, тюрьма» и «Последнее слово».

Стихи эти были переведены на русский язык и опубликованы в «Комсомольской правде» в мае 1957 года. Я писал там, что их как завещание Мусы Джалиля вынес из фашистской тюрьмы Хисамутдинов, который погиб в лагере во Франции.

И вдруг, спустя три месяца, получаю письмо от Хисамутдинова: «Вы написали, что погиб. А я живой и работаю зоотехником колхоза в Киргизии».

И снова — в путь: лечу в Ош, на юг Киргизии. Хисамутдинов встречает меня на аэродроме, и мы не расстаемся с ним в течение целой недели. Великодушие и сердечность, душевность и обаяние Хисамутдинова я ощутил с первой минуты. Мы начали беседу как старые друзья после долгой разлуки. Глубокая убежденность в правоте действий Мусы Джалиля сблизила его с ним, и он возглавил одну из групп подпольной организации. Беспредельная вера в могущество советских людей, убежденность, жажда освобождения человечества от фашистских извергов придавали решимость и силу борцам, делали их неподкупными. О таких писал Муса Джалиль в своем «Утешении»:

Победу мы отпразднуем, друзья,  
Мы это право заслужили,—  
До смерти — твердостью и чистотой  
Священной клятвы дорожили.

Об этом стихотворении рассказывает Хисамутдинов. Написанное рукой Джалиля, дошедшее до тегельской тюремной одиночки в конце 1943 года,— как поднимало оно его настроение, как ободряло и поддерживало силы в поединке с гестаповцами во время бесконечных допросов и пыток! Его не одного! Разве заботливый Муса забывал своих соратников в тяжелые дни

пыток! Его теплое человеческое слово доходило до них, окрыляло и глубоко волновало. Действительно, «о нашей трудной, длительной борьбе живую быль расскажем детям!..»

С Рушадом Хисамутдиновым мы старались восстановить в подробностях работу подпольной организации, но конспирация есть конспирация. Он знал столько, сколько было нужно в то время для борьбы с фашизмом. А ведь их было много. Муса Джалиль, Абдулла Алиш, Ахмет Симеяев, Фуат Булатов, Гайнан Курмашов..

Автору этих строк для подготовки книги «Воспоминаний о Мусе», уже выпущенной на татарском языке, пришлось не раз ездить в дальние края нашей необъятной страны. Бывало приходилось возвращаться и не солоно хлебавши. Так случилось, например, с поездкой к Мидхату Гафарову.

У меня были сведения о том, что он был в подпольной организации в Познани и, следовательно, мог рассказать о связи джалильцев с польскими патриотами. После долгих поисков я наконец нашел его в городе Ош. Но так ничего и не получил от него. «Я дал клятву не рассказывать никому»,— так объяснил свое нежелание говорить об интересующем меня Мидхат Гафаров. И только через три года он специально приехал в Казань и рассказал то, что записано в его воспоминаниях..

Муса не был одинок, у него было много бесстрашных друзей, сложивших свои головы за свободу нашей Родины, за свободу человечества. По приговору имперского суда были казнены двенадцать джалильцев. А мы знаем из них девятирех. Остальные неизвестны нам даже по фамилии. Кто они?..

Разыскивается и третья тетрадь Мусы Джалиля, которую вынес из тегельской тюрьмы Михаил Иконников..

Выпущенные воспоминания друзей и соратников Джалиля, надеемся, привлекут внимание и, может быть, будут способствовать продолжению начатых поисков.

г. Казань

## СТРОКИ ЛЮБВИ И СЧАСТЬЯ

*Вероника Тушнова. Сто часов счастья. Стихи. М. «Советский писатель». 1965. 156 стр. Цена 16 коп.*

Почему говорится:  
«Его не стало»,  
если мы ощущаем его  
непрестанно,  
если любим его,  
вспоминаем,  
если —  
это мир, это мы  
для него  
исчезли.  
Неужели исчезнут  
и эти ели  
и этот снег  
навсегда растает?  
Люди любимые,  
неужели  
вас  
у меня не станет?

Эти стихи Вероники Тушновой оказались вещими. Не стало для нее ни русских елей, ни снега, ни людей, которых она так любила. И вот перед нами тоненькая книга стихов под названием «Сто часов счастья». Последняя ее книга. Книга о любви, о трудном и ни с чем не сравнимом счастье, которым она наделяет человека в этом тревожном мире.

Я вспоминаю другую книгу стихов, вышедшую несколькими годами раньше, — «Только о любви к тебе» Василия Кулемина, сопоставляя эти две книги и думаю: неужели лишь в преддверии смертного часа возможно такое обостренное ощущение чувства любви, когда обнажается каждый нерв, когда боль и радость передаются на расстоянии, когда всем существом своим поэт ведет бой за каждую малую толику счастья, дарованного любовью...

Возможно, это не так, возможно, мои мысли навеяны горечью ранних утрат, и я сам мог бы, порывшись в памяти, обрушить на них историко-литературную эрудицию, а делать этого не хочется. Чувствую, что и я брожу где-то около истины...

Какая же она, любовь, если приносит с собою огромное счастье и если человек способен собирать это счастье «по крупнице, по капле, по искре, по блестянке», если он способен добывать его даже «из горького горя», всечасно бороться за него?

Как будто бы такая же, как тысячи лет назад, когда «не было хижин, не было жен — были женщины. Их любили». Такая же, какая описана в бесконечном по-

токе любовной лирики — с ожиданиями и сомнениями, с тревогой и ревностью, с отчаянием и надеждой, с горечью и самозабвенным.

И все-таки не такая. У Вероники Тушновой своя горечь и надежда, своя любовь, окрашенная предчувствием скорой разлуки.

Все еще верю:  
позже,  
когда-нибудь...  
В марте... в мае...  
Моя последняя осень.  
А я ничего не знаю.  
А сны все грустнее снятся,  
а глаза твои все роднее,  
и без тебя оставаться  
все немисливей!  
Все труднее!

И в каждом ее чувстве, в каждом даже мимолетном порыве души распахивается настежь сердце, не оставляя в своих тайниках даже маленького секрета, и потому стихи порою напоминают дневник, предназначенный только для самой себя, а на самом деле это мудрая книга любви, где человек бьется в поисках ответа на вопрос: «Почему без миллионов можно? Почему без одного нельзя?»

«Сто часов счастья» — мужественная книга. Читаешь ее страницу за страницей, погружаясь в сложный мир чувствований, и соглашаешься с поэтом: сердце человека беззащитно без любви, любовь — вот величайший стимул воли и жизнедеятельности. Любовь дает человеку мужество и делает его сердце зрячим.

Большая любовь никогда не замыкается в самой себе, она щедра и отзывчива. Человек, изведавший всю меру счастья любви, помнит: «А в мире существуют смерть и войны, тоска и одиночество вдвоем». Он носит в своем сердце любовь к родине, к ее природе, к людям, сотворившим своими руками все чудеса земные. Без веры в людей, в их доброе участие немислима настоящая любовь. Эта вера и двигает всеми помыслами и чувствами поэта, она и внушает такое беспредельное доверие к читателю.

Сердце — не вычислительная машина, безошибочная в своих расчетах, и не самолет, неуклонно стремящийся к намеченной цели; как ему не хватает «непогрешимой точности» самолета! И как порою скорбит об этом поэт в минуты сомнений!

Но человек, уже немало и трудно проживший, вкусивший горечь утрат, знающий цену глотка воды и голодного блокадного пайка, испытывавший тоску разочаро-

ваний и одиночества, может пережить полное душевное обновление в любви.

И это обновление чувств, это новое рождение человека свидетельствует о богатстве эмоциональной жизни природы сильной, способной, ни о чем не жалея, тратить «без удержу душу свою», но не чуждой слабостей и сомнений в любви.

Блажен ли, кто не знает сомнений в любви, кто никогда не был слабым и беспомощным перед ее неподвластными для логических объяснений парадоксами?! Истинное чувство, наверное, тем и прекрасно, потому и привлекало поэтов всех времен, что оно всегда загадочно, всегда волнующе своей новизной, неизведанностью, необычностью. Перестань оно быть от начала и до конца своего загадкой, и исчезнет новизна ощущений, и любовь приобретет житейскую незыблемость утреннего чаепития.

И если бы стихи Вероники Тушновой не были бы выражением трудного и счастливого (сто часов счастья!) опыта ее любви, они неизбежно затерялись бы в миллионноточном потоке заурядной лирической литургии. Но на каждой странице этой небольшой книжечки как бы прочерчивается кардиограмма единственной любви, то юношески трепетной, то мудро зоркой, то неоглядной, парящей где-то в высотах патетики,— ее любви.

Новизна чувствований всегда привлекает читателей, узнавание в лирических стихах, близких тебе, испытанных тобой ощущений располагает к доверию. В индивидуальном опыте отражается хотя бы самая малая капля общечеловеческого. Вероника Тушнова прекрасно понимала это:

Всех его сил проверка,  
сердца его проверка,  
чести его проверка,—  
жесток, тяжка, грозна,  
у каждого человека  
бывает своя война.  
С болезнью, с душевной болью,  
с наотмашь бьющей судьбой,  
с предавшей его любовью  
вступает он в смертный бой.

И во всех сложных коллизиях любви, так же как и в трагических поворотах судеб, движет сердцем надежда:

Только б, в сотый раз умирая,  
задыхаясь в блокадном кольце,  
не забыть —  
Девятое мая  
бывает где-то в конце.

У книжки есть эпиграф:

«— Ты сам виноват,— сказал Маленький принц.— Я ведь не хотел, чтобы тебе было больно, ты сам пожелал, чтобы я тебя приручил...

— Да, конечно,— сказал Лис.

— Но ты будешь плакать!

— Да, конечно.

— Значит, тебе от этого плохо.

— Нет,— возразил Лис,— мне хорошо...»

Удивительно человеческая и грустная сказка Сент-Экзюпери о Маленьком принце проникла в стихи Тушновой беспредельным доверием к сердцу, его мудрой зор-

кости, его способности отличить самое прекрасное, чего не увидишь глазами. Трогательная история отношения Маленького принца к одинокой и беззащитной розе и отношения к Лису несет в себе тот свет бескорыстия и самопожертвования, который озаряет книгу стихов Вероники Тушновой. Этот свет излучает большое, нежное и мужественное сердце поэта.

И как в сказке Сент-Экзюпери Маленький принц возвращается на свою микропланету, храня верность розе, за которой он должен ухаживать, так поэтесса Вероника Тушнова из стихотворения в стихотворение возвращается к маяку своей любви, поддерживая его огонь в любую непогоду.

Путники в океане любви непременно заметят свет маяка, зажженный поэтом.

Ал. Михайлов

## КНИГА — ПОДВИГ

Василий Субботин. Как кончаются войны. М. Воениздат. 1965. 326 стр. Цена 59 коп.

Собираясь говорить о книге, о которой просто не могу не написать, я засомневался: к какому жанру ее отнести?

О книге этой, правда, уже писали. Не так уж много писали, но писали неплохо. Забыли, по-моему, сказать только самое главное, что это — книга-подвиг...

А она и на самом деле является подвигом. И по содержанию своему, и по работе автора над ней...

Я давным-давно знаю Василия Ефимовича Субботина. Мы познакомились с ним вскоре после войны, в 1947 году, на Первом Всесоюзном совещании молодых писателей, познакомились в кулуарах ЦК ВЛКСМ и тогдашнего Московского городского Дома пионеров, даже не подозревая, что в апреле и мае сорок пятого года вместе ходили по улицам Берлина, смотрели на трупы Гитлера и Геббельса, осваивали «дом Гимmlера», отстреливались от юнцов фаустпатронщиков в Тиргартене и на Кенигсплаце...

Тогда, в сорок седьмом, я слышал первые военные стихи Васи Субботина и, каюсь, поражался и завидовал им, ибо сам писал куда безнадежнее хуже.

А Субботин писал так:

Далекая героинка тревог.  
Задымленные порохом страницы.  
Тогда еще нам было невдомек,  
Что книга эта может повториться.

Это — о любимой книге, Николае Островском...

С тех пор прошло немало лет. Мы читали новые и новые стихи Василия Субботина, читали его новые поэтические книги, радовались одним, огорчались другим, проходили равнодушно мимо треть-

их, и все же ждали. Ждали потому, что знали: Вася Субботин «тайно» от всех пишет свою прозаическую книгу о войне. Не ждать эту книгу было нельзя, ибо автор ее видел то, чего не видели многие из нас, участников штурма Берлина.

С первых минут боев до последних, даже не отмеченных историей, он был в те памятные дни в логове врага. Он переворачивал труп Гитлера, чтобы убедить себя и всех, что этот Гитлер и есть тот, настоящий Гитлер. Он, Вася Субботин, свидетель тех событий, о которых мало, очень мало знают живые, точнее, оставшиеся в живых. Он должен был сказать о тех днях и событиях свое слово. Он не мог не сказать того, о чем мало кто знает, хотя любой сегодняшний школьник во всех деталях расскажет вам о подробностях штурма Берлина и взятия рейхстага, назовет имена героев и опишет в деталях Знамя Победы, водруженное над зданием рейхстага, а ныне находящееся в Центральном музее Советской Армии в Москве...

Но вряд ли и этот нынешний школьник, и многие представители старшего поколения, в том числе и те, кто участвовал в берлинских боях в сорок пятом, знают, что знамя это, водруженное над рейхстагом, не единственное, что кроме Егорова, Кантария и Самсонова — есть люди, совершившие аналогичный подвиг. Вряд ли им известны имена Пятницкого, Неустроева, Негоды, Еремина, Савченко, Бойченко, Давыдова, Винокурова, Васькина, Романовского, Логвиненко, Береста, Прыгунова, Кошкорбаева, Булатова, Щербины, Зинченко, Федорова, Переверткина, Плеходанова, Тесленко, Клименкова, Якимовича, Ермакова, Бердника, Лысенко, Матвеева, Прелова, Ярунова, Герасимова, Гусева, Минакова, Петрова, Соколовского, Каримджана, братьев Анатолия и Григория Рубленко, Шейко, Патрышева, Карбулова, Антонова, Шильникова, Попова, Ильюшенкова, Орленко и многих сотен других подлинно героических солдат. А ведь иные из них сложили тогда свои головы, иные и по сей день живут в неизвестности!

Двадцать лет, как бы исподволь, а на самом деле — мужественно, настойчиво, самоотрешенно готовил Василий Субботин свою книгу. Для того, чтобы правдиво рассказать в ней новое и важное о тех днях, он разыскивал бывших друзей и знакомых, их родственников и их друзей, ездил, писал, изредка публиковал в газетах отрывки из будущей книги, в надежде на отклики, которые помогут восстановить подробности событий тех дней. Писатель не ошибся — сколько писем вызвали, например, его очерки в «Правде»! Сколько безмерно ценных подробностей, имен и героических судеб открылось благодаря им!

Я Берлин штурмовал  
под отчаянный мат Неустроева,—

я слышал эти субботинские строки чуть ли не двадцать лет назад, когда автор их вы-

ступал в Большом зале Политехнического музея — в гимнастерке, фронтовых сапогах, выступал не как признанный поэт, а как только что вернувшийся с войны солдат. Тогда, через год-два после сорок пятого, все чувствовали себя так: вроде и окончилась она, война, вроде и не окончилась — ибо все наше существование, все мысли и думы были там — на прошедшей войне...

И это естественно. Судьба нашего поколения, шагнувшего в войну прямо из ранней юности, — особая судьба! Дай только бог, чтоб об этой судьбе своих родителей и старших товарищей почаще вспоминала наша нынешняя юность...

Книга Василия Субботина «Как кончаются войны», которую так или иначе прочтут не только люди старшего поколения, а и молодежь, в том числе и наши воины, — отличный повод для мыслей и раздумий. О судьбе революции нашей и о ее неповторимой значимости. О подвиге и тяжелом солдатском труде. О силе людей, преданных высоким политическим идеалам, и о памяти, о тех, кого мы безвременно потеряли и о ком порой слишком редко вспоминаем. О прошлом, о настоящем и о будущем тоже заставляет думать эта книга.

Подчас мы боимся говорить добрые слова о ныне здравствующих писателях, а ведь многие из них — пример и для своих собратьев-литераторов и вообще для людей. Мне хотелось нарушить эту не самую добрую традицию и сказать хорошие слова о Василии Субботине.

Я начал свои заметки с того, что в нашем литературоведении, критике, нет, к сожалению, такого жанрового термина, который определял бы произведения, подобные книге «Как кончаются войны». Завершу этим же. Раз такого термина нет, то выражусь описательно: книга эта — книга поэта, политика, художника, воина, гражданина и человека. Многие качества печатного слова переплетаются в ней. Но, повторяю, у нее есть одно качество, особое, это — книга-подвиг. Авторский и гражданский подвиг.

*Сергей Баруздин*

## БЛИЗКИЙ САХАЛИН

*Владимир Канторович. Сахалинские тетради. М. «Советский писатель». 1965. 416 стр. Цена 81 коп.*

Горький торопил молодую советскую литературу осветить жизнь самых темных и отдаленных «медвежьих» углов.

В 1930 году, когда эти слова были напечатаны в журнале «Наши достижения», Сахалин действительно был одним из самых темных «медвежьих» углов. Всего лишь за пять лет до того на северную половину острова пришла Советская власть, а на юге продолжали хозяйничать японские колонизаторы.

Писатель Владимир Канторович приехал на остров вслед за первыми тысячами двумястами молодых добровольцев. Ни жилья, ни транспорта, ни дорог не было в ту пору на острове. Он нуждался в черно-рабочих и землекопах. Но комсомольцы ехали не за легкой жизнью.

Тридцать пять лет прошло с тех пор. За эти годы писатель побывал за Полярным кругом и в среднеазиатских пустынях, на Камчатке и на острове Врангеля, в Приморье и на Курилах, написал больше десятка книг. Но Сахалин как был, так и остался его первой и неизменной любовью.

За пять длительных путешествий Владимир Канторович обошел остров вдоль и поперек, летал вместе с летчиками, навозящими траулеры на косяки сельди, выходил на мотоботах в море вместе с рыбаками, жил на пограничных заставах, кочевал по тайге на собаках и оленях, ездил на мотоциклах и грузовиках по дну океана, обсыхающему во время отливов. Так родились «Сахалинские тетради», в которых рассказ об острове стал рассказом о жизни автора и жизни нашей страны.

С фотографии начала века глядит крепкий скуластый юноша в русской рубашке; на плечи накинут пиджак, на ногах городские штиблеты — ни дать ни взять застенчивый молодой интеллигент. Этот «интеллигент», нисколько себя не насилюя, мог вместе с женой и дочерью месяцами кочевать по тайге за своими оленями, позабыв о галстукке и пиджаке, о газете, которую почитывал в городе. Он научился бить зверя, освоил языки эвенков и нивхов, стал своим среди оленеводов и охотников. Этого недюжинного и талантливоего человека звали Винокуровым. Но всю свою энергию, весь свой талант он направил к одной цели — обогащению. Опутав простодушных северян паутиной долгов, он скупил у них почти всех оленей и стал некоронованным королем местных народов.

Революция прервала карьеру этого русского конквистадора XX века.

За границей, пересекавшей Сахалин пополам, потерялись следы Винокурова. Лишь после второй мировой войны, когда иноземные захватчики были навсегда изгнаны с острова, писателю снова удалось напасть на след Винокурова и пройти за ним до его бесславного конца.

Главы книги, рассказывающие об этих поисках, читаются как приключенческий роман. Идя по следу Винокурова, писатель разыскивает старых охотников и оленеводов, беседует с пограничниками и старожилыми Александровска и Южно-Сахалинска. И вслушиваясь в их речи, вглядываясь в их лица, такие разные, читатель воочию видит громадность перемен, свершившихся на острове при жизни одного поколения.

Возможно, приезжего ничто не поразит теперь в селении нивхов: подумаешь, коттеджи с застекленными верандами и надворными постройками, электричество, диваны и шкафы! Но ведь их отцы спали

в землянках на полу, покупали себе жен, залезая в кабалу, не знали ни грамоты, ни бань и мерли от голода и болезней..

Чтобы увидеть движение жизни, нужно иметь не поверхностное, а глубинное зрение. Писатель наделен им. Во время последнего путешествия В. Канторович встречается с героем своей первой книги, одним из тех тысячи двухсот — П. К. Загоруйко. Вспоминая эпизоды героической летописи тридцатых годов, они по-прежнему восхищаются мужеством комсомольцев — оно не прошло даром. Но став на полжизни мудрее, и автор книги, и его герой думают теперь, что установка на голый энтузиазм — «мы сами больше всего гордились тем, что вынесем все на свете» — принесла и немало вреда. Не будь множества напрасных испытаний, те тысяча двести сохранили бы свои силы и сумели бы сделать в жизни гораздо больше хорошего.

Нелегкая выпала жизнь и писателю и его героям. Люди старшего поколения хорошо помнят имя дальневосточного героя-пограничника Карацупы. Его слава гремела в тридцатые годы по всей стране. Открыл этого героя читателям Владимир Канторович. Но его рассказы о Карацупе долгие годы печатались без имени автора.

Читая «Сахалинские тетради», с трудом веришь, что они написаны немолдым человеком — с такой юношеской жадностью всматривается он в жизнь, с такой доверчивой, я бы даже сказал, нежной заинтересованностью говорит о своих героях. В краткой заметке не перечислить всего, что волнует писателя: отношение людей к природе, кстати сказать, изображенной в книге сильно и точно, пережитки провинциализма в сознании, будущее сахалинской промышленности, беды сезонничества, стиль руководства рыбацкими колхозами и многое другое. Книга эта большая и умная, как сегодняшняя жизнь Сахалина.

Лишь на одной проблеме я хочу остановиться. Вроде бы немало книг написано о героизме наших женщин. Но, увлекшись доказательством равенства женщин с мужчиной, мы как-то упускаем порой из виду, что женщина — все-таки женщина. О женщине на войне, например, тоже говорилось много. Но вот недавно генерал Антипенко, бывший начальник тыла I-го Белорусского фронта, в своих воспоминаниях лишь на нескольких примерах показал, что значит для женщины-бойца постоянное окружение сотен мужчин — в окопе и в госпитале, на марше и на отдыхе. И это прозвучало чуть не откровением.

Жизнь на Сахалине, конечно, не сравнишь с фронтом. Но трудностей, связанных с характером промыслов, — сезонностью, удаленностью от жилья, — здесь не занимать. Десятки женских судеб проходят перед читателем «Сахалинских тетрадей». Таких удивительных, как, например, судьба Александры Хан, бывшей переводчицы, ныне шестидесятилетней бригадирши корейских рыбаков, Героя Социалистического Труда, и храброй маленькой поварихи с рыбацкого траулера, и дочери ленинград-



ского профессора, приехавшей на Сахалин «держат экзамен на человека», и комсомолки Тани Мягковой, руководительницы необыкновенной девичьей коммуны. Но есть тут и иные — излишне робкие девушки, незащищенные от грубости и цинизма пьянчуг, распушенных мужчин и женщин. Случается, втягиваются они в шумную, а порой скандальную жизнь сезонного барака, и облик их меняется на глазах. Писатель вспоминает женорганизаторов тридцатых годов, которые для многих девушек на Камчатке и Сахалине олицетворяли Советскую власть, и спрашивает, почему их нет сейчас на промыслах, где трудится много женщин...

Прочитав книгу, я вдруг вспомнил набившие оскомину слова об «отставании литературы» и подумал, что отстаёт, пожалуй, не литература, а наше представление о ней. По привычке мы ждем открытый в романах и эпопеях, не замечая, что интерес серьезных читателей уже давно привлекла и литература другого жанра. Вспомним, какое широкое признание получили «Районные будни» В. Овечкина, «Деревенский дневник» Е. Дороша, «Капля росы» В. Солоухина, «Ледовая книга» Ю. Смуула, «Северный дневник» Ю. Казакова, «Щит и меч» В. Кожевникова, «Неизбежность странного мира» Д. Даннина, «Брестская крепость» С. Смирнова, — я называю лишь то, что сразу же подсказывает память. Эти произведения — исследования жизни, открывающие новые черты характера нашего современника.

«Сахалинские тетради» Владимира Канторовича — одна из таких книг.

*Радий Фиш*

## ПОНЯТЬ — НЕ ВСЕГДА ПРОСТИТЬ

*Л. Карелин. Путешествие за край солнца. Повесть. Журнал «Наш современник» № 10, 1965*

Всем известно, как трудно писать о детях. Взрослый человек должен силой воображения перенестись в мир детства и какую-то свою, вполне взрослую, задачу воплотить в восприятиях ребенка.

Существует классика этого жанра. Лев Толстой, пригласив нас своим «Детством, отрочеством, юностью» в мир ребенка, раскрыл многогранное великолепие жизни, свежесть восприятия которой доступна только детскому глазу. Мы снова стали как бы первооткрывателями, воспринимающими жизнь не памятью привычки, а жадно «распахнутыми очами», всем своим существом. Какая талантливая, богатая личность формировалась на наших глазах, училась мыслить, любить жизнь, людей, свидетелями какого становления мы были!

Не в щедрой ли передаче раскрывшейся детскому взору многоцветности и

многозвучности бытия непреходящий успех и «Детства Багрова внука» С. Т. Аксакова? Не в том ли ряду и «Детство Никиты» А. Толстого и «Детство Темы» Н. Гарина-Михайловского...

Иным было знакомство с жизнью героя горьковского «Детства». Рано пришлось отличать ему доброе от злого, настоящее от фальшивого, распознавать социальную суть явлений. И читатель все время слышит голос мудрого, мужественного автора, беспощадно обличающего «свинцовые мерзости» тогдашней российской жизни, омрачавшие сознание и маленького человека.

Ноты мучительного диссонанса между присущими ребенку доверчивостью, душевной чистотой, ранимостью и жестокими впечатлениями безжалостной, фальшивой, грубой жизни, переходя в предпатологическую односторонность, во сто крат усилены Ф. М. Достоевским на его страницах, посвященных детям.

Но вот наступила новая эпоха в жизни общества, время, когда перед человеком раскрылись безоглядные дали, когда детство его стало предвосхищением будущей творческой жизни. И с какой душевной энергией, деятельным оптимизмом, овеянным романтикой революции, мы столкнулись у маленького героя нашего времени — героя Гайдара! Время это создало и особую, пленительную атмосферу в произведениях В. Фрайермана, В. Каверина, Л. Кассля, на которых воспитывалось поколение, выраставшее в годы войны.

Как видим, современному писателю, пишущему о детях, есть чему следовать, что продолжать и развивать.

Мы понимаем и особую трудность этой задачи: ведь когда взрослый обращается к детству, он невольно смотрит на него сегодняшними глазами, ищет там предтечу нашего сегодня. В такой ретроспективности порой осуществляет он и подобие «крепости задним умом», и искупление смутного сознания своей вины перед прошлым и даже дань модным веяниям современности. А стремясь пропагандировать свои сугубо сегодняшние взгляды, он, быть может, невольно искажает правду тех дней.

Эти мысли возникают при чтении повести Л. Карелина «Путешествие за край солнца», повести, знакомящей нас с историей трех славных подростков из уральского города Ключевого.

История эта начинается в радостный для парнишек день: они все переехали в новые дома. Но за праздничным по случаю новоселья столом странный состоялся разговор между отцом и мамой: «Теперь-то я знаю, как это бывает: пришла радость, удача, но ты извелся, дожидаясь этой радости, так устал, что хоть плачь».

И еще одно, уже ребячье, омрачило радость:

«— Чего же молчал, не говорил, что будешь здесь жить? — спросил я...

— Дома не велели говорить. А ты чего молчал?

— Дома не велели.

Нам стало как-то грустно вдруг, отхлынула радость. Вспомнилось, как томилась дома, месяц за месяцем, гадая, дадут ли нам жилье в этих домах, куда, казалось, устремился весь город. И вот ведь друзья, а затаялись, смолчали. Скверно».

Эта сцена очень важна для всей повести. Она — пролог драмы, либо прелюдия темы, целеустремленно развиваемой писателем: общение с битыми жизнью, надломленными и несчастными взрослыми — а их в повести много — рождает в детском сердце раннюю боль. А все эти взрослые очень, очень несчастны.

И у главного героя в семье незаживающая рана: отец его, добрый, но, видно, слабый человек, исключен из партии, снят с большой должности за какие-то упущения по службе. Но ведь для мальчишки еще не очень важны причины: он остро чувствует, что самые близкие ему люди страдают, что семья придавлена горем. И у Левы Аванесова дома неладно: отец любит другую женщину. И Борис Ермаков, волевой, умный мальчишка с сильно развитым чувством достоинства и справедливости, мало того что хромает, но еще и страдает от властного и нелюбимого отца. И даже милый, добрый дядя Саша, обучающий ребят чуткости, доброте и требовательности к себе, оказывается запойным пьяницей, глубоко надломленным человеком, страшно кончающим свою жизнь.

Потрясенные его самоубийством, ребята очень стремительно взрослеют. Они пытаются разобраться в происшедшем. Утром, в день смерти дяди Саши, на прогулке по реке они всем сердцем разделяли его тоску по свободе (ведь кто-то безжалостный и могущественный не разрешал ему покинуть город). В смерти дяди Саши сконцентрирована для них вина всех окружающих. Вот только что их родители несправедливо обругали дядю Сашу, при них называя его и пьяницей, и бродягой, и уголовником. А отчим высек Бориса за то, что тот поинтересовался, «...почему он не помог дяде Саше, почему отвернулся, хотя знал, что тот — бывший военный, герой гражданской войны? Струсил, так? Или ему наплевать было, что гибнет человек?»

И себя ребята винили за то, что оставили в тот день дядю Сашу, хотя знали, что ничем не могли ему помочь. Сознание этого страшным чувством бессилия вошло в их души. И тогда они решили бежать. На завещанной им лодке, чтобы осуществить дяди Сашины мечты, уплыть туда, за запретную черту, на далекий юг, за край солнца...

Отлично описано это путешествие: и красота природы, и чувство товарищества, и острое столкновение добра и зла. Ребята узнали здесь щедрых, по-настоящему красивых людей. И там же столкнулись с подлым обманом, бесчеловечностью, равноду-

шием. Оно и привело их в тюрьму. Этим и закончилось путешествие за солнцем.

В тюрьме ребята столкнулись и с циничным злом без масок и, пожалуй, с самой страшной его ипостасью — злом, прячущимся под маской доброты и участия. Историю с добреньким «партизаном» дядей Гришей они пережили нелегко. Но важно, что звание «красного партизана» осталось в их представлении незамазанным: дядя Гриша всего лишь самозванец!

Именно в тюрьме, по мысли автора, приходит к ребятам возмужанье. «Пострадав», они стали зорче к людям и поняли, что ожесточенность и малодушие их отцов — из-за несчастной их жизни.

Так в повести утверждается «идея»: страдание рождает понимание, а понимание ведет к примирению; поняв — оправдаешь.

Эту идею утверждает одаренный писатель, и оттого она не прямолинейно выражена. В повести звучит мысль и о чуткости детской души, которую больно ранит нецельность взрослых. И о том, что ребенок умеет понимать и сострадать по-взрослому, что он тонок, зорок и никакая фальшь, несправедливость от него не укроется. О маленьких автор сумел рассказать как об интересных и сложных людях, и это тем отраднее, что иные современные наши писатели умудряются великовозрастных героев представлять инфантильными, капризными несмышленишками.

Как бы полемизируя с героями А. Гайдара и Л. Кассиля — цельными мальчишками из здоровых семей, писатель поставил своей задачей рассказать о том, как трудно пришлось таким же мальчишкам в семьях, ущемленных жизнью. Писатель, конечно же, руководствовался соображениями правды, справедливости.

Но именно правда и справедливость вызывает желание сказать Л. Карелину о его крайней односторонности, крайней тенденциозности в выборе круга явленной жизни, с которыми он сталкивает своих героев. Такая односторонность претит литературе. К тому же она несвойственна детям и скорее представляет удел консервативных взрослых.

Именно правда заставляет сказать, что ребята в те годы играли в «Чапаева», в «Фурманова», в «Красных дьяволят». И этого слова из песни не выкинешь!..

А то противоречивое и несправедливое, что было в жизни нашей страны, обязывает нас сегодня еще более зорко смотреть в будущее и прежде всего без прикрас и всякой предвзятости освещать настоящий день. Повесть Л. Карелина к этой мысли приводит косвенно, скорее, путем «доказательства от противного».

*Лариса Крячко*

## Устное и книжное



Читаешь «Русские народные сказки», собранные А. Н. Афанасьевым, и вдруг встречаешь чем-то знакомые строки: «Пробило двенадцать часов, гробовая крышка на пол упала, королева встала и начала летать по всем сторонам да грозить поповичу... а он стоит себе да читает, назад не оглядывается». И узнаешь как бы «зерно», из которого выросла буйная фантастика гоголевского «Вия»...

Читаешь о батраке, перехитрившем чертей, вьющем веревку и деловито поясняющем водяному бесу: «Хочу пруд вычищать да вас, чертей, из воды таскать...» — и узнаешь «прототип» героя пушкинской «Сказки о Попе и работнике его Балде», страшавшего нечистую силу:

Да вот веревкой хочу море морщить,  
Да вас, проклятое племя, корчить.

А когда в другой сказке читаешь похвалу Ивана Медведка: «Хочу озеро морщить да вас, чертей, корчить...» — замечаешь, как навеянное народной сказкой пушкинское слово возвращается в устное творчество народа.

Встречаешься со случаями и совсем неожиданными.

Все мы знаем чеховский рассказ «Лошадина фамилия». Комизм его состоит в том, как мучительно вспоминает приказчик никак не вспоминающую фамилию. «...Забыв! Такая еще простая фамилия... словно как бы лошадиная...» — недоумевает Иван Евсеич. А генерал со всем своим семейством пытается отгадать: Жеребятников?..

Жеребчиков?.. Коренников?... Конявский?.. Лошадников?.. Лошадицкий?.. И так далее.

Казалось бы, этот рассказ-шутка не имеет никакого отношения к фольклору...

Но вот в афанасьевском сборнике читаем народный анекдот (№ 467). Он совсем коротенький. Но очень близок по содержанию чеховскому рассказу.

И хотя в анекдоте всего девять строк, а в рассказе Чехова почти четыре страницы; хотя у Чехова забывают «лошадиную» фамилию, а тут «птичью», но поразительно сходство в самом главном.

Какими путями дошла до Чехова эта народная украинская юмореска, записанная фольклористами еще в середине XIX века? Прочитал ли он ее у Афанасьева? Или запомнилась еще с детства, прожитого на юге России? Едва ли можно узнать в точности... Да суть и не в этом.

Суть в том, что сокровищница народного творчества разнообразнейшими путями обогащает писательское вдохновение юмором и мудростью, сюжетами и мотивами. Беспредельно обширная сокровищница эта остается и сегодня непочатым краем...

## Из литературоведческих курьезов



О знаменитых писателях создаются легенды. Чаще — поэтические. Иногда — курьезные.

«Знаешь ли, что обо мне говорят в соседних губерниях? Вот как описывают мои занятия: как Пушкин стихи пишет — перед

ним стоит штоф славнейшей настойки — он хлоп стакан, другой, третий — и уж начнет писать!» — рассказывал поэт жене в письме, посланном 11 октября 1833 года из Болдина. Очевидно, потом он рассказал об этом анекдотическом слухе и Гоголю. В одной из ранних рукописных редакций «Ревизора» Хлестаков врет таким образом:

«А как странно сочиняет Пушкин! Вообразите себе: перед ним стоит в стакане ром, славнейший ром — рублей по сту бутылка, какого только для одного австрийского императора берегут, — и потом, уж как начнет писать, так перо только: тр... тр... тр...»

Но из окончательной печатной редакции Гоголь это выкинул, вероятно найдя неудобным, чтобы даже и в устах Хлестакова звучала нелепая басня о великом поэте...

Другая, по-своему не менее курьезная легенда возникла уже в наши дни.

В одном из стихотворений, напечатанных в журнале «Октябрь» № 12, 1964 года, Игорь Волгин сравнивает творческий восторг своего друга-инженера с пушкинским вдохновением. И пишет так:

...Он прыгает,  
как прыгал Пушкин  
в Болдине,  
Отменнейшие сделавший  
стихи!..

А в № 4 журнала «Вопросы литературы» за 1965 год В. Непомнящий, ведя речь о стихотворении «Памятник», поясняет, что значат слова «велье божие».

«...Это тот «ветр», «вихорь», который правит поэтом в часы творчества, заставляя его самого потом поражаться сделанному, «бить в ладоши» и прыгать: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!»

Так, не сговариваясь, автор стихов и автор литературоведческой статьи («В помощь учителю-словеснику») утверждают, будто Пушкин приходил от своих произведений в неописуемый восторг, выражавшийся битьем в ладоши, похвальными возгласами...

Но откуда эти сведения?

Как видно из писем поэта, он никогда не отзывался о своих стихах восторженно, говорил о них просто и деловито.

Однако в начале октября 1825 года Пушкин писал из Михайловского Вяземскому о «Борисе Годунове»:

«...Трагедия моя кончена, я перечел ее вслух, один, и бил в ладоши и кричал: ай да Пушкин, ай да сукин сын!»

Это и цитирует В. Непомнящий. Но можно ли понимать это буквально?

Тут все гораздо сложнее. В переписке Пушкина с Вяземским не раз шла речь о пишущейся трагедии. Но письма ссыльного поэта распечатывались. «Милый, мне надоело тебе писать, потому что не могу являться тебе в халате нараспашку и спустя рукава», — сетует Пушкин в сентябрьском письме 1825 года. О «Борисе» всего менее можно было писать «нараспашку». Пушкин вкладывал в историческую трагедию зло-

бодневный смысл. В письмах об этом можно было писать лишь намеками: «...Я предпринял такой литературный подвиг, за который ты меня расцелуешь», — извещает Пушкин Вяземского 13 июля 1825 года. «Нельзя ли мне доставить или жизнь железного колпака, или житие какого-нибудь Юродивого», — просит он Жуковского в письме 17 августа. А 28 августа Вяземский отвечает разными советами и мельком говорит: «Жуковский уверяет, что и тебе надобно выехать в лицах юродивого». То есть вложить в уста Юродивого свои мысли. А чтобы сбить с толку перлюстраторов, Вяземский тут же прибавляет без всякого логического перехода: «Что за юродивые наши журналы!».

А 13 сентября Пушкин пишет Вяземскому: «Благодарю от души Кар. (Карамзина) за Железный Колпак, что он мне присылает; за замену отошлю ему по почте свой цветной, который полно мне таскать. В самом деле, не пойти ли мне в Юродивые, авось буду блаженнее!»

А в начале октября 1825 года в том письме, с которого мы начали, Пушкин пишет Вяземскому: «...Никак не мог упрятать всех моих ушей под колпак Юродивого. Торчат». И когда тут же пишется о трагедии: «Я перечел ее вслух, один, и бил в ладоши и кричал, ай да Пушкин, ай да сукин сын!», то это, разумеется, не какое-то самохвальство поэтическими достоинствами, а способ завуалированно, в письме, которое будет вскрыто, сообщить другу, что удалось с необходимой тонкостью осуществить задуманное.

Не вникая в это, поверхностные читатели писем Пушкина и создали беспочвенную легенду, курьезно искажающую душевный облик поэта.

## Челец и античелец



...И обновила наконец  
На вате шаффор и челец, —  
говорится в «Евгении Онегине». Из этого видно: челец — принадлежность туалета дамского.

Тем не менее, один из героев романа Михаила Кочнева «Потрясение» гневно на-

зывает кого-то «мракобесами в чепцах академиков». А другой герой называет еще кого-то «канцеляристом в чепце академика».

Герои данного романа уверены: чепец — принадлежность одеяния академика. Их сердитые реплики подразумевают, что такие-то и такие-то недостойные личности позорят чепец академика — почетный знак высшего положения в науке...

Рецензируя (в «Новом мире» № 4, 1965 г.) данный роман, З. Паперный отмечает такие представления о форме одежды академика и разъясняет: «В «чепцах» академики никогда не ходили».

Глубоко справедливо. Засвидетельствовать эту безусловную истину мог бы и, скажем, академический гардеробщик.

Но достаточно ли этого в профессиональном литературно-критическом отклике? Пожалуй, нет...

Почему бы герои романа так уверенно наряжают академика именно в чепец, а не, к примеру, в тюрбан или, допустим, митру?.. Чистый произвол? Не совсем... Раскрываем все того же «Онегина»:

Не дай мне бог сойтись на бале  
Иль при разезде на крыльце  
С семинаристом в желтой шали  
Иль с академиком в чепце!

Значит ли это, что в пушкинские времена, кроме чепцов женских, были еще и чепцы мужские, академические? Разумеется, нет. Тут речь о «грамматических ошибках»,

свойственных дамской речи; о том, что поэт находит это «милым» и не желает видеть дам говорящими педантически — правильно, превращающимися в «академика в чепце».

«Академик в чепце» — юмористический образ женщины-«сухаря», женщины-педанта.

Но от всех этих сложностей в памяти героев Мих. Кочнева (конечно, проходивших «Онегина» в школе) осталось одно: «чепец академика» — не фигуральный, а буквальный...

Нет сомнений, критику, литературоведу, столь эрудированному, как З. Паперный, известны упомянутые пушкинские строки. И в споре с героями Мих. Кочнева он замыкается в узкой сфере ведомственных головных уборов принципиально, ради похвального лаконизма.

И все же в данном случае главный ляпсус героев названного романа не в том, что они не знают, в чем «ходят» академики, а в том, что сугубо буквально понимают поэтическое слово. Грех этот совсем не редкость и среди читателей и среди пишущих о поэзии. Вот почему данный казус стоит внимания. Хотя бы для того, чтобы в еще каком-то беллетристическом произведении не предстала «желтая шаль» как форменная одежда семинариста. А взыскательный критик не стал бы тратить порох сарказма, доказывая, что семинаристы в желтой шали никогда не ходили.



## РЕКОРД С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

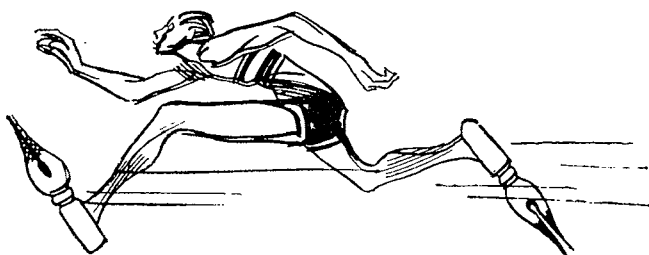


Рис. Г. Сундарева

Голос диктора, разнесшийся по стадиону, возвестил о том, что Тимофей Пахомов установил новый рекорд области.

Тимофей Пахомова, или, как его называли любители спорта, Тиму, все в городе очень любили. Поговаривали, что он замахивается даже на республиканский рекорд. Поэтому, когда Тиму попросили сказать несколько слов перед микрофоном, весь стадион благоговейно смолк. Откашлявшись, рекордсмен произнес: «Поставил новый я рекорд, и этим счастливы я и... ну, и горд».

Все улыбнулись неожиданному экспромту и зааплодировали, а Тима направился в раздевалку. Там уже были его тренер и несколько завзятых болельщиков, в том числе и директор городского драматического театра Шишкин. Тепло поздравив рекордсмена, он пригласил его на премьеру новой пьесы.

— А стихи твои, Тимочка, просто великолепны. Хоть в газету помешай!

Тима смутился.

— Не скромничай, не скромничай, многие так начинали. В конце концов от Олимпа до Парнаса два шага!

...На следующий день в кабинет главного редактора

городской газеты вошел неожиданный посетитель.

— Пахомов? Тима! Очень рад,— воскликнул редактор.— Что-то ты такой серьезный? О новом рекорде задумался? Молодец!

— Нет,— покраснел Тимофей,— я стихи сочинил. Мне к вам Шишкин посоветовал обратиться.

— А, Шишкин! Служитель муз! Очень любопытно. Виктор Львович надел очки и начал с выражением читать:

Поставил новый я рекорд,  
И этим счастливы я и горд.  
О нем мечтал я много лет,  
И вот теперь пришел успех.

Новый рекорд меня тревожит,  
Его побить всегда готов.  
И в этом мне всегда поможет  
Мой тренер Федор  
Николаевич

П о п о в!

— М-да,— промычал редактор,— конечно... Как тебе сказать... Видишь ли... чувствуется знание тематики... Ну что ж... Оставь, я посоветуюсь.

После ухода Тимы Виктор Львович еще раз прочитал стихи, почесал затылок, тяжело вздохнул и написал: «В печать».

Через два дня в редакции опять появился Тима.

— А, это ты! — уже вяло протянул редактор.— Гонимар получишь двадцать седьмого.

— Да я не за тем,— потупился Пахомов.— Я вот тут еще кое-что сочинил.

— Опять стихи? Гм... Ты меня извини, Тима, но я сейчас ухожу. Ты зайди в комнату номер три и спроси Инессу Аркадьевну Щукину. А я — на совещание. Будь здоров!

Инесса Аркадьевна прочла стихи. Они заканчивались так:

Плодом упорных тренировок  
Я быстро стал силен и ловок,  
И пробегу быстрее ветров  
Я сто и даже двести метров.

Заключение ее было кратким:

— Это не ваше амплуа, молодой человек! Ну, призвание не ваше, что ли.

— Да я уж тоже об этом думал. Вообще-то я на восемьсот метров бегаю. А спринт — это, конечно, не моя специальность. Про двести метров Генка Леонтьев здорово бы написал...

— Нет, товарищ Пахомов,— прервала Тиму Инесса Аркадьевна,— мы не сможем использовать ваш материал.

— Ну что ж,— расстроенно сказал Тимофей,— не так нет. Придется вернуться к средним дистанциям.

Утром в кабинете редактора зазвонил телефон.

— Львович? Физкультуривет! Это Сазонов беспокоит из облспортсоюза. Ты что же это нас подводишь?

— Я? — удивился редактор.— Каким образом?

— Ну, ну, не притворяйся! Что это вы там с Тимой сделали? Втянули, понимаешь, парня в литературу, а теперь от ворот поворот? Тима-то сегодня на тренировке вяловат был... Нет, так, браток, у нас с тобой дело не пойдет! Через ме-

сая соревнования, и если Тима не займет там первого места, нас с тобой по головке не поглядят. Надо создать ему условия для нормальных тренировок. Пал Саньч был очень недоволен, когда узнал об этой истории. Так что ты уж эти стишки-то напечатай, не дергай нам парня.— И Сазонов повесил трубку.

Редактор еще долго сидел в задумчивости, потом крякнул и вызвал к себе Щукину...

Прошло десять дней. Виктор Львович уже начал забывать обо всем этом, когда к нему в кабинет, улыбаясь, как на пьедестале почета, вошел рекордсмен.

— Здравствуй, Тимочка! — заискивающе произ-

нес побледневший редактор.— Как идут тренировки?

— О тренировках потом! — отмахнулся Тима.— Я все эти дни над поэмой работал. Вот посмотрите.

— «Дашь рекорд!» — прочел заголовок Виктор Львович, и ему стало плохо.— Ты мне оставь, Тима, свою поэму. А дня через два позвони. И извини меня: я себя плохо чувствую.

...Виктор Львович не спал всю ночь. Под утро его осенило. Он принял душ и, бодро улыбаясь, отправился в редакцию. Тиминого звонка он ждал с нетерпением, и когда тот позвонил, с воодушевлением закричал в трубку:

— Тима! Прочел, прочел твою поэму. Здорово!

Всю ночь не спал — так увлекся. Но, знаешь, все-таки рамки поэмы тесны для тебя. Ты способен на большее. Сам подумай: ну, напечатаем мы твою поэму в нашей газете, прочтут ее несколько тысяч человек — и все! Нет, ты должен, ты просто обязан написать пьесу. Пусть ее увидят миллионы! Пиши, Тима, и носи прямо Шишкину. Я ему позвоню. Ну, счастливо, успеха тебе! — Редактор повесил трубку и ехидно усмехнулся: — «Такто, Шишкин, советы и мы давать умеем».

А через месяц в газете появился новый театральный рецензент. Это был Шишкин. Из театра он уволился по собственному желанию.

## Вик. Марьяновский

«С нами Кох», — говорил врач-фтизиатр.

\*\*\*

О студенте-медики говорили: «Ни рыба ни мясо». Он стал врачом диетологом.

## М. Азов, В. Тихвинский

### Басни с прописными моральями

\*\*\*

Приходит муха в отдел кадров:

— У меня есть хоботок, найдите ему применение.

— Хорошо, — будете таскать бревна.

Год проходит — муха не тянет. Решили ее морально поддержать — не тянет... Материально заинтересовать — не тянет. Уволили — восстановилась по суду... и не тянет.

Мораль: не делайте из мухи слона.

\*\*\*

Встретил волк в лесу лошадь, в сани запряженную, и думает: «Мне бы только на ее санки взобраться, а там и до глотки недалеко».

— Слушай, лошадь, пусти меня в твои сани, уж больно люблю кататься...

И сел в сани. А там охотник... пиф-паф, и... мораль:

Любишь кататься — не в свои сани не садись.

## Вокруг медицины

\*\*\*

Зубной техник, практикующий на дому, никогда не клал зубы на полку.

\*\*\*

Симулянт проявлял к ме-

дицине нездоровый интерес, но рентгенолог видел его насквозь.

\*\*\*

Стенгазета в вырезивтеле называлась: «За ваше здоровье».

\*\*\*

Боялись овцы волков. Пошли в лес просить защиты у лесного начальства. Правда, из лесу они не вернулись, но зато оправдалась пословица: «Волков бояться — в лес не ходить».

## Знаки препинания

### Владимир Фатеев

Восклицательный

Знак восклицанья в рост встает и восклицать не устает...

Увы, не по его фигуре мы судим о литературе!

Кавычки

У них завидное уменье присваивать чужие мнения...

Точка

Ее — увы! — не признают, когда маститых издают.  
г. Кострома

### ОРАТОРУ

Тебя бы к гениям причислил,  
Когда бы не был твой доклад  
Так скуп на собственные мысли  
И на чужие так богат.

г. Севастополь

### АЛЬПИНИСТ

Мне горы нипочем!  
Штурмуй лед эльбрусский,  
Я чувствую подъем,  
Особенно при спуске.

Борис Роцин



## ПРЕВЫШЕ ФАНТАЗИИ

В саду, возле фонтана, четверо юмористов вели оживленный разговор. О чем? Ну конечно,— о юморе!

— Вчера мне позвонил критик Вездас,— начал Первый юморист.— Он сказал, что моя последняя юмореска,— помните, об артели пошиву обуви?— что эта юмореска — шедевр! — Он многозначительно посмотрел на своих коллег.— Вездас сказал, что это просто переворот в жанре юмора. Вездас очень жалел, что он сам не сапожник и потому не может с достаточной полнотой прочувствовать все оттенки произведения. И еще он сказал, что теперь наш национальный юмор может смело выходить на широкую международную арену. Он так жалел, что сам не сапожник, так жалел, что под конец даже разрыдался.

— А со мной, братцы, случилось нечто совершенно невероятное,— вступил в разговор Второй юморист.— Надеюсь, все вы помните мою хлесткую и остроумную юмореску о липучей бумаге для мух, к которой мухи почему-то не прилипают? Так вот, сам министр легкой промышленности приказал повесить рулончики липучки в своем кабинете. Потом секретарша принесла пригоршню мух, пойманных специально, и министр собственноручно кидал этих мух на липучку... И хотите верить, хотите нет,— вдохновенно продолжал Второй юморист, заметив на лицах собеседников тень сомнения,— убедившись в том, что мухи действительно не прилипают к бумаге, министр распорядился срочно вызвать меня,



Рис. Л. Непомнящего

чтобы обсудить какой-то вопрос государственной важности. Я, конечно, не пошел. Нечего мне там делать!

Он скромно умолк.

— То, что случилось со мной,— продолжал разговор Третий юморист,— напоминает просто какой-то страшный сон. Представьте себе, я возвращаюсь домой в тот самый день, когда была напечатана моя сенсационная юмореска о хулиганах. Вхожу, зажигаю свет, и... о ужас! В комнате битком набито каких-то типов. Я мгновенно сообразил, что это хулиганы, о которых я написал, пришли свести со мной счеты. Ну что ж, думаю, в конце концов такая смерть сделает честь любому юмористу. И подняв над головой тяжелую папку, ринулся на хулиганов. И что бы вы думали? Они вынимают из карманов свои отмычки, ключи, ножи и пачки денег, швыряют все это на пол к моим ногам и говорят: «Мы обсудили вашу юмореску и решили... решили идти работать на завод. А с прошлым покончено навсегда...» Не успел я прийти в себя, как они исчезли,

словно в воду канули. Жаль только, все деньги-то я в милицию передал, а то пригласил бы вас всех в ресторанчик...

Взоры всех высказавшихся юмористов обратились в сторону Четвертого — тихого, невысокого роста человечка.

— Я не могу похвастаться такими чрезвычайными происшествиями,— робко начал он.— Ничего особенного со мной не произошло. Ехал я сейчас в троллейбусе и видел в руках у нескольких пассажиров последний номер журнала, где напечатана моя юмореска. Заглянул в журнал к соседу, а он как раз ее читает и улыбается. А потом стал громко смеяться. Впереди двое тоже ее читали и до слез хохотали...

Юмористы посмотрели друг на друга с недоумением, а один назидательно сказал:

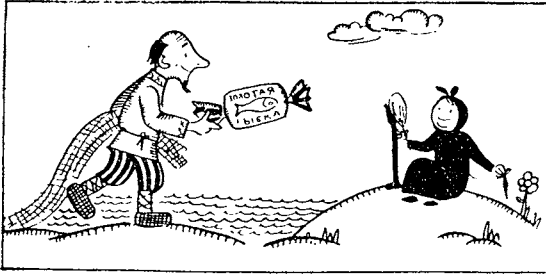
— Ну ты, дорогой, говори, да не заговаривайся. Фантазия, конечно, вещь хорошая, но у нее тоже должны быть пределы.

Перевела с литовского  
Ел. Кантор

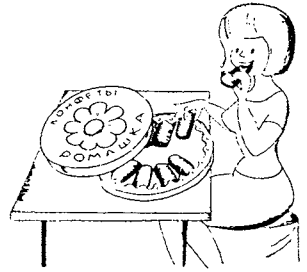


# Сладкая страничка

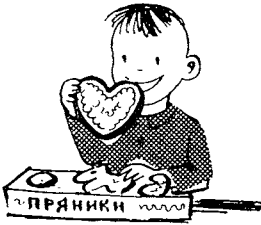
(К 8 Марта)



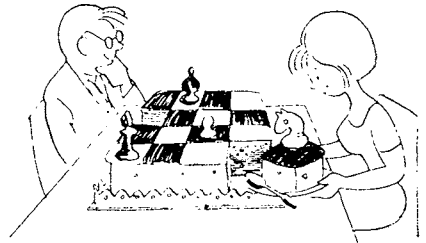
Без слов



— Любит... не любит...

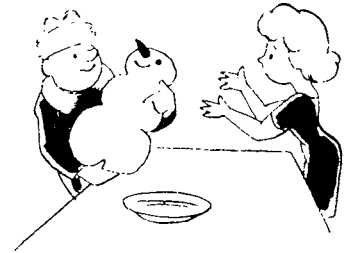
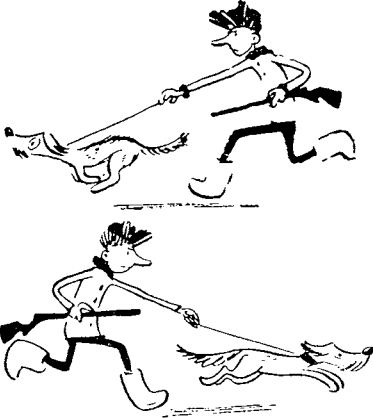


Сердцеед



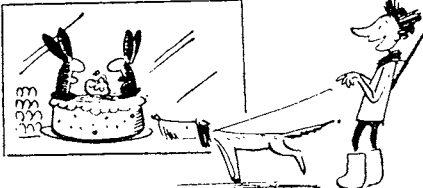
## В СЕМЬЕ ШАХМАТИСТОВ

— Я, пожалуй, съем коня на е4

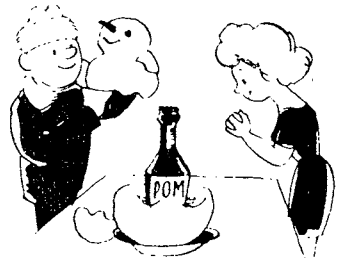


— Я же просила ромовую бабу...

## КОНДИТЕРСКАЯ



Без слов



— Пожалуйста...

Технический редактор Г. Ю. ДУБМАН. Корректоры Н. А. АКимова, М. В. АКСЕНОВА.

Подписано к печати 20/1 1966 г. А1003. Тираж 153100 экз. Формат бумаги 70 × 108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.  
Печ. л. 14 = 19,18 усл. печ. л. = 22,188 ÷ 4 вкл. = 23,064 уч. лзд. л. Заказ № 3690. Цена 50 коп.

Типография «Красный пролетарий» Политиздата Москва, Краснопролетарская, 16

50 коп.

Индекс  
73 253.